

Александр Киклевич

# **Притяжение языка**

**Том 1:  
Семантика  
Лингвистика текста  
Коммуникативная лингвистика**

Olsztyn 2007

Recenzent:  
prof. dr hab. AŁŁA KAMAŁOWA

Korekta techniczna:  
HELENA POCIECHINA

© Copyright by:  
ALEKSANDER KIKLEWICZ

ISBN 978-83-922764-1-8

Projekt i opracowanie graficzne okładki:  
tyminski.pl

Wydawca:  
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE  
ul. K. Obitza 1  
10-725 Olsztyn

Druk i oprawa:  
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY „ALGRAF”  
ul. Harcerska 19  
11-300 Biskupiec

Dystrybucja:  
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE  
ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn  
tel. +48 89 524 63 47  
e-mail: [aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl](mailto:aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|            |   |
|------------|---|
| К читателю | 7 |
|------------|---|

### СЕМАНТИКА

---

|   |     |
|---|-----|
| Проблемы семантического исследования языка в теории концептуальных метафор    | 11  |
| Семантический прототип, семантические окказионализмы и неопределеннозначность | 79  |
| Полисемия – диасемия – амбисемия. Аспекты теории семантического варьирования  | 97  |
| Языковая vs. текстовая картина мира   | 173 |

### ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

---

|   |     |
|---|-----|
| Стереотипы телекоммуникации и художественная символика телефона | 201 |
| Систематизация аспектов понимания текста                        | 235 |
| Художественный текст и теория возможных миров                   | 269 |
| Эстетическая функция текста                                     | 281 |
| Количество и юмор   | 303 |

### КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

---

|   |     |
|---|-----|
| Идиоэтническая концепция языка М. М. Бахтина и проблемы описания чужой речи             | 335 |
| О предпосылках и следствиях речевых перекодировок                                       | 353 |
| Суггестия в речевой деятельности  | 371 |
| Категория истины в повседневном общении (на материале русских количественных выражений) | 389 |
| Предметный указатель  | 405 |



## К ЧИТАТЕЛЮ

Но есть и у действительности видимость,  
А я ищу под видимостью душу.

Новелла Матвеева

История языкознания, одной из древнейших наук на Земле, насчитывает более двадцати пяти веков. Когда сегодняшний филолог-первокурсник узнает, что уже в VI веке нашей эры появилась 18-томная грамматика Присциана, в которой описаны важнейшие правила и свойства языковой системы (а именно — латинского языка), его охватывает не столько удивление, сколько разочарование: чем же занималось языкознание во все последующие эпохи? А может, и не осталось уже неизведанных областей языка — тогда что же исследуют лингвисты сегодня, в начале XXI века?

Действительно, современная лингвистика очень не похожа на ту филологическую дисциплину, которая — еще в XIX веке! — интересовалась преимущественно классическими, мертвыми языками. Сегодняшние языковеды занимаются не столько языковой системой (единицами языка, их отношениями и категориями), сколько средой функционирования языка, принципами и механизмами употребления языка, которые обусловлены физическим (в частности, географическим), ситуативным, социальным, историческим, культурным, психическим контекстом. Поэтому новое языкознание, которое распространилось в Европе и США во второй половине XX века, называют открытым.

В предлагаемой читателю книге обсуждаются три важнейших направления современной науки о языке: семантика, лингвистика текста и коммуникативная лингвистика. Автор стремился к тому, чтобы, с одной стороны, представить максимально широкий спектр современных лингвистических идей и концепций, а с другой стороны, увидеть не только разное в едином, но и единство в разном, т.е. показать те фундаментальные, философские принципы, которые лежат в основе современных исследований языковых единиц — как номинативных, так и коммуникативных, как воспроизводимых (храняемых в языковой памяти, например — лексем), так и композитивных (высказываний и текстов).

При этом в качестве важнейшего принципа коммуникативной деятельности рассматривается принцип конфигурации языкового кода и среды, в соответствии с которым знаковая структура сообщения (в частности, его грамматическая полнота или неполнота, т.е. соответствие языковой структурной модели) определяется с учетом коммуникативного контекста — речевого жанра, социального контакта, свидетелей коммуникации, используемого канала, сцены интеракции и др.

В эту книгу вошли, в основном, ранее опубликованные статьи автора, хотя в соответствии с концепцией данного тома все они были существенно переработаны и расширены. Раздел «Полисемия — диасемия — амбисемия. Аспекты теории семантического варьирования» (с. 97–171) был написан специально для данного издания.

Значительная часть теоретического материала была собрана во время научных стажировок в Австрии и Германии. В связи с этим автор сердечно благодарит директора Института славистики Университета имени Карла Франца в Граце проф. Вольфганга Айсмана, бывшего директора Института славистики Рурского университета в Бохуме проф. Хельмута Яхнова и директора Института славистики Университета Эрланген — Нюрнберг имени Фридриха Александра проф. Клауса Штайнке — за научную и человеческую поддержку. Выражаю также благодарность научным фондам: «Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung» (FWF), Вена (Австрия), и «Alexander von Humboldt – Stiftung» (AvH), Бонн (Германия) — за финансирование моих научно-исследовательских проектов, результаты которых в значительной степени легли в основу данной монографии.

## ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА В ТЕОРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР\*

Текст описывает не первичное соприкосновение с реальностью, а итог его окончательной обработки с помощью понятий.

Х. Л. Борхес, «Страсть к Буэнос-Айросу»

### 1. Метафора в парадигмах философии языка

Представления о метафоре, а также ее место и роль в культуре исторически изменчивы. Картину непрерывной динамики интерпретации метафоры в разных направлениях и школах искусства — романтизме, модернизме, сюрреализме, соцреализме и т.д. — едва ли не с исчерпывающей полнотой отражает публикация: Müller-Richter/Larcati 1997.

#### 1.1. Метафора в романтической парадигме

Так, в романтической парадигме метафора рассматривалась как фундаментальная, универсальная знаковая функция. В первую очередь, это касается философии Ф. Ницше, который выводил обязательный и повсеместный характер метафоры из самой «нерепрезентативной» природы языка (см.: Müller-Richter 1997, 40):

Die verschiedenen Sprachen neben einander gestellt zeigen, dass es bei den Worten nie auf die Wahrheit, nie auf einen adäquaten Ausdruck ankommt: denn sonst gäbe es nicht so viele Sprachen. Das „Ding an sich“ (das würden eben die reine folgenlose Wahrheit sein) ist auch dem Sprachbildner ganz unfasslich und ganz und gar nicht erstrebenswert. Er bezeichnet nur die

---

\* Первая публикация: *Проблемы семантического исследования языка в теории концептуальных метафор*. В: Jachnow H./Kiklevič A./Mečkovskaja N. et al. *Kognition, Sprache und phraseologische/parömiologische Graduierung*. Wiesbaden 2005, 1–41 (Slavistische Studienbücher, Neue Folge, Bd. 14). Здесь публикуется в расширенном варианте.

Relation der Dinge zu den Menschen und niemand zu deren Ausdrücke die kühnsten Metaphern zu Hilfe (Nietzsche 1997, 33).

Следует сделать оговорку, что Ницше понимал метафору очень широко: и как отражение предмета в сознании (в восприятии), и как связывание акустического образа с психическим, и как восприятие акустического сигнала (это — характерная черта романтической, а также, как мы убедимся позже, современной постмодернистской парадигмы). Он считал, что все имена метафоричны, в том числе такие элементарные, как названия окружающих предметов — деревьев, цветов, артефактов. В языковых номинациях, считал Ницше, проявляется антропоморфная сущность языка: языковые значения отражают ценностные установки человеческого общества, ср. комментарий:

[...] Die Begriffe, welche die Wirklichkeit in distinkte Einheit gliedern und so ein Urteil über Verhältnisse in der Welt bzw. das Ansprechen der Dinge als diese und jene erst ermöglichen, haben folglich ihren Grundpfeiler nicht im An-sich des Wirklichen, sondern changieren auf der ursprünglichen Schicht von Metaphern, die mit diesem wahren Wirklichen nicht in Kontakt, geschweige denn zur Deckung kommen (Müller-Richter 1997, 40сл.).

Здесь уместно сослаться на схожее мнение У. Джемса, выдающегося американского философа и психолога, сторонника антропоцентризма, одного из основателей прагматизма и функциональной психологии:

Мое мышление всегда связано с деятельностью [...] Реальность остается явлением совершенно безразличным по отношению к тем целям, которые мы с ней связываем. Ее наиболее обыденное житейское назначение, ее наиболее привычное для нас название и ее свойства, ассоциировавшиеся с последним в нашем уме, не представляют в сущности ничего неприкосновенного. Они более характеризуют нас, чем саму вещь (1981, 15).

## 1.2. Метафора в структурной парадигме

Напротив, в рационалистических теориях метафора рассматривалась как маргинальное и, скорее, негативное явление. Т. Гоббс называл метафоры «блуждающими огнями», писал, что пользоваться метафорами значит «бродить среди бесчисленных нелепостей». Дж. Локк утверждал, что образная речь вводит рассудок в заблуждение.

Для структурализма в языкознании был характерен довольно слабый интерес к семантике (Д. Болинджер в связи с этим пишет о «семантической пустыне»). Что же касается метафоры, то она не получила за-



служивающей внимания интерпретации ни в теории семантического поля, ни в теории компонентного анализа, ни в теории семантического представления (или экспликативной теории). Характерным примером являются взгляды Р. Якобсона, который в своей классической работе (1961, 404ссл.), ссылаясь на высказывание известного писателя В. Вересаева, что «образ — только суррогат настоящей поэзии», отдавал предпочтение «безобразной поэзии», т.е. поэзии без метафор. Образцом такой «поэзии мысли», широко применяющей «грамматическую фигуру» взамен подавляемых тропов, Якобсон считал стихотворение А. Пушкина «Я вас любил...». В художественных текстах этого типа на первый план выдвигается «обязательность для словесной деятельности», которую «лингвисты находят в грамматических структурах» (*ibidem*, 408). А именно это и есть «пища» для структуралиста.

### 1.3. Метафора в теории А. Ричардса

За пределами основных школ структурализма в первой половине XX века принципиально новую теорию метафоры предложил А. Ричардс (1950/1990), позднее развитую М. Блэком (1979). Впрочем, Е. Свѣнтек (*Świątek* 1998, 37) считает, что теория Ричардса возникла под влиянием структурного функционализма Ф. де Соссюра, а также прагматического релятивизма Л. Виттгенштейна. Общая идея этих направлений состоит в том, что содержание знака определяется его структурными отношениями (парадигматическими или синтагматическими). Программное положение Ричардса состоит в следующем:

[...] Когда мы используем метафору, у нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем эти мысли взаимодействуют между собой внутри одного-единственного слова или выражения, чье значение как раз и есть результат этого взаимодействия [...] В основе метафоры лежит заимствование и взаимодействие идей (*thoughts*) и смена контекстов. Метафорична сама мысль (1990, 46сл.).

Ричардс, как видим, предложил (почти полвека до того, как об этом написали Лакофф/Джонсон) когнитивный подход к изучению метафоры, его дихотомия базовых аргументов метафорической интеракции (возникшая, возможно, в контексте дихотомического мышления структуралистов) — «содержание (*tenor*) vs. носитель/оболочка (*vehicle*)» (соответствующие немецкие термины, предложенные Х. Вайнрихом: „Bildspender“ и „Bildempfänger“) — в 80-е годы XX в. была положена в основу когнитивной теории метафорической проекции (*mapping*).

Особенность теории Ричардса заключается также в динамическом и синтагматическом подходе. Критикуя традиционную теорию метафоры, которая рассматривала метафорические знаки как номинативные элементы системы языка — такой подход называется *монистическим* (см. Mooij 1978, 91), Ричардс трактовал метафорическую интеракцию как актуальное явление, реализующееся в речевой деятельности. Его тезис о том, что «слово может одновременно выступать в своем прямом и метафорическом значениях» (*ibidem*, 60), в 90-е годы XX в. получил дальнейшую разработку в рамках функциональной семантики (Chlebda 1991; Баранов 1998; Киклевич 1993; Перцов 2000 и др.), особенно же активно разрабатывается в философии и поэтике постмодернизма, прежде всего в теории диссипативных систем (Можейко 1999).

#### 1.4. Метафора в модальной и интенциональной семантике

Для теории Ричардса характерен функциональный подход к метафоре, в чем нельзя не усмотреть продолжения традиций романтизма и прагматического функционализма У. Джемса, ср. высказывание Ричардса: «Наш мир — это проецируемый мир, пронизанный чертами, заимствованными из нашей собственной жизни» (1990, 56). Проблема метафоры рассматривалась Ричардсом в аспекте психических состояний субъекта. Это направление исследований во второй половине XX в. развивалось в рамках модальной и интенциональной семантики. Так, в теории возможных миров семантическая интерпретация языкового выражения зависит не столько от его лексической и грамматической структуры, сколько от пропозициональных установок, прежде всего в форме предикатов высшего порядка *знаю, верю, предполагаю, допускаю, думаю* и т.п. С выбором пропозициональной установки связана и интерпретация метафорических выражений (Киклевич 1992, 44ссл.), ср.:

*Длинным треугольником летели,  
Утопая в небе, журавли* (Н. Заболоцкий).  
*Бывают крылья у художников,  
Портных и железнодорожников* (Г. Шпаликов).  
*Сначала пустой был асфальт, потом пошли навстречу ровные порции машин,  
где-то впереди нарезанные светофором* (Вал. Попов).

С одной стороны, в каждом из приведенных высказываний можно усмотреть метафорический перенос: совершенно очевидно, что выражения *утопая в небе, крылья, нарезанные светофором* употреблены в небуквальном смысле. Но, с другой стороны, если принять во внимание, что каждое из приведенных высказываний сопровождается пропози-

позициональной установкой, отражающей интенциональное состояние говорящего, метафоричность (небуквальность) исчезает, ср.:

*Мне казалось, что летящие журавли утопают в небе.*

*Мне кажется, что у художников есть крылья.*

*Мне казалось, что светофор нарезал порции машин.*

В естественных языках существуют также присловные операторы пропозициональных установок, например, русская частица *как бы*:

*Журавли летели и как бы утонули в небе.*

*У художников есть как бы крылья.*

*Светофор как бы нарезал порции машин.*

В письменном тексте эту функцию выполняет «закавычивание» (термин Б. А. Успенского), ср.:

*Журавли летели и „ у т о п а л и ” в небе.*

*У художников есть „ кры л ь я ”.*

*Светофор „ н а р е з а л ” порции машин.*

Подобным образом можно интерпретировать не только живые, поэтические, но и стертые, «мертвые» метафоры, ср.:

*белое вино* = ‘кажется (такое впечатление), что вино белое’

*малиновый звон* = ‘кажется (такое впечатление), что звон — малинового цвета’

Таким образом, проблема метафоры в модальной семантике фактически выводится не только за пределы структуры языка, но и за пределы текста — она заменяется проблемой выбора пропозициональной установки, т.е. «закавычивания» языкового выражения, приписывания его референту статуса *как бы*. Именно в этом смысле, с нашей точки зрения, должно пониматься принципиальное высказывание Д. Дэвидсона:

Предложения, в которых содержатся метафоры, истинны или ложны самым обычным, буквальным образом, ибо если входящие в них слова не имеют особых значений, то и предложения не должны иметь особых условий истинности (1990, 185).

Когда Дэвидсон пишет, что

метафора, делая некоторое буквальное утверждение, заставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого (нельзя не обратить внимания на это *как бы*. — А. К.), что и влечет за собой прозрение (ibidem, 191сл.),

то «прозрение» следует понимать как симметричное — в случае адекватного восприятия метафоры — отражение аппроксимативной пропозициональной установки отправителя в интерпретационной деятельности адресата.

В зависимости от пропозициональной установки одно и то же выражение может быть истолковано как метафорическое или же как буквальное. Так, Дэвидсон (со ссылкой на Эмпсона) пишет, что в стихах Дж. Донна

*As our blood labours to beget  
Spirits, as like souls as it can...  
So must pure lover's souls descend.*

современный читатель, скорее, воспримет слово *spirits* ‘дух’ как метафору, тогда как для самого автора дух в прямом смысле представлял собой активную часть крови (1990, 180).

Если пропозициональная установка представляет собой эпистемический фактор семантической интерпретации языковых выражений, то другим, онтологическим фактором являются так называемые «миропорождающие» операторы (термин И. М. Богусловского) — обычно в форме синтаксических детерминантов, например, заголовков. Так, стихотворение Н. Заболоцкого называется «Движение»:

*Сидит извозчик, как на троне,  
Из ваты сделана броня,  
И борода, как на иконе,  
Лежит, монетами звеня.  
А бедный конь руками машет,  
То вытянется, как налим,  
То снова в восемь ног сверкают  
В его блестящем животе.*

В данном случае существительное *руками* и числительное *восемь* должны быть интерпретированы в буквальном смысле — на фоне онтологической сцены «движение», которая противопоставлена сцене «покой» — в речевой коммуникации подобные сцены концептуализируются в виде так называемых скриптов. Обычно скрипт накладывается на пропозициональную установку субъекта — например, в отрывке из прозы Б. Пастернака, где фактуальная информация вводится с помощью пропозициональной установки *мне казалось (я видел)* и онтологического оператора *когда я смотрел из окна вагона*:

*Каждую минуту навстречу к окнам подбегали и проносились мимо берозовые рощи с тесно расставленными дачами. Пролетали узкие платформы без навесов*

*с дачниками и дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке пыли, поднятой поездом, и вертелись, как карусели.*

На семантическую интерпретацию языкового выражения может оказывать влияние также стилистическая или жанровая характеристика текста, например, идиостиль. Так, приведенные ниже высказывания могут быть интерпретированы как метафорические, ср.:

*Инженер говорил, что попало, пробрасывая сквозь ум свою скопившуюся тоску.*

*Запивала чаем потерю своих сил.*

Но если мы учтем, что в данном случае имеем дело с прозой А. Платонова, данная стилистическая информация, как кажется, будет принуждать нас к буквальному прочтению выражений, ср.:

*У Платонова герой говорит, пробрасывая сквозь ум тоску.*

*У Платонова героиня запивает чаем потерю сил.*

Таким образом, с эпистемологической точки зрения метафора представляет собой меру знания/незнания о мире, точнее, знания/незнания о мире отправителя сообщения: слушающий склонен интерпретировать языковое выражение как метафорическое, если не в состоянии раскодировать информацию о его модальном и онтологическом контексте.

## 1.5. Прагматическая теория метафоры

Рассмотрим еще одну интересную экстраполяцию теории Ричардса. Если в традиционной теории считалось, что в основе метафоры лежит аналогия или сходство, то Ричардс рассматривает метафору как семантическую интерпретацию знака в контексте, взаимодействие закодированной в языковой системе оболочки с содержанием, которое обусловлено контекстом. На такой широкой трактовке метафоры позднее настаивает Дж. Серль (1979) (в польском языкознании — Dobrzyńska 1994; Żmigrodzki 1995). Серль развивает идею Ричардса о динамическом, речевом характере метафоры. В его понимании

the metaphorical utterance is that a speaker utters a sentence of the form *S is P* and means metaphorically that *S is R* [...] In the case of literal utterance, speaker's meaning and sentence meaning are the same; therefore the assertion made about the object referred to will be true if and only if it satisfies the truth conditions determined by the meaning of the general term as applied against a set of shared background assumptions. In order to understand the utterance, the hearer does not require any extra knowledge

beyond his knowledge of the rules of language, his awareness of the conditions of utterance, and a set of shared background assumptions. But, in the case of the metaphorical utterance, the truth conditions of the assertion are not determined by the truth conditions of the sentence and its general term. In order to understand the metaphorical utterance, the hearer requires something more than his knowledge of the language, his awareness of the conditions of the utterance, and background assumptions that he shares with the speaker. He must have some combination of principles and information that enables him to figure out that when the speaker says, *S is P*, he means *S is R* (Searle 1979, 98сл.).

Серль разрабатывает прагматическую теорию метафоры (во многом перекликающуюся с теорией Дэвидсона). С его точки зрения метафорическое изменение значения — фикция, потому что при интерпретации метафорического выражения на его буквальное содержание (*sentence meaning*) накладывается значение говорящего (*speaker's meaning*). Поскольку, как считает Серль, значение метафорического выражения не сводится к значениям составляющих его слов, зависит от прагматического контекста и, таким образом, в зависимости от контекста открыто для разных интерпретаций, то метафору нельзя признать элементом языковой компетенции — природа этого явления прагматическая. Серль пишет, что в случае интерпретации метафорических выражений необходим общий для говорящего и слушающего фонд знаний, а также принятие общих коммуникативных стратегий, например, позволяющей слушающему распознать, что высказывание запрограммировано как небуквальное, или соотнести с первичным значением *P* ограниченный набор вторичных значений *R* (1979, 120).

Интересно также обратить внимание на то, что Г. Бэйтсон указывает на целенаправленное отклонение от указанных выше стратегий как один из характерных признаков шизофрении:

[...] Шизофреник избегает или искажает все, что могло бы идентифицировать либо его самого, либо лицо, к которому он обращается [...] Он может скрывать, что он говорит метафорами или специальным кодом, и он постарается исказить или скрыть любую пространственно-временную привязку. Если взять за аналогию телеграфный бланк, можно сказать, что он опускает все, что должно быть вписано в операционную часть бланка, и модифицирует текст сообщения так, чтобы исказить или скрыть любые указания на эти метакоммуникационные элементы нормального целостного сообщения. Остающееся, скорее всего, будет метафорическим высказыванием, не помеченным как таковое (2000, 260).

## 1.6. Метафора в порождающей семантике

Подобно тому, как для Ричардса метафора представляла собой эффект внутритекстовых взаимодействий оболочки и содержания знака, и подобно тому, как для Серля метафора находилась за пределами языковой компетенции, представители генеративной семантики, во-первых, рассматривали метафору в синтагматическом аспекте — их объектом были именно метафорические выражения типа *побороть страх*; во-вторых, трактовали метафору как нарушение селективных ограничений, которые закодированы в языковом содержании знаков. Так, глагол *побороть* в предложениях модели *X поборол Y-а* накладывает ограничения на семантическое варьирование окружающих его имен: как первый, так и второй аргумент при данном глагольном предикате должны обладать селективным (дистрибутивным) признаком [персональность] или [одушевленность], ср.:

*Иван*<sub>[+pers]</sub> *поборол Петра*<sub>[+pers]</sub>

*Иван*<sub>[+pers]</sub> *поборол медведя*<sub>[+anim]</sub>

Метафорическое значение предиката появляется в результате нарушения хотя бы одного селективного ограничения, например, при заполнении позиции второго аргумента абстрактным существительным:

*Иван*<sub>[+pers]</sub> *поборол страх*<sub>[+abstr]</sub>

В конструкциях первого типа глагол реализует прямое значение ‘борясь с кем-либо, одержать верх, одолеть’, а в конструкциях второго типа — переносное значение ‘преодолеть, превозмочь’ (Евгеньева 1984). Представление о метафоре как о «смене знаков, разных по значению, но употребляемых в одинаковых синтаксических контекстах» (Вяч. Вс. Иванов), а также о том, что метафорические выражения по своей структуре не отличимы от речевых ошибок (Апресян 1978, 151), было характерно не только для американоанской порождающей семантики, но и для европейской структурной лингвистики, например, Московской семантической школы. В славистике данный подход к описанию метафоры наиболее полно и последовательно реализовал П. Жмигродский (Żmigrodzki 1995). Данный автор не только выделил селективные признаки, которые являются аргументами семантической деривации, но и эксплицировал серию порождающих правил, базирующихся на их отношениях (интеракциях, по Ричардсу), например:

[+anim] → [+object]

*Działa na zamku słabo odpowiadały*

[+anim] → [+terit]

*Świat przeżywał wiosnę*

[+pers] → [+abstr]

*Rzeźba egipska zginęła w powijakach symbolów*

[+pers] → [+instit]      *Pekin wykupuje Honkong*  
 [+object] → [+elm]      *Ciepły kosmyk wiatru przylepił się do rzesz*

Поскольку с точки зрения порождающей семантики метафора представляет собой нарушение правил семантического согласования словоформ в предложении, то для лингвистики, которая стремится к экспликации и систематизации этих правил, метафора относится к числу маргинальных явлений, считается чем-то вторичным, дополнительным по отношению к «буквальному языку»:

Moreover, all approaches have problems with novel metaphors and the apparent ‘creation of similarity’. In large part, these difficulties stem from the assumptions that literal language has an absolute priority over figurative language and that metaphor is essentially deviant, or at least distinct, from the literal. Perhaps, then, we should look elsewhere for a fully satisfactory account of metaphor (Leezenberg 2001, 135).

### 1.7. Когнитивная теория метафоры в парадигмах философии языка

В конце XX в. в языкознании стала господствовать новая — антропологическая парадигма (другие термины: трансцендентная, функциональная, экологическая, постструктурная, постмодернистская). Внимание исследователей сосредоточилось на реализации знаковых систем, на тех социальных, психических, культурных, праксеологических и др. факторах, которые обуславливают их успешное функционирование. В новом методологическом контексте культивируемая генеративной лингвистикой имманентная теория метафоры, базирующаяся на идее нарушения селективных правил, не могла удовлетворять исследователей, поэтому появление в 1980 г. книги Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в которой предлагалась программа когнитивного исследования метафоры и, шире, когнитивная модель естественного языка, следует рассматривать как вполне закономерный эффект смены научных парадигм в языкознании.

Наука диалогична, и каждое научное сообщество в споре со своими идеологическими противниками строит свою систему контрпостулатов — ср. известное высказывание М. М. Бахтина: «Определить свою позицию, не соотнося ее с другими позициями, нельзя» (1979, 271). В этом контексте следует рассматривать и когнитивную теорию метафоры. Основные положения этой теории — контраргумент в споре с формальной семантикой, с позитивизмом и аналитической философией. Именно на этом теоретическом фоне проявляется их теоретическая значимость и новизна, хотя при более широком взгляде на историю философии и лингвистических учений новизна теряется: когда знакомишься с программными постулатами когнитивной теории метафоры, нельзя отделаться



от впечатления, что «все это однажды уже было». Э. Табаковская, признавая, что когнитивная лингвистика не создала принципиально новой теории языка (развивая ряд известных научных направлений: антропологической теории В. фон Гумбольдта, американской антропологической школы первой половины XX в. — Э. Сэпир, Ф. Боас, Б. Уорф и др., английской школы анализа дискурса — Дж. Фёрз, Д. Хаймс, М. А. К. Хэллiday и др.), считает, что достоинством когнитивного подхода является его интегральность и универсальность, что позволяет осуществить

wypracowanie spójnego modelu, w ramach którego można by połączyć i usystematyzować stare i dobrze znane, trafne intuicje dotyczące natury języka i sposobów jego opisywania (Tabakowska 1995, 13).

### 1.7.1. Метафора как языковой феномен

Когнитивная семантика отказалась следовать сформировавшейся в XX в. в рамках структурализма традиции, согласно которой метафора понималась как элемент дискурса, как семантический эффект, обусловленный структурой высказывания или контекстом ситуации. С когнитивной точки зрения метафора представляет собой свойственный естественным языкам способ кодирования информации:

[...] Metaphor is pervasive in everyday live, not just in language but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature (Lakoff/Johnson 1980, 3).

В лингвистической семантике произошла смена объекта исследования: если для Ричардса, Блэка, Серля или Дэвидсона объектом были живые, в частности, поэтические метафоры, то Лакофф/Джонсон прежде всего сконцентрировали внимание на широко распространенных в языковой деятельности человека конвенциональных (стертых, мертвых, инописческих) метафорах, или катахрезах.

Разграничение катахрезы и живой метафоры хорошо известно в общем языкознании. Так, А. А. Реформатский в своем классическом учебнике (1967, 75) писал: «Полисемия, т.е. многозначность, свойственна большинству обычных слов». Тот же Реформатский различал метафору в языке — как факт языковой компетенции, и метафору как художественный троп. В первом случае слово является названием определенной вещи или понятия, а во втором — содержит два плана: «прямое название» и «образное прозвище», что «создает совмещение двух планов и образную *игру* совпадения и несовпадения прямого и переносного названий».

### 1.7.2. Метафора как виртуальный феномен

Если в порождающей и интенциональной семантике, в соответствии с доктриной аналитической философии, метафора, во-первых, была объектом описания, во-вторых, рассматривалась в рамках сложной, многоуровневой семантической структуры высказывания (основанной на упорядоченном множестве семантических оппозиций: референция — дескрипция, аргументы — предикаты, ассерция — пресуппозиция — импликация, предикация — интерпретация, пропозиция — пропозициональная установка, пропозиция — актуализация, номинативные — дистрибутивные (селективные) признаки и т.д.), то когнитивная теория, оценивая данный подход как механистический (Лакофф охарактеризовал его как «семантику болтов и гаек»), предложила объяснительную модель языка: метафора представляет собой не семантическую деривацию, которая реализуется в линейном семантико-синтаксическом контексте, а виртуальный семантический гештальт (см. раздел 2), с которым не только соотнесена серия языковых номинаций (конвенциональных или новых), но который также указывает на способ организации познавательной деятельности человека.

Книга М. Джонсона (1987) начинается с критики «объективистской семантики» — в версии У. В. О. Куайна, Д. Дэвидсона, З. Вендлера и др., которая исследовала — в традициях аналитической философии — синтагматический аспект семантических структур. Ср. характерное понятие «сферы действия» у И. М. Богуславского. В московской семантике выделилось направление, которое занялось исследованием синтагматических контекстов, в частности — синтагматических ограничений слова. Когнитивная семантика сосредоточила внимание не на линейном, а на виртуальном аспекте семантических единиц — в этом смысле наблюдается поворот к классическому структурализму, который отдавал предпочтение парадигматике перед синтагматикой.

В когнитивной семантике линейная семантическая аккомодация заменяется виртуальной ассимиляцией: семантика языка, а именно — экспансия фигуративных номинаций, рассматривается как проявление специфического способа отражения мира в сознании человека. Языковая номинация уподобляется когнитивной (ментальной) репрезентации.

У. Мартин (1997) показывает, что метафорические и метонимические процессы являются характерным свойством хранения познавательной информации в виде фреймов. В соответствии с доктриной когнитивизма (хотя подобное понимание можно встретить также у Серля или Дэвидсона) метафора находится вне языкового материала и вне дискурса: как часть интеллектуальной системы человека, она представляет со-

бой антропологический феномен и синергетический («экологический», как пишет Дж. Лакофф — 1987) фактор речевой деятельности; ср. также мнение Б. С. Анута (1998):

Die Konzepte sind nach Auffassung der kognitiven Linguistik nicht primär-sprachliche, sondern kognitive, d. h. über-sprachliche oder vor-sprachliche begriffliche Größen.

Такова, к примеру, метафора СПОР ЕСТЬ ВОЙНА (ARGUMENT IS WAR), которую непосредственно нельзя эксплицировать в содержании высказываний типа:

*Your claims are indefensible.*

*He attacked every weak point in my argument.*

*His criticisms were right on target.*

Если модальная и интенциональная логика изучает семантическое «настоящее» знака, то когнитивисты изучают его семантическое «прошлое», т.е. некоторую ментальную основу, которая лежит в основе номинации (и обычно, как мы убедимся далее, имеет также исторический, архаический характер). Как пишет Г. И. Кустова:

Для когнитивного подхода существование единых механизмов функционирования и преобразования языковых единиц разных типов и разных уровней (лексического и грамматического) — один из основных постулатов (2000, 86).

Обращение к категориальному, таксономическому аспекту языковой семантики, очень важному в семантических исследованиях (см.: Падучева 2002), является сильной стороной теории Лакоффа/Джонсона и значительно выигрывает по сравнению с дистрибутивной семантикой, в которой значение практически «растворяется» в контексте (как утверждает Д. О. Добровольский, идиомы одного и того же семантического поля можно описать с помощью небольшого числа концептуальных метафор, см. Dobvol'skij 1997, 30).

Представление о метафоре как о трансцендентном, виртуальном феномене, своего рода когнитивном императиве речевой деятельности идеально вписывается в контекст современной постмодернистской парадигмы, для которой характерна идея композициональности языковой и неязыковой семантики (Sinha 1999, 223) и, в частности, тезис о динамическом характере языкового значения, вытекающий из лингвистической концепции В. фон Гумбольдта:

What is referred to, on this view, is a world “outside the head”: It is the world that I share with my communication partner. It is also, however,

when reference is linguistic, the world which is conceptualized in the language which I use to signify it. In other words, we need to understand that linguistic conceptualization is an active process which is properly speaking part of linguistic reference [...] Referential realism is based upon an understanding of meaning as acting communicatively in an intersubjectively shared world or universe of discourse (ibidem, 234).

Ссылка на хранящийся в памяти носителей языка семантический гештальт, как кажется, позволяет интерпретировать некоторые факты, которые плохо поддаются описанию в терминах теории порождающей семантики. Например, оказывается, что не всякое нарушение селективных правил обуславливает метафорическое употребление слова, ср.:

*Машина фыркнула.*

? *Молодость фыркнула.*

И в первом, и во втором высказывании позиция аргумента при предикате *фыркнуть* заполнена существительным, которое не соответствует селективному требованию предиката — в данном случае не выполняется признак [+персональность], однако в первом случае мы интерпретируем *фыркнуть* метафорически — как ‘звук, производимый машиной, напоминал звук, который мы слышим, когда человек или животное с шумом выпускает воздух из ноздрей’ — на основе когнитивной метафоры МАШИНЫ — ЭТО ЛЮДИ, в другом же случае метафорическая интерпретация высказывания затруднена (хотя и не исключена). Впрочем, и в подобных ситуациях дистрибутивный подход к метафоре, как представляется, может оказаться полезным, если учитывать основанные на отношениях селективных признаков правила семантической деривации, как это делает П. Жмигродский (см. раздел 1.6): деривационную модель [+pers] → [+abstr], реализованную во втором из приведенных выше высказываний, в отличие от модели [+pers] → [+mach], реализованной в первом высказывании, следовало бы признать как неотмеченную или маргинальную.

Из этого следует, что несовместимость порождающей и когнитивной семантики, скорее всего, преувеличена. С одной стороны, сформулированные в дистрибутивно-семантических терминах порождающие правила можно переформулировать в терминах когнитивной лингвистики, и тогда например, правило [+pers] → [+mach] будет интерпретировано как концептуальная метафора МАШИНЫ — ЭТО ЛЮДИ. При этом надо отметить даже преимущество порождающей семантики, которая оперирует более строгими методами экспликации значений: селективные признаки [+pers], [+mach] и др. непосредственно выводимы из языкового материала, тогда как концептуальные метафоры типа МА-

ШИНЫ — ЭТО ЛЮДИ — скорее, продукт интуиции, индивидуальной индукции, а иногда нельзя отделаться от впечатления, что мы имеем дело с «озарением» исследователя, и тогда уже размывается жанровая конвенция научного текста, что, впрочем, вполне соответствует канону постмодернизма.

С другой стороны, можно вообще поставить под сомнение, относятся ли селективные признаки к языковой компетенции — к числу языковых правил. Как пишет С. Я. Фитиалов,

[...] для любого предложения, правильного формально-грамматически, можно найти такой контекст предметных знаний (объяснив его текстом), при котором это предложение становится осмысленным (1983, 81).

«Действительная неграмматичность, — писал Р. Якобсон (1985, 238), — лишает высказывание всякой семантической информации» (ср. также: Мауенова 1979, 98). Поскольку же выражения типа

*Роца проснулась.*

в которых дистрибутивные ограничения не соблюдаются, семантически осмыслены и их нельзя признать языковыми ошибками, то следует сделать вывод, что селективные признаки относятся, скорее, к области наших знаний о мире, а по отношению к этим знаниям естественный язык, как известно, амбивалентен.

Впрочем, объяснительных возможностей когнитивной теории метафоры, как и теории селективных признаков нельзя абсолютизировать. Рассмотрим русские предложения:

*Молодость прошла.*

*Молодость промчалась.*

*Молодость пронеслась.*

? *Молодость проехала.*

? *Молодость проползла.*

В принципе, каждое из приведенных высказываний совместимо с семантической системой русского языка — все они реализуют одну и ту же концептуальную метафору ВРЕМЯ — ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. И все-таки ссылкой на данный семантический гештальт нельзя объяснить, почему одни выражения кажутся нам более предпочтительными и естественными, чем другие. Видимо, потому, что в содержании некоторых глаголов присутствуют элементы, «отвлекающие» внимание от идеи результативности (лимитативности), которая выражается в высказывании

— например, сема ‘средство передвижения’ в значении глагола *проехать* или сема ‘способ передвижения’ в значении глагола *проползти*.

Применение когнитивного подхода к метафорам встречается ряд сложностей и в контрастивных исследованиях. Так, в русском и польском языках можно выделить концептуальную метафору ЗАКОН — ЭТО ЧЕЛОВЕК, которая проявляется в прецедентных выражениях:

*Парламент принял закон.*

*Parlament uchwalił ustawę.*

Однако в области лексической сочетаемости существительных *закон* — *ustawa* имеются также важные различия, которых нельзя объяснить ссылкой на концептуальную метафору ЗАКОН — ЭТО ЧЕЛОВЕК:

*Uchwała w drodze* = ‘Закон на стадии приготовления’.

\**Закон в дороге* (на дороге, в пути).

Лакофф/Джонсон (1980, 181) принципиально подчеркивают, что не разделяют эпистемологического фундаментализма аналитической философии — они продолжают иную традицию философии языка — феноменологическую, согласно которой важнейшим фактором организации и структурирования знаний (шире — опыта) является онтология и опытные данные, одним из важнейших источников которых является человеческое тело. С другой стороны, если аналитическая философия, в частности, ее прототипическая версия — теория дескрипций Б. Рассела, рассматривала семантику языка с позиций номинализма (ср. тезис об особом, референциальном статусе единичных терминов), то теорию когнитивных метафор следует признать современной разновидностью философского реализма, признающего реальность за лингвистическими гештальтами вроде ИНФЛЯЦИЯ — ЭТО ВЕЩЕСТВО. В Европе в первой половине XX в. философский реализм был представлен школой “Wörter und Sachen“, один из ведущих представителей которой, австрийский лингвист Г. Шухардт (1960, 285), писал: «Историческое рассмотрение синтаксиса без философского осмысления не способно привести к широким и достоверным результатам».

Конфликт с модальной и интенциональной семантикой имеет, как представляется, еще социальный аспект, касающийся коммуникации научных сообществ. Во второй половине XX в. в связи с распространением постмодернистского стиля мышления в гуманитарных науках наметился крен в сторону антисциентизма — отказа от таких общепринятых в неопозитивистской традиции методов представления информации, как формализация или моделирование, и даже в сторону отказа от традиционных принципов аргументации. И. Бобровский (1998,

36) в связи с этим приводит афористическое высказывание П. Фейерабенда: *Anything goes* 'Все позволено'.

Антисциентизм стал, например, характерной чертой французского структурализма школы «Тель-кель», а также отдельных научных идиостилей, например, своеобразного армянского философа Э. Г. Аветяна (1989).

Модальная и интенциональная семантика разработала абстрактные экспликативные модели языкового значения, в которых куммулировались знания из разных областей: логики, эпистемологии, теории систем, математики, лингвистики, семиотики. Оперируя сложной логической системой интерпретации, в основе которой лежал истинностный критерий оценки значения, философы языка все больше и больше отдалялись от самого языка, а философия языка становилась непонятной большинству лингвистов (такой была реакция многих полонистов на изданную в 1984 году «Граматику современного польского языка» под редакцией З. Тополинской).

Возникновение и распространение когнитивной лингвистики, прежде всего, когнитивной теории метафоры, которая прозрачна по своей содержательной структуре и не использует специального метаязыка, было воспринято научным сообществом с огромным энтузиазмом, видимо, еще и потому, что это означало конец господства логицизма в языкознании.

Подобная ситуация уже наблюдалась в языкознании в конце XIX в., когда обозначился переход от логицизма, рационализма к натуралистическому и психологическому направлениям:

Слияние логики и грамматики или отождествление их, практиковавшееся в прежнее время, вызвало в дальнейшем сильную реакцию. Исследователи какого-либо языка или, точнее, историки языка идут в этом направлении по большей части даже дальше, чем представители философии языка (например, Штейнталь или Вундт); по их мнению, языкознанию нет никакого дела до логики, и они подчеркивают это с такой радостью, как будто у них вместе с логикой свалился с сердца тяжелый камень (Шухардт 1960, 283).

Межпарадигматические корреспонденции — отдельная тема исследования, поэтому здесь мы только коснемся вопроса о том, что многие черты современной постмодернистской парадигмы можно представить как рефлексы романтизма (о некоторых общих чертах этих парадигм см.: Kiklewicz 2002a, 271). Нет поэтому ничего удивительного в том, что “Metaphor We Live By” — программный документ когнитивного направления в языкознании, имеет ряд общих черт с другим историческим документом — «Манифестом коммунистической партии». В обоих

текстах есть параллельные места. Так, «Манифест», как известно, начинается с темы *призрака* — в аргументации воображаемых оппонентов: „Ein Gespenst geht um in Europa — das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet“. Первый абзац “Metaphor We Live By” также представляет точку зрения воображаемых оппонентов (most people), которые относятся к метафоре, скорее, как к *призраку* (extraordinary language). „Der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten als eine Macht anerkannt“, — пишут в короткой преамбуле Маркс/Энгельс. “We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action“, — пишут в том же первом абзаце Лакофф/Джонсон. Первая глава “Манифеста” называется „Bourgeois und Proletarier“ и посвящена теме борьбы: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen“. Как ни парадоксально, но первая глава “Metaphor We Live By” также посвящена теме борьбы, а именно — метафорам категории ARGUMENT IS WAR. Укажем также на сходство стилей обоих манифестов: в текстах практически нет ссылок и примечаний, идеологические противники не конкретизированы: в одном случае это — *die Bourgeoisie*, в другом случае — *the objectivist*. Не может ускользнуть от глаза и удивительный параллелизм соавторства: Маркс/Энгельс — Лакофф/Джонсон.

### 1.7.3. Метафора как когнитивный феномен

Принципиальная новизна теории Лакоффа/Джонсона состоит в когнитивном подходе (Leezenberg 2001, 136), хотя идея такого подхода в 30-е годы XX в. была сформулирована Ричардсом, а еще раньше о метафоре как о способе концептуализации, а именно — символической, магической основе познания, писал Э. Кассирер (Cassirer 1990).

Собственно, признание того факта, что метафорическая номинация отражает мыслительные и познавательные особенности человека, довольно широко представлено в лингвистической литературе. Так, К. К. Жоль (1984, 95) пишет, что «так называемое переносное значение и есть установление аналогии между двумя понятиями». А. Фурдаль (Furdal 1990, 220) указывает, что познавательная сущность метафоры заключается в экспликации общих свойств, которые имеются в содержании понятий, занимающих разные места в семантической системе языка. Т. В. Симашко/Н. М. Литвинова (1993, 202) определяют метафору как «одно из фундаментальных свойств человеческого мышления — ассоциацию идей по сходству».



Во всех этих случаях речь идет о метафоре как отношении (или взаимодействии) уже готовых, закодированных в сознании понятий, признаков, идей. Новизна же теории Лакоффа/Джонсона заключается в том, что метафора рассматривается как способ генерирования понятий, как свойственный человеческому сознанию и отражающийся в фактах языка тип ре-презентации (*knowledge representation*), т.е. сохранения в памяти ранее полученных впечатлений.

Когнитивная наука, как известно, занимается изучением формирования и функционирования структур сознания, которые отвечают за получение, переработку и хранение информации. Интерес к этой области знания объединил разные науки — философию, логику, психологию, герменевтику, теорию информации, в том числе — и языкознание. Когнитивный подход в языкознании состоит в том, что принимается гипотеза, согласно которой по данным языка можно восстановить принципы и механизмы познавательной деятельности человека. Массовый характер метафорической номинации дает исследователям основание считать, что мышление (во всяком случае обыденное мышление) также построено по метафорическому принципу: в основе концептуализации объектов одного типа лежат знания (познавательные модели, домены), ранее полученные об объектах другого типа. Кроме того когнитивные гештальты в речевой деятельности реализуют субординативную функцию — они упорядочивают речевой материал, вносят в языковую семантику мотивационный параметр:

The lexical organization of polysemous words is not a repository of random, idiosyncratic information, but is structured by general cognitive principles that are systematic and recurrent throughout the lexicon. These principles arise from our phenomenological, embodied experience (Gibbs/Matlock 1997, 213).

## 2. Постулаты когнитивной теории метафоры

В основе когнитивного подхода к метафоре, как справедливо указывают исследователи (Taylor 1989, 133; Leezenberg 2001, 135), лежит предложенная Ричардсом и развитая Блэком динамическая трактовка метафоры, которая рассматривает смысл метафорического выражения как результат взаимодействия двух значений (или субъектов) — главного и вспомогательного: «к главному субъекту прилагается система ассоциируемых импликаций, связанных со вспомогательным субъектом» (Black 1990, 167; 1979, 28; см. также: Bernáth 2001, 19).

При этом следует отметить, что некоторые теоретические положения Блэка и Лакоффа/Джонсона не только взаимно несовместимы, но и

прямо противоположны (см. далее). Так, интеракционистская точка зрения у Лакоффа/Джонсона сочетается с субституциональным подходом: концептуальные метафоры типа СПОР — ЭТО ВОЙНА основываются на идентификации. Такой подход критикуется Блэком.

С когнитивной точки зрения функциональная значимость метафоры проявляется в том, что с помощью ассоциируемых импликаций одной познавательной модели (категории, домены) конструируется познавательная модель нового объекта (или группы объектов), вводимого в опытную область человека. Тезис о том, что все операции нашего опыта по своей природе интерактивны (Lakoff/Johnson 1980, 178), занимает центральное место в когнитивной теории метафоры.

Обратим внимание, что интеракционистская теория перекликается с диалогической (корреспондирующей) концепцией мышления и внутренней речи, которую в первой половине XX в. предложила русская психологическая школа во главе с Л. С. Выготским, а также филологическая семиотика М. М. Бахтина. Коммуникация — это лишь частный случай диалогичности, которая может быть реализована не только во внешней, но и во внутренней речи (Киклевич 2000, 69). Выготский, которому принадлежит афористическое высказывание „Мысль — это речь, обращенная к самому себе», писал:

Эгоцентрическая речь [...] возникает на основе социальной путем перенесения ребенком социальных форм поведения, форм коллективного сотрудничества в сферу личных психических отношений (1982, 56).

Если Блэк (1979, 39) осторожно пишет, что по крайней мере некоторые метафоры используются как познавательные инструменты (“if some metaphors are what might be called *cognitive instruments*, indispensable for perceiving connections that, once perceived”), при этом считает, что когнитивная функция языковых номинаций лишь вспомогательная, то Лакофф/Джонсон высказывают подобное суждение более категорически:

[...] Metaphor is not just a matter of language [...] We shall argue that, on the contrary, human *thought processes* are largely metaphorical [...] The human conceptual system is metaphorically structured and defined (1980, 6).

В работах, посвященных афазии, Р. Якобсон рассматривал метафору и метонимию как такие способы конденсированной реализации принципа селекции и принципа комбинации в построении языкового дискурса, которые непосредственно связаны с особенностями функционирования мозга (1989, 169ссл.).

Метафора с когнитивной точки зрения представляет собой процессирование (*mapping*) знаний о сущностях одного рода на восприя-

тие и понимание сущностей другого рода. В операции проецирования участвуют два объекта: 1) исходная концептуальная область (модель) — донор, источник, эффектор (*donor/source domain*) и 2) определяемая концептуальная область — рецептор, цель (*receptor/target domain*).

При экпликативно-пропозициональном подходе считается, что понятие формируется в сознании путем интеллектуального расчленения наблюдаемого явления, выделения существенных признаков, приписывания им символов и построения пропозициональной модели. Ср. построенную в соответствии с данными критериями экспликацию понятия спора:

*X спорит с Y* = ‘X обсуждает с Y-ом Z; X думает о Z-е иначе, чем Y; X показывает, что ему не нравится, что Y думает о Z иначе, чем он; X стремится к тому, чтобы Y думал о Z так же, как думает о нем X’.

Лакофф/Джонсон рассуждают иначе: высказывания типа *Your claims are indefensible*, по их убеждению, указывают на то, что понятие спора в обыденном сознании формируется на базе понятия войны. Концептуальная метафора СПОР — ЭТО ВОЙНА представляет собой своего рода порождающую модель: она указывает на то, что имеется хотя бы один существенный признак, который является общим для обоих понятий, что существуют интервалы абстракции, в которых носители двух понятий не различимы. Это стимулирует когнитивную активность субъекта, состоящую в том, что, конструируя некоторую познавательную категорию, он должен актуализировать в своей когнитивной системе такие домены и такие их свойства, которые могли бы функционировать в качестве упомянутых интервалов неразличения. При таком подходе понятие спора получает иную экспликацию:

*X спорит с Y* = ‘X делает по отношению к Y-у так, как X делает, когда воюет с Y-ом’.

Баранов/Добровольский (1997, 14) описывают механизм метафорической проекции как *сукцессивный процесс*, в котором одна операция сменяет другую (см. также: Martin 1997).

Определяемая таким образом когнитивная метафора соответствует введенному Г. Бэйтсоном (1988) понятию *абдуктивного мышления*, которое базируется на умозаключениях по аналогии. Так, в соответствии с правилами дедуктивного вывода мы строим категорический силлогизм:

*Люди смертны*  
*Сократ — человек*  
→ *Сократ смертен*

Абдуктивные силлогизмы имеют вид:

*Трава умирает*

*Люди умирают*

→ *Люди — это трава*

Несмотря на то, что подобный способ рассуждения не соответствует правилам классической логики, Бэйтсон считает его естественным и широко распространенным в обыденном и научном сознании и даже утверждает, что «силлогизм травы» функционирует как общая биологическая схема поведения, т.е. проявляющаяся также в животном мире.

М. Блэк подчеркивает неповторимый и креативный характер метафор, считает, что они не сводимы к реестру семантических правил:

[...] Metaphorical statement involves a rule violation: There can be no rules for “creatively” violating rules. And that is why there can be no *dictionary* (though there might be a thesaurus) of metaphors (1979, 25).

Лакофф/Джонсон, напротив, стремятся к идентификации и обобщению метафорических проекций. Получаемые таким образом концептуальные метафоры типа СПОР — ЭТО ВОЙНА или ПСИХИКА — ЭТО МАШИНА составляют основу когнитивной системы человека, регулирующей его речевую и неречевую деятельность.

Считается, что число образных схем репрезентации, на которых базируются метафорические модели, невелико. К основным таким схемам относятся (Lakoff 1987, 271ссл.; Johnson 1987, 112ссл.):

1. контейнер (*содержание статьи, пустой разговор, переполнила радость, до последней капли*)
2. дорога и путешествие (*прошли годы, жизнь подошла к концу, грядет пополнение*)
3. дистанция — близость/отдаленность (*близкий приятель, держится на дистанции, на короткой ноге*)
4. контакт — соединение/разъединение (*разорвать отношения, бес-связный текст*)
5. передняя — задняя часть (*перед нами светлое будущее, задним числом*)
6. часть — целое (*брак распался, собраться с силами, в пух и прах*)
7. линейная последовательность (*первая ласточка, сомкнуть ряды, от точки до точки*)
8. верх — низ (*высокое звание, верхняя одежда, низкие вкусы, снизить требования*) и др.

Один из первых опытов экспликации подобных семантических проекций принадлежит русскому математику В. А. Успенскому (1979/1997),

который выделил несколько типов «вещных коннотаций» абстрактных существительных, рассматривая их как «компактный, синкретический способ кодирования» семантической информации.

Основные постулаты когнитивной теории метафоры удобно рассмотреть и далее проанализировать в том порядке, в котором их представляет О. Екель (Jäkel 1997; 1998; 2002):

1) постулат всеобщности (*ubiquity hypothesis*): метафора не является специфическим феноменом поэтической или риторической деятельности — она широко представлена также в практике обыденной разговорной речи и в разного рода специализированных дискурсах, что и обуславливает необходимость описания метафоры как существенной части общей языковой компетенции человека;

2) постулат категориальности (*domain hypothesis*): метафорические выражения группируются в соответствии с общими понятийными категориями и представляют собой реализацию концептуальных метафор, сущность которых заключается в систематическом взаимодействии двух концептуальных областей (или двух типов образных моделей) — исходной ( $X$ ) и целевой ( $Y$ ). Таким образом, конкретное метафорическое выражение реализует закодированное в сознании языкового субъекта осмысление области  $Y$  на фоне области  $X$ , т.е. некоторое описываемое явление характеризуется с использованием уже имеющегося концептуального опыта. Такие концептуальные модели называются метафорическими, а соответствующий способ интеллектуального моделирования мира — метафорической проекцией (*metaphorical mapping*);

3) постулат моделируемости (*model hypothesis*): обычно концептуальные метафоры формируют когерентные когнитивные модели как формы упорядоченного, но все-таки в определенной степени упрощенного (одностороннего) знания о действительности. Эти идеальные когнитивные модели (ИСМ в терминологии Дж. Лакоффа) могут быть восстановлены методами когнитивной лингвистики, прежде всего на материале обыденной речевой коммуникации. ИСМ рассматриваются как культурно маркированные модели, позволяющие эксплицировать наивную картину мира, которая культивируется представителями данного языкового сообщества;

4) постулат диахронии (*diachrony hypothesis*): когнитивная теория метафоры подтверждается данными диахронических исследований, из которых вытекает обобщенный, т.е. моделируемый характер процессов метафорической номинации;

5) постулат однонаправленности (*unidirectionality hypothesis*): как правило, концептуальная метафора  $X$  есть  $Y$  связывает абстрактную, сложную с точки зрения концептуализации предметную об-

ласть  $X$  с предметной областью  $Y$ , которая «открыта» для чувственного восприятия и, следовательно, может быть использована как средство интерпретации  $X$ ;

б) постулат инвариантности: в концептуальных метафорах по крайней мере некоторые объекты концептуализации (элементы концептуализированной предметной области) определяются (осмысливаются) в рамках отношения двух предметных областей — исходной и целевой, которое (отношение) учитывает их структурное сходство. Данное отношение является своего рода инвариантом, обобщающим целую серию фактов и составляющим основание единства соответствующей концептуальной домены;

7) постулат потребности (*necessity hypothesis*): объяснительная функция метафор наиболее отчетливо проявляется при номинации абстрактных концептуальных областей, теоретических конструктов и метафизических понятий, которые не поддаются прямому чувственному восприятию и которые с трудом осмысливаются неметафорически. Воплощенная в метафоре связь абстрактного и конкретного (чувственного) является существенным биофизическим свойством познавательной деятельности, обеспечивающим единство человеческого опыта;

8) постулат креативности: смысл метафорических выражений не поддается простому перефразированию — его нельзя эксплицировать в логических формах без потери информации. Это касается не только поэтической речи, но также обыденной или научной языковой коммуникации, где метафорические выражения конвенционально закреплены за схемами и моделями невербального поведения, имеют устойчивую прагматическую, в частности, эвристическую функцию;

9) постулат фокусирования (*focussing hypothesis*): метафора отражает только один из конкретных аспектов целевой предметной области, оставляя «за кадром» другие. Именно такое фокусирование делает возможным употребление ряда альтернативных метафор, «высвечивающих» разные аспекты одной и той же предметной области.

### 3. Дискуссия

#### 3.1. Универсальность или идиосинкратичность?

Homer hat keine Metapher.

Franz Blei

В пользу универсальности метафор — и как способа языковой номинации, и как типа познавательной деятельности — приводятся разнообразные свидетельства: метафора охватывает знаковые единицы разного формата — от функциональных (синсемантических) лексем (например, предлогов) до идиоматических выражений и даже целых метафорических (аллегорических) текстов (типа «Парфюмера» П. Зюскинда или устных интеррогативных дискурсов в групповом психотренинге, см.: Вачков 2000, 119сл.). Одно из принципиальных положений «Мифологии» Р. Барта (1970) состоит в том, что мифы представляют собой не только образные и «несоответствующие» рассказы, — они используются в повседневной интеллектуальной практике как естественный способ осмысления окружающего мира, структурирования знаний (см. также: Nerlich/Hamilton/Rowe 2002). Подобное утверждение находим в книге Лакоффа/Джонсона:

Like metaphors, myths are necessary for making sense of what goes on around us. All cultures have myths, and people cannot function without any more than they can function without metaphor. And just as we often take the metaphors of our own culture as truths, so we often take the myths of our own culture as truths (1980, 185сл.).

Метафора характерна для всех стилей и жанров, хотя прежде всего она распространена в художественных и профессиональных текстах. Так, А. Вежбицкая в статье «Значение Иисусовых притч: семантический подход к Евангелиям» (1999, 730сл.) пишет: «Учение Иисуса, в том виде, как оно представлено в Евангелиях, в большой мере опирается на метафоры». Она перечисляет некоторые метафорические образы: царя, сеятеля, отца, пастыря и др.

В научной литературе (Bateson 1988) можно встретить ссылки на выдающихся деятелей науки, которые заявляли, что думают преимущественно метафорическими образами или «специально воображаемыми конструкциями». Так, Г. Пойя (Pólya 1976) приводит реплику А. Эйнштейна, которую можно рассматривать как яркий пример абдуктивного мышления:

*Почему все электроны имеют одинаковый заряд? Ну хорошо, а почему все козы орешки имеют одинаковый размер?*

Л. М. Алексеева, ссылаясь на такие научные метафоры, как *язык, корень, оборот, связь* (в лингвистике), *время, пространство, сила, давление, масса* (в физике), пишет о том, что «весь исторический путь развития науки отмечен созданием метафорических вех, по которым можно [...] восстановить картину научного творчества» (1998, 27).

Д. Ю. Жданухин (2002) пишет об отношении к метафоре в стилистике юридических текстов:

Официальное отношение к метафоре в юриспруденции выражено в нормативно правовых актах. Например, в Методических правилах по организации законопроектной работы Федеральных органов исполнительной власти [...] отмечается: «Использование эмоционально-экспрессивных языковых средств, образных сравнений (эпитетов, метафор, гипербола и др.) не допускается». Аналогичные положения находим и в Приказе ГТК России от 14.12.2000 N 1155 [...] Иногда судьи не сдерживают своих эмоций и допускают в текстах судебных актов использование риторических фигур: сравнений, метафор, гипербола, литот и др. Неуместность использования перечисленных экспрессивных средств языка в судебных актах определяется особенностями официально-делового стиля и языка судопроизводства [...] Метафоры присутствуют и в речи судей, и в Преамбуле Конституции РФ, и в изучении юриспруденции. Метафора — явление которое, с одной стороны, явно присутствует в юридической деятельности, а с другой стороны, является персоной нон грата в практике законодательной и правоприменительной.

И все-таки постулат всеобщности нуждается в существенных оговорках. О. Екель (Jäkel 1998, 102) ставит под сомнение тезис о неустраимости метафор из обыденного языка. Он показывает, что неметафорические выражения также весьма распространены, а их функции разнообразны, ср.:

*Wir sind hier in diesem Raum.*

*Manche sitzen auf den wenigen Stühlen, andere müssen stehen.*

*Ich habe mich eben an dem großen, schweren Tisch gestoßen.*

*Hast du das gesehen.*

*Der Lehrer spricht zu leise.*

*Ich höre nichts.*

*Bald gehe ich nach Hause.*

Исследователь, правда, сразу оговаривается, что такой, прямой способ выражения используется, главным образом, тогда, когда мы описываем



физический, наблюдаемый мир. Подобное экстенсивное описание можно перевести в фигуративное, метафорическое:

*Wir sind hier in einer aussichtslosen Lage.*

*Manche sitzen auf den wenigen gutdotierten Stellen, andere stehen auf der Straße.*

*Ich stoße mich am schwerfälligen Erscheinungsbild der Schule.*

*Hast du das Problem gesehen?*

*Der Lehrer spricht in Rätseln.*

*Ich höre keinen Sinn heraus.*

*Gleich gehe ich an die Decke.*

Здесь уже сообщается не о фактических положениях вещей, а об абстрактных состояниях — таких, как безработица, трудности с коммуникацией, отсутствие надежды, поэтому каждое из приведенных высказываний — метафорическое. Екель считает, что границы между метафоричностью и буквальностью не является строгой.

Прежде всего обращает на себя внимание, что постулат (1) в реестре Екеля в какой-то степени противоречит постулату (8): в первом случае признается универсальный, надстилевой характер метафоры, во втором — конвенциональный, культурно маркированный. Существуют, как представляется, веские аргументы в пользу того, что предпочтение следовало бы отдать второй точке зрения. Если рассматривать языковую метафору как конденсированную пропозицию с предикатом подобия (в духе Миллера) или с предикатом ассоциации/отношения (в духе Серля), то возникает вопрос о механизме ее декомпозиции в речевой коммуникации. Совершенно очевидно, что информация типа

*Когда я говорю (нечто) о X, то я думаю о Y.*

слишком неопределенна: она содержит только интерпретативные предикаты (делиберативный и гностический), но не соотносит аргументы X и Y с какими-либо дескрипторами. Это означает, что метафора сама по себе, как языковой материал неопределеннозначна (термин В. В. Мартынова), т.е. открыта для различных семантических интерпретаций — метафорических и неметафорических. На семантическую неопределенность, неточность метафоры указывают также другие авторы: Kaufer 1983; Pinkal 1980; 1985; Дённингхауз 2001 и др. Рассмотрим пример:

*Стоит дамочка, облокотившись на машину с открытым капотом. Подходит мужик и говорит: «Можно прикурить?» («Комсомольская правда». 14.08.2002).*

Пока что у нас нет оснований для интерпретации глагола *прикурить* иначе, как в его основном значении: ‘зажечь сигарету, папиросу от другой’. Но — читаем дальше:

*Она ему: «Валяй!» Тот подсоединяет клеммы к аккумулятору.*

Расширение контекста требует от нас корректировки принятой семантической гипотезы: *прикурить* теперь уже интерпретируется метафорически, а именно — как ‘зарядить аккумулятор, подсоединив его к другому, действующему аккумулятору’.

Неопределеннозначность наиболее очевидна в случае так называемых сентенциальных метафор (*sentential metaphor*) (Miller 1979, 233). Так, высказывание

*Птичка улетела*

только в соответствующем социально-когнитивном контексте будет декодировано как сообщение о побеге Джона из тюрьмы.

Исследователи, принадлежащие к когнитивному направлению, сами признают неоднозначность многих концептуальных метафор. Так, Дж. Тэйлор (Taylor 1989, 136ссл.) пишет, что образная схема «верх — низ» проецируется на три разные концептуальные области:

1. количество и степень
2. оценку и
3. иерархию власти

Тогда возникает вопрос: как в конкретных актуализациях схемы «верх — низ» осуществляется выбор одной из этих интерпретаций? Как, например, следует истолковать выражение *высокие отношения* — как ‘отношения представителей политической элиты’ или же ‘хорошие, положительные в нравственном смысле отношения’?

Успешное функционирование метафоры обусловлено несколькими факторами. Стилистический фактор декомпозиции метафорических выражений это — общность коммуникативного контекста, фиксированный тип (стиль, жанр) речевой деятельности. Тезису о всеобщности метафорической номинации можно противопоставить тезис о стилистической маркированности метафорических выражений. Так, Ю. С. Степанов (1997, 304), полемизируя с А. Б. Пеньковским, который на материале русского языка описывает метафорические модели концепта *радость*, реализуемые в конструкциях с глагольными предикатами *рождается, растет, живет, просыпается, затихает, умолкает* и т.п. (1991; 2004), справедливо указывает, что область функционирования этих метафор ограничена рамками литературного языка — в разговорной речи существительное *радость* вообще редко выступает в ка-

честве подлежащего. В самом деле, в обыденной коммуникации мы отдадим предпочтение синтетической конструкции

*Посмотри, как Петя обрадовался*

перед содержащей в себе явные черты книжного стиля аналитической конструкцией

*Посмотри, какая радость охватила Петю.*

Значит, сфера употребления концептуальной метафоры ЧУВСТВО — ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО ограничена, закреплена за определенным типом (определенными типами) речевого взаимодействия. Не исключено также, что многие подобные книжные метафоры являются *з а и м - с т в о в а н и я м и*, а следовательно, можно поставить под сомнение их психическую, репрезентативную первооснову (см. Алексеева 1998, 32).

В широком аспекте стилистический фактор следует рассматривать как тип письма, который накладывает определенные ограничения на употребление метафорических выражений, ср. романтический и позитивистский подходы к метафоре.

К о м м у н и к а т и в н о - т е м а т и ч е с к и й ф а к т о р функционирования метафор заключается в содержательной когерентности текста (дискурса), которая в определенной степени компенсирует метафорическую конденсацию смысла. Рассмотрим польский пример, анализируемый в работе (Dobrzyńska 1994, 85сл.):

*Nie wiedziałam cię już od miesiąca.*

*I nic. Jestem może bledsza,*

*trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,*

*lecz widać można żyć bez powietrza* (М. Jasnorzewska-Pawlikowska).

Существительное *powietrze* 'воздух' является здесь метафорой любви: *Когда я говорю о воздухе, я думаю о твоей любви*. В принципе, в тексте нет прямых указаний на эту ассоциацию, и вырванное из контекста, высказывание

*Można żyć bez powietrza*

было бы лишено метафорического смысла. Направление интерпретации определяет заданная в контексте тема любви и общая коммуникативная предпосылка, согласно которой по крайней мере некоторое время заданная тема должна поддерживаться всеми партнерами. Г. П. Грайс (1975) рассматривает подобные примеры как импликатуры, основанные на принципе кооперации, в частности, на постулате релевантности.

Прагматический фактор реализации метафоры проявляется в том, что метафорическая номинация опирается на сходство коммуникативных репертуаров участников информационного обмена (сказанное не относится к художественным метафорам) (см. Kiklewicz 2007). Об этом пишет Д. Ю. Жданухин:

Использования в речевом акте метафоры целесообразно в случае, когда информация не может быть оптимально передана прямым высказыванием [...] Ситуации, когда юрист остается непонятым, даже выражаясь на русском языке, есть в практике любого читателя. Это вызвано уникальностью опыта каждого субъекта, различиями образовательного уровня и профессиональной спецификой. Метафора позволяет в некоторой мере преодолеть различия препятствующие эффективной коммуникации (2002).

Когнитивно-культурный фактор функционирования метафоры заключается в том, что метафорическая проекция базируется на общем для участников информационного обмена тезаурусе — базе знаний (симптоматично, что русская номинация *со-знание* как раз и отражает когерентность концептуальных систем).

М. Лизенберг (2001, 142) как раз критикует Лакоффа/Джонсона за то, что они рассматривают в качестве источника информации об исходной домене непосредственное сенсорное восприятие субъекта и сформированный на этой базе опыт. Это, считает данный автор (ссылаясь на работы предшественников, прежде всего: Indurkha 1992, 126), не соответствует действительности, потому что здесь игнорируются социокультурные факторы:

Lakoff & Johnson take linguistic meaning to be derived from ‘embodied conceptual structure’, which they believe is directly meaningful; basic-level categories and image schemas, they hold, directly emerge from preconceptual experience, and because of this essentially causal relation to experience, they are ‘understood’, i.e., meaningful to us [...] Obviously, the basic-level and image schema structures emerging from preconceptual experience cannot in their turn be derived from linguistic meaning, as that would render the attempt at reduction circular. However, this is precisely what seems to be the case: preconceptual structure, which Lakoff and Johnson claim to be directly meaningful, is in fact meaningful only given a culturally determined background (Leezenberg 2001, 142).

Семантическую характеристику языковых выражений, интерпретация которых всегда опирается на знания о мире (или так называемую апперцептивную базу), Р. Дирвен определил как *minimal-specification view*. Это значит, что в структуре языковых выражений содержится, скорее, только намек на закодированный в них смысл, который слушающий

должен раскрыть с помощью своей когнитивно-культурной компетенции. Анализируя предложение

*The cat jumped over the wall* = ‘Кот перепрыгнул через стену’.

Дирвен пишет:

The preposition *over* does not describe the whole trajectory (arc) of the cat's motion, but, of all the possible elements in the much richer global reality, it only encodes the verticality notion of “higher than and proximate to some point”. Thus, the cat's jump is conceptualised as a scene, consisting of a point A, where the cat is at the lowest point, a point B, when the cat arrives at the top of the arc, and finally a point C, where the cat lands at the other lowest level. This richer information is not expressed in the sentence as such, but thanks to the integration of our knowledge of linguistic forms and our general background knowledge of the world we can construct the rich interpretations that we need in interaction (2001).

Здесь можно привести и более классическую иллюстрацию — проанализированное Дж. Серлем (Searle 1979, 94ссл.) высказывание:

*Кошка на коврике.*

По мнению Т. Добжинской, подобным образом знания о мире актуализируются при интерпретации метафорических выражений, например, выражения *Miłość to powietrze* ‘Любовь — это воздух’:

Twoja miłość jest dla mnie... Aby powiedzieć, jaka jest dla mnie twoja miłość, myślę o powietrzu, ponieważ o twojej miłości można powiedzieć to, co się mówi o powietrzu: *Powietrze jest niezbędnie potrzebne do życia każdemu człowiekowi (a więc i mnie) → Twoja miłość jest mi niezbędnie potrzebna do życia [...]* Aby zrozumieć sens metafory, trzeba odwołać się do elementarnej wiedzy na temat powietrza. Powietrzu możemy przypisać m. in. konotację ‘niezbędne do życia’. Wystarcza ona do zrozumienia metafory (1994, 85).

О культурной мотивированности метафор пишет Дж. Тэйлор (1989, 138). По его мнению, все метафорические проекции так или иначе мотивированы культурой и опытом деятельности человека. К примеру, семантическая интерпретация пространственной оппозиции «верх — низ» опирается на опыт визуального восприятия предметов. Вертикальное измерение является доминирующим, потому что ассоциируется с прямой фигурой человека — признаком жизнедеятельности, здоровья, ср. горизонтальное положение больного.

Актуализируемая в речевой коммуникации общая база знаний проявляется в том, что в рамках языкового и культурного сообщества опре-

деленные концепты (понятийные категории) соотносятся с определенными прототипами — экстенциональными (т.е. конкретными референтами) или интенциональными (т.е. отдельными признаками). В принципе, на прототипический фактор ссылаются и сами авторы когнитивной гипотезы (Black 1990, 167; 1979, 28; Lakoff/Johnson 1980, глава 24), Екель указывает на него в постулате моделируемости.

Механизм актуализации семантических прототипов в процессе декомпозиции метафоры можно представить следующим образом. Метафорическое выражение включает два понятия и промежуточный признак, который в дискурсе не актуализируется (Дюбуа/Пир/Тринон и др. 1986, 197). Этому признаку соответствует неопределенное местоимение *нечто* в следующей экспликации:

*Когда я говорю о X, то я думаю нечто о Y.*

Поскольку за концептом, соответствующим символу X, в памяти носителей языка закреплены определенные прототипические признаки и референты, то неопределенное *нечто* легко конвертируется в конкретные дескрипторы:

*Когда я говорю о X, я думаю нечто о Y; я думаю о Y то, что я обычно думаю о X.*

Так, используя в метафоре *Miłość to powietrze* в качестве источника концепт *powietrze*, мы ссылаемся на параметр по умолчанию — прототипическое свойство источника ‘воздух необходим для жизни’. Ср. экспликацию:

*Я говорю: — Наверно, можно жить без воздуха.*

*Когда я говорю о воздухе, я думаю о любви.*

*Я думаю о любви то, что я обычно думаю о воздухе.*

*Я обычно думаю о воздухе, что воздух необходим для жизни.*

*Я думаю (сейчас) о любви, что любовь необходима для жизни.*

Каждое языковое сообщество в процессе жизнедеятельности вырабатывает свои системы концептуализации мира, поэтому метафорические модели накладываются на культурный субстрат (см. Sienki 1997). Основу метафорической номинации составляют не только опытные, эмпирические данные (в частности, образные схемы типа «верх — низ», которым так много внимания уделяют Лакофф/Джонсон), но и культурные стереотипы, которые нередко имеют условный характер (Beardsley 1990, 203). Так, в семантической структуре русского языка существительные *осел*, *свинья*, *слон*, *гиена*, *бык* и др. имеют сильные, очевидные коннотации, а вот, например, у существительного *барсук* такой коннотации нет. Это проявляется в особенностях метафорической номинации, ср.:

*Иван — осел.*

? *Иван — барсук.*

Указывая на сходство Ивана с ослом, мы актуализируем закодированный в нашей культуре прототип — [глупость], указание же на сходство Ивана с барсуком не имеет такого семантического эффекта, потому что извлечь из культурной памяти соответствующий прототип не удастся. Носителями культурных прототипов являются прецедентные тексты (см. Красных 2003, 169ссл.).

Важным фактором реализации метафорических выражений являются бинарные семантические оппозиции — своего рода культурный код переработки и хранения информации о мире. В. Н. Топоров (1991) пишет о том, что в наскальных рисунках эпохи палеолита выступают регулярные корреляции: *женщина — животное — чужой*. В данном случае мы также имеем дело с особой метафорической проекцией — «интеракцией субъектов», которая возникает на базе серии закодированных в культуре семантических оппозиций:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| +              | —                   |
| <i>верх</i>    | <i>низ</i>          |
| <i>правый</i>  | <i>левый</i>        |
| <i>мужской</i> | <i>женский</i>      |
| <i>человек</i> | <i>животное</i>     |
| <i>свой</i>    | <i>чужой</i>        |
| <i>хороший</i> | <i>плохой</i>       |
| <i>близкий</i> | <i>далекий</i>      |
| <i>молодой</i> | <i>старый</i> и др. |

Семантические корреляции устанавливаются именно между элементами одной и той же — положительной или отрицательной — ассоциативной парадигмы. Поэтому концепт «женский» ассоциируется с концептом «животное» или концептом «чужой», а, например, концепт «левый» во многих культурах мира устойчиво коррелирует с концептом «плохой».

Каждая метафорическая проекция должна удовлетворять критерию культурной совместимости. Это значит, что использование некоторого понятия в качестве семантического представления той или иной информации должно согласовываться со стандартами данной культуры или же с данным социальным/интерактивным контекстом, т.е. условиями, в которых протекает вербально-мыслительная деятельность. Степень культурной совместимости метафорических проекций можно представить в виде предиката высшего порядка  $P$  в формуле на языке логики предикатов:

$P(R(x, y), S)$

где  $R$  — символ метафорической проекции,  $S$  — символ стереотипа культуры (стереотипного представления о некоторой понятийной категории),  $x, y$  — исходная и вспомогательная домены.

Например, существуют культурные ограничения концептуализации/номинации ЧЕЛОВЕКА с помощью вспомогательной домены ЖИВОТНОЕ — именно по этой причине приводимые далее высказывания следовало бы признать некорректными, т.е. коллидирующими со стереотипами русской (а также европейской) культуры:

*Жена Ивана ростом — с твою корову.*

*У Тамары волосы каштанового цвета, как у твоей собаки.*

Ситуативный фактор декомпозиции метафорических выражений заключается в общности коммуникативной и референциальной ситуации. Действие этого фактора мы наблюдали при анализе русского глагола *прикурить* (см. выше). Данный фактор, по существу, занимает центральное место в эмпирической концепции истины Лакоффа/Джонсона.

Наконец, лингвистический фактор употребления метафоры релевантен прежде всего применительно к конвенциональным (стертым) метафорам, значения которых закодированы в системе языка и доступны всем его носителям независимо от усвоенных специальных знаний, ситуации общения и речевого контекста. Однако метафорическая декомпозиция только на базе языковой компетенции встречается редко и вряд ли может быть успешной. Обычно данный фактор дополняется актуализацией паравербального контекста.

Вероятно, следует согласиться с Н. Гудманом, который пишет:

*Metaphor permeates nearly all discourse; thoroughly literal paragraphs without fresh or frozen metaphors are hard to find in even the least literary texts (Goodman 1981, 226; см. также: Eco 1985, 243).*

Но все-таки в разных типах дискурсов, при разных когнитивных, коммуникативных и ситуативных условиях речевой деятельности функционирование метафор — и в плане содержания, и в плане выражения — существенно варьируется. Это дает основание утверждать, что метафора представляет собой не столько универсальный, сколько идиосинкратический феномен.



### 3.2. Проблема когнитивной релевантности

Как уже отмечалось, когнитивная гипотеза ставит акцент на познавательной (моделирующей) функции метафор (в связи с этим Д. Росс пишет о «метафорической экспансии», см. Ross 1993, 38). Данную сторону метафорических выражений О. Екель отразил в постулатах (2) и (6). Тезис о когнитивной релевантности метафорических переносов может быть, однако, принят только с весьма существенными оговорками.

Метафорическая проекция является одним из способов концептуализации опытных данных, репрезентации знаний и впечатлений. Дж. Лакофф (1987) различает четыре типа моделей обработки информации у человека:

1. пропозициональные — специфицируют элементы, их свойства и отношения
2. образно-схематические (*image-schematic*) — базируются на представлениях о пространстве
3. метафорические — проекции пропозициональных или образно-схематических моделей
4. метонимические — используют один элемент модели для представления другого элемента

Уже из самого этого перечня вытекает, что по отношению к пропозициональным и образно-схематическим моделям метафорическая проекция является вторичной. При этом остается неясным, как функционируют и, в частности, взаимодействуют выделенные Лакоффом четыре типа концептуализации, каковы их возможные конфигурации.

Э. Кассирер (1990), различая два вида ментальной деятельности — метафорическую и дискурсивно-логическую, писал, что дискурсивно-логическое мышление состоит в серии постепенных переходов от частного к общему, в формировании понятий и законов естественных наук, тогда как метафора характерна для этапа дологического мышления, отложившегося в языке, мифологии, ранних формах искусства и религии (см. также: Bateson 1988).

Дж. Брунер различает три способа репрезентации знаний (нельзя не отметить совпадения этой классификации с делением знаков на три типа: симптоматические, иконические и символические):

1. предписывающий — моторные рефлексии, действия
2. образный — чувственные (прежде всего зрительные) представления и
3. языковой — языковые номинации

Особенность языковой репрезентации как сохранения ранее пережитых впечатлений с помощью композиций языковых знаков состоит в ее гибкости, надситуативности и универсальности:

Такие системы, как язык, дают возможность образовывать новые символы для репрезентации абсолютно всего — даже вещей, которые нельзя ощутить или увидеть (Слобин 1976, 183).

Имея в виду репрезентативную функцию естественного языка, Брунер (1977, 337) считает «лексическое кодирование событий лишь частным (и, по-видимому, тривиальным) случаем грамматического (пропозиционального, дискурсивно-логического. — А. К.) кодирования», подчеркивая при этом важнейшую роль с и н т а к с и с а в формировании мысли.

Языковое кодирование, понимаемое как приписывание определенным когнитивным объектам словесных обозначений (лексических ярлыков) не является, по Брунеру, надежным средством репрезентации. Такое кодирование полезно только в том случае, когда речь идет об упорядочении ряда форм, но исключает возможность запоминания каждой из них (1977, 342сл.). Нет поэтому ничего удивительного в том, что генеративная лингвистика, базирующаяся на репрезентативной функции языка, сосредоточилась прежде всего на синтаксических структурах, ведь они обладают наибольшей психологической релевантностью.

Действительность, впрочем, оказывается сложнее. Языковая репрезентация нередко реализуется с явной опорой на ситуативный контекст, т.е. сопровождается образной и даже предписывающей репрезентацией, что убедительно показал Б. Бернштейн на примере так называемого «публичного» языка.

Кроме того условность лексических номинаций явно преувеличена: в форме знака частично отражена информация о референте. В работе Kiklewicz 2001, 41 приводятся данные, согласно которым на 8.230 немотивированных польских существительных приходится 36.240 (80%) мотивированных (т.е. производных). На 56 мотивированных глаголов в русском языке приходится один немотивированный глагол. А общее соотношение мотивированных и немотивированных лексем в русском языке составляет: 126.690 (87%) — 18.118. Это ставит под сомнение обоснованность утверждения, что «внутренняя форма актуально осознается лишь для сравнительно небольшой части лексики» (Баранов/Добровольский 1998, 36).

В метафорических номинациях типа *крыло (здания)* также частично отражается содержание и структура обозначаемого понятия, поэтому в области языковой репрезентации можно было бы выделить, по крайней мере, три уровня:

1. пропозиционально-синтаксическая репрезентация — форме высказываний и текстов

2. *minimal-specification view* (в терминологии Р. Дирвена, см. выше) — в форме метафорических и метонимических выражений, а также в форме морфологически мотивированных лексем
3. *non-specification view* — в форме немотивированных лексических знаков (типа *дерево, нож, стакан* и др.)

Согласно традиционной лингвистической трактовке метафора рассматривается как вид **н о м и н а ц и и** (Реформатский 1967, 76). Такое понимание метафоры представляется наиболее очевидным и доказательным, причем не только применительно к естественным языкам, но и применительно к другим знаковым системам. Рассмотрим простой эвристический пример. Представим себе, что на твердом диске нашего компьютера имеется информация, записанная в виде текстов, помещенных в папку «командировки». С целью оптимизировать работу с папкой мы можем установить на экране компьютера ярлык — графический символ, который будет сообщать нам об имеющейся в памяти компьютера информации. Допустим, создавая такой ярлык, мы имеем некоторый выбор — рисунок монитора, рисунок CD и рисунок глобуса:



Какому ярлыку отдать предпочтение? Скорее всего — рисунку глобуса, который своей формой будет напоминать нам о поездках в разные страны мира. В этом случае мы имеем дело с метафорической проекцией: существует область-рецептор — путешествия, которую репрезентирует область-источник — глобус. Иначе эту метафорическую проекцию можно сформулировать так:

*Когда я вижу на экране компьютера изображение глобуса, я думаю о командировках*

Значит ли это, что данная метафорическая проекция представляет собой концептуализацию домены «командировки»? Иными словами, верна ли следующая экспликация:

*Когда я думаю о своих командировках, я думаю о них то, что обычно думаю, когда я вижу глобус?*

Разумеется, нет. Во-первых, информация о командировках не сводится к нашим знаниям о глобусе — область-источник (глобус) содержит слишком мало информации о содержании целевой категории командировки, и указанием на ассоциацию с глобусом это содержание далеко не исчерпывается. Во-вторых (здесь мы возвращаемся к теме предыдущего раздела), данная метафорическая проекция осуществляется в определенном прагматическом контексте — на экране нашего компьютера, поэтому никак нельзя быть уверенным в том, что она была бы узнаваема, а тем более воспроизводима в другом контексте.

Это — типичный пример, когда в познавательной деятельности метафорические модели выполняют не когнитивную или моделирующую, а эвристическую функцию. Об этом, в частности, пишет Д. Олгофф (Ohlhoff (2002)). Вероятно, то же имеет в виду и М. Лизенберг (Leezenberg 2001), когда пишет, что метафоры создаются *ad hoc*. Ярким примером эвристической функции метафоры являются специальные мнемонические техники, например, такие, которые описаны в известной работе А. Р. Лурия (1968).

Таким образом, психолингвистическая реальность концептуальных метафор типа СПОР — ЭТО ВОЙНА как своего рода познавательных констант и императивов деятельности может быть поставлена под сомнение. В работе Лакоффа/Джонсона они вводятся с помощью утверждений, которые выглядят в высшей степени спекулятивно — неслучайно некоторые исследователи квалифицируют такие метафоры как «случайные», см. Апресян/Апресян 1993, 29ссл. Мне не известны экспериментальные доказательства того, что метафорические модели типа СПОР — ЭТО ВОЙНА, действительно, хранятся в памяти, т.е. являются психически релевантными и реальными. Так, А. Н. Баранов/Д. О. Добровольский (1997, 14) рассматривают метафорическую интеракцию понятий (фреймов) ГОСУДАРСТВО и ЧЕЛОВЕК, однако справедливо не эксплицируют ее в виде: ЧЕЛОВЕК — ЭТО ГОСУДАРСТВО.

В другой работе Добровольский (1997, 44) пишет, что, хотя многие идиомы соотносимы с концептуальными метафорами, но далеко не полностью объясняются с их помощью. К примеру, немецкую идиому

*die Hosen anhaben* ‘командовать, управлять’, букв.: ‘надеть, иметь на себе брюки’

можно, в принципе, соотнести с концептуальной метафорой УПРАВЛЯТЬ ЗНАЧИТ ОБЛАДАТЬ/ВЛАДЕТЬ/НАДЕТЬ, но она не объясняет, как буквальный смысл превращается в актуальное, функциональное значение. Кроме того понятие концептуальной метафоры не объясняет существенных сигнификативных различий идиом, которые соотносятся с одной и той же метафорической проекцией, ср. англ.:

*spill the beans*  
*blow the lid off*

Хотя в их основе лежит общая концептуальная метафора ИДЕИ — ЭТО ФИЗИЧЕСКИЕ СУЩНОСТИ, первое выражение относится к области личных отношений, а второе — к области государственной коррупции (Gibbs 1990, 421).

Если концептуальная метафора ВРЕМЯ — ЭТО ДЕНЬГИ воспринимается как достаточно очевидная — благодаря фразеологическому выражению

*Время — деньги*

то другие концептуальные метафоры, например, ЛЮБОВЬ — ЭТО ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ — как элементы обыденного, практического сознания — далеко не очевидны (см.: Дэвидсон 1990, 188) и, видимо, не верифицируемы. Даже если принять реальность таких категоризаций, их следует, скорее всего, отнести к области бессознательного. Нельзя же считать, что в сознании русских присутствует образ *страха* как «некоего враждебного существа, подобного гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом с парализующим веществом», который (образ), как пишет В. А. Успенский (1997), можно установить по данным лексической сочетаемости. Нельзя считать — пока на этот образ будет указывать только лексическая сочетаемость и не будут получены независимые от естественного языка психологические подтверждения данной концептуальной интеракции (см. также: Апресян/Апресян 1993, 30).

Б. Хампе (Hampe 2000, 92сл.) показывает, что одно и то же понятие может быть представлено несколькими метафорическими способами, иногда они близки, но все же имеют различия. Так, английские выражения

*to face problems*  
*to face up to problems*

не являются синонимическими — между ними имеются некоторые тонкие различия, которые проявляются в конвертировании:

*We faced serious problems.*  
*Serious problems faced us.*  
*We are facing up to a huge problem.*  
*\*A huge problem is facing up to us.*

Можно было бы предположить, что в первом случае *проблемы* ассоциируются с активным субъектом, который взаимодействует с человеком,

во втором случае это — скорее неодушевленный объект. Кстати, в русском языке невозможна ни первая, ни вторая модификация:

*Мы столкнулись с проблемами.*

*Мы мужественно встретили эту проблему.*

*\*Проблема столкнулась с нами.*

*\*Проблема (мужественно) встретила нас.*

Но существенный вопрос касается того, действительно ли метафора ПРОБЛЕМА — ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО отражает реальную, хранимую в памяти концептуализацию мира. Или же, скорее, это — только способ номинации, используемый в коммуникативной ситуации, когда возникает необходимость что-либо сказать о проблемах.

### 3.3. Проблема репрезентативности

Даже с учетом оговорки, что метафорические проекции используются для концептуализации неспециальной информации (постулат 3) и носят упрощенный и избирательный характер (постулат 9), трудно согласиться, что идеальные когнитивные модели (ИСМ), из которых складывается наивная картина мира, базируются именно на этом типе концептуализации. Так, Е. Бартминский (Bartmiński 1999, 113) считает, что словарная дефиниция польского существительного *gwiazda* ‘звезда’ — ‘ciało niebieskie złożone z gazów i plazmy, świecące wskutek reakcji termojądrowych zachodzących w jego wnętrzu; punkt świetlny widoczny na ciemnym niebie’ не отражает языкового сознания носителей польского языка и предлагает «когнитивную дефиницию»:

*gwiazda* = ‘jedno z licznych małych światel na niebie, widocznych nocą, które układają się w swoiste zespoły zwane *gwiazdozbiorami*, i o których mówi się, że *świecą, mrugają, migoczą, zapalają się, gasną, spadają...* o których wierzy się, że towarzyszą człowiekowi od urodzenia do zgonu, a swoim układem i zachowaniem wróżą ludziom ich losy’

Обратим внимание на пропозициональный характер этой репрезентации. Метафорические проекции вроде ЗВЕЗДЫ — ЭТО ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА (*gwiazdy mrugają*) или ЗВЕЗДЫ — ЭТО ЗЕРНА (*niebo zasiane gwiazdami*) были бы практически бесполезны.

Слабость метафоры как средства репрезентации знаний вытекает из ее неопределеннозначности, которая, в свою очередь обусловлена конденсацией смысла, а именно — промежуточного семантического признака, общего для двух понятийных категорий. Об этом пишут авторы «Общей риторики» (Дюбуа/Пир/Тринон 1986, 197). Неопределеннознач-

ность привязывает интерпретацию неконвенционального метафорического выражения к контексту. Так, вне контекста трудно догадаться, что в выражении

*Rossignol de muraille, étincelle emmurée,  
Ce bec, ce doux déclic prisonnier de la chaux* (Р. Брок)  
букв. ‘Соловей в стене, замурованная искра,  
Клюв, плененный известью нежный щелчок’.

речь идет об электрическом выключателе.

В разделе 3.1 была речь о неопределенности метафорических выражений, к которым можно применить предложенную Р. Дирвеном характеристику: *minimal-specification view*. При этом надо помнить, что внутренняя форма — не только метафорических выражений, но и всех лексических знаков — как правило, неопределеннозначна. Об этом пишет Ю. С. Степанов (1997, 49). Например, внутренняя форма существительных:

*атомщик* — ‘человек, имеющий отношение к атому’  
*завтрак* — ‘какое-то дело, следующее сразу за утром’

имеет слишком обобщенное содержание, поэтому ее и рассматривают как основу номинации, а не как репрезентацию знаний об объекте.

Лежащий в основе метафорической интеракции предикат сходства или еще более широкий по содержанию предикат отношения сами по себе не раскрывают содержания метафоры, не указывают на тот признак, который является основанием сравнения. Таковы, к примеру, русские выражения со словом *типа*, ср.:

*Ее можно было бы решить с помощью специальных арктических буровых платформ типа стальной платформы «Куллук»* («Природа». 1988/4).

Оператор *типа* не содержит никакой конкретной информации, кроме той, что имеющиеся в виду буровые платформы похожи на стальные платформы «Куллук». Понятно, что такой сжатый способ передачи информации возможен только благодаря компенсаторной функции неязыковых факторов — в данном случае предполагается, что специальные знания адресата позволят ему соотнести сравниваемые объекты в нужном аспекте.

Симптоматично, что предикаты подобия широко употребляются в неопределенном контексте, например, русская частица *вроде* — в сочетаниях *вроде бы* и *что-то вроде*, ср.:

*В крупном ферромагнитном кристалле возникает что-то вроде гипертрофированной антиферромагнитной структуры.*

*С первого вертолета спустился их ротный «дядька», что-то вроде Савельича при Пете.*

*Все условия для этого вроде бы есть.*

*В Сербии копился комплекс нации, которая считала себя хозяином в своем доме — она вроде бы его построила, а ее все обижают.*

Лексема *похожий* в русском языке и лексема *podobny* в польском языке употребляются как операторы проблематичности, ср.:

*Он, похоже, остается.*

*Он, кажется, остается.*

*Podobno ma zdolności.*

*Jak się zdaje, ma zdolności.*

Свойство неопределеннозначности накладывает существенные ограничения на функционирование метафор как способа репрезентации. Такое употребление метафорических выражений наблюдается в следующих условиях:

1. когда в конкретном, ограниченном контексте возникает необходимость в специальной, условной форме запоминания объектов, т.е. в особом эвристическом средстве; П. Рикёр пишет, что инописеческая метафора «служит принципу экономии, который контролирует присвоение имен новым вещам» (1990, 418) (выделено мной. — А. К.)
2. когда нет потребности в более точном знании, что прежде всего характерно для обыденной коммуникации, где декомпозиции метафор к тому же способствуют ситуативный, когнитивный и дискурсивный факторы. В научной деятельности упрощенной формой концептуализации объектов является моделирование, ценность которого обнаруживается прежде всего в сравнении и классификации объектов; образные модели вроде представления структуры атома в виде слоеного пирога или в виде радиальных колец, а также метафорическая модель ELEKTRIZITÄT IST FLÜSSIGKEIT, о которой пишет Д. Олгофф (Ohlhoff 2002), выполняют эвристическую функцию
3. когда существенно различаются тезаурусы отправителя и получателя и декодирование пропозициональной информации невозможно — используя метафору, отправитель изменяет режим репрезентации, передает упрощенное содержание — такова, например, дидактическая метафора (по Д. Олгоффу — иллюстративная) (см. также: Моој 1978, 97; Жданухин 2002)
4. когда с помощью метафорического выражения передаются дополнительные коннотативные, в частности, аксиологические



признаки (Pawelec 2006, 23), создается экспрессивный, аттрактивный эффект. Исследователи (Fix 2001; Ohlhoff 2002; Osthus 2002; Жданухин 2002 и др.) в связи с этим пишут об эстетической, а также о комической функции метафоры. Создатели когнитивной теории метафоры проигнорировали коммуникативный аспект данного явления, но именно он — особенно с учетом слабости репрезентативной функции метафоры — содержит в себе разгадку популярности метафор. О нерепрезентативности, а именно — ложности метафорических выражений пишет Д. Дэвидсон (1990, 185): различие между сравнением и метафорой, по его мнению, заключается в том, что сравнение истинно, а метафора ложна, ср.:

*Толстой был похож на ребенка.  
Толстой — ребенок.*

В случае метафоры мы имеем дело с особым видом лжи и особым видом нерепрезентативности — А. Левин-Штайнманн квалифицирует это явление как «отрыв от действительности», см. Levin-Steinmann 2001, 226. Высказывание

*Толстой написал «Преступление и наказание».*

можно квалифицировать как эпистемическую ошибку, тогда как приведенное выше высказывание

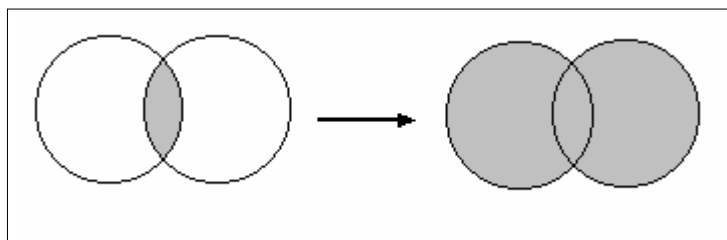
*Толстой — ребенок.*

является продуктом воздействия особых коммуникативных условий, в которых языковой субъект считает возможным устранить из содержания сообщения несущественные с его точки зрения детали. Подобная радикализация передаваемого содержания характерна для обыденной коммуникации (Kiklewicz 2002, 22ссл.), для журналистского и художественного стиля (Киклевич 1999, 53).

Об этой же стороне метафоры, в сущности, пишут авторы «Общей риторики» (Дюбуа/Пир/Тринон 1986, 196). Метафора истолковывается ими как эстраполяция, которая

строится на основе реального сходства, проявляющегося в пересечении двух значений, и утверждает полное совпадение этих значений. Она приписывает объединению двух значений признак, присущий только их пересечению.

Графически данное явление можно представить следующим образом:



Более общим основанием данного механизма является характерное для обыденного сознания пренебрежение различиями (анаксiomатизация), что экспериментально доказал белорусский психолог И. М. Розет (1977, 120ссл.).

### 3.4. Семантика или этимология?

Постулат (4) в реестре О. Екеля важен прежде всего по отношению к конвенциональным метафорам типа *крыло здания* или *гвоздь программы*, в содержании которых, казалось бы, нет никакой неоднозначности — переносные значения таких лексем составляют часть семантической системы языка. Если это так, то актуализация многозначных лексем не сопровождается какой-либо интеракцией значений — подобная интеракция наблюдается только в случае неконвенциональных, живых метафор. Но если в актуальном употреблении слова нет интеракции значений (или, в терминах когнитологии, интеракции исходной и целевой концептуальных областей), реальность концептуальной метафоры может быть только реальностью исторической, точнее — этимологической (см. Grzegorzczukowa 1999, 43).

Действительно, информация о метафорической проекции представляют собой не элемент актуального (ассертивного или пресуппозитивного) содержания конвенционального знака, а его внутреннюю форму. Подобно тому, как внутренняя форма слова *молочник* указывает на то, что обозначаемый предмет имеет отношение к молоку, внутренняя форма выражения *гвоздь программы* указывает на то, что референт знака имеет отношение к гвоздю, возможно — сходство с гвоздем. Внутренняя форма — это эвристический мотив, который помогает нам закрепить символ за понятием. Подобно тому, как содержание понятия «молочник» не исчерпывается только общим указанием на молоко (в русском языке существительное *молочник* используется к тому же в двух значениях: 1) ‘кувшинчик для молока’ и 2) ‘мужчина торгующий молоком и молочными продуктами’), указанием только на отношение к гвоздю не исчерпывается также содержание соответствующей *target-do-*

*main* при метафорическом переносе. Как указывает А. Н. Баранов, внутренняя форма и отражаемая ей когнитивная схема «далеко не всегда порождают то актуальное значение, которое можно предсказать» (1998, 100).

В обоих рассматриваемых случаях имеется производящая (в семантическом смысле) основа — *молоко* и *гвоздь*, различие же заключается в том, что формант *-ник* указывает на внутрифреймовый переход:

*Молочник [здесь] принес молоко [здесь]*

а в случае метафоры — межфреймовый переход:

*Крыло здания [здесь] напоминает крыло птицы [там].*

У. Мартин (Martin 1997) пишет, что метафора как межфреймовое явление (“depend on contiguity relations, but on shared properties”), в отличие от метонимии, менее предсказуема.

Внутренняя форма стертых метафор, как в хрестоматийном примере:

*Солнце всходит и заходит*

отражает архаическую репрезентацию мира, что вполне естественно: развитие языковой идиоматики не успевает за развитием познания. Но это и ставит под сомнение обоснованность программного тезиса когнитивистов, согласно которому по данным лексической сочетаемости можно восстановить когнитивную систему человека. При более корректной формулировке этой задачи речь, скорее, должна идти о реконструкции исторических форм познания, а теория концептуальных метафор должна рассматриваться как историческая дисциплина. Не случайно экспликация метафорических моделей, лежащих в основе фразеологии западно-мюнстерландского диалекта немецкого языка, по мнению Е. Пиирайнен (1997, 96), дает «отображение повседневных, элементарных форм жизни и хозяйствования западно-мюнстерландских селян прошлых времен» (выделено мной. — А. К.).

Представление одной понятийной области в терминах другой проявляется не только в метафорических выражениях типа

*охватила радость*

но и в лексических номинациях типа

*влиять*  
*оказать*  
*предпринять*  
*представить*

*условие*  
*заключение*  
*ударение*  
*поручение*  
*поздравить* и др.

В результате их реконструкции мы получим то, что Лакофф/Джонсон называют онтологическими метафорами.

Стремлением обосновать когнитивный, а не этимологический статус концептуальных метафор можно объяснить наблюдаемые в литературе попытки переосмысления понятия внутренней формы. Так, А. Н. Баранов (1998, 92ссл.; см. также: Баранов/Добровольский 1998, 36сл.) подчеркивает, что внутренняя форма «участвует в формировании ассоциативной части плана содержания слова и может влиять на экспрессию слова, стиль и пр.». Внутренняя форма фразеологизмов рассматривается Барановым как часть их номинативного содержания. Так, русские выражения

*на каждом шагу*  
*на каждом углу*

на первый взгляд синонимичны — они выражают общее значение ‘повсеместно’. Вместе с тем в их употреблении проявляются некоторые различия:

*Лес на горе стал реже и сквозил теперь до самого поля, на каждом шагу торчали пни и пеньки* (В. Распутин), ср.: \**на каждом углу*.  
*Вся моя биография есть цепь хорошо организованных случайностей. На каждом шагу я различаю указующий перст судьбы* (С. Довлатов), ср.: \**на каждом углу*.

Баранов пишет, что идиома *на каждом углу* не употребляется по отношению «к нежилым пространствам типа леса» — в этом и проявляется закодированный в данном выражении мотивирующий признак.

И все-таки можно возразить: если мы принимаем, что внутренняя форма составляет часть значения, то в нашем конкретном примере в семантической структуре выражения *на каждом шагу* должна присутствовать семантика шага, а в семантической структуре выражения *на каждом углу* — семантика угла. Вряд ли можно признать, что информация о том, что данное выражение «не употребляется» по отношению к некоторой предметной области, составляет объективную часть его содержания.

Синонимичность выражений *на каждом шагу* и *на каждом углу* относительна: первое представляет референтную ситуацию в динами-

ческом аспекте, который для второго выражения (во всяком случае в его прямом значении), видимо, не обязателен:

*На каждом углу — милиционер.*  
*? На каждом шагу — милиционер.*

К тому же употребление словосочетания *на каждом шагу* в прямом значении, скорее всего, невозможно, а дистрибутивные ограничения выражения *на каждом углу* можно как раз объяснить его не вполне очевидным идиоматическим статусом — именно поэтому в его композиционном содержании активны пресуппозиции, влияющие на его семантическую когеренцию в тексте.

Многие проблемы описания внутренней формы, видимо, возникают из-за терминологической путаницы: то, что мы называем *внутренней формой*, в действительности является не формой, а частью содержания. Так, внутренняя форма ‘предмет, имеющий некоторое отношение к молоку’ составляет часть содержания существительного *молочник*, а внутренняя форма ‘предмет или событие, чем-то похожее на гвоздь’ — часть содержания словосочетания *гвоздь программы*. Если Баранов обращает внимание на то, что внутренняя форма составляет часть содержания знака, то, с нашей точки зрения, не менее важен и другой аспект: внутренняя форма составляет часть содержания знака, разумеется при условии, что она вообще замечается, осознается носителями языка.

Существует немало подтверждений того, что первоначальная мотивировка знака, пусть даже подвергшаяся сильной деэтимологизации, оказывается существенной — ограничивает дистрибутивные возможности знака, ср. грамматические ограничения:

*Иван — осел.*  
*\*Маша — осел.*  
*Маша — кобра.*  
*\*Иван — кобра.*

Главное же — то, что внутренняя форма является источником разного рода коннотаций, ср.:

*Твои волосы цвета льна — Твои волосы цвета пакли.*

На примере идиом это убедительно показал В. Хлебда (Chlebda 1991; см. также: Баранов/Добровольский 1995; Норман 1999; Levin-Steinmann 2001, 225 и др.).

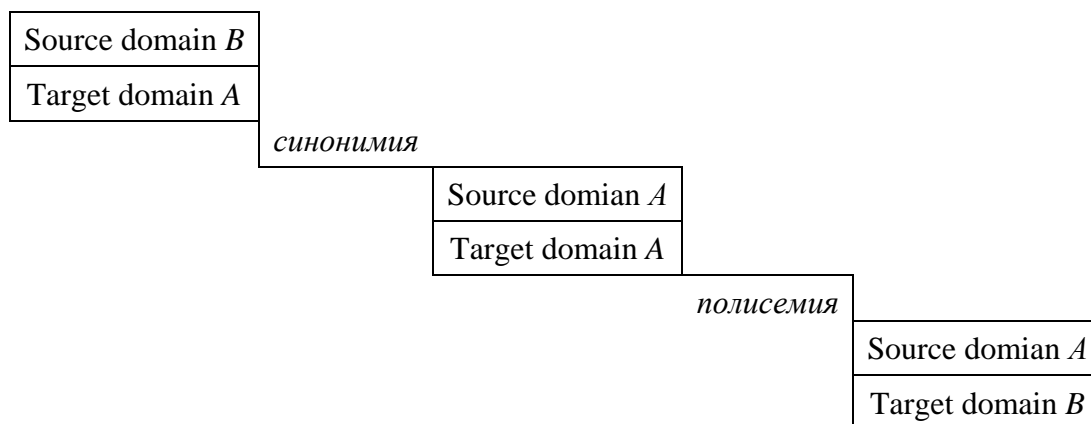
Однако при семантическом описании знаков внутренняя форма — второстепенный фактор. Поэтому Д. О. Добровольский (Dobrovolskij

1995, 29) критикует интеракционистскую интерпретацию идиом, показывает, что выражения с элементами композициональности относятся к периферии фразеологии. Проводимая им семантическая (а именно — кластерная) классификация идиом полностью опирается на актуальные значения и никак не учитывает фактора внутренней формы, а также соответствующих метафорических проекций (1995, 95ссл.; 1997).

### 3.5. Однонаправленность или амбивалентность?

Согласно постулатам (5) и (7), выбор аргументов метафорической проекции не случаен: метафорические модели позволяют нам представить некоторую сложную концептуальную область в терминах простой, поддающейся прямому, чаще всего — визуальному восприятию (Jäkel 1998, 102). Сущность многих онтологических метафор практически сводится к форме: АБСТРАКТНОЕ — ЭТО КОНКРЕТНОЕ. И все-таки данная однонаправленность относительна.

Семантические отношения в области концептуальных метафор соответствуют широко известной, предложенной С. О. Карцевским схеме асимметрического дуализма знака:



Полисемия в области концептуальных метафор проявляется в том, что, как уже рассматривалось в разделе 3.1, одна и та же базовая схема (например, «верх — низ») может использоваться в разных метафорических моделях. Синонимия же заключается в том, что разные базовые схемы используются для концептуализации одной и той же понятийной категории. Как указывает Анна А. Зализняк (2000), не существует единственного способа метафорического представления одной идеи в разных идиомах, что подтверждается, например, на материале метафор

страха (Kövecses 1990, 70ссл.; Dobrovol'skij 1997, 187; Kiklewicz 2005; 2006a; 2006d).

Нельзя не заметить, что такой способ концептуализации чрезвычайно неудобен: мы не располагаем какой-либо общей, стабильной моделью воспринимаемого объекта и в зависимости от ситуации вынуждены переключаться с одной метафорической модели на другую:

СТРАХ — ЭТО ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ  
 СТРАХ — ЭТО ЗЛОЙ ВРАГ  
 СТРАХ — ЭТО МУЧИТЕЛЬ  
 СТРАХ — ЭТО БОЛЕЗНЬ  
 СТРАХ — ЭТО НАДПРИРОДНАЯ СУЩНОСТЬ  
 СТРАХ — ЭТО ПРОТИВНИК  
 СТРАХ — ЭТО СТИХИЯ  
 СТРАХ — ЭТО НАЧАЛЬНИК...

Постулатам однонаправленности и потребности противоречат факты, когда область-источник и область-рецептор взаимно конвертируются. Так, в речевом материале отражается не только использование понятийной категории «война» с целью представления категории «спор», но и обратное употребление этих категорий:

*Противник ответил новой атакой.*

*Ответный огонь.*

*Наш ответ Чемберлену.*

*Атака была неубедительной.*

*Голоса орудий.*

*Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо (В. Маяковский).*

Означает ли это, что наряду с концептуальной метафорой СПОР — ЭТО ВОЙНА в нашей познавательной системе действует также концептуальная метафора ВОЙНА — ЭТО СПОР? Положительный ответ на этот вопрос означал бы не только отрицание постулата потребности и постулата однонаправленности, но и то, что при метафорической концептуализации не действует запрет порочного круга.

Широко известно обозначение временных понятий через пространственные, ср.:

*вернуться под утро  
 перед началом концерта  
 около часа*

Вместе с тем отмечается и обратная проекция, например:

*— Далеко до города?*

*— Три часа езды.*

В тюркских языках это явление описала Г. Ф. Благова (1999, 85ссл.).

Концептуальные конверсивы нередко встречаются в художественной речи. Ср. понятийные метафоры ПРИРОДА — ЭТО ЧЕЛОВЕК и ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПРИРОДА у А. Пушкина и Б. Пастернака:

*Роняет лес багряный свой убор.*

*Ты так же сбрасываешь платья,  
Как роца сбрасывает листья.*

Интересным примером подобной концептуальной амбивалентности является «Стихотворение о снеге в апреле» („Gedicht über Schnee im April“) Й. Бекера:

*April-Schnee; schnell noch einmal  
ist fünfzehn Minuten  
Winter und völliges Verschwinden  
der Krokus-Gebiete*

*und*

*fünfzehn Minuten, in Zukunft,  
sagt Warhol, ist Ruhm. Schnell,  
ein Gedicht über Schnee im April,  
denn schnell ist weg  
Stimmung und Schnee*

*und plötzlich,*

*metaphorisch gesagt,  
ist Schnee-Herrschaft verschwunden  
im Krokusgebiet  
und die Regierung des Frühlings regiert.  
Nun Frühlings-Gedicht.  
Und schnell. Winter ist morgen, wieder,  
und neue Herrschaft,*

*nein,*

*nicht morgen: in fünfzehn Minuten,  
mit Schnee, wie schnelles Leben,  
sagt Warhol, metaphorisch gesagt,  
wie Schnee, Verschwinden, April.*

Своеобразие этого стихотворения заключается в том, что двунаправленность метафоры порождает своеобразную диссипативность текста: в первой части стихотворения используется метафорическая модель ПРИРОДА — ЭТО ЧЕЛОВЕК — с помощью этой модели изменения в природе представляются в политических терминах — как смена власти. В другой же части стихотворения метафорическая модель кардинально меняется: ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПРИРОДА. Теперь уже природа становится объяснительной схемой человека: *апрель* — это своего рода



модель короткой человеческой жизни, в которой немного радости и немного грусти...

В экспликациях концептуальных метафор не всегда сохраняется принцип восхождения от конкретного к абстрактному. Так, З. Кёвечеш (Kövecses 2002, 138) пишет, что большинство категорий в сознании (например, вся эмоциональная сфера человека) концептуализируется с помощью «схемы взаимодействия сил» (агониста и антагониста). Думается, однако, что сама эта схема является результатом значительной абстракции, и можно сомневаться, является ли она базой концептуализации эмоций в обыденной репрезентативной деятельности человека.

В этом обнаруживается очередной парадокс когнитивной теории метафоры. Концептуальная проекция, например, ЭМОЦИИ — ЭТО ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, позволяет нам перенести некоторый признак из домены «живые существа» в домену «эмоции». Но трудно понять, почему в нашем сознании имеется закодированный символ концептуальной категории (например, эмоции), но нет символов входящих в эту категорию признаков — сущностей более низкого уровня абстракции.

В течение последних двух десятилетий появилась обширная когнитивная литература об эмоциях. При этом исследователи не замечают факта, что собственно названия эмоций неметафоричны: *страх, сожаление, радость, печаль* и т.д. Можно дискутировать с мнением, что «в отличие от ментальных состояний, которые достаточно легко вербализуются самим субъектом, эмоции очень непросто перевести в слова» (Апресян/Апресян 1993, 27сл.). Потребность в метафорической номинации (и в актуализации соответствующей метафорической модели) возникает тогда, когда предикаты эмоций (двуместные предикаты второго порядка, ср.: *Х радуется оттого, что имеет место S*) выступают в контексте предикатов высшего порядка, например, фазовых или фактивных:

*Страх прошел.  
Охвачен печалью.  
Поразила догадка.  
Мучают сомнения.*

Таким образом, разгадка метафоры, может быть, как раз и кроется в той самой пропозициональной («объективистской») семантике, которую категорически отвергли Лакофф/Джонсон.

Метафорическая проекция — не просто перенесение какого-то признака или каких-то признаков из одной концептуальной области в другую. Если мы стремимся избежать произвольности и немотивированности в экспликации концептуальных метафор, следует принять точку зрения, согласно которой метафорическая проекция базируется на сим-

метрии пропозициональных структур, в основе которых лежат соответствующие концепты. Из одной концептуальной области в другую переносятся признаки, которые в симметричных пропозициональных структурах обладают одной и той же локализацией, другими словами, общей семантической функцией. В какой-то степени это требование принимают во внимание Ю. Д. Апресян/В. Ю. Апресян (1993, 30), которые рассматривают метафорические номинации эмоций на фоне общей структуры эмотивной ситуации (выделяя в ней причину эмоции, собственно эмоцию и следствие). Из приводимого в упомянутой работе фактического материала вытекает, что, например, метафорическая интеракция страха и холода осуществляется в аспекте следствия ситуации. Предикаты холода и страха имеют разные пропозициональные структуры: одноместную:

*Мне холодно — Я испытываю холод*

и двухместную:

*Я боюсь его взгляда — Я боюсь, когда он смотрит.*

Ср. представление этих пропозициональных структур с помощью метаязыка логики предикатов:

$P(x)$   
 $P(x, Q\dots)$

Но у этих предикатов обнаруживается сходство, когда они оказываются в сфере действия предикатов высшего порядка, например, предиката причины  $R$ :

$R(P(x, Q\dots), S(x\dots))$   
 $R(P(x), S\dots)$

Сходство проявляется и в том, что ситуация страха и ситуация холода порождают общие следствия ( $S$ ): *задрожал от холода — задрожал от страха*. Это дает возможность при лексикализации следствий/симптомов страха ссылаться на концепт холода:

$R(\text{страх}(x, Q\dots), S\dots)$

↑

$R(\text{холодно}(x), \text{задрожать}(x))$

Пропозициональный подход к концептуальным метафорам дает возможность не только определить структурный статус актуализируемых при-

знаков (фасет), но и соответствующий статус самих взаимодействующих концептов. Так, экспликацию концептуальной метафоры СТРАХ — ЭТО ХОЛОД мы должны были бы сопроводить комментарием — «в аспекте следствия, т.е. состояния, при котором человек дрожит».

Важным пропозициональным (а в какой-то степени и поверхностно-синтаксическим, «экспликативным» — в терминологии С. Кароляка) фактором метафорической номинации является прономинализация глагольных предикатов, на что указывают примеры типа:

*очень любит — сильная любовь, ср. сильный человек*  
*очень расстроился — большое расстройство, ср. большой камень*

Можно, таким образом, утверждать, что прономинализация способствует метафорическому представлению признаков, объектов, состояний и событий.

### 3.6. Уникальность или альтернативность?

Постулат об уникальности и непереводаемости метафор, а также сравнительных конструкций (Black 1979, 32; Stiver 1996, 195) можно проиллюстрировать следующим примером:

*твердый, как сталь*

Казалось бы, сравнительная конструкция синонимична лексеме со значением высокой степени проявления признака — *очень*, а выражение *твердый, как сталь* семантически тождественно выражению *очень твердый*. Но трансформируя одно выражение в другое, мы, однако, что-то оставляем за кадром, потому что, оказывается, далеко не во всех случаях вместо *очень* можно употребить сравнительную конструкцию *как сталь*, ср.:

*Хлеб твердый как камень.*  
*? Хлеб твердый как сталь.*  
*Человек твердый как сталь.*  
*? Человек твердый как камень.*

Постулат об уникальности метафор подверг критике Д. Дэвидсон (1990, 188): если метафора сообщает об одном, а подразумевает нечто иное, то почему, когда мы эксплицитно, в развернутом виде формулируем то, что подразумевается, получается гораздо более слабый эффект?

Уникальность и непереводаемость метафор может иметь несколько обоснований: во-первых, причиной может быть идиосинкратичность

метафор — их закреплённость за определенным контекстом, за пределами которого метафора однозначно не идентифицируется. Во-вторых, важен и аттрактивный эффект метафор, который может теряться при трансформации. В-третьих, парафразы не обладают также характерными для многих метафорических выражений аксиологическими и эмотивными коннотациями, обусловленными интеракцией двух планов содержания. Когда писатель и публицист А. Генис пишет о прозе С. Довлатова:

*Сергей прокладывал картоном свои хрустальные фразы.*

это означает, что в прозе Довлатова встречаются не только блестяще написанные фрагменты, но и слабые места, неудачные фразы, поверхностные обобщения, банальные афоризмы. Использованная Генисом метафорическая конструкция хороша именно своей аттрактивностью (или «остранением», как написал бы В. Б. Шкловский), которая основывается на столкновении в высказывании разных смысловых планов: с одной стороны — упаковывать хрустальную посуду, с другой стороны — писать художественный текст.

Считается, что многие религиозные понятия передаваемы только в образной, метафорической форме (Johnson 1992, 362; Jäkel 2002). Действительно, как пишет А. Вежбицкая (1999, 730ссл.), «учение Иисуса, в том виде, как оно представлено в Евангелиях, в большой мере опирается на метафоры», например, такие, как образ царя, отца, сеятеля, пастыря и др. Притчи — это также особые развернутые метафоры.

Вежбицкая, однако, оспаривает мнение о том, что значение притч не переводимо на неметафорический язык. Ключевое содержание каждой притчи, считает исследовательница, допускает альтернативный способ представления, основанный на так называемых «семантических примитивах». Так, притче о добром самарянине приписывается следующее обобщенное, пропозициональное содержание: «Когда ты увидишь, что нечто плохое происходит с другим человеком, будет хорошо, если ты сделаешь что-то хорошее для этого человека».

А. Д. Шмелев (2002, 92) считает, что частично основанные на метафорах словарные определения существительного *тоска* — типа «тяжелое, гнетущее чувство, душевная тревога», не передают сущности данного понятия — более предпочтительны развернутые неметафорические определения в духе А. Вежбицкой:

*тоска* = «то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только, что это недостижимо»

#### 4. Исследования

В исследованиях в области концептуальных метафор можно выделить два направления:

1. семасиологическое — от средства к функции (от области-источника к области-рецептору)
2. ономасиологическое — от функции к средству (от области-рецептора к области-источнику)

Первое направление занимается изучением порождающих возможностей конкретных концептуальных категорий в разных типах дискурсов. Такая схема исследования (разумеется, без культивирования когнитивной терминологии) традиционно применяется не только в лексикографической практике, но и в литературоведении, прежде всего — в поэтике. Например, ее использовал М. Г. Абрамс (Abrams 1960) при описании метафорической и коннотативной семантики ветра в английской романтической поэзии.

Один из объектов когнитивного описания языка по принципу «от средств к функциям» — домена «дорога/путь». Основанные на этой домене метафорические модели в религиозном дискурсе описал О. Екель (2002). Считается, что метафора путешествия, которая, восходит еще к Одиссею (Gibbs 1994, 188), имеет фундаментальный статус в западной культуре (Nerlich/Hamilton/Rowe 2002). Например, эта концептуальная метафорическая модель актуализируется при номинации болезни (Gwyn 2001, 134), ср. выражения:

*the road to recovery*  
*back on the right track*  
*get one step at a time*

Данная метафорическая модель активно культивировалась также в советском идеологическом дискурсе — ср. некоторые прецедентные тексты:

*Мы пойдем другим путем!* (высказывание, приписываемое Ленину)  
*«Светлый путь»* (название кинофильма)  
*«Путь коммунизма»* (стандартное название советского колхоза)

Распространена эта базовая домена и в массовом, обыденном сознании, например, отражена в номинациях:

*непутевый, беспутный, распутный, путевый человек*  
*быть на перепутье*  
*Все путем!*

Название же научной монографии «Путеводитель по дискурсивным словам русского языка» (Баранов/Плунгян/Рахилина 1993) указывает на то, что идея пути выполняет моделирующую функцию и в научном тексте.

Г. И. Кустова (2000; 2004) описала механизмы семантического развития на базе концептуальных категорий, соответствующих глаголам *ставить* и *класть*. Другие авторы (см. Sebeok/Danesi 2000, 78ссл.) показывают, как ориентационные и онтологические концепты (типа *up, down, back, front* и типа *substances, containers, impediments*) используются для метафорического выражения абстрактных понятий. Обобщая информацию этого рода, У. Пёрксен (Pörksen 1997, 107) констатирует, что в основе большинства схем поведения лежат **визуальные образы**.

Применение данного подхода к описанию фразеологизмов связано, однако, с рядом практических и теоретических сложностей. Во-первых, как показывает Д. О. Добровольский (Dobrovol'skij 1995, 21сл.), фразеологизмы, в принципе, не являются носителями переносных значений, потому что их прямое значение в большинстве случаев представляется лишь гипотетическим. Надо отметить, что подобная сложность возникает и при описании полисемии так называемых функциональных слов, прежде всего — предлогов, у которых трудно, а порой и невозможно выделить основное значение.

Во-вторых, в сфере идиоматики наблюдается явление, которое условно можно было бы квалифицировать как «**многозначность многозначности**»: идиоматические выражения, которые по своей природе представляют результат семантической деривации, оказываются многозначными. На примере русского фразеологизма *во всю ивановскую* это явление прекрасно продемонстрировал В. М. Мокиенко (1999, 61ссл.).

Указанные факторы существенно затрудняют соотнесение конкретных фразеологических единиц — например, английского выражения *kick the bucket* (Gibbs 1990, 422) или немецкого выражения *mit jemandem Schlitten fahren* (Dobrovol'skij 1997, 44) — с определенными концептуальными метафорами (в духе Лакоффа/Джонсона). Впрочем, Р. Гиббс высказывается и более радикально: содержание идиом не является прямым отражением концептуальных метафор.

Другое направление исследований в области концептуальных метафор заключается в том, что исходным объектом изучения является область-рецептор, а задача исследователя состоит в экспликации способов ее метафорического моделирования. Такой подход применяется в работе: Nerlich/Hamilton/Rowe 2002: авторы рассматривают разнообразные метафорические модели представления охватившей Великобританию эпидемии «foot and mouth disease».

Кроме того исследуются пространственные метафоры концептов «порядок» и «беспорядок», в основе метафорического представления

которых лежат концепты прямой и кривой (Leeuwen-Turnovsová (1994), а также стереотипные метафорические модели, используемые в научном дискурсе (Ohlhoff 2002). Так, для представления биологического концепта «имунная система» используются милитарные понятия: оппозиция «тело — болезнь» интерпретируется как оппозиция «свой — враг».

Метафорическим номинациям в таких областях, как «политика» и «экономика», посвящены исследования: Jäkel 1994; Кобозева 2001; Баранов 2001 и др. В монографии Баранов/Караулов 1994 объектом описания являются термины политического дискурса. Для каждого понятия эксплицируется ряд метафорических моделей. Например, концепт «политика» представляется в русском политическом дискурсе с помощью понятий: «пасьянс», «перекресток», «театр», «небосклон», «шахматная игра», «айсберг», «ландшафт», «жизнь», «бульон», «ветер», «война», «жидкость» и др.

Как показывает М. Пиленц (Pielenz 1995, 78), одна и та же научная область в разных парадигмах концептуализируется с помощью разных метафор:

LINGUISTIK IST GESETZ — в дескриптивной лингвистике

LINGUISTIK IST BIOLOGIE — в компаративистике

LINGUISTIK IST CHEMIE — в структурной лингвистике

LINGUISTIK IST MATHEMATIK — в генеративной лингвистике

Один из наиболее часто встречаемых объектов описания этого типа — сфера эмоций и чувств. Наверное, это не случайно, ведь, как отмечают исследователи (Hoffman/Waggoner/Palermo 1991, 167), число рассматриваемых в литературе эмоций и чувств очень велико (от 50 до более чем 400 единиц), поэтому так непросто определить список первичных элементов данной концептуальной области. Насчитывается также около двух десятков применяемых к данной области дескрипторов (*dimensions*), например таких, как: приятный — неприятный, внимание — покой, отклонение — удовлетворение, естественный — искусственный и др. (*ibidem*).

Для семантического представления понятия «зависть» С. Г. Воркачев (1998, 41 ссл.) использует шесть признаков:

1. ценность (благо)
2. отрицательность (раздражение)
3. сопряженность с желанием
4. векторность (желание чужого блага)
5. удвоенность объекта (чужое блага)
6. недостижимость объекта (бессильное желание)

Лакофф/Джонсон (1980, 58) указывают на то, что в сфере концептуализации эмоций актуализируются ориентационные метафоры, основанные на регулярных корреляциях между эмоциями и сен-

сорно-моторным опытом человека (т.е. образными схемами типа «верх — низ», при том, что положительные эмоции ассоциируются с идеей верха, а отрицательные — с идеей низа). В исследованиях З. Кёвечеша (1990; 2002 и др.) акцент, однако, ставится на структурных метафорах эмоций, ср. метафорические проекции страха:

ANGER IS HOT FLUID IN A CONTAINER: *She is boiling with anger*

ANGER IS FIRE: *He's doing a slow bum. His anger is smoldering*

ANGER IS INSANITY: *The man was insane with rage*

ANGER IS AN OPPONENT IN A STRUGGLE: *I was struggling with my anger*

ANGER IS A BURDEN: *He carries his anger around with him*

ANGRY BEHAVIOR IS AGGRESSIVE ANIMAL BEHAVIOR: *Don't snarl at me!*

ANGER IS A CAPTIVE ANIMAL: *He unleashed his anger* и т.д.

Недостатком такого подхода, как считают Ю. Д. Апресян/В. Ю. Апресян (1993, 29), является то, что «некоторые метафорические сближения кажутся продиктованными не столько устоявшейся языковой практикой, сколько единичными употреблениями». Авторы указывают, что представление Дж. Лакоффом концепта любви с помощью модели путешествия, как и многие другие метафорические экспликации, недостаточно обоснованы, произвольны (в разделе 3.2 уже была речь о спекулятивном характере метафорических обобщений).

Другой недостаток рассматриваемого подхода состоит в альтернативности метафорических моделей. В связи с этим отдается предпочтение такому направлению исследований, которое позволяло бы эксплицитировать «мотивирующие образы для больших классов симптоматических и других метафорических выражений» (*ibidem*, 30). В качестве таких образов рассматриваются телесные ассоциации: страх — холод, отвращение — неприятный вкус, жалость — физическая боль, страсть — жар и др. Напротив, представленные в литературе в широком ассортименте структурные метафоры типа ЛЮБОВЬ — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, РАДОСТЬ — ЭТО ЛЕГКАЯ ЖИДКОСТЬ, СТРАХ — ЭТО СПРУТ вызывают сомнения, потому что в их основе лежат слишком далекие, неочевидные с практической точки зрения ассоциации (*ibidem*, 33).

К рассматриваемому здесь второму направлению исследований относится также когнитивно-семантическое описание категории степени. Семантика степени носит абстрактный характер, поэтому не удивительно, что наряду со специализированными лексическими маркерами типа

*очень*

*слишком*

*довольно*

*достаточно*

*предельно* и др.



которые подробно описаны в работе: Jachnow/Norman/Suprun (2001), для номинации степени широко используются также фигуративные — метафорические и метонимические средства. Наиболее стабильная и, с эмпирической точки зрения, мотивированная основа не прямых номинаций степени — это образные схемы типа «верх — низ», которые, в терминологии Лакоффа/Джонсона (1980, 14ссл.), составляют базу ориентационных метафор, например: MORE IS UP или LESS IS DOWN, ср.:

*The number of books printed each year keeps going up.*

*His draft number is high.*

*My income rose last year.*

*The number of errors he made is incredibly low.*

На градуальную интерпретацию как одну из возможных интерпретаций образной схемы «верх — низ» указывает также Дж. Тэйлор (Taylor 1989, 136).

При когнитивно-семантическом описании идиом Д. О. Добровольский (1995; 1997) ориентируется на так называемый базовый уровень (трехступенчатую иерархию концептуальных категорий, как известно, предложила и обосновала Э. Рош), поэтому естественно, что степень как понятие надбазового уровня остается за кадром. Так, выражение

*brüllen wie ein Stier*

рассматривается Добровольским в категории «физико-акустические параметры речевого акта», а не в специальной — «квантитативной» категории. Идиоматическим выражениям

*sich im Ton vergreifen*

*sich den Mund verbrennen*

*sich die Zunge verbrennen* и т.п.

приписывается дескриптор «выражаться очень неуместно», однако отдельный слот «степень» в данной вербально-когнитивной структуре не эксплицируется.

Впрочем, при описании идиоматических номинаций речевой деятельности Добровольский выделяет такой аспект, как «квантитативный параметр речевого акта», различая при этом три субдиректории:

1. говорить очень много: *reden wie ein Buch*
2. говорить, передавая небольшое количество информации: *jemandem auf die Folter spannen*
3. беспрестанно спрашивать: *jemandem ein Loch in den Baum fragen*

С. Дённингхауз (2001) систематизировала способы метафорической номинации степени (а именно — высокой неопределенной степени) в русских (конвенциональных и неконвенциональных) выражениях модели: *S* [...] + *S* [*gen*] — таких, как

*море улыбок*

*лес рук*

*эскадра белых лебедей*

*океан крыши*

*батарея бутылок*

*пропасть белых грибов*

*горы апельсинов*

*половодье электрических огней* и др.

В основе большинства подобных номинаций лежат пространственные признаки, но не только они. Дённингхауз выделяет в данной области также социально мотивированные метафоры типа *толпа фонарей* и метафоры-контейнеры типа *сундуки сюжетов*. В выводах, в частности, отмечается, что система метафор, используемых для обозначения высокой неопределенной степени, более дифференцирована, чем соответствующая система метафор низкой степени. Это объясняется большей сложностью когнитивной обработки семантики высокой степени и семантики большого количества.

## 5. Заключение

Заслуга когнитивной лингвистики заключается в том, что она — восстав против сформировавшейся в XX в. традиции имманентного структурного языкознания — выдвинула на первый план «человеческий фактор», в частности, отражаемые в естественных языках структуры и способы познания. Когнитивная теория метафоры получила широкое распространение благодаря разработке гипотезы, согласно которой организация языкового материала в коммуникации подчинена познавательным способностям языковых субъектов, способам и механизмам репрезентации знаний.

К сожалению, когнитивная гипотеза не учитывает коммуникативных и прагматических факторов речевой деятельности: реконструируемые на материале лексической сочетаемости концептуальные метафоры оказываются наддискурсными сущностями. В действительности же, как было показано в данной статье, для концептуальных метафор характерна не только моделирующая функция, но и идиосинкратичность, т.е. зависимость от социального контекста речевой деятельности. Механизмы познания, как неоднократно подчеркивал выдающийся русский психо-

лог А. Н. Леонтьев, варьируются в зависимости от типа деятельности и формирующихся в деятельности потребностей, которые и определяют функциональную значимость репрезентаций и номинаций. Исследование когнитивной семантики в прагматическом и коммуникативном аспекте — перспективное направление лингвистики речи.

Когнитивная лингвистика противопоставляется модальной и интенциональной семантике, поэтому вне рассмотрения оказываются такие проблемы, как взаимодействие метафорической репрезентации с пропозициональными структурами высказывания, с денотативным статусом аргументов и предикатов, с типами их категориальной манифестации, а ведь, как показывают наблюдения, в этой области можно выделить целый ряд существенных для речевой деятельности функций — сошлюсь, например, на ограничения, связанные с генерализацией предикативных метафор в высказываниях типа *Море спит* или же, напротив, связанные с актуализацией именных метафор в качественных высказываниях типа *Ленин и партия — близнецы-братья*.

Признавая очевидные преимущества когнитивной теории метафоры, следует отдавать себе отчет в том, что это — лишь один из методов когнитивного исследования языка и тем более один из подходов, которые имеются в арсенале современной лингвистической семантики. Подобно тому, как в соответствии с принципом оптимальности (Киклевич 1999, 127) языковой субъект в зависимости от типа деятельности, социального, психологического, культурного, ситуативного и речевого контекста варьирует способы репрезентации и номинации, современный научный подход к естественному языку должен базироваться на амбивалентности по отношению к различным описательным и объяснительным моделям.

## Литература

- Аветян, Э. Г. (1989), *Семиотика и лингвистика*. Ереван.
- Алексеева, Л. М. (1998), *Общие закономерности функционирования метафорического термина в научном тексте*. В: Функциональные исследования. Вып. 6. Москва, 27-37.
- Апресян Ю. Д. (1978), *Языковая аномалия и логическое противоречие*. В: *Tekst. Język. Poetyka. Wrocław etc.*, 129-151.
- Архипов, И. К. (1997), *Лексический прототип, лексема и отношение языка и речи*. В: К юбилею ученого. Сборник научных трудов, посвященный юбилею Е.С. Кубряковой. Москва, 23–28.
- Баранов, А. Н. (1998), *Когнитивное моделирование значения: внутренняя форма как объяснительный фактор*. В: Русистика сегодня. 3–4, 92–100.

- Баранов, А. Н. (2001), *Метафорическая интерпретация понятия «коррупция»: языковые грани онтологизации бессознательного*. В: Текст. Интертекст. Культура. Москва, 572–593.
- Баранов, А. Н./Добровольский, Д. О. (1997), *Постулаты когнитивной семантики*. В: Известия АН. Серия литературы и языка. 57/1, 11–19.
- Баранов, А. Н./Добровольский, Д. О. (1998), *Внутренняя форма идиом и проблема толкований*. В: Известия АН. Серия литературы и языка. 57/1, 36–45.
- Баранов, А. Н./Караулов, Ю. Н. (1994), *Словарь политических метафор*. Москва.
- Бахтин, М. М. (1979), *Эстетика словесного творчества*. Москва.
- Благова, Г. Ф. (1999), *Время и пространство: народные способы выражения в тюркских языках*. В: Rocznik Orientalistyczny. LII/2, 79–92.
- Вачков, И. В. (2000), *Основы технологии группового тренинга. Психотехники*. Москва.
- Воркачев, С. Г. (1998), *Зависть и ревность: к семантическому представлению моральных чувств в естественном языке*. В: Известия АН. Серия языка и литературы. 57/3, 39–45.
- Выготский, Л. С. (1982), *Избранные сочинения. Т. 2. Проблемы общей психологии*. Москва.
- Дённингхауз, С. (2001), *Море людей и пропасть цветов. Метафоры неопределенного количества*. В: Kiklevič, A. (ред.), *Quantität und Graduierung in der natürlichen Sprache*. München, 61–75.
- Джемс, У. (1981), *Мышление*. В: Гиппенрейтер, Ю. Б./Петухов, В. В. (ред.), *Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления*. Москва, 11–20.
- Дюбуа, Ж./Пир, Ф./Тринон, А. и др. (1986), *Общая риторика*. Москва.
- Евгеньева, А. П. (1984), *Словарь русского языка. Т. III*. Москва.
- Жданухин, Д. Ю. (2002), *Метафора в юридической деятельности: сущность, функции и техника использования*. В: [www.humans.ru/humans/40597](http://www.humans.ru/humans/40597).
- Жоль, К. К. (1984). *Мысль. Слово. Метафора*. Киев.
- Зализняк, А. А. (2000), *Заметки о метафоре*. В: Слово в тексте и в словаре. Сборник статей к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна. Москва, 82–90.
- Киклевич, А. К. (1992), *Художественный текст и теория возможных миров*. В: Борухов, Б. Л./Седов, К. Ф. (ред.), *Художественный текст: онтология и интерпретация*. Саратов, 39–47.
- Киклевич, А. К. (1993), *Язык — личность — диалог (некоторые экстраполяции социоцентрической концепции М. М. Бахтина)*. В: Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1/2, 9–20.
- Киклевич, А. К. (1999), *Лекции по функциональной лингвистике*. Минск.
- Киклевич, А. К. (2000), *Дискурсные перекодировки: предпосылки и следствия*. В: Ухванова, И. Ф. (ред.), *Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов*. Вып. 2. Минск, 64–78.
- Киклевич, А. К. (2006), *Концептуальные метафоры как база идиоматических номинаций*. В: Вторая международная конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. 1. Санкт-Петербург 2006, 301–302.
- Кобозева, И. М. (2001). *Семантические проблемы анализа политической метафоры*. В: Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 9, 132–148.

- Кошелев, А. Д. (1996), *Референциальный подход к анализу языковых значений*. В: Московский лингвистический альманах. Вып. 1. Спорное в лингвистике, 82–194.
- Красных, В. В. (2003), *«Свой» среди «чужих»: миф или реальность?* Москва.
- Кустова, Г. И. (2000), *Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений*. В: Вопросы языкознания. 4, 85–109.
- Кустова, Г. И. (2004), *Типы производных значений и механизмы языкового расширения*. Москва.
- Лурия, А. Р. (1968), *Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста)*. Москва.
- Мокиенко, В. М. (1999), *Образы русской речи. Историко-этимологические очерки фразеологии*. Санкт-Петербург.
- Норман, Б. Ю. (1999), *К понятию внутренней формы слова*. В: Вертоград многоцветный. Festschrift für Helmut Jachnow. München, 209–218.
- Падучева, Е. В. (2002). *О параметрах лексического значения глагола*. В: Русский язык в научном освещении. 1, 87–111.
- Пеньковский, А. Б. (1991), *Радость и удовольствие в представлении русского языка*. В: Логический анализ языка. Культурные концепты. Москва, 148–155.
- Пеньковский, А. Б. (2004), *Очерки по русской семантике*. Москва.
- Перцов, Н. В. (1996), *О некоторых проблемах семантики и компьютерной лингвистики*. В: Московский лингвистический альманах. Вып. 1. Спорное в лингвистике, 9–66.
- Перцов, Н. В. (1998а), *К проблеме инварианта грамматического значения. 1. Глагольное время в русском языке*. В: Вопросы языкознания. 1, 3–26.
- Перцов, Н. В. (1998b), *К проблеме инварианта грамматического значения. 2. Императив в русском языке*. В: Вопросы языкознания. 2, 88–101.
- Перцов, Н. В. (1999), *Заметки об инварианте*. В: Типология и теория языка. От описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. Москва, 412–421.
- Перцов, Н. В. (2000), *О неоднозначности в поэтическом языке*. В: Вопросы языкознания. 3, 55–82.
- Пиирайнен, Е. (1997), *«Область метафорического отображения» — метафора — метафорическая модель (на материале фразеологии западно-мюнстерландского диалекта)*. В: Вопросы языкознания. 4, 93–100.
- Розет, И. М. (1977), *Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности*. Минск.
- Симашко, Т. В./Литвинова, М. Н. (1993), *Как образуется метафора (деривационный аспект)*. Пермь.
- Слобин, Д. (1976). *Психолингвистика*. В: Слобин, Д./Грин, Дж. Психолингвистика. Москва, 19–220.
- Топоров, В. Н. (1991), *К происхождению некоторых поэтических символов (палеолитическая эпоха)*. В: Ранние формы искусства. Москва, 77–103.
- Успенский, В. А. (1979), *О вещных коннотациях абстрактных существительных*. В: Семиотика и информатика. Вып. 11. Москва, 142–148. Цит. по переизданию: Успенский, В. А. (1997), *О вещных коннотациях абстрактных*

- существительных. В: Семиотика и информатика. Вып. 35. Opera selecta. Москва, 146–152.
- Фитиалов, С. Я. (1983), *Лингвистические аспекты моделирования понимания естественного языка*. В: Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 654. Методологические проблемы искусственного интеллекта. Тарту, 71–85.
- Шмелев, А. Д. (2002), *Русская языковая модель мира. Материалы к словарю*. Москва.
- Шмелев, Д. Н. (1973), *Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка)*. Москва.
- Шухардт, Г. (1960), *Заметки о языке, мышлении и общем языкознании*. В: Звегинцев, В. А. *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I*. Москва, 283–285.
- Якобсон, Р. (1985), *Избранные работы*. Москва.
- Abrams, M. H. (1960), *The Correspondent Breeze. A Romantic Metaphor*. В: Abrams, M. H. (ред.). *English Romantic Poets. Modern Essays in Criticism*. New York, 37–54.
- Anuth, V. S. (1998), *Beobachtungen zur Metapher. Ein phraseologischer Versuch*. В: <http://www.hausarbeit.de/faecher/hausarbeit/lin/11144.html>.
- Bateson, G. (1972), *Steps to an Ecology of Mind*. New Jersey. Цит. по русскому изданию: Бейтсон, Г. (2000), *Экология разума*. Москва.
- Bateson, G./Bateson, M. C. (1988), *Angels fear: an investigation into the nature and meaning of the sacred*. London. Цит. по: Бейтсон, Г./ Бейтсон, М. К. (1994), *Ангелы страшатся*. Москва.
- Bernáth, á. (2001), *Über Nietzsches Begriff der Metapher in seinem Essay "Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne"*. *Komponenten einer terminologischen Untersuchung*. В: *Jahrbuch der ungarischen Germanistik*. 15–32.
- Black, M. (1962), *Models and Metaphor. Studies in Language*. Ithaca/London. Цит. по: Блэк, М., (1990), *Метафора*. В: Арутюнова, Н. Д./Журиная, М. А. (ред.), *Теория метафоры*. Москва, 153–172.
- Black, M. (1979), *More About Metaphor*. В: Ortony, A. (ред.). *Metaphor and Thought*. Cambridge, 19–43.
- Bruner, J. S. (1974), *Beyond the information given: studies in the psychology of knowing*. London. Цит. по русскому изданию: Брунер, Дж. (1977), *Психология познания. За пределами непосредственной информации*. Москва.
- Cassirer, E. (1925), *Sprache und Mythe*. Leipzig/Berlin. Цит. по: Кассирер, Э. (1990), *Сила метафоры*. В: Арутюнова, Н. Д./Журиная, М. А. (ред.), *Теория метафоры*. Москва, 33–43.
- Chlebda, W. (1991), *Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy*. Opole.
- Davidson, D. (1987), *What Metaphors Mean*. В: *Critical Inquiry*. 5, 31–47. Цит. по: Дэвидсон, Д. (1990), *Что означают метафоры*. В: Арутюнова, Н. Д./Журиная, М. А. (ред.), *Теория метафоры*. Москва, 173–193.
- Debatin, V. (2002): *Literatur zur Metaphertheorie*. В: <http://www.uni-leipzig.de/~debatin/english/Research/Metaphor.htm>.
- Dobrovolskij, D. (1995), *Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome*. Tübingen.

- Dobrovól'skij, D. (1997), *Idiome im mentalen Lexikon. Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung*. Trier.
- Eco, U. (1985), *Semiotik und Philosophie der Sprache*. München.
- Fix, U. (2001), *Die Ästhetisierung des Alltags — am Beispiel seiner Texte*. B: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge. XI, 36–53.
- Gibbs, R./Matlock, T. (1997), *Psycholinguistic Perspectives on Polysemy*. B: Cuyckens, H./Zawada, B. (ред.), *Cognitive Linguistics. Selected Papers from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference*. Amsterdam/Philadelphia, 213–240.
- Goodman N. (1981), *Metaphor as Moonlighting*. B: Johnson M. (ред.), *Philosophical Perspectives on Metaphor*. Minneapolis, 221–227.
- Grice, H. P. (1975), *Logic and conversation*. B: Cole, P./Morgan, J. L. (ред.), *Syntax and semantics*. V. 3. New York, 41–58.
- Hoffman, R. R./Waggoner, J. E./Palermo, D. S. (1991), *Metaphor and Context in the Language of Emotion*. B: Hoffmann, R. R./Palermo, D. S. (ред.), *Cognition and the Symbolic Processes: Applied and Ecological Perspectives*. Hillsdale/New Jersey/Hove/London, 163–186.
- Jachnow, H./Norman, B./Suprun, A. E. (2001), *Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien*. Wiesbaden.
- Jäkel, O. (1994), *Wirtschaftswachstum oder Wir steigen das Bruttosozialprodukt: Quantitäts-Metaphern aus der Ökonomie-Domäne*. B: Bungarten, T. (ред.), *Unternehmenskommunikation. Linguistische Analysen und Beschreibungen*. Tostedt, 84–101.
- Jäkel, O. (1997), *Metaphern in abstrakten Diskurs-Domänen: Eine kognitiv-linguistische Untersuchung anhand der Bereiche Geistestätigkeit, Wirtschaft und Wissenschaft*. Frankfurt a.M./Berlin/Bern/New York/Paris/Wien.
- Jäkel, O. (2002), *Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Religious Texts)*. B: <http://www.metaphorik.de>.
- Jakobson, R. (1989), *W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. I*. Warszawa.
- Kaufer, D. (1983), *Metaphor and Its Ties to Ambiguity and Vagueness*. B: *Rhetoric Society Quarterly*. 13/3–4, 209–220.
- Kiklewicz, A. (2001), *Znaczenie w języku i w tekście. (W poszukiwaniu inwariantów semantycznych)*. B: Nagy, L. K. (ред.), *Lenguelek és magyarul Európában. Nyelv, irodalom, kultúra — parhuzamok és kapcsolatok. Tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteére*. Debrecen, 40–55.
- Kiklewicz, A. (2002a), *Paradygmaty lingwistyczno-filozoficzne w kontekście słowiańskich tradycji kulturowych*. B: Zieliński, B. (ред.), *Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański*. Poznań, 263–278.
- Kiklewicz, A. (2002b), *Reprezentatywność a relewancja: dwie strony użycia komunikacyjnego polskich wyrażen ilościowych*. B: Kiklewicz, A./Chruściński, K. (ред.), *Szkice Językoznawcze i Literaturoznawcze*. Słupsk, 19–35.
- Kiklewicz A. (2005), *Semantyka i metaforyczna konceptualizacja strachu w języku polskim, rosyjskim i niemieckim*. B: *Slavia Orientalis*. LIV/2, 283–308.
- Kiklewicz, A. (2006a), *Die Versprachlichung des Konzeptes „Angst“ — Konzeptualisierung ist doch mental, nicht sprachlich, oder?* B: Kotin M. L. et al. (ред.), *Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. Synchronie — Diachronie — Sprachkontakt — Glottodidaktik*. Frankfurt am Main etc., 183–189.

- Kiklewicz, A. (2006b), *Kognitywna teoria metafory — zagadnienia dyskusyjne*. B: Przegląd Humanistyczny. L/2, 29–45.
- Kiklewicz, A. (2006c), *Komunikatywizm i kognitywizm — dwa bieguny współczesnego językoznawstwa funkcjonalnego (dwa małe „nie” czy jedno wielkie „TAK”?)*. B: Chłopicki W. (red.), *Komunikatywizm i kognitywizm — dwa bieguny współczesnego językoznawstwa*. Kraków, 13–40.
- Kiklewicz, A. (2006d), *O językowej konceptualizacji strachu*. B: Sikorski D. K./Sucharski T. (ред.), *Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX–XX wieku*. Słupsk, 223–235.
- Kiklewicz, A. (2007), *Pragmatyczne aspekty kodowania informacji w języku*. B: *Prace Filologiczne* (w druku).
- Kiklewicz, A./Prusak, M. (2006), *Pragmatyczne aspekty teorii metafor pojęciowych (przy szczególnym uwzględnieniu metafor politycznych w polskich tekstach prasowych)*. B: *Respectus Philologicus*. 6, 9 (14), 20–30.
- Lakoff, G./Johnson, M. (1980), *Metaphors We Live By*. Chicago/London.
- Lakoff, G. (1987), *Wome, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. Chicago/London.
- Leezenberg, M. (2001), *Contexts of Metaphor*. Amsterdam/London/New York et al.
- Levin-Steinmann, A. (2001), *Размышления о выбранных когнитивных аспектах фразеологизмов*. B: *Die Welt der Slaven*. XLVI, 225–232.
- Mańczyk, A. (2002), *Biosocjologia umysłu metaforycznego*. Zielona Góra.
- Martin, W. (1997), *A Frame-based Approach to Polysemy*. B: Cuyckens, H./Zawada, B. (ред.), *Polysemy in Cognitive Linguistics*. Amsterdam/Philadelphia, 100–120.
- Mayenowa, M. R. (1979), *Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka*. Wrocław etc.
- Miller, G. A. (1979), *Images and Models, Similes and Metaphors*. B: Ortony, A. (ред.), *Metaphor and Thought*. Cambridge, 202–248.
- Mooij J. J. A. (1978), *Ładunek, nośnik a referencja*. W: *Przegląd Humanistyczny* 6, 89–102.
- Ohlhoff, D. (2002), *Das freundliche Selbst und der angreifende Feind. Politische Metaphern und Körperkonzepte in der Wissensvermittlung der Biologie*. B: [www.metaphorik.de](http://www.metaphorik.de).
- Osthus, D. (2002), *Metaphernspiele in Pressentexten: ludischer Metapherneinsatz in französischen und deutschen Tageszeitungen*. B: [www.metaphorik.de](http://www.metaphorik.de).
- Pawelec, R. (2006), *Metafora pojęciowa a tradycja*. Kraków.
- Pielenz M. (1995), *Argumentation und Metapher*. Tübingen.
- Pinkal, M. (1980), *Semantische Vagheit: Phänomene und Theorien. I*. B: *Linguistische Berichte*. 70, 1–26.
- Pinkal, M. (1985), *Logik und Lexikon. Die Semantik des Unbestimmten*. Berlin/New York.
- Pólya, G. (1981), *Mathematical discovery: on understanding, learning, and teaching problem solving*. New York. Цит. по: Пойа, Д. (1976), *Математическое открытие*. Москва.
- Pörksen, U. (1997), *Welt markt der Bilder*. Stuttgart.
- Richards, I. A. (1950), *The Philosophy of Rhetoric*. Oxford. Цит. по: Ричардс, А. А. (1990), *Философия риторики*. B: Арутюнова, Н. Д./Журина, М. А. (ред.), *Теория метафоры*. Москва, 44–67.



- 
- Ross, D. (1993), *Metaphor, Meaning and Cognition*. New York/San Francisco/Bern et al.
- Searle, J. R. (1979), *Metaphor*. В: Ortony, A. (ред.), *Metaphor and Thought*. London/New York/Melbourne, 92–123.
- Sebeok, T. A./Danesi, M. (2000), *The Forms of Meaning. Modeling Systems Theory and Semiotic Analysis*. Berlin/New York.
- Taylor, J. R. (1989), *Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory*. Oxford.
- Żmigrodki, P. (1995), *Zdania metaforyczne w języku polskim*. Katowice.

## СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРОТОТИП, СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ И НЕОПРЕДЕЛЕННОЗНАЧНОСТЬ\*

В зависимости от формата внутренняя форма знака различается некоторыми существенными свойствами. Так, морфологическая структура слова не обязательно отражает структуру объекта-денотата — она может характеризовать предмет с функциональной точки зрения, указывая на поведение объекта в среде, ср.:

действие лица: *столярничать* (< *столяр*)  
совокупность предметов: *созвездие* (< *звезда*)  
часть предмета: *соломинка* (< *солома*)  
вместилище предмета: *сахарница* (< *сахар*) и т.д.

Для высказывания же, как подчеркивал Б. А. Плотников,

мотивированность, или внутренняя форма, может быть только структурной, восходить к тем моделям организации слов в высказывании, число которых представляется исчислимым в любом языке (1989, 118).

Структурное сходство высказывания и обозначаемой им ситуации дает основание рассматривать основную коммуникативную единицу языка как знаковую модель референциальной ситуации. Это свойство высказывания принято связывать с понятием *и к о н и ч н о с т и*: высказывание организовано по принципу подобия с описываемой ситуацией.

Для слова такая организация в целом не характерна, поэтому слово считается типичным представителем знаков-символов. *С и м в о л и ч н о с т ь* слова подтверждается также многочисленными случаями деэтимологизации, когда, по определению А. В. Исаченко, преодолевается противоречие между дискретной природой знака и адискретной природой референта. Даже в тех случаях, когда, казалось бы, структурное сходство имени и референта налицо, номинативное отношение между

---

\* Первая публикация: *Лексический прототип, семантические окказионализмы и неопределеннозначность*. В: Acta Polono-Ruthenica. 2003, VIII, 207–224. Здесь публикуется в расширенном варианте.

ними оказывается довольно сложным. Так, можно считать, что мотивировка существительного *сахарница* со значением ‘посуда для сахара’ вполне очевидна: корень слова указывает на содержимое (*сахар*), а суффикс — на вместилище (*посуда*). Из этого следует, что суффиксу *-ниц* в современном русском языке мы должны были бы приписать значение ‘посуда, вместилище’. Но данное значение суффикса *-ниц* оказывается, однако, не единственным — Т. Ф. Ефремова (1996, 294ссл.) различает четыре значения этого форманта (а в случае суффикса *-иц* зафиксировано еще больше — одиннадцать значений). Ср.:

*мельница*

*молочница*

*ключница*

*пятерочница*

*слушательница*

*дачница*

*победительница* и др.

Неудивительно, что в речи могут возникать разночтения в интерпретации одного и того же деривата. Как, например, «среднестатистический» носитель русского («дядя Вася, сантехник из соседней квартиры», по определению Б. Ю. Нормана) поймет существительное *тушечница*? Может быть, как художница, которая пишет тушью, а может — как помещение, место для хранения туш. В романе Тодда Симода «Четвертое сокровище» (перевод Т. Ивченко) это слово употребляется в ином значении — ‘емкость, пузырек для хранения туши’. Ср.:

*Годзэн положил конверт и коробку на комод. Крышка была заперта на простую защелку. Отодвинув ее, он открыл коробку. На бархатной обивке покоилась тушечница. Вырезанная из натурального камня, она была прекрасна. В трещинах виднелись следы засохшей туши.*

При интерпретации такого внушительного «разброса» значений одной и той же единицы возникает проблема: либо следует фиксировать все конкретные оттенки семантического варьирования единицы (как это и принято в практике традиционных толковых словарей), либо следует направить усилия на поиск общего, инвариантного значения или же нескольких обобщенных значений. При втором подходе полезным может оказаться теория неопределенности В. В. Мартынова (1995), в соответствии с которой в содержании знаков закодирован абстрактный семантический инвариант, а также способы его актуализации в речевых ситуациях.

Если к дериватам типа *сахарница* применить критерий неопределенности, то в их значении мы обнаружим не только семантиче-

ские, но и прагматические компоненты, а это значит, что деривационная морфема является семантически неполным символом, т.е. таким, семантическая полноценность которого определяется в дискурсе и имеет в конечном счете конвенциональную природу.

На польском материале это убедительно показала Д. Шумская (Szumska 1999; 2001; 2006): обобщая примеры многозначного и окказионального употребления польских относительных прилагательных в конструкциях типа:

*wiśniowy szampon* ‘szampon zrobiony na bazie kory z drzewa wiśniowego’  
*bukowa szczotka* ‘szczotka posiadająca rączkę zrobioną z drewna bukowego’  
*silikonowa ślicznotka* ‘kobieta, której biust jest wypełniony silikonem w celu zwykle dość znacznego powiększenia’  
*owocowe kredki* ‘mające kolor i zapach owoców, dzięki dodaniu odpowiednich substancji zapachowych i barwników’ и т.п.

исследовательница пишет о двух способах семантизации закодированных в значении прилагательного инвариантов — конвенциональном, опирающемся на семантические стандарты, и окказиональном, опирающемся на ситуативные предпочтения говорящего:

W przypadku użycia standardowego [...] rekonstrukcja wyzerowanego Predykatu, a wraz z nim skondensowanej struktury predykatowo-argumentowej odbywa się w oparciu o wiedzę potoczną, czyli poprzez odwołanie się do istniejących standardów semantycznych. Na przykład w przypadku połączenia *drewniana łyżka* standardy semantyczne stanowią skuteczny filtr blokujący interpretację analogiczną do *łyżka/łyżeczka deserowa*, a mianowicie „łyżka, która służy do jedzenia drewna”, bo wiedza potoczna podpowiada, że argument „drewno” w przeciwieństwie do „deseru” nie wchodzi w skład struktury predykatowo-argumentowej o mocy standardu z predykatem „jeść”, w której pierwszym argumentem byłby człowiek. W przypadku użycia niestandardowego, czyli kondensacji struktury predykatowo-argumentowej nie posiadającej statusu standardu semantycznego, jej odtworzenie może być operacją niewykonalną, czyli taką, w której rekonstrukcja predykatu (predykatów przy większym stopniu kondensacji) zgodna z intencją nadawcy komunikatu będzie albo w ogóle niemożliwa, albo niemożliwa poza tekstem, w którym egzystuje (Szumska 1999, 21).

Применение критерия неопределеннозначности Мартынова должно означать, что не только фиксированное, определенное количество значений многозначного слова, но и фиксированное лексикографическое описание производного слова в традиционных толковых словарях — лишь фрагмент заложенного в структуре слова семантического потенциала. Так, существительное *рыбница* в современном русском языке, по данным академического «Словаря русского языка» имеет два значения:

1. ‘место для хранения выловленной рыбы’
2. ‘промысловое рыболовное судно’

Однако потенциально данное слово могло бы означать посуду для рыбы, женщину — специалиста по рыбоводству или же будку с рыбой. Кстати, в словаре В. И. Даля встречаем иные семантические употребления существительного *рыбница*:

1. ‘рыбная торговля’, ср. *промышлять рыбницей*
2. ‘плоскодонная лодка для привоза рыбы’
3. ‘пора залава рыбы’

Значения, отраженные в толковом словаре, — это только часть возможных речевых реализаций языкового семантического инварианта. С лексикографических описаний значений слов, таким образом, должен быть снят налет абсолютности и незыблемости.

Критерий неопределеннозначности оказывается весьма существенным в сопоставительных исследованиях (Киклевич 2000). Рассмотрим ряд русско-иноязычных параллелей. Русский глагол *чистить* описывается в словарях как многозначный:

1. ‘удаляя грязь, пыль, делать чистым; освобождать от чего-л. накопившегося, засоряющего, чуждого, вредного: *чистить (пылесосом) ковер, (щеткой) платье, зубы, коня, ногти, сапоги, дорогу, пруды*’
2. ‘приготавливая в пищу, освобождать от верхнего слоя, кожуры, чешуи и т.п.: *чистить апельсин, картошку, рыбу*’

Русскому глаголу *чистить*, по данным переводного словаря, в немецком языке соответствует как минимум шесть лексем:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>чистить</i> <sub>1</sub> | <i>putzen (mit der Bürste)</i>         |
|                             | <i>scheuern (das Geschirr)</i>         |
|                             | <i>reinigen (die Kleider)</i>          |
|                             | <i>striegeln (ein Pferd, das Fell)</i> |
|                             | <i>abschuppen (einen Fisch)</i>        |
| <i>чистить</i> <sub>2</sub> | <i>schälen (die Früchte)</i>           |

Польские лексические соответствия также нельзя признать однозначными — в толковых словарях отмечается шесть лексических соответствий русского *чистить*:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <i>чистить</i> <sub>1</sub> | <i>czyścić (konie, obuwie, odzież, dywan, zęby)</i> |
|                             | <i>oczyszczać (drogę)</i>                           |
|                             | <i>myć (zęby)</i>                                   |
|                             | <i>obierać (ubranie z pierza)</i>                   |
| <i>чистить</i> <sub>2</sub> | <i>skrobać (kartofle, marchew, rybę)</i>            |
|                             | <i>obierać (jabłka, kartofle, jajka)</i>            |

Если русскому *чистить*<sub>1</sub> в немецком языке соответствует пять, а в польском — четыре разных глагола, то не означает ли это, что значение русского *чистить*<sub>1</sub> в словарном описании чрезмерно обобщено? Может быть, следовало бы — в соответствии с разными объектами, инструментами и способами очистки — выделять не одно, а четыре, пять, а то и больше значений этого глагола? Такой подход, кажется, имеет опору в «здравом смысле», ведь совершенно ясно, что *чистить зубы* и *чистить костюм* — не совсем одно и то же. То же касается и глагола *стирать*: выражение *перестирала все белье* будет интерпретироваться по-разному в зависимости от того, идет ли речь о ручной или машинной стирке. Словари этого различия не отражают: *стирать* истолковывается как ‘мыть мылом или с другим моющим средством одежду, белье’. Глагол *мыть* в свою очередь описывается как ‘очищать от грязи водой или водой с мылом, а также какой-либо другой жидкостью’, способ же и средства очистки — часто весьма существенные с практической точки зрения — остаются за кадром.

«Клонирование» значений по образцу иноязычных эквивалентов было бы, однако, неприемлемым: во-первых, один язык при этом ставится в зависимость от другого, каждое новое сопоставление сулит расширение области значения. Во-вторых, при таком подходе лингвистическое описание вряд ли осуществимо «технически» — в силу значительного варьирования референциальной семантики (объема значения) слова.

Таким образом, толковые и переводные словари культивируют, в сущности, противоположные принципы описания: в толковых словарях в определенной степени игнорируется референциальное многообразие в рамках одного значения, которое (многообразие) отражается при передаче иноязычных эквивалентов слова. Но переводной словарь не содержит концептуальной информации об эквивалентах, используя лишь метод экземплификации, который не всегда «срабатывает»: ссылка на группу прототипных представителей семантической категории может оказаться недостаточной. Так, польский эквивалент русского *чистить*<sub>1</sub> — глагол *oczyszczać* сопровождается пометой в скобках: *oczyszczać (drogę)*. Для читателя это является прототипным указанием на определенную семантическую категорию (класс предметов); предполагается, что реципиент принадлежит к тому же культурному сообществу, что и автор словаря, а поэтому легко восстановит недостающую концептуальную информацию. Но это — как раз тот случай, когда (если использовать формулу Э. Бенвениста) очевидное не подтверждает своей очевидности. Во-первых, какая категория стоит за польским существительным *droga*? Может быть, категория «место передвижения», а может быть — «часть рельефа». Во-вторых, какой польский эквивалент должен выбрать пользователь для выражения *чистить колодец?* *чистить болото?* *чистить пруд?*

Лексико-семантические эквиваленты в разных языках соотносятся с одним и тем же значением, но если в группе эквивалентов одного языка (*czyścić, oczyszczać, myć, obierać*) имеются семантические различия, то это значит, что определение значения должно быть построено по такому принципу, чтобы в нем отражались, с одной стороны, общие, неустрашимые дескриптивные признаки, с другой стороны, переменные признаки, появляющиеся в контексте и обуславливающие множество иноязычных лексических соответствий. В случае глагола *чистить*<sub>1</sub> таким инвариантом могла бы быть дефиниция:

*X чистит*<sub>1</sub> *Y* = ‘*X* механически воздействует на *Y*;  
*X* воздействует на *Y* с целью сделать его чистым;  
*Y* является твердым предметом;  
*X* воздействует на внутреннюю или внешнюю часть *Y* в зависимости от того, какая часть *Y* в соответствии с нормой или в соответствии с ситуацией является загрязненной;  
*X* использует такой способ и такие средства воздействия на *Y*, которые зависят от природы *Y*, а также от природы тех объектов, которые необходимо удалить с поверхности *Y*;  
*X* может воздействовать на *Y* используя воду или другие жидкости, которые при этом являются дополнительным средством достижения эффекта’

Одну из интересных версий инварианта лексического значения предлагает И. К. Архипов. Он пишет:

[...] Между единицами системы языка (морфемами и лексемами) и их речевыми реализациями (алломорфами и аллолексами) нет зеркальных отношений [...] Лексико-семантическая система языка в действительности состоит из инвариантов, «из абстракций», а не «из того же, из чего состоит речь» — из конкретных экземпляров (1997, 27).

Архипов стремится обосновать точку зрения, согласно которой переход от языка к речи, т.е. так называемая речевая актуализация языковых единиц, имеет не количественную, а качественную природу: актуализация — это не просто выбор конкретной единицы из имеющегося в языковой системе множества экземпляров:

На самом деле, очевидно, происходит «переплав» (трансляция) абстрактного содержания в содержание, соответствующее конкретным конситуациям, входящим в открытые множества [...] Инварианты — достаточно размытые абстракции, и их достаточно конкретные реализации на уровне речи составляют два принципиально разных уровня единой системы речемыслительной деятельности (*ibidem*, 28).

Подчеркивая качественное различие между единицами языка и речи, Архипов критикует точку зрения, в соответствии с которой языковой инвариант той или иной единицы отождествляется с основным вариантом, наименее обусловленным контекстом. Инвариантом значения слова у Архипова выступает лексический прототип. Исходя из предпосылки о речевой вариативности алломорфов и аллолексов, Архипов постулирует инвариантный характер их языковых соответствий — морфем и лексем:

Лексический прототип (ЛП) включает коммуникативно значимые узуральные категориальные и дифференциальные признаки, минимально необходимые для идентификации предмета (понятия). Признаки, входящие в ЛП, примитивны и не могут быть выведены один из другого. Поскольку ЛП представляет собой содержательное ядро слова, он выводится с учетом всех значений и является семантическим инвариантом (*ibidem*, 25).

Так, лексический прототип русского слова *зима* определяется как ‘время года, в течение которого удерживается самая холодная погода’. В английском языке соответствующее существительное *winter* многозначно:

1. ‘самый холодный сезон года’
2. ‘год’
3. ‘заключительный период жизни, период распада, деградации и т.п.’

Лексический прототип, который представляет собой содержание лексемы *winter*, является инвариантом этих трех значений: ‘холодная пора года; время, когда нарушается нормальный ход событий’. Архипов подчеркивает:

[...] Именно этот пучок минимальных признаков, а не первое значение осмысливается как представитель лексемы и концептуальной системе языка, а в речи он представлен словом. Тогда все значения, включая первое (главное), предстают как равностатутные, поскольку они в равной степени производны от ЛП (1997, 26).

Вызывает сомнения как сама идея обобщения всех значений слова в одном инварианте, так и ее конкретная реализация в работе Архипова. На практике абстрактный характер лексического прототипа сводится к простому суммированию отдельных значений (как в примере с существительным *winter*), а в других случаях и вовсе совпадает с одним из значений (например, при определении прототипа англ. *limb* ‘член’). Такая интерпретация лексико-семантического инварианта не может быть признана удовлетворительной, потому что между вариантом и инвариантом нет принципиальных, качественных различий.



Вряд ли можно согласиться с утверждением Архипова о том, что лексико-семантический инвариант «выводится с учетом всех значений» (разрядка моя. — А. К.). Во-первых, семантический инвариант не может охватить полный объем содержательного варьирования слова, потому что связи между отдельными значениями могут быть потеряны, исторически затемнены, а кроме того в основе семантической деривации одного и того же слова, как правило, лежат разные признаки обозначаемого понятия, которых нельзя свести в одно целое. Важным фактором функционирования полисемии является также культура, разнообразные сферы практической и интеллектуальной деятельности людей с использованием языка. Действие этого фактора проявляется в том, что некоторые переносные значения возникают в разных культурных контекстах, и объединение их в одном семантическом инварианте было бы искусственным. Так, существительное *школа*, по данным академического «Словаря русского языка» имеет семь значений, при этом значение ‘направление, течение в науке, искусстве, литературе, общественно-политической мысли, связанное единством основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов’ культивируется, главным образом, в научной сфере, поэтому вряд ли было бы обоснованным объединять его в один инвариант со значением ‘питомник, где выращиваются растения’ — сомнительно, что такой семантический гештальт, действительно, закодирован в языковой памяти носителей языка.

Во-вторых, требование полного охвата значений некорректно уже в силу такого свойства знака, как его «бесконечная семантическая валентность», о которой писал А. Ф. Лосев. «Всех» значений слова, с учетом многообразия едва отличимых нюансов и оттенков, скорее всего, нельзя ни исчислить, ни записать списком — именно по причине его непрерывного семантического варьирования. Каждое слово многозначно или потенциально многозначно, причем далеко не всегда можно предсказать, в каком направлении пойдет развитие семантики той или иной единицы (Раевская 1998, 67).

Думается, что Архипов, концентрируя внимание на значениях, которые зафиксированы в толковом словаре, недостаточное внимание уделяет семантическим окказионализмам, которые чрезвычайно важны для раскрытия инвариантного семантического потенциала слова. Динамические отношения между планом содержания и планом выражения в синтаксисе имеют весьма распространенный и регулярный характер:

В целом использование синтаксических моделей предложения характеризуется нередко множественной асимметрией, при которой в пре-

делах данного круга форм и значений любая форма может быть использована для выражения любого значения и любое значение может выражаться любой формой (Гак 1977, 49).

Окказиональным употреблениям существительных, прилагательных и наречий посвящена серия работ Б. Ю. Нормана (1993а; 1993b; 1993с; 1995; 1996; 1998). Автор приводит и анализирует разнообразные примеры лексико-семантических окказионализмов, ср.:

*трикотажные подробности* = ‘подробности сферы интимной жизни, связанные с дамским бельем, изготавливаемым обычно из трикотажа’  
*парусиновые ноги* = ‘ноги в парусиновых брюках’  
*очередь на Ягодина* = ‘очередь желающих участвовать в прениях по обсуждению кандидатуры Ягодина’  
*остановиться на светофоре* = ‘остановиться на перекрестке перед светофором’  
*квадрат* = ‘квадратный метр площади’

Регулярность, с которой возникают семантические окказионализмы, свидетельствуют о том, что мы имеем дело с закономерным, системно программируемым процессом, особенность которого состоит в том, что окончательное формирование лексической семантики языковой единицы происходит в речи. Так, сочетание

*обидеться из-за конфет*

могло бы интерпретироваться как ‘обидеться из-за чего-то, связанного с конфетами’, конкретизация же этого общего значения — в виде ‘обидеться из-за того, что не досталось конфет’ или ‘обидеться из-за того, что конфеты были плохие’ и т.д. — осуществляется в контексте (Норман 1993а, 11).

Поскольку, как свидетельствуют многочисленные факты, слово зачастую лишь «намекает» на связи между предметами, его толкование должно сводиться только к указанию на факт такой связи — и не более. Так, с учетом многообразия окказиональных значений относительное прилагательное *трикотажный* могло бы быть описано как ‘имеющий отношение к трикотажу’. Но Норман отрицает целесообразность такого описания:

Дело в том, что толкование прилагательного по типу ‘имеющий отношение к X’ (где X – семема, названная производящей основой) оказывается чрезмерно широким и потому бесплодным, непригодным к практическому применению [...] «Предельно обобщенное значение» оказывается на поверку умозрительной абстракцией, не соответствующей ни одному реальному контексту (1993b, 101).

Из сказанного следует, что языковое значение должно быть «конкретным» и соответствовать определенному «реальному контексту». Но, во-первых, именно такие определения, основанные на принципе «имеющий отношение к *X*», массово встречаются в толковых словарях — при описании многих относительных прилагательных, ср. примеры из академического «Словаря русского языка»:

*часовой* — прилагательное к *часы*  
*уездный* — прилагательное к *уезд*  
*тотемный* — прилагательное к *тотем*

Во-вторых, требование «конкретности» лексического значения нарушало бы его эмический статус в системе языка, качественный (эквиполентный) характер оппозиции языка и речи. Подобно тому, как от предложения не требуется соотнесенность с конкретной ситуацией — эта характеристика относится к высказыванию как единице речи, так и от лексемы как единицы языка не требуется соотнесенность ни с конкретными предметами, ни с определенными ситуациями ее употребления.

Уже А. В. Исаченко (1961, 32-33) обратил внимание на то, что при описании лексических значений следует учитывать качественные различия языка и речи. Так, он писал, что существительное *дядя* толкуется в словарях как ‘брат отца’, ‘брат матери’, но и как ‘муж тетки’, ‘двоюродный брат отца или матери’, как ‘муж двоюродной сестры отца или матери’. С каким количеством знаков мы имеем здесь дело: с одним или несколькими, каждый из которых соответствует отдельному лексическому значению? В словарях слово *дядя* не разбивается на омонимы: ‘брат отца’ и ‘муж тетки’ толкуются как два значения одного и того же слова. Но ведь это, подчеркивает Исаченко, отнюдь не одно и то же! Он пишет:

Дело, по-видимому, в том, что «брат отца», «брат матери», «муж тетки» и т.п. являются лишь частными проявлениями какого-то более общего значения [...] Значение (десигнат знака) должно быть постоянным, или инвариантом (*ibidem*, 33).

Исаченко ищет именно это инвариантное значение существительного *дядя*. Предлагаемое им определение таково: ‘мужской член семьи, относящийся к поколению родителей, но не являющийся прямым родственником по восходящей линии’. Исаченко подчеркивает:

Приводимые в словарях «значения» («брат отца», «брат матери», «муж тетки») являются лишь частными случаями выявления этого инвариантного значения. Как видно, «значение» знака *дядя* чисто реляционно (разрядка моя. – А. К.) (*ibidem*).

Б. Ю. Нормана, впрочем, интересует не лексико-семантический, а синтаксический аспект многозначности, в чем, собственно, и ценность его подхода, хотя уже в 80-е годы прошлого века с теорией синтаксической интерпретации полисемии выступил Е. Л. Гинзбург (1985, 61ссл.). В механизме формирования метонимических конструкций типа

*трикотажные подробности  
остановиться на светофоре  
очередь на Ягодина*

Норман усматривает действие процесса синтаксической аналогии. По его мнению, произносятся подобные выражения, говорящий

прибегает к усвоенному языковому шаблону — ведь в нашей языковой памяти уже заложены словосочетания вроде очередь на квартиру (т.е. «на получение квартиры») или очередь на телефон (т.е. «на установку телефона») и т.п.; это готовые конструкции поверхностного синтаксиса (Норман 1993а, 11).

Что же касается разной степени их сложности в плане глубинного синтаксиса, говорящего и слушающего сие не касается: они оперируют данными конструкциями в готовом виде (Норман 1993b, 105).

[...] Конструкции, появившиеся в тексте в результате определенных речедейательностных процессов, становятся для носителя языка основой для непосредственных аналогий, образцами при построении очередных высказываний [...] Как сами эти — речевые — образцы, так и их регулярные преобразования (трансформации) принадлежат поверхностному синтаксису (Норман 1998, 8).

Синтаксическая аналогия, о которой здесь идет речь, носит формальный, морфологический характер:

*очередь    на получение  
          на установку  
          на квартиру  
          на телефон  
          на Ягодина и т.д.*

Она представляет собой экземпляр виртуального бесконечного подключения словоформы с заданными грамматическими параметрами, в данном случае:

[Praep<sub>на</sub> + S<sub>Acc</sub>]

Аналогия позволяет словоформе занять в структуре высказывания соответствующую синтаксическую позицию — но не более! Она не объясняет, почему и каким образом выражение

*очередь на квартиру*

семантически отличается (и отличается ли вообще) от выражения

*очередь на Ягодина*

Синтаксическая аналогия выступает как обоснование того, что конструкция допустима, парадигматика дает синтагматике зеленый свет. Но, во-первых, парадигматика в определенной степени производна от синтагматики, что убедительно показали представители «синтагматического структурализма» (в особенности — Р. Ф. Микуш). Во-вторых, зеленый свет — еще полдела, надо знать, куда ведет дорога, т.е. каким содержанием обернется для говорящего заполнение синтаксической позиции словоформой с новым лексическим значением. А эту содержательную сторону полисемантов синтаксическая аналогия как раз и не объясняет.

Игнорирование семантического аспекта языковых выражений с полисемантами искажает реальную динамическую картину языкового функционирования, а речевой субъект предстает как механическая кукла, способная лишь тиражировать структурные схемы.

Возникновение синтаксических конструкций по аналогии, а также их семантическая интерпретация в значительной степени обусловлены системой неязыковых знаний субъекта — тем, что под влиянием современной когнитологии принято называть *инференцией*. Именно инференция обуславливает содержательную наполненность метонимических конструкций (Раевская 1998, 68), ср.:

*Я люблю Стендаля* = ‘Я люблю читать книги Стендаля’.

*Я люблю Моцарта* = ‘Я люблю слушать музыку Моцарта’.

*Я люблю море* = ‘Я люблю отдыхать на море’.

*Я люблю яблоки* = ‘Я люблю есть яблоки’.

*Я люблю молоко* = ‘Я люблю пить молоко’.

*Я люблю интернет* = ‘Я люблю пользоваться интернетом (получать информацию в интернете)’.

*Я люблю Машу* = ‘Я люблю проводить время с Машей’.

Видимо, понимая, что при описании семантических окказионализмов синтаксической аналогией удовлетвориться нельзя, Норман предусматривает также иные возможности синтаксической интерпретации полисемантов. Одной из таких интерпретаций выступает операция *с т я ж е* -

ния синтаксической структуры высказывания: благодаря устранению некоторых компонентов словоформа меняет свою позицию, причем таким образом, чтобы оказаться поближе к вершине дерева зависимостей — глагольному предикату (коммуникативно-психологическая основа этого процесса — перемещение лексической единицы в центр фокуса внимания). Именно так рассматриваются Норманом языковые выражения с нарушением закона единства основания, согласно которому «мы должны иметь дело с однородными (то есть относящимися к одному уровню обобщения) и одноплановыми (то есть относящимися к одной сфере) сущностями» (Норман 1996, 24). В выражениях типа

*Цвет платья напоминал спелую вишню*

сопоставляются разнотипные и разнородные понятия, а именно — признак (*цвет платья*) и предмет (*спелая вишня*). Если бы выражение было построено по правилам логики, оно бы имело вид:

*Цвет платья напоминал цвет спелой вишни или  
Платье своим цветом/по цвету напоминало спелую вишню.*

Несмотря на смысловое противоречие, подобные языковые выражения встречаются в речи довольно часто, что и дает Норману право сделать общий вывод:

У языка своя логика, свои основания для тех операций, которые производятся со знаками в речевой деятельности [...] Принципы формальной логики сталкиваются в языке с другими правилами — семиотики и семасиологии, синтаксиса и стилистики. Так рождается особая — нежесткая — логика языка, допускающая значительно более «мягкотворую» трактовку лексических множеств и операций с ними (1996, 25ссл.).

## Высказывание

*Цвет платья напоминал спелую вишню*

возникает в результате сокращения высказывания с более развернутой синтаксической структурой:

*Цвет платья напоминал цвет спелой вишни.*

Норман считает, что слово, сохранившееся в результате сокращения фразы (например, *вишня* вместо *цвет вишни*), «обогащается, как бы впитывает в себя значения своих «менее удачливых коллег» — исчезнувших слов». Но обратим внимание: если словоформа *вишню* означает

*цвет вишни*, то предложение имеет смысл ‘Цвет платья напоминал цвет спелой вишни’, а значит, нарушения логики здесь нет. Если же в высказываниях рассматриваемого типа усматривать логическую ошибку, то нельзя утверждать о смысловом тождестве полного и сокращенного вариантов высказывания.

Как видим, «апология поверхностного синтаксиса», с которой выступает Норман, а именно — игнорирование семантического и прагматического компонентов речевых процессов, создает неразрешимые парадоксы.

Можно предложить альтернативное решение: признать, что формальное сокращение высказывания приводит к изменению его содержания — оно, в частности, становится более обобщенным. Это вполне естественно, ведь из предложения устраняется часть его лексического состава и передаваемая информация становится менее полной и менее конкретной. Именно поэтому сокращение фразы сознательно используется при дефиците информации или в ситуациях, когда в излишней детализации нет необходимости (эффект синекдохи), ср.:

*С вами будет говорить Зауральск* = ‘С вами будет говорить кто-то (не могу точнее конкретизировать) из Зауральска’

*Лена пошла на Петрова* = ‘Лена пошла, чтобы принять участие в событии, к которому имеет отношение Петров / с участием Петрова’

Возможно возражение: произнося высказывания вроде

*Лена пошла на Петрова*

говорящий имеет в виду не какое-то абстрактное «событие с участием Петрова», а совершенно конкретную ситуацию: доклад Петрова, концерт Петрова, спортивное состязание с участием Петрова и т.д. (конечно, возможны и принципиально иные интерпретации: Лена пошла на улицу Петрова, Лена пошла с оружием на Петрова). Именно так! Но эта конкретная информация находится вне языкового высказывания — она обусловлена обстоятельствами коммуникации, а также общими для коммуникантов знаниями о мире которые обусловлены их принадлежностью к одному и тому же культурному сообществу.

Допустим, в разговоре о начале концертного сезона в филармонии вы, имея в виду известного пианиста, спрашиваете:

*А ты пойдешь на Петрова?*

В этом случае действует принцип компенсации: сокращенная форма высказывания как раз обусловлена тем, что собеседник осведомлен, о каком Петрове и о каком событии с участием Петрова идет речь.

И внутреннюю форму (мотивировку), и отчасти смысл языкового выражения в подобных случаях надо искать за пределами речевого сообщения.

Компенсаторную функцию может выполнять не только речевая ситуация или энциклопедические знания партнеров по общению, но и само высказывание. В предложении

*Цвет платья напоминал спелую вишню*

эта функция возлагается на существительное *цвет*: употребив его однажды (как характеристику платья), говорящий определяет тему сообщения. В нормальном общении заданная тема сохраняется в течение всего разговора, поэтому дублирование существительного *цвет* не обязательно: умолчание здесь равнозначно подтверждению того, что говорящий не отклоняется от темы. Таким образом, рассматриваемое высказывание может быть истолковано: ‘Цвет платья напоминал спелую вишню, т.е. вызывал ассоциацию — по уже упомянутому признаку — со спелой вишней’.

В лингвистических исследованиях последнего времени отдается предпочтение экологическому подходу, который при описании языка учитывает значимость экстралингвистических факторов речевой коммуникации: обстановки и сцены, намерений участников диалога, апперцептивной базы как совокупности знаний и установок коммуникантов (так называемых паттернов), пресуппозиций, импликатур и др. Экологическая (трансцендентная) природа языка проявляется в том, что он в обобщенном (и лишь в обобщенном!) виде программирует потенциальное употребление системно организованных единиц разного формата. В речи это обобщенное содержание конкретизируется с учетом лексического состава высказывания, контекста и конситуации. В известной сказке А. Н. Толстого черепаха Тортилла дает Буратино золотой ключик, но заветную дверь Буратино должен отыскать и открыть сам. Нечто подобное наблюдается и в речевой деятельности: с помощью языковых форм говорящий только намекает на смысл, который в полном объеме устанавливается адресатом сообщения с опорой на ситуацию и контекст.

Актуализация номинативного знака в речевом акте подчиняется принципу ассоциации: языковой знак не имеет фиксированного, единственного объекта номинации, напротив — его значением охватывается множество материальных или концептуальных объектов, которые ассоциативно связаны между собой. Номинативная функция, таким образом, состоит в том, что знак соотносится с нежестким множеством объектов, ассоциативно связанных друг с другом. Именно поэтому су-



ществительное *квадрат* может обозначать и ‘геометрическую фигуру’, и ‘квадратный метр жилой площади’.

В содержании языкового знака всегда имеются потенциальные признаки, которые могут проявляться в виде семантических окказионализмов. Ср. пример из разговорной речи:

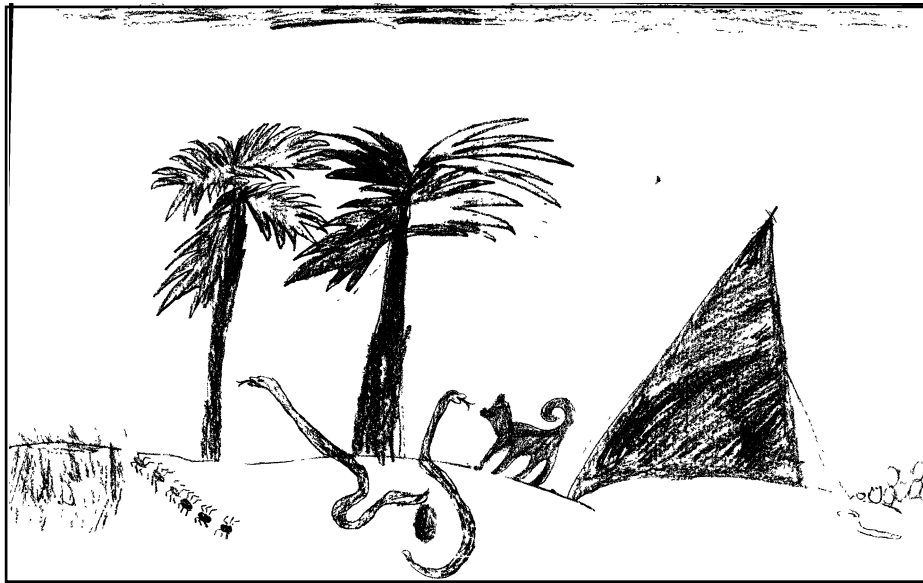
Жена (мужу). *Помнишь, раньше были такие охотничьи салаты?*  
Дочка (6 лет). *Они что — из охотника сделаны?*

Окказиональное толкование выражения *охотничий салат* как ‘салат, сделанный из охотника’ (по аналогии с *рыбный салат* = ‘салат, сделанный из рыбы’) вполне соответствует тому принципу, который мы описали выше и который действует в шуточном «Этимологическом словаре» Б. Ю. Нормана и коллег (Норман 1987, 207ссл.; 2006, 252ссл.). Окказиональные толкования (которые оказываются массовыми и охватывают значительный массив лексики):

*водитель* ‘ороситель’  
*графин* ‘муж графини’  
*дворянка* ‘порода дворовых собак’  
*земляк* ‘червяк’  
*исправник* ‘слесарь-сантехник’  
*вернисаж* ‘трубочист’  
*завербовать* ‘запороть вербой’ и др.

с одной стороны, выглядят как филологическая шутка, лингвистическое «хулиганство», но, с другой стороны, это — вполне естественное развитие того семантического потенциала слова, который заложен уже в системе языка.

Ассоциативный принцип вообще довольно характерен для интеллектуальной, в частности, творческой деятельности человека. Примером может послужить детский рисунок моей дочери Кати:



Название рисунка — «В пустыню приехали люди с собакой». Хотя в этом названии есть слово *люди*, но людей — непосредственных носителей выражаемого данным существительным признака, на рисунке нет. Зато есть палатка и собака — предметы, с которыми человек в рамках онтологической сферы «природа» имеет сильную ассоциативную связь.

Итак, слово как номинативная единица языка характеризуется неопределеннозначностью, поэтому даже в тех случаях, когда лексическое значение опирается на внутреннюю форму, т.е. функциональная (номинативная) характеристика знака зависит от его структурной характеристики, о полном тождестве значения и мотивировки говорить нельзя. Если внутреннюю форму, например, слова *трикотажный* можно представить как ‘имеющий отношение к трикотажу’, то его лексическое значение должно включать также дополнительный прагматический компонент, указывающий на способ конкретизации этого базового признака в дискурсе: ‘имеющий отношение к трикотажу, такое, которое является нормой/стандартом для данного предмета, данного культурного сообщества или данного контекста/дискурса’. Конечно, здесь возникает проблема выбора нормы, а также проблема конфигурации различных типов норм, как и конфигурации языковых и неязыковых составляющих информационного процесса. Решение этих проблем — актуальная задача современного языкознания.

### Литература

Архипов, И. К. (1997), *Лексический прототип, лексема и отношение языка и речи*. В: К юбилею ученого. Сборник научных трудов, посвященный юбилею Е.С. Кубряковой. Москва, 23–28.

- Гак, В. Г. (1977), *О семантическом инварианте и синонимии предложения*. В: Вопросы романо-германской филологии. Вып. 112. Синтаксическая семантика. Москва, 42–50.
- Гинзбург, Е. Л. (1985), *Конструкции полисемии в русском языке. Таксономия и метонимия*. Москва.
- Ефремова, Т. Ф. (1996), *Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка*. Москва.
- Исаченко, А. В. (1961), *О грамматическом значении*. В: Вопросы языкознания. 1, 28–43.
- Киклевич, А. К. (1989), *Лекции по функциональной лингвистике*. Минск.
- Киклевич, А. К. (2000), *Неопределеннозначность в зеркале сопоставительной лингвистики*. В: Беларуско-русско-польское супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія. Віцебск, 57–59.
- Мартынов, В. В. (1995), *Принципы объективной семантической классификации*. В: Реализационный аспект функционирования языка. Минск, 83–91.
- Норман, Б. Ю. (1987), *Язык: знакомый незнакомец*. Минск.
- Норман, Б. Ю. (1993а), *Апология поверхностного синтаксиса*. В: Russistik. 2, 6–14.
- Норман, Б. Ю. (1993b), *Между лексикой и синтаксисом (к семантике относительных прилагательных)*. В: Сборник от научных трудов, посвящен на седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев. София, 98–109.
- Норман, Б. Ю. (1993c), *О конструкциях с эмфазой именного сказуемого: фрагмент русско-болгарского сопоставительного синтаксиса*. В: Сьпоставително езикознание. XVIII/2–4, 145–148.
- Норман, Б. Ю. (1995), *Тенденции в развитии качественных наречий в белорусском и других славянских языках*. В: Beiträge zur Slawistik. 2. Aktuelle Entwicklungsprobleme slawischer Sprachen. Greifswald, 108–121.
- Норман, Б. Ю. (1996), *“Скорости оставляют позади катера? О логике естественного языка*. В: Русская речь. 6, 24–28.
- Норман, Б. Ю. (1998), *Понимание текста и синтаксическая «предыстория» высказывания*. В: Russian Linguistics. 22, 1–12.
- Норман, Б. Ю. (2006), *Игра на гранях языка*. Москва.
- Плотников, Б. А. (1989), *О форме и содержании в языке*. Минск.
- Раевская О. В. (1998), *О дискурсивных свойствах метонимии*. В: Проблемы семантического описания единиц языка и речи. Материалы докладов Международной конференции. Ч. 1. Минск, 67–68.
- Kiklewicz, A., (2000), *Znaczenie w języku i tekście (o granicy między semantyką i pragmatyką)*. В: Leksyka a gramatyka w tekście językowym. Siedlce, 7–28.
- Szumka, D. (1999), *Niebezpieczne związki, czyli meandry adiektywizacji*. В: Кіклевіч, А. К. (ред.), Паланістыка — Полоністыка — Polonistyka 1999. Мінск, 4–28.
- Szumka D. (2001), *Rzecz o orzeczniku, czyli meandry adiektywizacji II*. В: Кіклевіч, А. К. (ред.), Паланістыка — Полоністыка — Polonistyka 2000. Мінск, 6–21.
- Szumka, D. (2006), *Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykcji niezdaniotwórczej*. Kraków.

## ПОЛИСЕМИЯ – ДИАСЕМИЯ – АМБИСЕМИЯ. АСПЕКТЫ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ

Язык, как сквозь туман, проглядывает сквозь  
каждое предложение.

В. А. Звегинцев

### 1. Два уровня семантического варьирования знака

В языкознании известны два уровня семантического варьирования языковых знаков. На первом уровне реализуется полисемия — свойство знаков (морфем, лексем, предложений), которые употребляются в нескольких значениях номинативной функции. Варианты значения на уровне полисемии будем определять как его м у т а ц и и .

На другом уровне выступают более частные семантические оттенки, или м о д и ф и к а ц и и значения слова. Это явление будет квалифицироваться как д и а с е м и я .

В одной из предыдущих публикаций (Kiklewicz 2006с, 26) полисемия рассматривалась как явление системы языка, а диасемия — как речевое явление. От этого основания разграничения данных понятий следует, однако, отказаться ввиду того, что, с одной стороны, и новые значения, и новые оттенки могут иметь окказиональный, речевой характер, а с другой стороны, они могут закрепляться в языковой памяти — главным образом, благодаря своим «заслугам» в речевой деятельности, т.е. благодаря высокой частоте употребления. Вместе с тем (может быть, в свое оправдание) я должен подчеркнуть, что если количество разных значений слова, в том числе и окказиональных, в принципе, ограничено, то семантические оттенки не могут быть представлены в виде закрытого списка — они генерируются синтагматическими и социо-культурными контекстами, число которых бесконечно.

В толковых словарях обычно применяется практика, когда «значения отмечаются арабскими цифрами и даются с абзаца, а их смысловые оттенки выделяются последовательно с помощью двух параллельных черточек ||» (Евгеньева 1981/1, 8). Ср. характерный фрагмент лексикографического описания:

**ВАШ** 1. Притяжательное местоимение к *вы* || Исходящий от вас: написанный, сказанный, изготовленный и т.п. вами || Приятный, угодный вам, знакомый вам. 2. То, что принадлежит или свойственно вам. 3. Близкий вам (т.е. тем, к кому обращена речь); люди, родственники, товарищи, соотечественники.

Наблюдения показывают, что граница между полисемией и диасемией размыта, а представление данных форм семантического варьирования в толковых словарях непоследовательно, порой — логически противоречиво, во всяком случае требует оптимизации с учетом новейших лингвистических исследований.

## 2. Полисемия?.. Диасемия?.. Границы семантического варьирования

### 2.1. Проблема адекватности словарных дефиниций

Оно когда-либо что, а как коснешься —  
так вот тебе и пожалуйста...

Анализ словарных дефиниций показывает, что лексикографическая практика не опирается на какие-либо рациональные, системно определенные критерии разграничения значений и семантических оттенков. Так, можно теряться в догадках, почему в приведенной выше словарной статье первые три семантических признака: а) [принадлежащий адресату], б) [исходящий от адресата], в) [приятный, знакомый адресату], — принадлежат к одному и тому же значению — не ясно, что их объединяет. Напротив, нельзя понять, на какой основе дифференцированы первый оттенок первого значения и второе значение, третий оттенок первого значения и третье значение, ведь они содержат повторяющиеся семантические признаки.

Характерная для толковых словарей тенденция — чрезмерное деление семантических вариантов, представление семантических оттенков как разных значений, проявляется также при лексикографическом описании прилагательного *пустой*. В академическом «Словаре русского языка» выделяется семь его значений, из них два — в прилагательной позиции, характерной для существительных:

1. Ничем не заполненный (о каком-л.местилище), напр. *пустая бочка*.
2. Опустошенный, не способный чувствовать, мыслить, напр. *пустая голова*.
3. Несерьезный, духовно ограниченный (о человеке), напр. *пустая женщина*.
4. Неосновательный, лишенный серьезного значения, напр. *пустые слухи*.
5. Незначительный, ничтожный, напр. *пустой повод*.
6. в значении существительного *пустое*: Дело, обстоятельства, слова, не заслуживающие

внимания; пустяки, вздор, напр. *говорить пустое*. 7. в значении существительного *пустое*: Ничего, не стоит обращать внимания; пустяки, напр. *пройдет — пустое!*

В рамках каждого значения, кроме того, выделяется несколько оттенков, например, семь оттенков — в рамках первого, основного значения:

Ничем не заполненный (о каком-л.местилище), напр. *пустая бочка* || Полный внутри, напр. *пустой шар* || Не занятый чем-л., кем-л., обычно находящимся в нем или на нем, напр. *пустой подвал* || Нежилой, ненаселенный, безлюдный, напр. *пустой дом* || Ничего не имеющий при себе, ничего не несущий, напр. *пустой пошел* || Свободный от занятий, дел, напр. *пустой урок* || Ничем не заправленный, не сдобренный (о пище), напр. *пустые щи*.

В сумме в словарной статье насчитывается семнадцать семантических вариантов данного прилагательного. Во-первых, вызывает сомнение количество выделяемых в словаре семантических признаков — трудно поверить, что все они действительно хранятся в языковой памяти речевых субъектов. Число разных значений, как представляется, завышено. Так, с нашей точки зрения, возможно объединение второго и третьего, четвертого и пятого, шестого и седьмого значений — таким образом мы сократим их количество до четырех. Кроме того было бы естественным объединение первых пяти оттенков первого значения, которые принципиально не различаются с точки зрения выражаемого ими номинативного признака:

*пустой x* = ‘такой *x*, внутри или на поверхности которого отсутствуют предметы, которые в соответствии с нормой должны или могут там быть’

Семантический вариант [свободный от занятий, дел] принципиально отличается от приведенного выше толкования, тем более что и реализуется он в сочетании с абстрактными существительными (например, *урок*), поэтому более обоснованным было бы представление его как отдельного значения. Подобным образом следовало бы интерпретировать и семантический вариант [ничем не заправленный, не сдобренный (о пище)], который существенно отличается от основного значения, ведь здесь речь идет не о предметах, которые в соответствии с нормой (с природой вещей) находятся внутри *x*-а, а о предметах, которые дополнительно могут там находиться.

Во-вторых, парадокс словарного толкования заключается в том, что, с одной стороны, оно стремится к чрезмерному делению семантических вариантов, а с другой стороны, не учитывает многих вариантов, в том числе и регулярных, представленных в речевой практике. Например, сочетание

*пустой урок*

может иметь также не учтенное в словаре значение ‘безрезультатный, бесполезный, бессодержательный’, ср. также выражения с абстрактными существительными:

*пустые переговоры*

*пустая поездка*

*пустая попытка*

Нельзя соотнести ни с одним приводимым в словаре значением также сочетаний:

*пустые глаза*

*пустая дискета*

в которых прилагательное реализует значения: ‘ничего не выражающий, бессодержательный’ и ‘не содержащий информации’.

Словарь, таким образом, не отражает важнейшего свойства семантического варьирования слова — его открытого характера. Противоречие с системой языка заключается в том, что словарь представляет закрытый список значений и оттенков, тогда как в действительности область семантической деривации, обусловленной, с одной стороны, системой языка, т.е. ассоциативным потенциалом его номинативных значений и потенциалом лексической сочетаемости, с другой стороны, социо-культурными параметрами речевых актов, значительно шире, и ее принципиально невозможно представить — во всяком случае относительно некоторого подмножества лексики — в виде закрытого списка значений и оттенков. Это имел в виду А. Ф. Лосев:

Почему так часто бывает, что, имея самый совершенный словарь, мы прекрасно понимаем каждое слово, входящее в данную фразу, и никак не можем перевести всей фразы в целом? Это [...] только потому, что смысловое расстояние между двумя значениями одного и того же слова настолько мало и незначительно, что никакой словарь не может охватить всех этих оттенков. Чтобы охватить все эти оттенки, нужно, кроме словаря данного языка, иметь еще опыт обращения с данным языком. А опыт-то как раз и возникает не из изучения словарей, но из использования самих языков, которое только и может подсказать ту или иную семантическую разницу в значении слова в разных контекстах (1983, 105).

По отношению к семантическому варьированию знаков имеет объяснительную силу предложенный Г. Гарфункелем (см. Auer 1999, 134) принцип «и так далее» (*enough is enough*).

Подтверждением сказанного могут быть результаты проведенного нами анализа семантического функционирования польских притяжательных местоимений. В множестве 519 синтаксических конструкций с существительными, эксцерпированных из текста повести современного польского прозаика Т. Новака «Diabły» («Черти»), было выделено 122 типа их различных семантических интерпретаций, основанных на значении местоимения или опорного существительного. Эти данные показывают, что, вопреки традиционному представлению о притяжательных местоимениях как единицах, которые предназначены для реализации категории посессивности, языковые выражения с местоимениями данного типа характеризуются чрезвычайным семантическим разнообразием — фактически каждая пятая синтаксическая конструкция в рассмотренном нами материале имеет новое содержание. Наиболее частыми являются следующие употребления (Киклевич 1998а, 84сл.):

*мой (твой, его, ваш и т.д.) x*

1. 'я являюсь частью x-а; x является частью меня' — 29,9%
2. 'я живу/нахожусь в x-е' — 9,5%
3. 'x принадлежит мне' — 4,6%
4. 'я опекаю x-а' — 2,4%
5. 'мне свойственно x' — 2,4%

Обратим внимание, что посессивное употребление притяжательных местоимений составляет лишь 4,6% от общего количества синтаксических конструкций, содержащих такие местоимения. Это означает, что, во-первых, категориальный признак так называемых притяжательных местоимений не имеет ничего общего с семантикой принадлежности — ср. пример непосессивного употребления местоимения *твой*:

*Żona do męża:*

— *Czy mogę założyć twój sweterek?*

*Жена — мужу:*

— *Я могу надеть твой свитер?*

Выражение *twój sweterek* вовсе не обязательно значит 'свитер, который принадлежит тебе', возможно и иное его употребление, например — в значении 'свитер, который ты подарил мне'.

Во-вторых — и это замечание имеет общий характер — регулярное семантическое варьирование слова значительно переходит те границы, которые устанавливаются толковым словарем.

Стремление к чрезмерному делению значения слова на варианты характерно не только для словарей, но также для лингвистических исследований, в особенности — развивающих направление синтагматической семантики, которое ассоциируется с московской семан-



тической школой. Так, Е. В. Падучева выделила три значения русского кванторного местоимения *всегда* (1985, 225):

1. непрерывно-временное — *всегда*<sub>1</sub>
2. дискретно-временное — *всегда*<sub>2</sub>
3. невременное — *всегда*<sub>3</sub>

Если первое значение, в принципе, не вызывает сомнений, то различие между вторым и третьим менее очевидно (Киклевич 1989, 10ссл.). Квантор *всегда*<sub>2</sub>, по мнению Падучевой, квантифицирует связь двух пропозиций через временной параметр, ср.:

*Он всегда читает в автобусе* = 'Всегда, когда он находится в автобусе, он читает'.

Квантор *всегда*<sub>3</sub> используется в том случае, когда одна пропозиция (квантифицируемая) является аргументом другой:

*Он всегда обедает в ресторане* = 'Всегда, когда он обедает, он находится/делает это в ресторане'.

Можно, однако, считать, что различие синтаксических конструкций, включающих *всегда*<sub>2</sub> и *всегда*<sub>3</sub>, обусловлено не семантическими особенностями кванторных слов, а другими причинами, связанными со структурой предложения и факторами коммуникативного характера.

Трансформируем предложение

*Он всегда читает в автобусе*, пресуппозиция: *Он иногда находится в автобусе* (или: *Существуют отрезки времени, когда он находится в автобусе*).

так, как предлагает Падучева: 'Всегда, когда он находится в автобусе, он читает'. Представим эту трансформу в виде формулы на языке логики предикатов:

$$\forall z P(x, y, z) \rightarrow Q(x, y, z)$$

где *P* — включенный предикат *находиться*, *Q* — ядерный предикат *читать*, *x*, *y*, *z* — аргументы, при этом *z* — аргумент с темпоративным значением пропозициональной функции. В этом случае в сферу действия квантора входит включенная пропозиция — именно она занимает в приведенной выше формуле позицию антецедента. Такой тип квантификации характерен для конструкций с *всегда*<sub>2</sub>, ср. (примеры Падучевой):

*У него всегда в пятницу в шесть семинар.*

*Я всегда встречаю в консерватории Яна.*

*В карты я всегда у него выигрываю.*

Представим аналогичным образом предложение с *всегда*<sub>3</sub>, например:

*Он всегда обедает в ресторане.*

$$\forall z P(x, z) \rightarrow Q(x, y, z)$$

где  $P$  — ядерный предикат *обедать*,  $Q$  — включенный предикат *находиться*. Ср. другие примеры употребления *всегда*<sub>3</sub>:

*Я всегда вспоминаю о ней с сожалением.*

*Он всегда ездит в школу на велосипеде.*

Приведенные трансформации показывают, что семантические различия конструкций с местоимениями *всегда*<sub>2</sub> и *всегда*<sub>3</sub> заключаются в том, что в одном случае сферой действия квантора является аргумент включенной, а в другом — аргумент ядерной пропозиции. Само же значение квантора в обоих случаях остается неизменным.

Важнейшим фактором — внешним по отношению к семантике кванторного слова — является актуальное членение предложения, которое определяет характер отношения между его асертивной и пресуппозитивной частями. Одно и то же предложение, например:

*Он всегда читает в автобусе*

может иметь два различных содержания в двух различных контекстах (с помощью стрелок мы будем дополнительно обозначать интонационную структуру высказывания).

Контекст 1

— *Что ты обычно делаешь в автобусе?* пресуппозиция: *Я знаю, что ты иногда находишься в автобусе.*

↗ ↘

— *Я всегда читаю в автобусе* (или *В автобусе я всегда читаю*).

Контекст 2

— *Где ты все это читаешь?* пресуппозиция: *Я знаю, что ты много читаешь.*

↗ ↘

— *Я всегда читаю в автобусе* (или *Я читаю всегда в автобусе*; *Читаю я всегда в автобусе*).

Подобным образом контекст обуславливает различие конструкций с квантором *всегда* в значении, которое Падучева называет невременным:

## Контекст 3

— *Где ты обедаешь?* пресуппозиция: *Я знаю, что обедаешь.*

— *Я всегда обедаю в этом ресторане.*

## Контекст 4

— *Я часто вижу тебя в этом ресторане. Любишь итальянскую кухню?* пресуппозиция: *Я знаю, что ты часто бываешь в этом ресторане.*

— *Я всегда обедаю в этом ресторане (или В этом ресторане я всегда обедаю).*

И в этом случае в сфере действия кванторного слова может находиться ядерная или включенная пропозиция, а все зависит от коммуникативной структуры высказывания.

Общее семантическое правило, регулирующее употребление квантора *всегда* в полипредикативных предложениях рассматриваемого типа, можно сформулировать следующим образом: в сфере действия квантора находится та пропозиция (ядерная или включенная), которая занимает в коммуникативной структуре предложения позицию темы.

## 2.2. Полисемия vs. компрессия

Я увидел за сформировавшимся языком ум, скованный синтаксисом и лишенный возможности внести в свои понятия порядок.

Дени Дидро

Неопределенность границы семантического варьирования слова отчасти обусловлена тем, что не всегда строго различимы семантические и синтаксические явления. На это неоднократно обращали внимание исследователи, в частности — Е. Л. Гинзбург, который в 80-е годы XX в. выступил с концепцией синтаксической интерпретации многозначности (1985, 61ссл.). По его мнению, метонимия чаще всего заключается в изменении синтаксической структуры семантического толкования слова при сохранении его состава, ср.: *коньки* как ‘средство передвижения’ и как ‘передвижение с помощью этого средства’:

*Что касается зимнего инвентаря, то сегодня в продаже коньки и лыжи. Что касается спортивных занятий, то все мы особенно любим коньки и плавание.*

При метонимии в значении слова относительно редко возникают новые семантические признаки, модификация значения в этом случае сводится обычно к их перекомпоновке, к изменению внутреннего смыслового синтаксиса.

Гинзбург предложил методику семантической транскрипции полисемантов. Разнообразные процессы семантической деривации при метонимии можно, по его мнению, свести к нескольким типам глубинно-синтаксических преобразований (*ibidem*, 81ссл.):

1. результативное — с предикатами *результат, следствие, происходить от, быть из* и др.; символически *От*
2. причинное — с предикатами *источник, причина, мотив* и др.; символически *От'*
3. инструментальное — с предикатами *служить, инструмент, способ, быть для* и др.; символически *К*
4. объектное — с предикатами *требует, предполагает, цель, назначение* и др.; символически *К'*
5. местное — с предикатами *быть в, находиться в, участвовать в* и др.; символически *В*
6. посессивное — с предикатами *иметь* и др.; символически *В'*

«Средства семантической транскрипции, — пишет Гинзбург, — позволяют отчетливее представить способы семантического членения (объединения форм) слова» (*ibidem*, 92). Так, многозначность существительных *завтрак, обед, полдник, ужин* может быть отражена в виде множества преобразований (которые здесь представлены в несколько упрощенном виде):

1.  $i_0$  'пища, принимаемая человеком в определенное время дня', например: *горячий, овощной, легкий, скудный завтрак*
2.  $Ki_0$  'то, объектом чего является пища — прием пищи', например: *завтрак с другом, сидеть за завтраком*
3.  $K'i_0$  'то, для чего предназначена пища — для приема пищи', например: *накрыть стол к обеду, выйти к завтраку*
4.  $V'Ki_0$  'то, когда обычно имеет место прием пищи', например: *заккрыть на обед, прийти в обед*
5.  $V'Ki_0$  'то, что сопровождается приемом пищи', например: *завтрак в честь его приезда*
6.  $V'Ki_0$  'то, когда прием пищи имеет место', например: *прийти к обеду*
7.  $VV'Ki_0$  'то, что сопровождает прием пищи или сопровождает то, что сопровождается приемом пищи', например: *ужин был веселый* и т.д.

Полисемия (а в особенности ее разновидность — метонимия) как семантическое явление имеет много сходного с синтаксической компрессией (или конденсацией), которая заключается в том, что в поверхностной структуре предложения не получают представления (или лексикализации) некоторые обязательные элементы семантической структуры — зарезервированные для них синтаксические позиции оказываются нулевыми или же заполненными синтаксемами, которые выполняют иные семантические функции. К проблемным — с точки зрения их лингвистической интерпретации — следует отнести многие случаи динамического преобразования поверхностной структуры предложения, когда возникает вопрос о том, с каким типом преобразования мы имеем дело — семантическим или поверхностно-синтаксическим. В качестве характерного примера можно рассмотреть предложение:

*Я три тарелки съел!*

С одной стороны, мы можем рассматривать его как результат формального сокращения фразы

*Я съел три тарелки супа.*

В соответствии с этим подходом словоформа *супа* предполагается в семантической структуре предложения, поэтому предложение интерпретируется как конденсированное (в плане формы), а именная группа *три тарелки* — в своем основном, словарном значении.

С другой стороны, нельзя не учитывать того факта, что в толковом словаре отмечается метонимическое значение (а именно — оттенок первого, основного значения) существительного *тарелка* — ‘количество вещества, которое может вместиться в такую посуду’ (хотя правильнее было бы истолковать его иначе: ‘вещество (чаще всего — пища), которое находится в такой посуде’). А это означает, что в предложении *Я три тарелки съел* мы имеем дело с метонимией именной группы в позиции второго аргумента, а формальная структура предложения полностью соответствует структурной схеме:  $V(NN)$  — в этом случае ни о какой конденсации предложения не может быть речи.

Рассмотрим другой пример. В русской разговорной речи метонимически употребляется также существительное *школа*, например, в конструкциях типа:

*После школы Вася шел в музей* = ‘После уроков в школе Вася шел в музей’.

В данном случае толковый словарь не фиксирует переносного значения существительного *школа* ‘уроки в школе’, и на этом основании мы

должны были бы признать предложение неполным, конденсированным. Из приводимой ниже экспликации его поверхностно-синтаксической структуры вытекает, что незаполненными являются три синтаксические позиции:

*Conj* ( $V(N, N), \emptyset_V(\emptyset_V(\emptyset_N, N))$ ) = ‘После того, как заканчивалось то, что Вася учился в школе, Вася шел (направлялся) в музей’

Можно было бы предположить, что в предложении

*Аня лежит на солнце*

также выступает синтаксическая конденсация, ведь в формальной структуре предложения не представлены некоторые семантические элементы, ср. буквальный смысл: ‘Аня лежит на поверхности, ярко освещенной солнцем’. В этом случае, однако, толковый словарь выделяет отдельное переносное значение существительного *солнце*: ‘свет, тепло излучаемое солнцем’, при этом приводится пример:

*Греться на солнце.*

Во-первых, дефиниция переносного значения неточна, ведь здесь речь идет не о солнечном свете или тепле, а о месте, освещенном солнцем (ведь *греться на солнце* не значит ‘греться на тепле’). Во-вторых — и это более общее замечание — в словаре не дается никаких объяснений или обоснований того, почему одни метонимические номинации фиксируются, а другие — нет.

На проблему разграничения семантической и синтаксической деривации обратил внимание польский исследователь П. Жмигродский (Żmigrodzki 1995), который ввел понятие метафорических предложений, т.е. таких, в которых глагольный предикат сочетается хотя бы с одной именной группой, лексическое содержание которой нарушает его селективные требования (*ibidem*, 72). Совершенно очевидно, что в высказываниях типа (пример Жмигродского)

*Jan czyta Marksa — Ян читает Маркса*

существительное в винительном падеже занимает «чужую» синтаксическую позицию, а буквальный смысл предложения можно представить так: ‘Ян читает произведения/книги Маркса’. Жмигродский рассматривает две версии семантической интерпретации выражений этого типа: во-первых, существительному в позиции второго аргумента можно приписать переносное значение:

Маркс  $C_{pers/ex}$ , где  $ex \rightarrow$  [книги]

‘каждый аргумент  $C_{pers}$  может выступать в позиции с признаком [книги]’

Однако, как считает исследователь, такая версия прежде всего неудобна — она связана с рядом дополнительных сложностей, в частности, с необходимостью уточнить, что  $C_{pers}$  выступает в значении ‘фамилия’, хотя, с нашей точки зрения, это необязательно, ведь предложения типа

*Я читаю Бронислава*

могут быть, вопреки мнению Жмигродского, правильными — при условии, что референтом онима является лицо, хорошо знакомое, близкое говорящему и слушающему, ср. типичные для разговорного стиля высказывания типа:

*Я пойду на Бронислава* = ‘Я пойду послушать доклад Бронислава’

*Я без ума от Бронислава* = ‘Я без ума от того, как Бронислав исполняет сонаты Шопена’

*Я не понимаю Бронислава* = ‘Я не понимаю того, о чем пишет Бронислав в своих стихах’ и др.

Во-вторых, в качестве более адекватной по отношению к языковому материалу Жмигродский рассматривает версию, согласно которой предложение о Яне, читающем Маркса, интерпретируется как метафорическое, т.е. как результат преобразования базового предложения

*Jan czyta książki Marksa* — *Ян читает книги Маркса*

Впрочем, остается впечатление, что Жмигродский, не отдавая предпочтения ни одной из упомянутых версий: он довольно двусмысленно пишет, что высказывания этого типа «скорее всего, следовало бы описывать как метафорические, хотя можно в них усмотреть и перенос значения» (ibidem, 71). Можно теряться в догадках, как в рамках одной модели описания могут быть объединены эти два, принципиально несовместимых подхода.

Не совсем определенный статус имеет и понятие «метонимической связи» у Е. В. Падучевой, которая, по мнению исследовательницы, «может быть причиной нарушения одной из самых общих закономерностей: одно слово не может быть употреблено в предложении одновременно в двух своих значениях» (2004, 167). В предложении

*Одним пальцем разбуженное пианино берedit слух* (И. Бродский)

как считает Падучева, по отношению к определению *разбуженное* существительное *пианино* обозначает музыкальный инструмент — и это

его первичное значение, а по отношению к сказуемому *бередит* — звук. Данной интерпретации можно, однако, противопоставить альтернативную и, как кажется, более доказательную: рассматриваемое предложение представляет собой результат компрессии предложения

*Звук разбуженного пианино бередит слух.*

В то же время мы не склонны считать, будто синтаксическая компрессия не оставляет «следов» в семантической интерпретации предложения. Надо считаться с фактом, что словоформа занимает «чужую» синтаксическую позицию, и это может быть замечено реципиентом. Вряд ли можно согласиться с Падучевой, что *пианино* здесь значит и ‘инструмент’, и ‘звук инструмента’, но усиленная с помощью компрессии ассоциация со звуком, а также элемент «остранения» следовало бы принять во внимание.

Более определенную позицию по отношению к семантико-синтаксическим окказионализмам занимает Б. Ю. Норман (см. настоящее издание — 88ссл.). С его точки зрения, поскольку для разнообразных, в том числе и случайных, маргинальных употреблений слова нельзя найти соответствующего, оптимального семантического инварианта, то единственным их объяснением может быть синтаксическое, а именно — синтаксическая аналогия и синтаксическое сокращение фразы (т.е. компрессия). Насколько массовый (по мнению Н. В. Черемисиной, стандартный — см. 1985, 27) характер — особенно в разговорной речи — носит данное явление, показывают приводимые далее иллюстрации:

*К чертовой матери летит вежливость кожаной куртки* (Вс. Иванов) = ‘К чертовой матери летит вежливость человека в кожаной куртке’.

*Да что вы ко мне все с Россией пристаёте, я хочу мирного житья, а вы с Россией!* (Вс. Иванов) = ‘Вы ко мне пристаёте с разговорами о России’.

*И ты пытаешься желток // Взбивать рассерженною ложкой* (О. Мандельштам) = ‘Ты пытаешься с рассерженным видом ложкой взбивать желток’.

*С. О. сказал мне в интимном разговоре, что скорее порежет Скандерберга ... Меня и так немного, и он не даст меня даже тронуть ножницами* (А. Вертинский) = ‘Порежет (во время монтажа фильма) пленку, на которой сняты сцены с участием Скандерберга. Сцен, в которых принимаю участие я, и так немного, и он не даст даже тронуть ножницами кусков пленки, на которых сняты сцены с моим участием’.

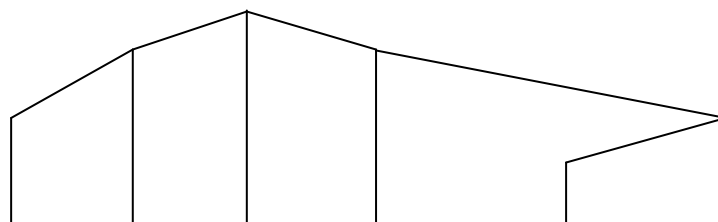
*Саша начал с носков в переходе* (В. Ерофеев) = ‘Саша начал свою предпринимательскую деятельность с того, что продавал в переходе носки’.

*Подошел тот же грубый голос* (А. Битов) = ‘Подошел тот же человек с грубым голосом’.

*Мне снился аграрный вопрос* (В. Казаков) = ‘Мне снилось обсуждение аграрного вопроса (что-то, связанное с аграрным вопросом)’.







*К чертовой матери летит вежливость кожаной куртки*

Если в базовом предложении синтаксема *в куртке* находится на третьем уровне подчинения, то в трансформе синтаксема *куртки* — на втором.

С прагматической точки зрения это означает, что синтаксемы, которые в результате компрессии занимают в предложении более высокую позицию, попадают в так называемый **фокус интереса**, т.е. рассматриваются говорящим как более (иногда — наиболее) значимые (понятие «фокуса интереса» предложено в работе: Zubin 1978; см. также: van Valin/Foley 1980; Максапетян 1990, 22ссл.; Падучева 2004, 158 и др.). Так, А. Г. Максапетян обращает внимание на то, что семантика прагматического приоритета особенно характерна для словоформ, которые в результате компрессии оказываются в позиции подлежащего, см. рассматриваемый им пример из прозы Л. Толстого:

*Топоры, тесаки работали со всех сторон, ср. более развернутую форму этого предложения: Со всех сторон было слышно, как люди работали топорами и тесаками.*

Нельзя, конечно, игнорировать и эргономический аспект речевой деятельности, а именно — тот факт, что синтаксическая компрессия служит экономии речевых, прежде всего — синтагматических усилий говорящего.

### 2.3. Семантическое варьирование и семантическая диффузия

Всегда должно оставаться что-то другое, что не подпадает под данное значение.

Б. Ф. Поршнев

В оправдание существующих толковых словарей следует отметить, что граница между уровнями семантического варьирования слова расплывчата не только в словарных дефинициях, но и в системе языка, в речевой деятельности (см. Кобозева 2000, 158; Кустова 2001, 58). Одним из первых на это обратил внимание А. Ричардс. Его исходное положение со-

стояло в том, что между моно- и полисемией не существует, в принципе, строгой, «стабильной и постоянной» границы. Ссылаясь на конкретный языковой пример — английские выражения:

*leg of horse* ‘нога лошади’

*leg of table* ‘ножка стола’

Ричардс указывал, что семантическое различие существительного *leg* в данных употреблениях незначительно и заключается в том, что «ножка стола обладает лишь несколькими признаками из числа тех, которыми наделена нога лошади» (1990, 59). Оказывается, однако, что и само основное значение не представляет собой постоянной величины: референты выражений

*нога лошади*

*нога человека*

*нога паука*

обладают отчасти разными свойствами, что давало бы основание рассматривать лексическое значение существительного *нога* как пример семантической диффузии, при которой референтные значения слова обладают разной степенью совместимости с прототипом данной понятийной категории (см.: Kiklewicz 2006a, 16). Ричардс рассматривал данное явление в ином аспекте: он утверждал, что в каждом из приведенных и подобных буквальных языковых значений присутствует элемент метафоры. Идею, согласно которой метафора базируется на общих принципах номинации, высказывают и современные авторы:

Сочетание *Ветер спит* (В. Луговской) может быть осмыслено лишь в том случае, если будет найдено обоснование того, почему слово *ветер*, не сочетаемое с подклассом глаголов, описывающих состояние одушевленных существ, все-таки употреблено с таким словом; если будет осознано такое состояние ветра, которое близко к состоянию, описываемому глаголом *спит* (Симашко/Литвинова 1993, 34сл.).

Как подчеркивает Дж. Серль (Searle 1979, 96), каждая — не только метафорическая — номинация базируется на принципе сходства:

This is because the literal meaning of any general term, by determining a set of truth conditions, also determines a criterion of similarity between objects. To know that a general term is true of a set of objects is to know that they are similar with respect to the property specified by that term.

Из сказанного следует, что, с одной стороны, каждая номинация в принципе метафорична; с другой стороны, каждая метафора — это проявление

ние диффузности значения, открытости и внутренней неоднородности семантических категорий.

В русистике одним из первых синтагматическую изменчивость лексического значения исследовал Д. Н. Шмелев (1964, 185ссл.). По его мнению, каждое сочетание слов «всегда приводит к созданию нового смыслового единства, нового смысла» (1973, 161; см. также: Burkart 1995, 46ссл.). Ср. близкие по содержанию высказывания Е. Куриловича: «Содержание слова обусловлено сферой употребления, но не наоборот» (1962, 18), и В. А. Звегинцева: лексическое значение — это «совокупность потенциальных типовых сочетаний, в которых фиксируется область использования данного слова» (1976, 60). Л. Блумфилд утверждал, что каждое новое произнесение языковой формы представляет собой семантическую инновацию (1968, 445ссл.). А. Ф. Лосев писал о «бесконечной семантической валентности» знака, определял его значение как «знак, рассматриваемый в свете своего контекста» (1976, 125; 1982, 114ссл.).

В силу такой контекстной зависимости между основным и переносным значениями слова образуется промежуточная зона, заполненная так называемыми оттенками значения, которые иногда называют также контекстными значениями. Так, между основным значением глагола *сорвать* ‘снять, отнять, отделить, сдернуть (преимущественно резким движением, рывком)’ и его переносным значением ‘испортить, погубить, сделать осуществление или дальнейшее ведение, течение чего-н. невозможным’, например, в выражениях:

*сорвать дело*  
*сорвать программу*  
*сорвать занятия*  
*сорвать заседание*

существует целое множество семантических вариантов, которые в той или иной степени приближаются к одному из названных значений. Например, в содержании словосочетания

*сорвать цветок*

можно усмотреть элементы переносного значения, например, в прецедентных поэтических текстах:

*Пусть жертвенник разбит — огонь еще пылает,*  
*Пусть роза сорвана — она еще цветет* (С. Надсон).  
*Ромашки сорваны, завяли лютики...* (И. Шаферан).

— речь идет о мотиве духовного и эмоционального разрыва, кризиса, потери любимого человека и др. Этот мотив, например, отсутствует в предложении с неперсональным агенсом:

*Ветер сорвал шляпу.*

Даже в рамках одного и того же номинативного значения можно выделить множество семантических нюансов, которые в той или иной коммуникативной ситуации могут оказаться весьма существенными — с точки зрения планов поведения говорящего или слушающего. Ср. русские выражения:

*сорвать розу*  
*сорвать ромашку*  
*сорвать сорняк*  
*сорвать ветку*  
*соврать лист*

Каждое из приведенных выражений имеет свою содержательную специфику и в принципе — семантически неповторимо. Так, срывая розу, мы должны помнить о шипах, поэтому способ срывания розы, в отличие, например, от способа срывания ромашки, должен быть осторожным (это может проявиться в использовании инструментов, таких, как рукавицы). Розу срывают обычно в подарок, поэтому наши действия должны быть бережными, чего не скажешь о ситуации срывания сорняков. Чтобы сорвать розу, следует наклониться, а вот срывая ветку или лист, напротив, мы тянемся вверх. Различие выражений с существительными *ветка* и *лист* состоит в том, что срывая ветку, мы обычно должны приложить некоторые усилия. Все отмеченные здесь семантические признаки упорядочены в таблице.

| Языковое выражение     | Способ: осторожность действия | Способ: аккуратность действия | Способ: наклонная позиция | Способ: действие с усилием |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <i>сорвать розу</i>    | +                             | +                             | +                         | –                          |
| <i>сорвать ромашку</i> | –                             | ±                             | +                         | –                          |
| <i>сорвать сорняк</i>  | ±                             | –                             | ±                         | +                          |
| <i>сорвать ветку</i>   | ±                             | ±                             | –                         | +                          |
| <i>соврать лист</i>    | –                             | ±                             | –                         | –                          |

Таблица показывает, что каждому языковому выражению присущ неповторимый набор семантических признаков — таким образом, о полном семантическом тождестве здесь говорить не приходится.

## 2.4. Критерии разграничения значений

### 2.4.1. Дистрибутивный критерий

Идея функционального взаимодействия уровней языка, в частности, лексики (лексической семантики) и синтаксиса, была популярной в 70-е — 90-е годы XX в. Так, Ю. Н. Караулов писал: «Обобщение при изучении лексической семантики оказывается грамматически (синтаксически) ориентированным» (1985, 202).

Ю. Д. Апресян, сторонник интегративного подхода в лингвистике, один из создателей и лидер московской семантической школы, в 60-е годы XX в. предложил дистрибутивный критерий разграничения лексических значений, в том числе и полисемантических единиц. Он заключается в том, что принадлежность двух употреблений слова к одной и той же понятийной категории устанавливается на основе общности их сочетаемости с некоторым третьим словом в рамках одной и той же синтаксической структуры (более «мягкую» версию дистрибутивного критерия см.: Ревзин 1962, 65; Schildt 1969, 358ссл.). Это свойство было названо *совместимостью*. Как пишет Е. В. Урысон,

Если некоторое слово  $A$  обозначает более одной типизированной ситуации (более одного типизированного объекта), то, описывая это слово, лингвист, вообще говоря, может принять одно из двух решений: слово  $A$  многозначно, т.е.  $A_1 = 'B'$ ,  $A_2 = 'C'$ . Второе решение: слово  $A$  моносемично, его значение имеет вид:  $A = 'B$  или  $C'$  (2003, 173).

Дистрибутивный критерий состоит в следующем:

Если  $A = 'B$  или  $C'$ , то  $A = 'либо B, либо C, либо B и C одновременно'$  [...] Именно употребления последнего типа поддерживают единство значений; если бы не было (некаламбурных) контекстов, в которых одновременно реализуются оба семантических компонента, не было бы оснований говорить, что эти компоненты сосуществуют в рамках одного значения (Апресян 1995, 186).

Ср. предложения:

*Дрова погасли.*  
*Лампы погасли.*

С одной стороны, глаголу можно приписать разные значения, ведь в первом случае дрова перестали гореть, а во втором — лампы перестали светить. С другой стороны, существительные *дрова* и *лампы* оказываются совместимыми с глаголом *погаснуть*, а это указывает на тождество его семантики в обеих конструкциях, ср.:

*Дрова в камине и лампы на улице погасли почти одновременно.*

Напротив, невозможность сочетаемости двух существительных в сочинительной конструкции в приглагольной позиции означает, что мы имеем дело с двумя разными значениями глагола, например:

*\*Lampy i wielkie nadzieje zgasły.*

Проверка на совместимость оказывается эффективной также во многих других случаях. Так, в выражении

*Я получил приглашение*

существительное употребляется метонимически — ‘письмо, записка и т.п. с просьбой прийти, приехать куда-л., принять участие в чем-л.’ В основном значении данное существительное употребляется как название действия. Приведенное выражение может быть расширено с помощью сочинительной связи:

*Я получил приглашение и программу.*

Лексемы *приглашение* и *программа* совместимы по отношению к глаголу *получил*, что и является показателем их принадлежности к одному семантическому классу. Это, кроме того, означает, что мы имеем дело с переносным значением существительного, а не с процессом синтаксической компрессии (поэтому указание на переносное значение существительного *приглашение* в толковом словаре является обоснованным). Ср. подобные примеры, которые позволяют говорить о переносном значении существительных *karton* и *коньки*:

*Wybiedzona kobiecina w poncho siedzi na ziemi pod światłami drogowymi i usiłuje sprzedać papierosy Marlboro — nie karton, nie paczkę, ale jednego papierosa, którego kupi kierowca autobusu, zanim ruszy w dalszą jazdę („Polityka” 1992/16).*

*Все мы особенно любим коньки и плаванье* (пример Е. Л. Гинзбурга).

Когда мы читаем у Д. Хармса:

*Ну вот, купила я себе кофе, а что с ним делать?*

то, скорее всего, появляется интерпретация: *кофе* = ‘семена/зерна кофейного дерева’. Имеется и другой семантический вариант данного слова: ‘напиток, приготовленный из молотых зерен кофе’. С помощью дистрибутивного критерия легко доказать, что мы имеем дело с двумя значениями, которые, кстати, и фиксируются в толковом словаре:

*В гастрономе Иван купил кофе и рис.*

*В баре Иван заказал кофе и пирожное.*

*\*Иван смолот и приготовил кофе.*

Иначе обстоит дело с существительным *тарелка*, которому толковый словарь приписывает переносное значение ‘содержимое, еда в тарелке’:

*? Иван съел три тарелки и один пончик.*

Можно сомневаться, возможно ли в нейтральном стилистическом контексте подобное объединение существительных в сочинительному ряду — значит, рассматриваемые лексемы не совместимы по отношению к глаголу и слову *тарелка* нельзя приписать закодированного в лексической системе значения ‘вещество (чаще всего — еда), которое находится в такой посуде’. Данное значение (фиксируемое толковым словарем) является окказиональным, синтаксически или ситуативно обусловленным, т.е. в высказываниях типа

*Иван съел уже три тарелки*

реализуется контекстуальный или ситуативный эллипсис, ср.:

— *На плите есть суп.*

— *Спасибо, я уже съел три тарелки.*

Именно дистрибутивный критерий позволяет разграничить значения и оттенки значения глагола *сорвать*, ср.:

*Аня срывала розы и гвоздики.*

*Сначала он срывал цветы, а потом — листья.*

*\*Аня сорвала розу и партийное собрание.*

*\*Сначала он сорвал гвоздику, а потом — вторую гайку.*

*\*Сначала он сорвал сорняк, а потом — голос.*

*\*Аня сорвала ветку и шапку с головы мальчика.*

*\*Сначала он сорвал партийное собрание и крышу дома, а потом — розу.*

*\*Аня сорвала дверь с петель и гнев на детях.*

Данные наблюдения позволяют выделить несколько значений глагола *сорвать*:



*сорвать*<sub>1</sub>, напр.: *сорвать розу, звездику, лист, ветку*

*сорвать*<sub>2</sub>, напр.: *сорвать крышу*

*сорвать*<sub>3</sub>, напр.: *сорвать гайку*

*сорвать*<sub>4</sub>, напр.: *сорвать шапку*

*сорвать*<sub>5</sub>, напр.: *сорвать голос*

*сорвать*<sub>6</sub>, напр.: *сорвать собрание*

*сорвать*<sub>7</sub>, напр.: *сорвать гнев на ком-л.*

### 2.4.2. Субституция

Данный критерий заключается в трансформации формальной структуры предложения, а именно — в замене диагностируемого элемента маркированным представителем некоторой семантической категории. О принадлежности двух слов к одному и тому же значению можно говорить тогда, когда возможны трансформы с одним и тем же маркированным элементом. Фактически речь идет о сопоставлении рассматриваемого употребления слова с прототипом некоторого значения. Рассмотрим предложение из прозы В. Войновича:

*А ваш Твардовский, — сказал он с упреком, словно Твардовский был его, В. В., плохо воспитанным сыном, — вчера пьяный валялся в канаве.*

В конструкциях с семантикой притяжательности возможна замена местоимения прилагательным *собственный*, ср.:

*Аня умыла свою машину* = ‘Аня умыла собственную машину, т.е. машину, которая принадлежит Ане’.

Но в рассматриваемом случае такая субституция невозможна:

*ваш Твардовский*

≠ ‘собственный Твардовский, т.е. принадлежащий вам’

= ‘знакомый, близкий вам Твардовский, которому вы сочувствуете’

Подобную ситуацию мы наблюдаем и в польском предложении:

*U pani prezes Związku Polaków na Białorusi [...] jest stale mnóstwo gości.*

*Dziennikarze z Polski i współpracownicy ze Związku. Ze swojej wsi przyjechał ojciec* („Gazeta Wyborcza”. 30–31.VII.2005).

Выражения *ze swojej wsi* нельзя, конечно же, интерпретировать как ‘принадлежащей ему деревни’, потому что здесь выражается другая семантика: ‘из деревни, в которой он живет’.

### 2.4.3. Проверка на неидиоматичность

Эффективным критерием разграничения лексических значений является также лексическое или грамматическое преобразование дистрибутивных партнеров диагностируемого слова. Целью данной операции является проверка на неидиоматичность сочетания слов. Так, существительное *тарелка* употребляется метонимически в определенном синтаксическом контексте — его изменение блокирует возможность субституции — замены существительным в прямом значении, ср.:

*Иван съел целую тарелку.*

*Иван съел целую тарелку супа.*

*Иван съел весь суп — целую тарелку.*

— *Что он там делает? — Ест суп.*

— *Что он там делает? — \*Ест тарелку.*

Рассмотренные выше нюансы семантического варьирования глагола *сорвать* можно диагностировать также с помощью критерия грамматических преобразований. Возможность одних и тех же морфологических трансформаций глагола свидетельствует о тождестве его значения, т.е. о принадлежности к одной семантической категории, а невозможность таких трансформаций — о семантических различиях употреблений данного слова, ср.:

*Ветром сорвало крышу.*

*Ветром сорвало шляпу.*

*\*Ветром сорвало цветок.*

*\*Иваном сорвало занятия.*

*\*Механиком сорвало резьбу.*

Подобные английские примеры, со ссылкой на Д. А. Круза, обсуждает Д. Р. Тэйлор (Taylor 1989, 124сл.).

### 2.4.4. Когнитивный критерий

Важным при описании значений и семантических оттенков является также учет значимости, степени прецедентности того или иного слова в культурном тезаурусе языкового сообщества. Так называемые прецедентные знаки обладают в культуре устойчивыми ассоциациями (или коннотациями). Например, И. Э. Ратникова пишет о таких коннотациях прецедентных онимов — главным образом, фамилий известных деятелей политики, науки, искусства:

[...] Предпосылка нестандартного речевого поведения онимов, выражающегося в семантических трансформациях, заложена в их лексическом фоне, который отражает культурную специфику носителей собственных имен. Семантическое расширение онимов возможно в практике языка вследствие концептуализации некоторых фрагментов реальности, группирующихся вокруг того или иного индивида, топоса, события (2003, 36).

Поэтому можно считать, что их переносное употребление, основанное на таких коннотациях, закодировано в языковой и культурной памяти субъектов. Ср. предложения:

*Я люблю Стендаля.*

*Я люблю Шостаковича.*

*Я люблю Ван Гога.*

*Я люблю Синдерюшкина.*

Если в первых трех предложениях семантическая интерпретация основана на культурной семантике онимов *Стендаль*, *Шостакович*, *Ван Гог* и носит устойчивый характер, ср.:

*Я люблю Стендаля* = ‘Я люблю читать книги Стендаля’.

*Я люблю Шостаковича* = ‘Я люблю слушать музыкальные произведения Шостаковича’.

*Я люблю Ван Гога* = ‘Я люблю смотреть картины Ван Гога’.

то предложение *Я люблю Синдерюшкина* не содержит такого культурного алгоритма, который функционировал бы как своего рода доминанта, т.е. определял бы его семантическую интерпретацию. В этом случае способов понимания предложения может быть множество:

*Я люблю Синдерюшкина*

= ‘Я люблю читать книги Синдерюшкина’

= ‘Я люблю слушать музыкальные произведения Синдерюшкина’

= ‘Я люблю смотреть картины Синдерюшкина’

= ‘Я люблю смотреть на Синдерюшкина, проводить с ним время и т.д.’

Конечно, нельзя отрицать и возможности окказиональной интерпретации прецедентных имен, как, например, в истории о композиторе Д. Д. Шостаковиче, которую рассказал А. К. Жолковский (2006, 109):

*В 30-е годы его (Шостаковича. — А. К.) даме вдруг захотелось пойти в театр, мимо которого они проходили. В кассе билетов не оказалось. Шостакович готов был ретироваться, но дамочка продолжала напирать: он знаменитость, его все знают, стоит ему назвать себя, как билеты найдутся. Он долго отнекивался, но, в конце концов, сдался и обратился в окошечко администратора с сообщени-*

*ем, что он Шостакович. В ответ он услышал:*

*— Ви себе Шостакович, я себе Рабинович, ви меня не знаете, я вас не знаю...*

Подобное явление (т.е. окказиональную интерпретацию известного онима) наблюдаем в следующем анекдоте:

*Ванька с Манькой на съезде партии.*

*— Манька, хошь — Келдыша покажу?*

*— Ты что, Вань, — дома, дома!*

Сильным коннотативным полем обладают не только онимы, но и другие типы собственных имен, например, некоторые топонимы. Именно это лежит в основе переносного употребления существительных *Сахалин* и *Индия* в следующих предложениях:

*Новый строй грозит писателям-«радикалам» гораздо бóльшим: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин одиночества* (В. Брюсов).

*Видишь вокзал, на котором можно // В Индию Духа купить билет* (Н. Гумилев).

Ссылка на когнитивный критерий не может, однако, иметь абсолютного характера — при этом следует также учитывать другие обстоятельства организации языкового сообщения, например, явление синтаксической конденсации. Рассмотрим в связи с этим конкретный пример, который приводит и анализирует А. Л. Новиков (2002, 85):

*Генерал Жуков остановил полчища фашистов под Москвой.*

Новиков пишет, что словосочетание *генерал Жуков* употребляется здесь в специфическом значении, а именно — в «контекстуальном смысле», который опирается на знания о мире — о личности известного военачальника времен Второй Мировой Войны генерала Г. К. Жукова. Контекстуальный смысл заключается здесь в том, что, по мнению Новикова, именная группа *генерал Жуков* употребляется в значении ‘войска под командованием генерала Жукова’.

С нашей точки зрения, здесь наблюдается результат синтаксической конденсации предложения

*Войска по командованием генерала Жукова остановили полчища фашистов под Москвой.*

Это значит, что интерпретации типа ‘*x* в позиции *y*’ следует отдать предпочтение перед интерпретацией типа ‘*x* в значении *y*’. В данном случае объяснением речевой конструкции может быть не метонимия как семантический процесс (и лежащая в ее основе «лингвоэписте-

ма»), а принцип ответственности — явление, описанное ранее Дж. Лакоффом (1980, 361ссл.). Анализируя широко распространенные в современной английской речи высказывания типа

*This car drives easily* = ‘Этой машиной легко управлять’, букв. ‘Эта машина легко управляет’.

*Bean curd digests easily* = ‘Бобовое пюре легко переваривается’, букв. ‘Бобовое пюре легко переваривает’.

Лакофф пишет, что в позицию подлежащего переносится именная группа, референт которой считается ответственным за осуществление действия.

В рассматриваемом предложении с именной группой *генерал Жуков* также реализуется принцип ответственности: выбирая данную форму передачи сообщения (т.е. с именной группой *генерал Жуков* в позиции подлежащего), говорящий подчеркивает, что именно генерал Жуков сыграл определяющую (во всяком случае — важную) роль в том, что полчища фашистов были остановлены под Москвой.

#### 2.4.5. Межъязыковые параллели

В семантических исследованиях можно также опираться на данные сопоставительных исследований. В частности, о различии значений одной и той же лексики может свидетельствовать то, что в сопоставляемом языке для их выражения используются разные лексические эквиваленты. Ср. украинско-белорусские сопоставления, указывающие на многозначность (а скорее — на омонимичность) украинского предлога *на*:

##### НА

1. темпоративное значение  
укр. *на кінець року* — белор. *на д канец года*
2. квантитативное значение  
укр. *сто карбованців на місяць* — белор. *сто рублёў у месяц*
3. финитивное значение  
укр. *на честь (кому)* — белор. *у гонар (каго)*
4. финитивно-объектное значение  
укр. *вода перетворюється на пару* — белор. *вада пертвараецца ў пару*
5. каузативное значение  
укр. *на запрошення* — белор. *на запрашэнню* и др.

Данный критерий действует также при проверке многозначности полноточных слов. Так, в русском языке глагол *забрать* употребляется, в частности, в значениях:

‘взять кого-л., что-л. откуда-л. с собой, к себе’, например: *Забрал ботинки у сапожника*

‘присвоить, отнять, захватить кого-л., что-л.; взять насильно, против желания’, например: *Забрал у ребенка игрушку*

В польском языке этим двум семантическим употреблениям русского глагола соответствуют конструкции с разным синтаксическим управлением глагола *zabrać/odebrać*, ср.:

*zabrać/odebrać*<sub>1</sub> — *Odebrał buty od szewca*

*zabrać/odebrać*<sub>2</sub> — *Zabrał dziecku zabawkę*

В то же время сопоставительный критерий нельзя абсолютизировать, ведь не каждая асимметрия в способах номинации соответствует многозначности в одном из сопоставляемых языков. К примеру, русскому глаголу *чистить* в немецком языке соответствуют:

*putzen* — *mit der Bürste*

*scheuern* — *das Geschirr*

*schälen* — *die Früchte*

*reinigen* — *die Kleider*

Более разнообразный набор номинаций мы встречаем в других славянских языках, например, в польском и в болгарском:

*czyścić konia, obuwie, odzież, dywan*

*myć/czyścić zęby*

*oczyszczać drogę*

*skrobać/obierać ziemniaki*

*skrobać marchew, rybę*

*obierać ziemniaki, jabłka*

*лъскам си ботушите (сапоги)*

*мия съдове (посуду)*

*мия си зъбите (зубы)*

*беля/чистя (яблоки, груши)*

Примеров такого рода можно привести множество. Так, русскому *жарить* в близкородственном белорусском языке соответствует несколько разных глаголов:

*пячы*

*смажыць (мяса)*

*скварыць (сала)*

*пражыць (семки, кофе)*

*прэгчы*

Подобные немецко-английские конфронтации рассматривает Г. В. Кёрвуд (1989, 342сл.). Например, в английском языке существительное *a brush* ‘щетка’ обозначает предмет, которым не только чистят зубы, одежду, обувь, но также расчесывают волосы, скребут пол, рисуют картину. В немецком в аналогичных конструкциях употребляются три слова:

*Bürsten* — щетка для чистки

*Pinsel* — кисть, кисточка (для рисования, окраски)

*Besen* — приспособление для подметания

Значит ли это, что с учетом иноязычных лексических соответствий (а скорее — несоответствий) содержание слова должно делиться на семантические варианты, и тогда в содержании русского глагола *чистить* мы должны были бы выделить четыре значения? Казалось бы, для этого есть основания, ведь *чистить зубы* — это не совсем то же, что *чистить костюм* или *чистить яблоко*. И все-таки ставить описание одного языка в зависимости от другого было бы неправомерно, ведь каждый язык отражает характерную для его носителей культурную картину мира (Герминасова 2004, 54), а значит, категоризация одних и тех же явлений в одном языке может быть иной, чем в другом.

## 2.5. Парасемия

В речевом сообщении обычно реализуется одно из значений полисеманта — о том, что многозначность носит языковой, а не речевой характер, писал Ж. Вандриес (1937, 169):

[...] Говоря, что одно и то же слово имеет несколько значений в одно и то же время, мы до известной степени — жертвы иллюзии. Из нескольких значений слова только одно всплывает с нашим сознанием, а именно то, которого требует контекст. Все остальные аннулируются, исчезают, не существуют. Это верно даже относительно слов с наиболее установившимся значением. Говоря, что земля приносит хороший урожай или что собака приносит газету, я употребляю безусловно два разных глагола.

В то же в речевой практике известно явление *эквивокции*, в другой терминологии — *парасемия* (Kikiewicz 2007, 28ссл.), при которой в высказывании одновременно реализуется несколько значений слова (или фразеологизма), ср.:

*Очевидно, мое богатство в том, что мне его не надо* (Ф. Раневская).

Существительное *богатство* выступает здесь одновременно в двух значениях (см. Евгеньева 1981–1984): на первом плане находится основное, словарное значение ‘обилие материальных ценностей, денег’, а на другом плане — окказиональное значение ‘духовное богатство, т.е. богатый духовный мир человека — познания, широта взглядов, толерантность’.

Д. Вайс (1999, 173ссл.), анализируя конструкции с предлогом у типа

*у меня не получилось*

приходит к выводу, что предлог употребляется в разных значениях — Вайс выделяет пять таких значений (посессор, экспериенсив, агентив, место — цель и место — источник). Вместе с тем исследователь отказывается приписать эти пять значений предлогу *у* в системе языка, так как, по его мнению, практически во всех случаях в содержании предлога одновременно выражается несколько семантических ролей.

Некоторые исследователи указывают, что семантическая двуплановость полисемантов (в том числе и фразеологических) является их конститутивным свойством (Скляревская 1993, 40 ссл.). Это положение является одним из центральных в теории фразематики польского исследователя В. Хлебды (1991, 79).

При этом нельзя не согласиться с лингвистами (Скляревская 1993, 40сл.; Dönninghaus 2001, 73), которые утверждают, что семантическая двуплановость полисемантов обуславливает их низкий номинативный статус — с точки зрения информативно-верификативной стратегии речевой деятельности (Awdziejew 2004, 73ссл.) данные полисеманты следует признать дефектными, ведь они, по существу, препятствуют пониманию сообщения. Поэтому парасемия обычно имеет характерную риторическую функцию — создание эффекта аттракции, а сферой ее культивирования являются преимущественно художественные и публицистические тексты, например:

*Как понять? Нет масла в продаже, и в то же время его выбрасывают*  
(Ф. Абрамов).

*Любовь втроем — это палка о двух концах.*

*Человеку со школы разрешается пошуметь во время перемен* (В. Шендерович).  
*Любовнику от тебя нужно только одно, а мужу подавай и первое, и второе, и компот.*

*— Ты же обещал на мне жениться! — Мало ли что я на тебе обещал!*

*Трудно скрыть не то, что у тебя есть, а то, чего у тебя нет* (А. Самойленко).

Так, в последнем из приведенных высказываний парадокс основан на парасемии глагола *скрыть* — он одновременно употребляется в прямом — предметном значении ‘сделать что-л./кого-л. незаметным для кого-л.,



недоступным; спрятать’, а также в переносном — абстрактном значении ‘сохранить в тайне от других’.

Парасемия широко употребляется также в целях создания юмористического эффекта, она — излюбленный прием авторов шуток, каламбуров, анекдотов, например:

— *Как живешь? — Как картошка: если зимой не сожрут, весной посадят!*

*Чапаев переплывает Урал. Гребет одной рукой. Ординарец Петька плывет рядом. — Василий Иванович, брось чемодан! — Не могу, Петька, там карты штаба дивизии. Две колоды.*

В работе: Kiklewicz 2006b, 11 ссл., введены два типа парасемии:

1. *с у к ц е с с и в н а я* (или дистрибутивная) — когда в речевом акте возникают разночтения одного и того же сообщения — говорящий и слушающий, а иногда и третьи, присутствующие в коммуникативной ситуации лица по-разному интерпретируют словосочетание или слово
2. *с и м у л ь т а н н а я* (или имманентная) — когда семантическая двуплановость характеризует понимание сообщения одним и тем же субъектом

Первый тип парасемии можно проиллюстрировать следующими языковыми выражениями:

*Командировочный в Киеве закончил все свои дела и решил расслабиться. Снял девуку, напоил, накормил ее в ресторане, привел в гостиницу. Врезали они еще по сто, и он между делом про себя начал рассказывать:*

— *Сам я из Москвы, у меня жена, двое очаровательных детишек...*

*Девка перебивает:*

— *А вы откеля будете?*

*Командировочный с нетерпением:*

— *Да из Москвы я, двое детей, женат.*

— *Так откеля будете-то?*

*Мужик, свирепея:*

— *Из Москвы! Женат!! Двое детей!!!*

— *Дак поняла я усе, спрашиваю — откеля будете — чи спереду, чи сзади?*

*Милиционер нашел на дороге мертвое тело. Звонит в скорую.*

— *Алло, беспокоит сержант Петренко (П.), найден труп человека.*

*Врач (В.) — Причина смерти?*

*П. — Не знаю...*

*В. — Руки целы?*

*П. — Сейчас посмотрю... Целы.*

*В. — Ноги целы?*

*П. — Сейчас посмотрю... Целы.*

*В.* — Голова не повреждена?

*П.* — Сейчас посмотрю... Нет, не повреждена.

*В.* — А внутренние органы?

*П.* — Тю ты, так это ж они вам и звонят...

*Клуб кому за 30, танцы, вечер знакомств... Приглашает один мужчина даму на танец... Танцуют, завязался разговор, то да се... Дама спрашивает:*

*(Д.)* — А вам сколько лет?

*(М.)* — 45...

*(Д.)* — А я бы вам не дала...

*(М.)* — Да я и сам уже лет 5 ни у кого не прошу...

— Правда, что вы в молодости были членом суда?

— Ах, молодость! членом — суда, членом — туда!

*Вообще, мужики, знаете, что мне девчонки всегда говорят?*

— Нет.

— А откуда вы знаете?

*Жена — мужу:*

— Мы с тобой нигде не бываем!

— Ладно, — говорит муж. — Завтра пойду мусор выбрасывать — возьму тебя с собой.

— Вы продаете ваши работы?

— Я-то продаю, но никто не покупает (Ю. Нагибин).

В последнем примере глагол *продавать* в вопросительной реплике употребляется в квалитативном значении, ср.: ‘Продаются ли ваши картины, выставлены ли на продажу, можно ли их купить?’ В ответной реплике тот же глагол выступает в ситуативном значении: ‘Я в данный момент времени продаю (занимаюсь тем, что продаю) свои работы’.

Симультанная парасемия широко представлена в юмористических афоризмах — так называемых афо на р и з ма х, ср.:

*В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче  
Дерево начинается с корней* *Иванович Чуковский*

Парасемия часто связана с паронимией — фонетическим сходством двух слов. В этом случае в одном коммуникативном пространстве сталкиваются два слова, сходные по звучанию, но различные по значению, что и создает эффект фасцинации, например:

*Американец идет по кавказским горам.*

*Видит два грузинских охотника тащат медведя.*

*Спрашивает:*

— *Извините, это гризли?*

— *Нет, мы его не гризли, мы его застрелили.*

Лексема *гризли* употребляется здесь двояко: в речи американца — как существительное, название вида серых медведей, обитающих в Северной Америке; в речи говорящего по-русски с грузинским акцентом охотника — как глагол (*гризли*). Ср. также другой известный пример этого типа, в котором обыгрываются фамилии известных композиторов:

*Композитор зашел в ресторан. Ему подали Мясковского в Сметане с Хренниковым и Чайковского с Бизе. Композитору стало Пуччини, потом Паганини. Он набросил Шуберта с Шаляпиным и вышел на Дворжак. Сел на Глинку, послышался Бах. Сорвал Листа, вытер Шопена, посмотрел на Гуно и подумал: «Могучая кучка».*

Данный прием широко используется при создании юмористических афоризмов и каламбуров, ср.:

*Впитать с молотком матери!*

*Ночевала сучка золотая.*

*Жил в суровых климатических условиях.*

*Друзья познаются в биде.*

*Голодающий с Похмелья.*

*Ненарочное зачатие.*

*Порнометражный фильм.*

*Внебрючная связь.*

*А вошь и ныне там.*

*Зубной рвач.*

*Человек, ожлобленный жизнью.*

*Гей для души.*

*Обделался легким испугом.*

*Щель оправдывает средства и др.*

## 2.6. Проблема конвенциональности значения

Значения полисеманта имеют конвенциональный — разумеется, в рамках определенного языкового сообщества, или окказиональный характер. Так, в предложении

*К левому крылу здания подъехала машина*

мы имеем дело с конвенциональным, стилистически нейтральным переносным употреблением существительного *крыло*. В предложениях

*Наши «гулливеры» продемонстрировали лучшие качества.*

*Заур узнал, что его отца взяли (Ф. Искандер).*

*Кто, например, мог предсказать, что на носу будет объединение Германии?*  
(«Советская культура». 7.IV.1990).  
*Батарейка села.*

сфера функционирования полисемии более узкая — она ограничена рамками стиля — разговорного или публицистического. Предложения

*Изба-старуха челюстью порога // Жует пахучий мякиш тишины*  
(С. Есенин).

*Развяжешь верхнюю воду // каменных длин бытия* (И. Жданов).

*И именно анализы нас плетничали о скрытой болезни* (В. Токарева).

представляют собой примеры окказиональной полисемии, встречаемой в художественных идиостилиях. Достаточно распространены в коммуникации и идиосинкратические, авторские дефиниции, отражающие специфическое, «свое» понимание значения того или иного слова, например:

*Мудрость — это поступать также, как мы поступали вчера* (Вс. Иванов).  
— *Скучно бывает с кем-то. Одной может быть грустно. Правда? — спросила она Машеньку* (Б. Золотарев).

*Как-то шутя Николай написал сонет, который назвал вульгарным. При чтении этого сонета у наших милых знакомых Нина Александровна сказала, что «сонет» и «вульгарный» — понятия несовместимые* (М. Касьянов).

*Мы расстались с ним мирно. Слово «балласт» вовсе не обидело меня. Скорее наоборот: это было то слово, которое я искал для оправдания своей жизни да и жизни миллионов россиян. Ведь «балласт» — понятие положительное, это тот груз в трюме корабля, который не дает ему качаться с борта на борт, мешает любому легкому ветерку нести судно на рифы. Балласт — это устойчивость, надежность. Это комсомольские возжаки, которым требовалось кидать массы из одной беды в другую, сделали слово «балласт» ругательным* (Вал. Попов).

Сама возможность окказионального семантического употребления слова означает, что полисемия, в особенности метонимия, лишь в относительной степени представляет собой явление системы языка, что отражает общую закономерность, на которую в свое время обратил внимание Р. А. Будагов:

Единицы языка всех его уровней обычно не укладываются в систему, причем за пределами системы нередко оказываются как раз важнейшие языковые свойства и явления [...] Система (структура), выявляя возможности и потенции языка, вместе с тем обычно выявляет их не полностью. Другие возможности одной и той же единицы языка могут обнаруживаться уже с помощью другой системы (структуры) или оказаться вне всякой системы (структуры) (1978, 8).

Значения полисеманта не могут быть перечислены в виде закрытого списка — семантическое варьирование слова является перманентным процессом, на который влияют многообразные речевые факторы, в частности, такие, как когнитивный — общая апперцептивная база речевых субъектов, и коммуникативный — условия речевого акта. «Синтагматические связи, присущие слову, входят в характеристику его семантики», — писал Д. Н. Шмелев (1964, 188). Но поскольку нельзя (технически невозможно) представить списком всех возможных синтагматических связей слова, то, разумеется, нельзя и ограничить номинальный объем его семантического варьирования.

Вместе с тем следует, видимо, признать, что по крайней мере большинство значений слова — конвенциональных и окказиональных, в той или иной степени запрограммировано системой языка. Толковый словарь не отражает языковую компетенцию в полном объеме, потому что фиксирует только наиболее регулярно встречаемые значения и оттенки, тогда как в языковом сознании носителей языка закодированы также правила деривации и интерпретации значений и оттенков.

Открытый характер полисемии в значительной степени является эмпирическим обоснованием исследовательского подхода, в соответствии с которым усилия лингвистов направлены на определение семантического инварианта, т.е. хранящейся в языковой памяти понятийной категории, обобщающей все реальные и потенциальные мутации и модификации значения слова.

### 3. Семантический инвариант

Мы должны быть благодарны богу за то, что он создал мир так, что все простое правда, а все сложное неправда.

Григорий Сковорода

#### 3.1. От семантических вариантов — к семантическому инварианту

Можно различать три способа представления информации о семантических категориях:

1. интенциональный (или дескриптивный) — посредством указания на общий для категории характеристический признак
2. экстенциональный

- 2.1. индуктивный — посредством перечисления принадлежащих к категории элементов
- 2.2. дедуктивный — посредством указания на прототип категории, т.е. наиболее типичный экземпляр категории (данный тип концептуализации наиболее пригоден в случае сенсорных категорий, таких, как запах, цвет, вкус и др.)

В толковом словаре обычно используются два способа — первый и третий. Лексикографическое описание всегда опирается на наиболее типичные случаи функционирования соответствующих денотатов — к сожалению, такая узость подхода может быть причиной неточностей в представлении того или иного значения. Так, прилагательное *голый* толкуется в словаре как ‘не имеющий никакой одежды’, но наблюдения показывают, что содержание данного слова более широкое, ср. его употребление в прозе Вал. Попова:

*На нем вовсе не было одежды, но и назвать его голым было нельзя, потому что он был с головы до ног забинтован.*

Приведенный пример, несомненно, указывает на то, что голым является не только человек, не имеющий на себе одежды, но и тот, чье тело ничем не покрыто — тканью или другими предметами, близко прилегающими к телу таким образом, что бо́льшая часть тела скрыта от непосредственного наблюдения.

У традиционных толковых словарей есть несколько серьезных недостатков: во-первых, как уже указывалось, это — чрезмерное, не всегда обоснованное дробление значений. Данным недостатком грешат и многие грамматические описания, о чем, например, эмоционально пишет Дж. К. Кэтфорд:

Недавно я просмотрел пять различных книг по английской грамматике для иностранцев и обратил внимание на то, как в них рассматриваются восемь «основных» форм английского глагола: *talk, am talking, have talked, have been talking, was talking, talked, had talked, had been talking*. В каждой книге перечислялись «употребления», или значения, этих форм, но число «употреблений» колебалось от 13 до 43! Реально фигурировали цифры 13, 17, 21, 26, 43. Обнаружив такое разногласие у специалистов, иностранец может потерять всякую надежду преодолеть когда-нибудь сложности английского языка. Так ли все неопределенно в нашем языке? И если да, то почему остановились на 43 «употреблениях»? Если каждый случай — это еще одно употребление, то число их должно быть бесконечным. Это лингвистическое описание без лингвистики (1989, 376).

Во-вторых, недостатком лексикографических описаний является отсутствие четких критериев разграничения семантической мутации и семантической модификации. В-третьих, четкому представлению о множестве семантических вариантов препятствует отсутствие признака, обобщающего отдельные оттенки значения в словарной статье.

Так, словарь указывает на шесть значений прилагательного *голый*, при этом в рамках первого значения выделяются два оттенка: ‘не имеющий на себе никакой одежды’ и ‘бедный, нищий’. С одной стороны, можно сомневаться, что мы имеем здесь дело с одним и тем же значением — все-таки семантические различия между данными толкованиями весьма значительны. С другой стороны, читатель может недоумевать: если словарь указывает два оттенка одного и того же значения, то почему не указано и само это значение? В такой практике словаря можно усматривать элементы второго типа представления семантической информации — индуктивного.

Обращая внимание на одни модификации, словарь игнорирует другие, а главное — игнорирует сам факт, что семантическое варьирование не ограничивается представленным в словаре инвентарем — эта мысль неоднократно высказывалась нами в предыдущих публикациях: Киклевич 1999; 2001; 2003; Kiklewicz 2001; см. также стр. 79 ссл. данного издания. К аргументам, которые уже были высказаны в пользу представляемой здесь концепции, можно добавить еще несколько, имеющих эмпирический характер. Так, согласно толковому словарю польское существительное *dziadostwo* имеет четыре значения:

1. ‘gromada dziadów, żebraków’, например: *Całe dziadostwo ściągnęło na odpust*
2. разг. ‘biedowanie, nędza, dziadowanie’, например: *Sprzykrzyło mi się to wieczne dziadostwo*
3. разг. ‘lekceważąco, pogardliwie o ludziach biednych, nie liczących się społecznie, towarzysko, moralnie’, например: *Rodzina jego żony to samo dziadostwo*
4. разг. ‘o czymś lichym, tandetnym; tandeta, buble’, например: *Na łóżku leżały stare bety, kapoty — słowem dziadostwo*

Однако существительное *dziadostwo* может употребляться и окказионально, например, в приводимом далее анекдоте, при этом обратим внимание, что окказиональное употребление является вполне мотивированным, т.е. основанным на морфемной структуре слова:

*Urodziny Jasia. Dzwonek do drzwi. Otwiera sam Jaś. W drzwiach stoją kuzyn i kuzynka. Jaś woła:*

*— Mamo, przyszli kuzyni!*

*Mama odpowiada:*

— *Mówi się kuzynostwo, synku, kuzynostwo.*  
*Drugi dzwonek. W drzwiach stoją ciocia i wujek.*  
— *Mamo, przyszli ciocia i wujek — woła Jaś.*  
— *Mówi się wujostwo, Jasiu, wujostwo.*  
*Kolejny dzwonek. W drzwiach stoi babcia i dziadek.*  
— *Mamo, przyszło dzia d o s t w o („Angora”. 2005/2).*

Другой пример — русский глагол *купить*, основное значение которого: ‘приобрести за деньги’. Ср. приводимые в словаре иллюстрации:

*купить в булочной хлеба*  
*купить билеты в театр*

Субъектом купли является лицо, которое непосредственно входит в контакт с продающим — непосредственный или посредством почты или интернета. Глагол *купить* — как следует из толкования — не распространяется на действия лица, которое инвестирует покупку, ср.:

*Мама дала Пете деньги и сказала: — Пойди в магазин, купи хлеба.*

Покупателем в данной ситуации является *Петя*, а не *мама*, хотя совершенно очевидно, что без участия *мамы* покупка бы не состоялась. В речевой практике можно, однако, встретить и иное употребление рассматриваемого глагола, ср.:

*Ивановы купили себе новую машину.*

В данном случае уже не требуется, чтобы каждый из супругов Ивановых контактировал с продавцом в автосалоне, а может быть, не обязательно и то, чтобы каждый из них участвовал в инвестировании покупки. Подобный семантический оттенок может возникать в предложениях не только с множественным, но и с единичным субъектом, например:

*Дедушка — в больнице, но он не забыл о твоём дне рождения — купил тебе велосипед.*

В этом предложении *купить* означает только ‘инвестировать покупку’. Возможно, одним из факторов подобного варьирования данного глагола является стоимость покупаемого предмета, сумма инвестиции — чем она выше, тем менее обязательно непосредственное участие в интеракции с продавцом.

Ср. подобные примеры «иллюзорного» участия в ситуации в предложениях с глаголами *отремонтировать* и *опубликовать*:

*В прошлом году мы отремонтировали квартиру, ср. Строительная фирма по нашему заказу отремонтировала квартиру.*



*Петров опубликовал очередную статью в американском журнале, ср. Редакция американского журнала опубликовала очередную статью Петрова.*

Довольно загадочным является также описание в словаре содержания глагола *варить*. Основное значение этого слова включает четыре оттенка:

1. ‘приготавливать пищу, питье кипячением’, например: *варить кашу*
2. ‘кипятить в воде (в жидкости), приготавливая для еды’, например: *варить картофель*
3. ‘приготавливать на огне (обед, ужин и т.д.)’, например: *варить обед*
4. ‘изготавливать путем кипячения, плавления и т.п.’, например: *варить мыло*

Как видим, словарь объединяет в рамках одной и той же семантической категории употребления глагола с такими существительными, которые называют объект кипячения (второе значение), и с такими, которые называют продукт кипячения (первое, третье и четвертое значение). Что, в самом деле, семантически объединяет конструкции *варить крупу* и *варить кашу*? Только семантический элемент ‘кипячение’. Поэтому более обоснованным было бы разграничение двух значений данного слова:

**ВАРИТЬ.** 1. кипятить в воде (в жидкости), приготавливая для употребления (чаще всего в пищу), например: *варить картофель* 2. готовить к употреблению посредством кипячения ингредиентов, например: *варить суп, варить обед, варить мыло*

Второе значение следует признать производным, а именно — результатом метонимии.

У. Мартин пишет, что в явлении полисемии находит проявление нежесткий характер понятийных категорий, см. Martin 1997. Поскольку, таким образом, различие между основным и переносным значением оказывается нестрогим и, в принципе, нет возможности определить (например, при составлении толкового или двуязычного словаря) точного количества переносных значений и оттенков основного и переносного значений, само выделение семантических вариантов, а также понятие семантической деривации в некоторой степени теряет научную целесообразность. Стремлением разрешить указанный парадокс диффузности значения и объясняется наметившееся в последнее время увеличение интереса к понятию семантического инварианта. Исследователи называют такой подход **динамическим**.

### 3.2. Семантический инвариант — различие подходов

В понятии семантического инварианта реализуется психологическая и философская идея гештальта — понятийной или образной категории высшего порядка, которая упорядочивает, организует деятельность человека, в особенности — когнитивную деятельность, т.е. концептуализацию опытных данных, а также функционирование соответствующих знаковых средств. В основе теории инварианта лежит динамический подход к языку (противопоставляемый таксономическому), сущность которого, применительно к описанию лексических значений, Г. И. Кустова представляет так:

[...] Странно считать, что язык — это «склад готовой продукции» и что человек должен каким-то образом запомнить и хранить в памяти десятки тысяч совершенно автономных и не связанных между собой значений (а при необходимости оперативно их извлекать). Такое «списочное» устройство языка кажется неэкономным и крайне маловероятным (2004, 18).

Целесообразность введения понятия инварианта обоснована теоретической предпосылкой, согласно которой он представляет собой объективно существующую в языке семантическую категорию, поэтому, с нашей точки зрения, неприемлем подход Анны А. Зализняк, которая рассматривает инвариант, скорее, как металингвистическое понятие — не более, чем инструмент описания значений, ср.: «Наша позиция по отношению к инварианту состоит в том, что он существует в той мере в какой его удастся убедительным образом сформулировать» (2006, 39). Такая позиция исследователя в чем-то напоминает известную басню И. А. Крылова «Лиса и виноград»...

Лингвистические истоки теории семантического инварианта лежат в области фонологии (ведь фонема была введена как инвариант конкретных звуковых реализаций), а также в грамматике — об этом писал А. В. Исаченко (см. настоящее издание — 8бссл.). Н. В. Перцов (1999, 412) пишет о влиянии на разработку инвариантов в семантике теории грамматических оппозиций Р. Якобсона.

Теория семантического (или лексического) инварианта, как она представлена в современной лингвистической литературе, имеет ряд дискуссионных положений, среди которых наиболее важными являются, на наш взгляд, следующие:

1. трактовка семантического инварианта как наиболее характерного, прототипического значения
2. абсолютизация семантического инварианта, представление его как альтернативы полисемии

### 3. игнорирование когнитивной семантики и прагматических факторов содержания лексических знаков

Первый аспект проблемы детально рассматривался нами на примере концепции И. К. Архипова (см. данное издание — 82ссл.), поэтому здесь подробно остановимся на втором и третьем аспектах.

#### 3.2.1. Границы инвариантности

Тот, кто стоит на пальцах, не может долго стоять. Тот, кто делает большие шаги, не может долго идти.

Лао Цзы

Как известно, в истории лексикологии нет единства относительно интерпретации статуса семантических вариантов слова. В этой области, по мнению В. Г. Гака (1998, 190), наметились три точки зрения (иначе картина представлена у других авторов: Шмелев 1977, 81сл.; Зализняк 2006, 34):

1. плюралистическая — в каждом отдельном значении форма образует отдельную единицу, т.е. сколько значений — столько и слов (Ж. Вандриес, Л. В. Щерба и др.)
2. унитарная — каждое слово обладает только одним лексическим значением, которое представляет собой множество вариантов, т.е. все значения сводятся к единому общему значению (Р. Якобсон, В. А. Звегинцев и др.)
3. функциональная — имеются разные значения слова, которые не сводимы к единому значению (А. А. Потебня, Е. Курилович и др.)

В современных исследованиях все большей популярностью пользуется унитарная концепция, т.е. представление семантического инварианта как альтернативы многозначности. Во многом данный подход опирается на грамматическую традицию, согласно которой формы, не имеющие общего значения, не составляют грамматическую категорию. Именно так рассуждает известный немецкий славист Х. Яхнов, анализируя категорию падежа в русском языке (1976).

Яхнов основывается на представлении традиционной грамматики, в которой принято, что падежные окончания определяют отношения существительного к другим членам предложения. Но при этом в грамматических трудах (автор ссылается на русскую «Граматику» 1970 г.) приводится такой обширный список значений каждого падежа, что возникает естественный вопрос: соответствует ли всем этим многочислен-

ным значениям какое-либо общее категориальное значение, иначе говоря — инвариант, который бы и отличал один падеж от другого? С этим, отмечает Яхнов, связан и вопрос о том, является ли вообще падеж самостоятельной категорией грамматики.

Составляющие грамматическую категорию значения (граммемы) включают два вида признаков: конвергентные и дивергентные. Так, конвергентные признаки граммем в составе категории времени имеют содержание: ‘процесс’, ‘выполнение действия’ и др., а дивергентные — ‘локализация действия во времени’ и др. Требуется, чтобы дивергентные признаки были сопоставимы по содержанию и формату.

В зависимости от функций в коммуникативных процессах Яхнов выделяет три типа языковых единиц:

1. репрезентативные — единицы с функцией указания на объект
2. организативные — единицы, функция которых заключается в объединении знаков меньшего формата в знаки большего формата, что позволяет структурно упорядочить сложноорганизованные единицы языка. Вместе с тем организативные единицы могут указывать также на внешние объекты. Например, в предложении *Hans liebt Maria* — Ганс любит Марию порядок слов выполняет не только структурную, но и номинативную (репрезентивную) функцию: первая линейная позиция существительного *Hans* обозначает субъекта действия/состояния
3. конвентивные — единицы, которые выполняют коммуникативную «нуль-функцию». Например, в русском сочетании *из Берлина* реализуется правило, согласно которому предлог *из* сопровождается формой существительного в родительном падеже. Но это правило — чистая условность, конвенция, ведь какой-либо дополнительной семантической информацией его выполнение не сопровождается. При анализе грамматических категорий и сопоставлении граммем нуль-функции обычно не рассматриваются из-за того, что у них нет видимых содержательных признаков

Для грамматической категории постулируется требование, согласно которому все граммемы и соответствующие им морфологические показатели должны быть *изофункциональны* и иметь *общую референтную область*. Это относится, в первую очередь, к категории падежа. Рассмотрим вслед за Яхновым примеры:

*Отец пишет вечером.*

*Ваня отцу сосед.*

*Христо из Болгарии.*

В морфологической структуре существительных *вечером, отцу* и *из Болгарии* можно выделить аффиксы: *-ом, -у, -и*. Окончание *-ом* выступает как репрезентативная единица — она указывает на время осуществления действия. Это значение записывается как [Zeitpunkt ist], т.е. ‘момент времени равняется...’ Окончание *-у* выступает как организативная единица — она указывает на то, что отец находится в определенном отношении к Ване, содержание этого отношения конкретизируется с помощью словоформы *соседом*. Таким образом, значение морфемы *-у* — ‘быть в некотором отношении к...’ Наконец, окончание *-и* в словоформе *Болгарии* Яхнов считает конвентивным, потому что оно содержательно дублирует уже имеющийся в структуре сочетания предлог *из*.

Таким образом, выясняется, что падежные окончания существительных варьируются и лишены общей семантической функции, тогда как для грамматической категории требуется функциональное единство. Для доказательства гипотезы о том, что падеж не представляет собой единой грамматической категории, Яхнов рассматривает с функциональной точки зрения все падежные значения существительных в русском языке. Покажем это на примере именительного падежа, формам которого приписываются четыре значения.

Первое значение, организативное — ‘субъект действия’. В зависимости от контекста данная граммема может выражать также другие семантические функции, например, инструмента, локатива, объектива и др.:

*Танк разрушил орудие.*

*Голова болит.*

*Солдат наказан офицером.*

Второе значение, репрезентативное, реализуется в составном сказуемом при функциональном глаголе *быть*. Окончание существительного указывает здесь на то, что названный предикативный признак оценивается как постоянный, фиксированный. В этом значении именительный падеж составляет оппозицию творительному, который обозначает непостоянный, окказиональный признак, ср.:

*Юрий был учитель.*

*Юрий был учителем.*

Третье употребление форм именительного падежа — вокативное, при котором окончание существительного является репрезентативной единицей, указывает на адресат сообщения, ср.:

*Молодой человек, мы здесь не обслуживаем!*

Четвертый тип употребления форм именительного падежа наблюдается в конструкциях типа:

*В лес налетели птицы.*

С одной стороны, существительное в именительном падеже выражает здесь 'субъект действия', с другой стороны, как пишет Яхнов, выступает как репрезентативная единица, противопоставленная своей номинативной функцией граммеме родительного падежа в конструкциях типа:

*налетело птиц*

К сожалению, номинативное содержание именительного падежа при этом остается не совсем ясным. Для форм родительного падежа Яхнов отмечает значение большого объема множества — значит, форме именительного падежа следовало бы приписать противоположное значение — малого объема множества, или отсутствие маркированности по данному признаку.

Проанализировав подобным образом все падежные окончания русских существительных, Яхнов заключает: для того, чтобы говорить о единой грамматической категории падежа в русском языке, нет никаких достаточных оснований.

В русском языкознании унитарная концепция многозначности наиболее последовательно разрабатывается в исследованиях Н. В. Перцова (1996; 1998а; 1998б; 1999; 2000; 2001), который справедливо считает, что в словарях, а также в лингвистических описаниях встречается чрезмерная дифференциация значений. По мнению Перцова, многие частные значения полисеманта можно объединить в одном семантическом инварианте (1999, 420ссл.), который в словарных толкованиях должен «выноситься за скобки» — тогда будет соблюден принцип иерархичности описания (1996, 37ссл.). Определение семантического инварианта у Перцова таково:

Самым естественным пониманием инварианта является понимание его как общего смыслового компонента, присутствующего в каждом из частных подзначений неоднозначной языковой единицы; такой компонент должен иметь нетривиальный статус (т.е. не должен относиться к семантическим примитивам) и должен «скреплять» все частные интерпретации единицы. Такое единство частных интерпретаций, обеспечиваемое общим смысловым компонентом, действительно представляет собой случай наиболее «удобный» для языковой интуиции носителя языка и для лингвистического сознания исследователя (1999, 414).

Соотношение между инвариантом и полисемией представляется Перцовым следующим образом: хотя инвариант не охватывает абсолютно всех частных интерпретаций, однако по крайней мере некоторые «ключевые компоненты» входят в содержание частных интерпретаций. Инвариант отражает прежде всего основное значение («базисную интерпретацию»), но обладает компонентами, которые в виде коннотаций входят также в содержание частных интерпретаций.

Несмотря на то, что инвариант в концепции Перцова должен иметь особый, «нетривиальный» статус, однако в действительности оказывается, что при формулировке инварианта используются те же принципы, что и при определении частных интерпретаций. Так, Перцов считает, что инвариантом форм настоящего времени глагола является не одновременность, а гомотронность:

Некоторая ситуация  $S$  гомотронна некоторому временному отрезку  $T$  (в частном случае — точке на оси времени), если (1) ситуация  $S$  имеет место на отрезке  $T$ , или (2) реализации ситуации  $S$  имели место до отрезка  $T$ , и при этом либо после отрезка  $T$  реализации  $S$  будут иметь место, либо на отрезке  $T$  существуют условия для повторных реализаций ситуации  $S$  после отрезка  $T$ . Это понятие позволяет дать формулировку инварианта настоящего времени: ‘данная ситуация гомотронна времени отсчета’ (1998а, 12; 2001, 249).

Во-первых, данный пример не убеждает нас в том, что представление семантической информации в виде инварианта, по сравнению с традиционным способом, более удобно — напротив, приведенное выше описание выглядит громоздким и довольно запутанным.

Во-вторых, можно сомневаться, что именно такой инвариант (в таком виде) хранится в нашей языковой памяти — уж слишком замысловата его структура.

В-третьих, вместо одного инварианта фактически мы имеем здесь три варианта употребления слова, а значит, многозначность переносится из области частных интерпретаций в область инвариантного значения, что представляет собой своего рода автофальсификацию.

Можно сомневаться также в правильности решения русского исследователя, который пишет, что в предложениях

*Вода кипит при температуре сто градусов*  
*Земля вращается вокруг Солнца*

реализуется настоящее время «гностическое» и «постоянное» (ibidem). Дело в том, что значение времени актуально только в референтных (ситуативных) предложениях, в приведенных же генерических (квалитативных) предложениях формы настоящего времени обозначают дей-

ствие как таковое (или состояние как таковое) безотносительно к моменту речи или к другой временной точке отсчета. Поэтому формы настоящего времени в данном случае не имеют ничего общего с семантическим инвариантом настоящего времени.

Сторонником унитарной точки зрения на многозначность является и Л. Цыбатов, который представляет инвариантное значение русской частицы *же*: ‘точка зрения говорящего противоположна точке зрения слушающего или другого лица, неспецифицированного носителя точки зрения’ (Zybatow 1990, 38ссл.). В зависимости от синтагматического контекста данное инвариантное значение реализуется несколькими способами. Ср.:

— *Вы мне покажете Дерибасовскую улицу?*  
— *Я же первый день в Одессе!*

В данном случае *же* выражает несогласие говорящего с установкой коммуникативного партнера, в соответствии с которой говорящий хорошо знает Одессу (эта установка содержится в пресуппозиции первого высказывания). В предложении

*Вы же не пройдете мимо? Вы обязательно поможете.*

выражается более мягкая форма несогласия с адресатом, а именно — предположение о том, что в рассматриваемой ситуации адресат мог бы поступить иначе.

В предложениях типа

*Красивый же район вырос!*  
*Холодно же здесь!*  
*Везет же тебе!*

Цыбатов усматривает усилительное значение, но тогда возникает вопрос: какое отношение это имеет к семантическому инварианту? Здесь налицо экспрессивная или же эмотивная семантика, которую можно выразить соответствующими частицами:

*Ах, какой красивый район вырос!*  
*Ох, как здесь холодно!*  
*Ну и везет тебе!*

Конечно, эта экспрессивность в какой-то степени основана на альтернативе: ‘могло бы быть иначе — намного лучше или намного хуже’, однако можно сомневаться, что семантика альтернативы передается в этом случае в ассертивной части содержания частицы *же*.



Если альтернативность достаточно очевидна в императивных предложениях типа

*Войдите же!* = ‘Войдите; я вижу, что вы — вопреки моему приглашению или ожиданию — не входите’.

то не совсем ясно, в чем заключается альтернативность предложений типа:

*Будьте же счастливы!*

Вряд ли можно согласиться с трактовкой, что такая форма высказывания основывается на предпосылке, что возможно альтернативное положение дел, ср.:

*В жизни вас ждет много испытаний — будьте же счастливы!*

Скорее, здесь с помощью частицы *же* выражается консеквентность или же она употребляется в присоединительном значении — на это указывает и контекстное окружение:

*Вы решили пойти по жизни вместе — будьте же счастливы!*

В этом случае возможна замена частицы *же* частицей *так*:

*Вы решили пойти по жизни вместе — так будьте счастливы!*

Употребления русской частицы *ведь* обобщаются Цыбатовым в виде инварианта: ‘точка зрения говорящего корреспондирует с точкой зрения слушающего или другого носителя точки зрения’ (1990, 71ссл.). Так, произнося высказывания

*Ты ведь это сам прекрасно знаешь.*

*Ведь это наш учитель музыки.*

говорящий предполагает, что коммуникативный партнер считает так же и может подтвердить данную информацию. Различие предложений (риторических вопросов)

*Вы ведь не станете бить женщину?*

*Вы же не станете бить женщину?*

согласно концепции Цыбатова, состоит в том, что первое подчеркивает солидарность коммуникантов: ‘Я считаю, что нельзя бить женщину; я предполагаю, что вы считаете так же, как я’. Второе предложение, напротив, содержит предположение, что кто-либо мог бы высказать аль-

тернативную точку зрения. В то же время определенный Цыбатовым инвариант, скорее всего, не согласуется с некоторыми языковыми фактами, например, высказываниями, употребляемыми в дискурсе спора:

*Что вы ему объясняете — ведь он ничего не понимает!*

Кажется, нет сомнений, что здесь частица не выражает солидарности коммуникативных партнеров, напротив — она употребляется для усиления контраста между их точками зрения, ср. парафразу:

*Вы ему объясняете, а значит, вы считаете, что он способен вас понять, а он вас, с моей точки зрения, не понимает.*

В подобных выражениях возможна замена *ведь* на *же*:

*Что вы ему объясняете — он же ничего не понимает!*

Ср. также:

*Говорили ведь тебе — а ты не понимаешь!*

*Говорили же тебе — а ты не понимаешь!*

В обоих высказываниях передается содержание, которое можно представить следующим образом:

‘Я напоминаю тебе, что тебе ранее говорили об этом;  
я думаю, что ты не помнишь о том, что тебе об этом говорили,  
поэтому ты не понимаешь;  
я считаю, что это плохо, что ты не помнишь об этом’

К сторонникам унитарной концепции многозначности следует отнести и украинско-польского русиста Г. М. Зельдовича, который критикует существующие модели описания категории вида в русском языке (в особенности так называемую «инцептивную», т.е. трактуемую совершенный вид (далее — СВ) как смену состояний, а также теорию предельности) и предлагает свою модель, в которой формы СВ рассматриваются как носители семантики однократности действия, противопоставленные неоднократным формам несовершенного вида (НСВ). Как пишет Зельдович,

суть совершенного вида в том, что ‘а) Говорящий мыслит множество (множества) ситуаций М; (б) данная ситуация имеет место в М (в каждом М из многих) один раз = для М (каждого М) то, что говорится с помощью «Р» или «Р + А», имеет место на одном временном интервале’ (2002, 40).

При этом одним из преимуществ своей модели автор считает то, что

она вскрывает единство так называемых частных значений СВ (в первую очередь наиболее далеких друг от друга конкретно-фактического и наглядно-примерного: они порождаются одним и тем же инвариантом)» (ibidem, 59).

В подходе, который предлагается Зельдовичем, несомненно, есть интересные с теоретической точки зрения элементы, например, учет речевого контекста при описании реализации форм СВ, а также некоторых правил и принципов коммуникативного поведения. В то же время трудно согласиться с утверждением автора, что в выражениях с глаголами СВ мыслится некоторое множество ситуаций — неясно, как можно обнаружить эту множественность, например, в предложениях с однократными глаголами, ср.:

*Иван подпрыгнул*

Далее, непонятно, как идея однократности может быть применена к описанию предложений с формами СВ, которые с очевидностью не выражают ни однократности, ни перманентности действия или состояния:

*Иван несколько раз подпрыгнул.*

*Я объездил всю Россию.*

*Я перечитал всех классиков.*

*Во время поездки я встретил всех своих знакомых.*

*В течение пятнадцати лет я переписал всех эти тексты.*

*После многочисленных переделок мы наконец побелили этот потолок.*

*Я пожил и в Москве.*

*Ты докричишься до того, что в конце концов тебя уволят.*

Хотя Зельдович пишет, что, «употребляя НСВ, Говорящий мыслит себе много интервалов, на которых реализуется данная ситуация» (2002, 59), языковой материал, однако, не подтверждает этого тезиса. Ср. высказывания, в которых глагол НСВ появляется в контексте перцептивного деонтического оператора:

*Я вижу, что Иван спит.*

*Я вижу, как Иван ест.*

*Я вижу, как Иван засыпает.*

*Я вижу, как Иван стреляет.*

Таким образом, можно согласиться с Д. Н. Шмелевым (1977, 82), который писал: «Несводимость отдельных значений целого ряда слов к какому-либо общему значению совершенно очевидна». Противопоставле-

ние инвариантности и полисемии представляется нам необоснованным в силу того, что различные переносные значения слова (а также переносные значения аффиксов) часто образуются по цепочечному принципу (см. Падучева 2004, 148) в результате разных семантических процессов (например, метафоры и метонимии), которые нельзя обобщить в одной категории, ср.:

*дом<sub>1</sub> — Никого не будет в доме*

*дом<sub>2</sub> — дружить домами*

*дом<sub>3</sub> — Пустыня — их дом*

*дом<sub>4</sub> — дом Романовых*

Как писал Д. Н. Шмелев (1964, 88), «значения многозначного слова семантически связаны, одно из значений как бы переходит (синхронически) в другое по той или иной формуле семантических ассоциаций» (разрядка моя. — А. К.).

Кроме того, как пишет Г. И. Кустова (2004, 16), наличие общих компонентов у разных значений полисеманта не всегда очевидно — характерным примером этого явления можно считать многозначность служебных слов, особенно — предлогов.

В пользу функциональной концепции многозначности (т.е. невозможности сведения всех значений к одному, общему значению) свидетельствует также то, что наиболее регулярные, часто употребляемые в речевой практике, конвенциональные семантические варианты закрепляются в языковой памяти, и такой способ хранения информации, видимо, более удобен, оптимален, чем использование закодированных в содержании инварианта семантических правил, по которым контекстуальные значения выводятся из общего.

### 3.2.2. Амбивалентность инвариантного значения

Если у вас спросят, что такое тело, вы ответите, что это субстанция протяженная, непроницаемая, имеющая форму, имеющая цвет и подвижная. Но отнимите у этого определения все прилагательные, что останется от воображаемой реальности, которую вы называете субстанцией?

Дени Дидро

В. Г. Гак (1998, 191) пишет, что если удастся обнаружить общее, инвариантное значение, то либо оно оказывается второстепенным, либо чрезмерно абстрактным (см. также: Кустова 2001, 55). Гак приводит

анекдотический пример подобного определения инварианта. Французские авторы Ж. Дамурет и Э. Пишон, стремясь найти инвариантное значение форм категории рода существительных, опираются на половые признаки и вводят понятие «полоподобия» (*sexuiseemblance*): род неодушевленных существительных описывается с помощью понятия пола. Так слова мужского рода *moteur* ‘мотор’ и *remorqueur* ‘буксир’ с точки зрения исследователей обозначают «самодеятельные объекты», а слова женского рода *maissonneuse* ‘жнейка’ и *batteuse* ‘молотилка’ — агрегаты, которые «остаются пассивными до тех пор, пока их не приведет в действие посторонняя сила».

Чрезмерно абстрактный, спекулятивный характер инвариантных значений критикуется также Б. Ю. Норманом (см. настоящее издание — 85ссл.). Так, анализируя семантические окказионализмы типа

*трикотажные подробности* = ‘подробности сферы интимной жизни, связанные с дамским бельем, изготавливаемым обычно из трикотажа’

*парусиновые ноги* = ‘ноги в парусиновых брюках’

*остановиться на светофоре* = ‘остановиться на перекрестке перед светофором’

Норман пишет, что, поскольку окказиональные употребления значения слова регулярны, должен существовать некоторый общий механизм их речевой реализации. Так, в случае прилагательного *трикотажный* можно было бы предположить, что в языковой памяти хранится инвариантное значение ‘имеющий отношение к трикотажу’ (кстати, в подобном духе данное прилагательное и описывается в толковом словаре). Норман, однако, отрицает целесообразность такого описания, считая его предельно широким, умозрительным и нецелесообразным с объяснительной точки зрения (1993b, 101).

С одной стороны, исследователь прав, что определенный таким образом семантический инвариант — абстракция, не имеющая ничего общего с реальной языковой компетенцией. Но с другой стороны, можно сомневаться, является ли обоснованной ссылка на «общее значение» без учета взаимодействия слова с синтагматическим контекстом, а также с системой фоновых знаний носителей языка, т.е. без указания на общий алгоритм функционирования слова в культуре.

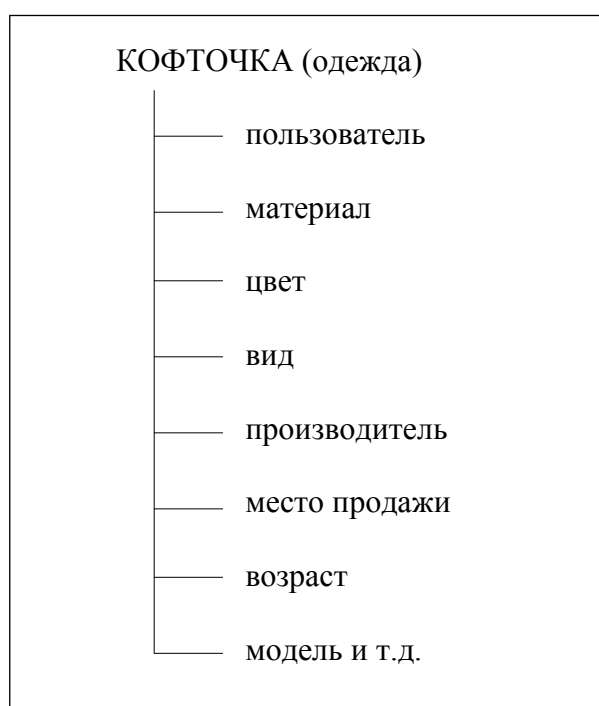
Рассмотрим два употребления прилагательного *трикотажный*:

*трикотажная кофточка*

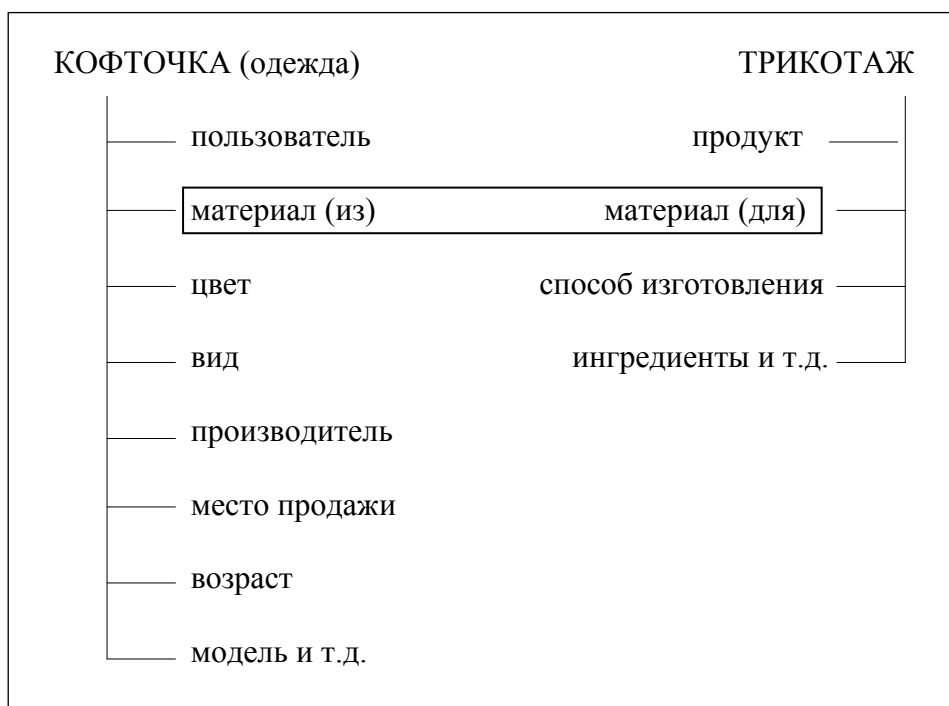
*трикотажная фабрика*

В первом случае *трикотажный* обозначает материал, из которого сделана кофточка, а во втором — продукт, который изготавливается на фабрике. Казалось бы, что их объединяет? Оказывается, в обоих случаях

содержание прилагательного непосредственно связано с содержанием существительного, другими словами — оно коннотируется содержанием существительного. Так, в содержании существительного *кофточка* имеется множество семантических признаков, которые можно упорядочить в зависимости от их роли в некоторой абстрактной, идеализированной ситуации с соответствующим партиципантом. Так понимаемые семантические признаки можно представить в виде фасет в структуре фрейма:



В сочетании с существительным *кофточка* прилагательное *трикотажный* реализует лексическое значение, которое наиболее согласуется с одной из фасет его семантической структуры. Языковой субъект выбирает такую интерпретацию слова, при которой в содержании лексических компонентов языкового выражения имеются повторяющиеся семантические признаки. Это — известный принцип семантической связности, сформулированный Ю. Д. Апресяном (1974, 14). Поскольку в значении прилагательного *трикотажный* имеется признак ‘материал’, ср. словарное толкование существительного *трикотаж* = ‘машинная вязаная ткань’, то естественно, что в выражении *трикотажная кофточка* выбирается именно этот признак, который повторяет одну из фасет в когнитивном содержании слова *кофточка*.



Взаимодействие двух фреймов можно показать также с помощью формул логики предикатов, при этом используется лямбда-оператор (символ —  $\lambda$ ) со значением ‘свойственно’:

$$\text{Если } \lambda T \text{ МАТЕРИАЛ } (x, T) \quad (1)$$

$$\lambda K \text{ МАТЕРИАЛ } (K, y) \quad (2)$$

$$\text{то } \lambda TK \text{ МАТЕРИАЛ } (K, T) \quad (3)$$

Формула (3), которая представляет собой результат контаминации формул (1) и (2), означает: ‘Если трикотажу свойственно, что он является материалом для чего-л., и кофточке свойственно, что что-л. является ее материалом, то трикотажной кофточке свойственно, что трикотаж является ее материалом’.

Подобным же образом интерпретируется выражение *трикотажная фабрика*, только здесь семантическая связность основывается на признаке ‘продукт’, который закодирован как в когнитивном содержании существительного, так и в содержании прилагательного, ср. *трикотаж* = ‘машинная вязаная ткань, т.е. являющаяся продуктом деятельности машины или человека, пользующегося машиной’.

Реализуемый в обоих выражениях принцип семантической связности позволяет обобщить их семантические интерпретации, а именно — предложить общее значение прилагательного *трикотажный*:

*трикотажный*  $x$  = ‘имеющий отношение к трикотажу, такое, которое является наиболее естественным, оптимальным, соответствующим тому, что мы знаем о трикотаже и что мы знаем о  $x$ -е’

Данное значение можно считать «общим», т.е. охватывающим по крайней мере два синтагматических контекста *трикотажный* — сочетания с названиями одежды и сочетания с институциональными именами.

Что касается окказиональных интерпретаций, они могут быть более или менее однозначными, в зависимости от содержания существительного и от степени конвенциональности (стандартности) соответствующих коллокаций. Ср. выражения:

*трикотажные подробности*  
*трикотажные мечты*  
*трикотажная книга*  
*трикотажная Лена*

Поскольку *подробность* — это ‘мелкое обстоятельство какого-л. дела, явления и т.п.’, то легко «вычисляется» значение конструкции с прилагательным *трикотажный*: ‘частные обстоятельства какого-л. дела, явления и т.п., связанного с трикотажем’. В конкретном примере, который анализируется Норманом, существительное *подробность* имеет более частное, специфическое значение, отсюда — и соответствующее толкование *трикотажных подробностей* — ‘подробности сферы интимной жизни, связанные с дамским бельем, изготавливаемым обычно из трикотажа’.

По аналогии с данным случаем выражение *трикотажные мечты* можно интерпретировать как ‘мечты о чем-л. связанном с трикотажем, с предметами из трикотажа’. Выражение *трикотажная книга* интерпретируется с учетом референтного значения существительного *книга* — ‘источник информации о предметах и явлениях’, поэтому наиболее естественной было бы его понимание как ‘книга о трикотаже, о предметах из трикотажа, о производстве трикотажа, об истории трикотажа и т.д.’

Последнее выражение наименее очевидно с точки зрения семантической интерпретации: мы можем понять его и как ‘Лена, которая любит носить одежду из трикотажа’, и как ‘Лена, которая работает на трикотажной фабрике’, и как ‘Лена, которая работает в отделе магазина, где продается одежда из трикотажа’ и др.



Массовое окказиональное употребление относительных прилагательных в польской популярной прессе описала Д. Шумская (Szumska 1999).

#### 4. Амбисемия

Язык предстает перед нами в бесконечном множестве своих элементов — слов, правил, всевозможных аналогий и всякого рода исключений, и мы впадаем в немалое замешательство в связи с тем, что все это многообразие явлений, которое, как его ни классифицируй, все же предстает перед нами обескураживающим хаосом, мы должны возвести к единству человеческого духа.

Вильгельм фон Гумбольдт

Нужно согласиться с А. Е. Кибриком, который пишет, что инвариант значения языковой единицы нельзя представить в виде перечисления наблюдаемых семантических вариантов — необходимо описать тот алгоритм, который лежит в основе конфигурации инвариантного и частного значений (1997, 56). Для этого Кибрик предлагает реконструировать «сочетаемостный механизм».

Но задача эта решается только с учетом двух факторов реализации значений: синтаксического и когнитивного (который Ф. А. Литвин квалифицирует как «тематический», см. 2005, 107). Таким образом, в основе исследования семантического инварианта должен лежать открытый, функциональный подход, основанный не только на взаимодействии лексического и грамматического уровней языка, которое Ю. Д. Апресян рассматривает как важнейший элемент интегративного описания языка (1986, 57), но и на взаимодействии языковой и неязыковой семантики («внутренней» vs. «внешней», см. Павилёнис 1986, 380; «эмической» vs. «дискурсивной», см. Сидоров 1983, 15). С этой точки зрения заслуживает внимания позиция А. Л. Новикова, который в соответствии с традицией, заложенной Л. С. Выготским, различал значение слова — в системе языка, и смысл слова — в тексте (в дискурсе):

Смысл слова [...] основывается на модификации, контекстуальном расширении исходной внутренней формы, ее актуальной конкретизации. Контекстуальная внутренняя форма определяется не только спецификой данного языкового контекста, но и системой внеязыковых

знаний, актуальной когнитивной ориентацией речемыслительной деятельности человека [...] Знак и его смысл благодаря такой подвижной внутренней форме, занимающей промежуточное положение между языком и действительностью [...] получают в тексте специфическую, обычно «смещенную» по сравнению с узусом референцию. Такую контекстуальную внутреннюю форму в отличие от обычной можно было бы назвать лингвоэпистемой (2002, 84).

Новиков противопоставлял лингвистическую семантику, основанную на семантических оппозициях в рамках системы языка, и гносеологическую семантику, которая опирается на более широкие, функционально релевантные знания о мире.

В основе лингвистической концепции, которая предлагается в данной работе, лежит положение, согласно которому содержание слова (и шире — языкового знака) амбивалентно — с одной стороны, по отношению к дескриптивной семантике, или эндосемантике, которая имеет системно-языковой характер и, преимущественно, основана на дифференциальных семантических признаках; с другой стороны, по отношению к когнитивной семантике, или экзосемантике, которая основана на интегральных семантических признаках, вытекающих из функционирования референта знака или соответствующего концепта в тех или иных культурных и ситуативных контекстах.

Так, прилагательное *виртуальный* в русском языке многозначно (см. Kiklewicz 2006с, 17):

### **ВИРТУАЛЬНЫЙ**

1. Возможный, способный возникнуть при наличии известных условий, *виртуальное перемещение, виртуальная температура, виртуальные частицы*; 2. Условный, кажущийся, недействительный, имитированный, *виртуальная квартира*; 3. Реализуемый или существующий с помощью средств массовой коммуникации, в первую очередь — электронных, прежде всего — компьютера и интернета, *виртуальный музей, виртуальный блокнот, виртуальная клавиатура, виртуальные покупки, виртуальный секс*

В рамках третьего значения можно выделить несколько частных интерпретаций, каждая из которых опирается на когнитивную семантику опорного существительного, ср.:

*виртуальный музей* = ‘сервис, позволяющий рассматривать картины или другие экспонаты с помощью компьютера/интернета’, ср. фасету [осматривать] в содержании слова *музей*

*виртуальный блокнот* = ‘компьютерный сервис, позволяющий делать заметки, записывать тексты и т.д.’, ср. фасету [записывать] в содержании слова *блокнот*

*виртуальная клавиатура* = ‘компьютерный сервис, позволяющий видеть на экране общий вид клавиатуры, расположение и значение клавиш’, ср. фасету [порядок клавиш] в содержании слова *клавиатура*

*виртуальные покупки* = ‘покупки, которые осуществляются посредством коммуникации между клиентом и продавцом, реализуемой с помощью интернета’, ср. фасету [реализовать] в содержании слова *покупки*

Все эти и другие «медиаальные» семантические интерпретации прилагательного *виртуальный* можно обобщить в виде инварианта:

*виртуальный* *x* = ‘*x* имеет такое отношение к компьютеру, интернету или другому средству массовой коммуникации, которое наиболее естественным образом вытекает из содержания *x*-а, т.е. является общей (общеизвестной) или ситуативной (оказиональной) нормой отношений между *x*-ом и компьютером, интернетом или другим средством массовой коммуникации’

Таким образом, семантическая интерпретация композиционных (т.е. производных) знаков — предложений, словосочетаний, производных слов, не сводится только к декодированию их языковой формы и языковой структуры — речевой субъект, как правило, учитывает особенности речевого и ситуативного контекста, используя для этого общую, закодированную в знаке когнитивную информацию. Данное свойство знаков будем обозначать термином *амбисемия*.

Данный термин впервые был введен в 80-е годы минувшего столетия русским лингвистом В. А. Татариновым, который понимает его как свойство языковых знаков (а именно — специальных, терминологических слов) «функционировать в языке с разным объемом семантики», «относиться к неопределенному количеству денотатов». Это свойство, согласно Татаринову, «вызывается рядом экстралингвистических факторов», таких как «использование одного термина разными научными школами, разными учеными в разные периоды развития науки». «Амбисемия — это разнообъемная характеристика интенционала термина-понятия, его семантическая аспектация, различающаяся квантитативно и квалитативно» (Татаринов 2006, 14 сл.; 1996, 168 сл.; 1988, 12 сл.).

С нашей точки зрения, семантическое варьирование знака под влиянием социо-культурного контекста охватывается такими широко известными лингвистическими понятиями, как «оттенок значения», «коннотация» или «семантическая диффузия». В. В. Мартынов в связи с этим пишет о «неопределеннозначности» языковых выражений. Поэтому в предлагаемой здесь концепции амбисемия понимается иначе, а именно — как амбивалентность, семантическая двуплановость знака, который содержит информацию, закодированную в языке, и информацию, которая обусловлена принадлежностью речевого субъекта к определенному культурному сообществу.

Инвариантное лексическое значение, как это можно наблюдать на примере прилагательного *виртуальный*, состоит из двух компонентов. Эндосемантический (сигнификативный, идеационный) компонент заключается в представлении общей, базовой информации об объектах, действиях, состояниях, процессах и свойствах.

Экзосемантический компонент имеет, во-первых, когнитивный, а во-вторых — реляционный характер, ведь инвариант представляет собой обобщение отдельных контекстуальных оттенков значения, т.е. возникающих в синтаксических конструкциях (типа *V N*, *Adj N*, *NN* и т.д.), а значит, в его содержании отражается отношение по крайней мере двух семантических категорий.

Так, в рассмотренном выше примере с прилагательным *виртуальный* мы имели дело с взаимодействием семантики определения и определяемого существительного. При определении инварианта глагола *сорвать* должны учитываться отношения между содержанием обозначаемого им действия и содержанием его коллокаций, прежде всего — объекта действия.

Общим образом эндосемантический компонент знака можно определить так:

Эндосемантика знака:

$x R y = 'X \text{ обладает свойством } p \text{ (свойствами } p, r, s \text{ и т.д.)}, \text{ которое (которые) некоторым образом проявляется (проявляются) по отношению к } y'$

Элемент «некоторым образом» в приведенной семантической экспликации указывает, что сигнификативное значение композиционных знаков всегда является частично недетерминированным, «непрозрачным». Это свойство языковой номинации Р. Дирвен назвал «*minimal-specification view*» (2001). А намного раньше О. Есперсен писал о том, что некомпозициональность (или полукпозициональность) языковых выражений является нормой:

Только нудные люди стремятся выразить все, но даже и они не могут этого сделать. Не только писатель знает, что нужно оставить в чернильнице, в чем, как правильно замечают, и заключается его искусство, но и мы в самых обыденных репликах оставляем невыраженным много из того, что произвело бы впечатление педантизма (1958, 360).

Роль «внешнего» по отношению к языку фактора коммуникативного поведения особенно подчеркивают представители социо- и антропоцентрического направления в языкознании (ср. краткий обзор в: Радченко 2004). В России выдающимся представителем данного направления был М. М. Бахтин, а также его последователь В. Н. Во-

лошинов, который в классической книге «Марксизм и философия языка» писал, что как для говорящего, так и слушающего важна не «тождественность формы», а то новое и конкретное содержание «которое она получает в данном контексте» (1929, 6). Применительно к описанию синтаксиса «экологический» подход в языкознании наиболее последовательно реализовал В. А. Звегинцев, особенно в книге «Предложение и его отношение к языку и речи» (1976).

В кругу западноевропейского языкознания можно выделить теорию норвежского психолингвиста Р. Ромметвейта, который основывается на идее конфигурации знаковой системы и среды:

[...] Синтаксические, семантические и прагматические правила естественного языка переплетены очень тонким образом, и мы лишь тогда сможем полностью понять свойства языка, когда обратим внимание на исследование высказывания в его экстралингвистическом коммуникативном окружении (1972, 54).

М. Лахтенмяки (1999) подчеркивает, что в работах представителей данного направления в лингвистике значение языковых единиц определяется как их потенциальная роль в высказывании. Финский языковед пишет:

Из того факта, что языковое выражение рассматривается как смысловой потенциал т.е. как множество возможных значений, однако не вытекает, что адресат может придать определенному языковому выражению любую интерпретацию. Интерпретация всегда [...] управляется разными социальными и культурными конвенциями.

Именно благодаря «вмешательству» экстралингвистических факторов коммуникативной деятельности, как пишет С. А. Жилин (1983, 22),

неоднозначно понимаемые (классифицируемые) компоненты, соединяясь в единицы более высокого уровня, теряют свою неоднозначность и приобретают вполне определенное конкретное значение.

Ср. высказывания, которые вне речевого и/или ситуативного контекста по крайней мере неоднозначны, а иногда и вообще противоречат «здравому смыслу»:

*Отчего у няни // Волоса в сметане?* (Саша Черный).

*Посмотрел под рукавицу // И увидел кобылицу* (Н. Ершов).

*Моя мама больше любит брата, чем меня* («Аргументы и факты». 2002/39).

*Мы вчера ходили в кино* (разговорная речь).

*Чайник кипит* (разговорная речь).

*Иван у меня на телефоне* (разговорная речь).

*Пробейте шнур!* (разговорная речь; реплика у кассы в хозяйственном магазине).

Все приведенные выше предложения можно характеризовать как небуквальные, ведь их понимание опирается на более широкий контекст. Так, в первом предложении возможны две интерпретации: ‘волосы няни испачканы сметаной’ (такой смысл в стихотворении Черного) и ‘в сметане находятся волосы’. Во втором предложении реципиента может удивить то, что лошадь уместилась под рукавицей, хотя в действительности синтаксема *под рукавицу* означает ‘прикрывая от яркого солнечного света глаза рукавицей’. В третьем предложении не уточняется, кого больше любит мама — моего брата или своего. Четвертое предложение, казалось бы, не содержит никаких лагун, но ведь мы не просто вошли в здание кинотеатра и вышли из него — мы купили билеты и посмотрели кинофильм, хоть этой информации предложение не передает. Далее — мы понимаем, что кипит не чайник, а вода в чайнике; что Иван не находится буквально на поверхности телефона, а является моим коммуникативным партнером, с которым я разговариваю по телефону; что кассирша, которую мы просим *пробить шнур*, вообще ничего не пробивает — она лишь выдает нам отпечатанный кассовым аппаратом чек, подтверждающим покупку шнура.

У Иосифа Бродского есть строки:

*Полдень; жевательный аппарат  
пробует завести,  
кашлянув, плоский пи-эр-квадрат —  
музыку на кости.*

Выделенное выражение довольно загадочно по смыслу, поэтому разные читатели и понимают его по-разному. Так, Н. Б. Мечковская (2001, 98) пишет, что «*музыка* — это метонимическое значение слова *пластинка; на кости*, т.е. ‘в черепе’, — также метонимия». Но действительный смысл *музыки на кости*, скорее всего, иной — об этом мы читаем в статье А. Ансельма в журнале «Нева» (1989/12):

Во время студенческой вечеринки один из членов подпольной группировки снял с патефона пластинку, ранее поставленную разоблачителем, с хором Пятницкого, и поставил джазовую музыку, записанную на костях. Для вас, не знающих быта 50-х годов, поясню: «на костях» — значит на использованной рентгеновской пленке, которая употреблялась для записи всякой неофициальной музыки.

Другой пример — существительное *окно*, которое входит в список трехсот наиболее частотных слов русского языка (по данным «Частотного

словаря» под ред. Л. Н. Засориной) — ничего удивительного, что это слово многозначно, ведь, по образному определению В. В. Морковкина, многозначность — это своего рода медаль, которой награждается слово за речевые заслуги. Совершенно очевидно, что в предложениях

*Иван постучал в окно.*

*Иван выпрыгнул в окно.*

*На окне стоит сирень.*

мы имеем дело с тремя разными значениями данного слова, хотя формально это различие никак не маркировано — на него указывает только различие синтагматических контекстов, а также фоновые энциклопедические знания носителей языка. Ср. характерный с этой точки зрения текст анекдота:

*Директор вызвал Вовочку, дал ведро краски и говорит:*

*— Ты должен будешь покрасить все окна на третьем этаже.*

*Вовочка ушел и возвращается через час:*

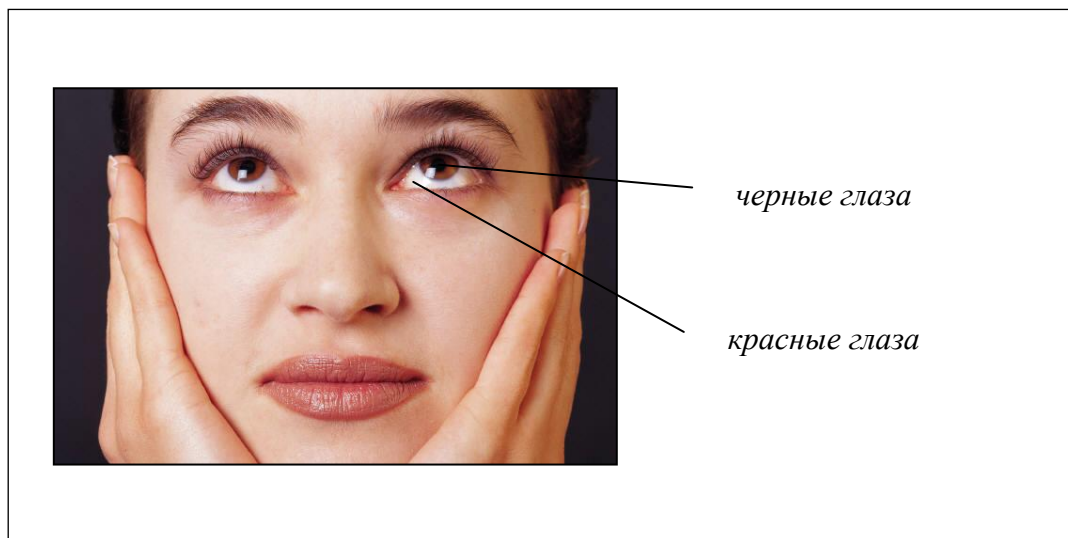
*— Иван Петрович, а рамы красить?*

Очередной пример: когда мы произносим выражения:

*черные глаза*

*красные глаза*

их языковая форма и структура не передает нюансов семантического варьирования существительного, а оно употребляется принципиально по-разному: в первом выражении имеются в виду зрачки, а во втором — белки (см. рисунок).



Эту (как выражается В. В. Мартынов) «неопределеннозначность» языковых знаков компенсирует другой компонент их значения — экзосемантический. Он состоит в том, что говорящий, руководствуясь коммуникативным принципом кооперации, предполагает, что слушающему известно стандартное, конвенциональное (культурное или субкультурное) отношение между референтами синтагматических партнеров или же их нестандартное, окказиональное отношение, которое вытекает из обстоятельств общей для говорящего и слушающего коммуникативной ситуации.

Экзосемантика знака:

$x R y =$  'Говорящий считает, что слушающему известно стандартное, нормальное отношение  $R$  между  $x$  и  $y$  или же окказиональное отношение между ними, наблюдаемое в данной коммуникативной ситуации'

Экзосемантический компонент значения выполняет *инферентную функцию* — восполняет недостаток семантической информации, закодированной в языковой форме и структуре знака.

Идеальным объектом для демонстрации предложенного здесь принципа описания являются реляционные слова, т.е. индексальные символы, неполные в отрыве от синтагматического контекста, например, прилагательное *пустой*, инвариант которого можно определить следующим образом:

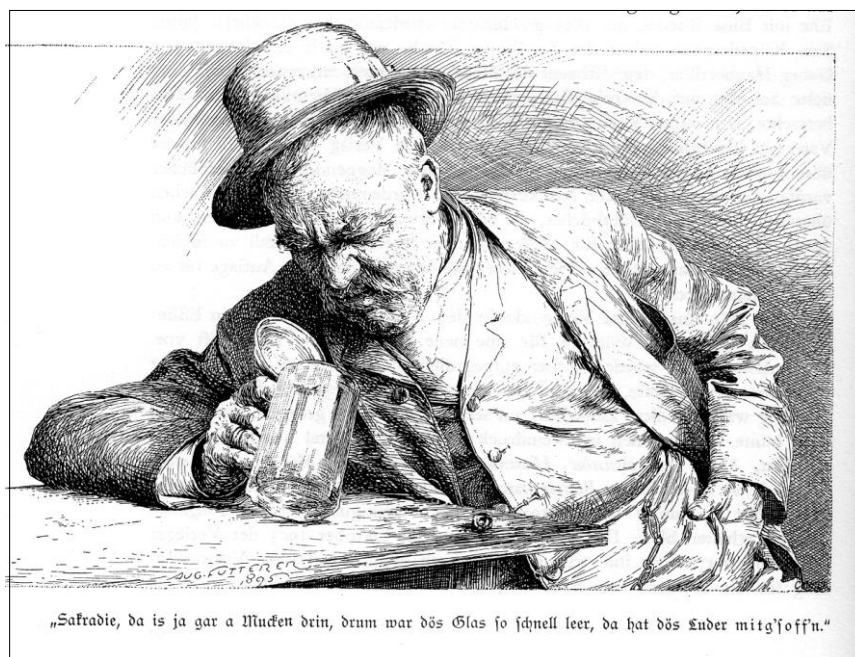
*пустой*  $x =$  'такой  $x$ , внутри или на поверхности которого отсутствуют предметы, которые в соответствии с нормой должны или могут там быть'

Произнося выражение

*пустая бутылка*

говорящий вовсе не имеет в виду, что бутылка является абсолютно пустой (хотя и такая интерпретация окказионально возможна) — данное выражение понимается как 'бутылка, в которой нет содержимого, жидкости, например, воды, молока, вина и т.д.' Ср. рисунок XIX в.:





Подпись под рисунком на баварском диалекте немецкого языка означает:

*Da is ja gar a Mucken drin, drum war dös Glas so schnell leer, da hat dös Ender mitg'soss'n* = ‘Поскольку внутри (в бокале) находится комар, то теперь я знаю, почему бокал так быстро опустел — кто-то пил вместе со мной’.

Наличие комара в бокале не мешает говорящему считать его пустым — такая интерпретация полностью согласуется и с семантическим стандартом существительного *бокал* (о понятии семантического стандарта см.: Awdiejew 1999, 43ссл.), и с его содержанием в данной коммуникативной ситуации.

Инферентный компонент исключительно важен при интерпретации оценочных слов, он просто необходим при описании категории оценки (Киклевич 1998, 75ссл.). Одним из первых на это обратил внимание Э. Сепир, который в первой половине XX в. указывал, что «язык подвергается материальному воздействию факторов, связанных с условиями существования его носителей» (1993, 271). В статье «Градуирование» объектом исследования явилась семантика количественной и качественной оценки. Характеризуя специфику оценочно-количественных слов типа *много*, Сепир писал:

Слово *много* не обозначает никакого класса суждений, группирующихся вокруг данной нормы количества, которая приложима к каждому случаю, в том смысле, в каком слова *красный* или *зеленый* применимы в каждой ситуации, где речь идет о цвете; *много*, собственно говоря, является словом-отношением, которое теряет свое значение, ко-

гда лишается коннотаций типа “больше, чем” и “меньше, чем”. *Много* просто обозначает любое число, определенное или неопределенное, которое «больше, чем» некоторое другое число, принятое за начало отсчета (1985, 44).

Таким образом, Сепира, имя которого обычно произносится в связи с теорией лингвистической относительности (другими словами — этносемантики), с полным правом можно отнести также к числу создателей современной семантики употребления.

Когда мы произносим выражения:

*высокая гора*  
*высокая сосна*  
*высокая яблоня*  
*высокая студентка*  
*высокая трава*

мы интуитивно различаем их с точки зрения номинальной интенсивности признака ‘высокий’: самая *высокая студентка*, несомненно, ниже, чем *высокая яблоня*, которая никогда не сравнивается с *высокой сосной*, а тем более с *высокой горой*, хотя словарь, в принципе, не учитывает этого, ср. дефиницию: *высокий* = ‘имеющий большое протяжение снизу вверх’. А все дело в тех разных общих нормах высоты (или «точках отсчета», по Сепиру), которые устанавливаются в культуре и хранятся в памяти — применительно к объектам категории «сосны», категории «яблони», категории «студентки» («люди») и т.д. Семантический инвариант прилагательного *высокий* следовало бы с учетом данного обстоятельства определить так:

*высокий*  $x$  = ‘такой  $x$ , рост которого (т.е. размер в высоту) превышает нормальный, обычно встречаемый размер  $x$ -а; предполагается, что слушающему известен стандартный рост  $x$ -а’

Подобный принцип действует и при описании других классов оценочных слов, не только физических, но и интеллектуальных. Например, в выражениях

*умный инженер*  
*умный ребенок*  
*умный пес*

одно и то же прилагательное *умный* выражает три разных оттенка: *умный инженер* обладает такими свойствами, как проницательность, эрудиция, умение применить знания на практике, решить сложные технические проблемы; *умный ребенок* — сообразительный, много (с учетом

его возраста) знающий, читающий; *умный пес* — адекватно реагирующий на поведение посторонних, послушно выполняющий команды хозяина. Что касается инварианта этих оттенков, его можно определить так:

*умный  $x$*  = ‘ $x$  обладает высокими интеллектуальными способностями, которые превышают средний, нормальный, обычно встречаемый уровень интеллектуальных способностей  $x$ -ов (т.е. объектов класса, к которому принадлежит  $x$ ); предполагается, что слушающему известно, в чем выражаются интеллектуальные способности объектов класса, к которому принадлежит  $x$ , а также известен стандартный уровень интеллектуальных способностей  $x$ -ов’

Амбисемия охватывает также область грамматической семантики. Так, в концепции, которая изложена в работах: Kiklewicz 2004, 115ссл.; 2005, — за инвариант форм совершенного вида (СВ) глаголов (в их прямом употреблении) принято значение результативности действия. Именно результативность выражается в предложениях, которые анализируются Г. М. Зельдовичем как диагностические контексты «инцептивной» теории и теории предельности (2002, 31ссл.). Действительно, можно согласиться с Зельдовичем, что в предложениях

*После ухода жены Иван еще поспал*

не выражается ни смена состояний, ни предел действия. Но их особенность не в однократности, о которой пишет исследователь, а в результативности, которая здесь заключается в том, что в некотором отрезке времени, находящемся в фокусе высказывания (его можно квалифицировать как ассертивный), Иван некоторое время спал, что и составляло цель его поведения. Ср. интерпретацию:

*После ухода жены Иван еще поспал* = ‘После ухода жены Иван хотел еще немного поспать; произошло так, как хотел Иван’.

Данное предложение предполагает вполне определенную очередность событий: сначала Иван спал, потом в связи с уходом жены, возможно, в связи с необходимостью попрощаться с ней, Иван проснулся, после чего Иван хотел продолжить сон и действительно — он уснул и некоторое время после ухода жены спал, и только потом проснулся.

По мнению Зельдовича, предложение

*Ивану дали снотворное, так что время кинофильма, который показывали с двух до четырех, он проспал.*

не обязательно означает, что Иван спал с двух до четырех — возможно, он начал спать раньше и проснулся после завершения показа кинофильма. Но, отмечу, значение формы СВ не имеет ничего общего с однократностью — здесь, как и в предыдущем случае, важна результативность: снотворное подействовало, и Иван уснул — он спал все время, когда демонстрировался кинофильм и, не исключено, спал также после завершения показа.

Согласно Зельдовичу, предложение

*Ивану посчастливилось жить в Москве*

значит: 'Иван прожил в Москве всю жизнь, от начала и до конца; при этом нельзя сказать, что Иван начал жить в Москве и кончил жить в Москве'. Именно поэтому Зельдович отказывается интерпретировать данное предложение с позиций теории «инцептивности». Но более естественной выглядит результативная интерпретация: 'Ивану удалось по крайней мере некоторое время, а может быть, и всю жизнь, жить в Москве; Иван раньше хотел этого (мечтал об этом); хотеть жить в Москве является чем-то нормальным, естественным'.

Зельдович критикует точку зрения, согласно которой предложение

*Плащ уберег Ивана от дождя*

понимается как 'в какой-то момент времени (совпадающий с моментом, когда начался дождь или Иван вышел на улицу) плащ начал защищать Ивана от дождя' (2002, 32). Но такое толкование кажется довольно умозрительным. Зато не вызывает сомнений выражаемая здесь результативность: чтобы не промокнуть под дождем, Иван надел плащ, и действительно — когда Иван находился под дождем, он убедился, что достиг своей цели — благодаря использованию плаща Иван все время, пока он находился под дождем, оставался сухим.

Е. В. Падучева, в принципе, также имеет в виду результативность как инвариант форм СВ — она определяет его формулой: 'раньше не Р, сейчас Р' (2004, 514). Падучева пишет, что статальный признак ('начало состояния') «входит в лексическое значение всех, за небольшим исключением, глаголов СВ». Но, во-первых, неясно, как велико это «небольшое» исключение, а во-вторых, можно сомневаться, реализуется ли данный инвариант в значении темпорально-количественных (делимитативных) глаголов типа *поспать*, моментальных глаголов типа *вскрикнуть* или континуативных глаголов типа *устоять*. Этот список можно продолжить.

Напротив, в нашей концепции принимается, что закодированным в содержании СВ результатом может быть любой тип положений дел —

не только состояния, о которых уже была речь, но и действия, процессы, свойства, ср.:

1. действие как результат: *Войска двинулись в поход* = ‘Войска хотели двинуться в поход; произошло так, как хотели войска’
2. процесс как результат: *Иван зажег свечу* = ‘Иван хотел, чтобы свеча горела; произошло так, как хотел Иван’
3. свойство как результат: *Листья пожелтели* = ‘Кто-то хотел (природа хотела), чтобы листья стали желтыми; произошло так, как кто-то хотел (как хотела природа)’

Инвариант СВ реализуется с учетом лексической семантики слова, в том числе и деривационной. В зависимости от способа глагольного действия — дуративного, терминативного, инхоативного, моментального, процессивного и т.д., значение результативности модифицируется, а именно — выступает в двух категориях: финитивной и каузативной. В первом случае глагол обозначает намеренный результат действий субъекта, который ставит перед собой определенную цель — в семантической интерпретации мы будем пользоваться записью: ‘*x* хочет/хотел *S*’. Во втором случае глагол обозначает следствие действий, процессов и состояний вне и независимо от субъекта, его целевых установок — это явление мы отмечаем с помощью метаязыковой экспликации ‘*кто-то* хочет/хотел *S*’. Существуют выражения, которые позволяют интерпретацию как первого, так и второго типа, ср.:

а) финитивная результативность

*x* написал *y* = ‘*x* хотел написать *y* — произошло так, как хотел *x*’

*x* постоял = ‘*x* хотел стоять — произошло так, как хотел *x*’

*x* пришел = ‘*x* хотел прийти — произошло так, как хотел *x*’

*x* поспал = ‘*x* хотел спать — произошло так, как хотел *x*’

*x* объездил *y* = ‘*x* хотел побывать в разных частях *y* — произошло так, как хотел *x*’

б) каузативная результативность

*x* икнул = ‘кто-то хотел/что-то было причиной того, чтобы/что *x* икнул — произошло так, как хотел кто-то’

*x* замерз = ‘кто-то хотел/что-то было причиной того, чтобы/что *x* почувствовал сильный холод — произошло так, как хотел кто-то’

в) финитивная или каузативная результативность

*x* подпрыгнул = ‘*x* хотел подпрыгнуть, кто-то хотел/что-то было причиной того, чтобы/что *x* подпрыгнул — произошло так, как хотел *x* или как хотел кто-то’

*x* запел = ‘*x* хотел петь, кто-то хотел/что-то было причиной того, чтобы/что *x* пел — произошло так, как хотел *x* или как хотел кто-то’

*x* уснул = ‘*x* хотел уснуть, кто-то хотел/что-то было причиной того, чтобы/что *x* уснул — произошло так, как хотел *x* или как хотел кто-то’

*x замолчал* = ‘*x* хотел молчать (перестать говорить), кто-то хотел/что-то было причиной того, чтобы/что *x* молчал (перестал говорить) — произошло так, как хотел *x* или как хотел кто-то’

*x смолчал* = ‘*x* хотел молчать (не начинать говорить), кто-то хотел/что-то было причиной того, чтобы/что *x* молчал (не начал говорить) — произошло так, как хотел *x* или как хотел кто-то’

Эти наблюдения дают основание для амбисемантического представления инварианта СВ, в котором различаются (а) эндо- и (б) экзосемантический компоненты:

### СОВЕРШЕННЫЙ ВИД

а) глаголы совершенного вида обозначают действия, процессы, состояния и свойства, которые в некотором, актуальном, описываемом в высказывании отрезке времени являются результатом целевой деятельности субъектов или же следствием внешних или внутренних причин

б) результатом/следствием считается такое положение дел, которое в соответствии с известной говорящему и/или слушающему нормой вытекает из содержания описываемого действия, процесса, состояния или свойства

Так, глагол *молчать* является нединамическим — континуативным, поэтому сам по себе он не имеет инцептивной перспективы. Зато данный глагол может обозначать состояние, которое является результатом некоторых действий или усилий субъекта. При этом возможны две ситуации: первая, когда молчание наступает после речи — *замолчать*; вторая, когда молчание продолжается, но в виде альтернативы речи — *смолчать*, *умолчать*.

Напротив, в содержании моментальных глаголов, таких, как *споткнуться*, *посмотреть*, *подпрыгнуть*, *икнуть*, *подумать*, *моргнуть* и др., результативность является конститутивным семантическим признаком, поэтому отрицание таких глаголов равнозначно отрицанию самого действия, а не только его результативности, ср.:

*Мимо прошла Аня, но Иван даже не посмотрел на нее* = ‘Иван не стал/не хотел смотреть на Аню, которая прошла мимо’.

В силу того, что результативная семантика закодирована в лексическом значении моментальных глаголов, различие между СВ и НСВ при этом становится несущественным:

*И вдруг Иван споткнулся.*

*И вдруг Иван спотыкается.*

Процессуальные, в частности, инхоативные (в другой терминологии — инцептивные, ингрессивные) глаголы обозначают действия (с объекта-

ми или без), которые могут заканчиваться результатом — изменением субъекта или объекта действия. В этом случае результативность составляет перспективу действия, но в зависимости от лексического содержания глагола в предложении реализуется семантика результата ('*x* хочет *S*') или семантика следствия ('*кто-то* хочет *S*'), ср.:

*Иван написал новый роман* = 'Иван хотел написать новый роман — произошло так, как хотел Иван'.

*Иван влюбился в Аню* = 'кто-то хотел, чтобы Иван влюбился в Аню — произошло так, как хотел кто-то'.

## Заключение

Квантовая механика отвечает лишь на правильно поставленные статистические вопросы и в общем ничего не говорит о ходе отдельных процессов.

Макс Борн

1. Различаются два уровня семантического варьирования знаков (в особенности — лексических знаков): полисемия и диасемия (последний термин введен в данной работе): в первом случае речь идет о двух или более разных значениях, которые несовместимы в одном синтагматическом контексте, а во втором — о так называемых оттенках значения. Хотя толковые словари фиксируют как значения, так и оттенки полисемантов, однако строгая граница между ними не проводится — количество и содержание значений, равно как и количество и содержание оттенков обычно имеет субъективный, волюнтаристический характер, при этом тенденция к необоснованному дроблению значений на семантические варианты — обусловленные их синтагматическими контекстами — наблюдается также в лингвистических исследованиях. Значение слова при этом не только «растворяется» в контексте, но и во многом отождествляется с контекстом, что можно квалифицировать как своего рода **неодистрибуцизм**.

2. Трудности, возникающие при классификации семантических вариантов, во многом связаны с объективными причинами, а именно — с диффузным характером плана содержания языковых знаков, который во многом обусловлен динамическим взаимодействием между их номинативными и дистрибутивными свойствами. Неслучайно существуют разные подходы к описанию таких явлений, как метонимия и компрессия (конденсация). Первое — это вид семантической деривации, второе — вид синтаксической деривации, однако поскольку в основе метонимии

обычно лежит компрессия поверхностно-синтаксической структуры предложения, то эти явления зачастую ошибочно отождествляются. В предложенной в данной работе концепции отрицается, с одной стороны, лексикографический подход, в соответствии с которым каждое явление компрессии трактуется как семантическая деривация; с другой стороны, синтагматический подход, который игнорирует семантические, в частности, когнитивные факторы синтаксической деривации. В качестве основных причин синтаксической компрессии рассматривается тенденция к экономии речевых усилий на уровне линейной организации высказывания, а также прагматический принцип приоритета — перемещение соответствующих элементов плана содержания высказывания в «фокус интереса», который обычно соответствует позиции подлежащего или позиции прилагательной синтаксемы.

3. В условиях семантической диффузии, т.е. зависимости семантической интерпретации знака от его синтагматического, а также социального контекста, в целях разграничения значений и их оттенков могут использоваться следующие критерии: а) дистрибутивный; б) субститутивный; в) композитивный (проверка конструкции на неидиоматичность); г) когнитивный и д) контрастивный (учет межъязыковых параллелей).

4. Полисемия как языковое явление противопоставляется парасемии (в терминологии риторики — эквивокации), которая представляет собой речевую многозначность знака — морфемы, лексемы, словосочетания, предложения. Парасемия — это сосуществование двух или более семантических интерпретаций знака в одном и том же синтагматическом контексте. Различаются два вида парасемии: сукцессивная — равнозначная понятию «разночтения», и симультанная — преднамеренное или непреднамеренное употребление знаков, открытых для нескольких, альтернативных семантических интерпретаций. Преднамеренная симультанная парасемия широко культивируется как прием создания юмористического эффекта.

5. Различаются три уровня социального варьирования содержания знаков: а) уровень этнического языка; б) уровень социолектов и в) уровень идиолектов. Это указывает на открытый характер плана содержания — не только его экстенционального аспекта (так называемого объема — в формальной логике), но и его интенционального аспекта. Значения полисеманта не могут быть перечислены в виде закрытого списка, поскольку семантическое варьирование слова является перманентным процессом, на который влияют речевые факторы: когнитивный — общая апперцептивная база речевых субъектов, и коммуникативный — условия речевого акта.



Вместе с тем принимается положение, согласно которому по крайней мере часть значений — конвенциональных и окказиональных, в той или иной степени запрограммирована системой языка. Толковый словарь не отражает языковую компетенцию в полном объеме, потому что фиксирует только наиболее регулярно встречаемые значения и оттенки, тогда как в языковом сознании носителей языка закодированы также правила деривации и интерпретации значений и оттенков.

Открытый характер полисемии в значительной степени является эмпирическим обоснованием исследовательского подхода, в соответствии с которым усилия лингвистов направлены на определение семантических инвариантов, т.е. хранящихся в языковой памяти понятийных категорий, обобщающих все реальные и потенциальные мутации и модификации плана содержания.

6. Существующие трактовки семантического инварианта, в своем большинстве, неприемлемы по нескольким причинам: во-первых, некоторые из них представляют инвариант как наиболее характерное, прототипическое значение, упуская из виду то, что инвариант — это, с одной стороны, обобщение значений, а с другой стороны — алгоритм употребления знака, т.е. реализации значений; во-вторых, неприемлема абсолютизация семантического инварианта и представление его как альтернативы для полисемии, т.е. так называемый унитарный подход к описанию многозначности; в-третьих, как порочную следует оценить практику игнорирования когнитивной семантики и прагматических факторов содержания языковых знаков. Именно эти причины не позволяют нам принять теоретические модели семантического инварианта, предложенные разными авторами — И. К. Архиповым, Н. В. Перцовым, Л. Цыба-товым, Г. М. Зельдовичем и др.

7. Сигнификативное значение композиционных знаков (производных слов, словосочетаний, предложений) всегда является частично недетерминированным, «непрозрачным», ср. «неопределеннозначность» в терминологии В. В. Мартынова или «minimal-specification view» в терминологии Р. Дирвена. Причиной является то, что содержание знаков, даже самых тривиальных, зависит от фоновых (общих или окказиональных) знаний речевых субъектов — это касается как речевой деятельности говорящего, так и деятельности слушающего. Положение, согласно которому смысл знака обусловлен определенной конфигурацией кода и среды, лежит в основе социо- и антропоцентрического (в другой терминологии — экологического) направления в языкознании, к сторонникам которого следует отнести таких исследователей, как Л. Виттгенштейн, Б. Малиновский, Дж. Фёрс, М. М. Бахтин, В. Н. Волошинов, А. Р. Лурия, В. А. Звегинцев, А. Ф. Лосев, Р. Ромметвейт, Р. И. Павилёнис, М. Лахтенмяки, А. Авдеев, О. Лещак и др.

8. Как правило, практика применения инвариантов в лингвистических исследованиях не удовлетворяет исследователей по двум причинам: во-первых, семантический инвариант представляет собой чрезмерно абстрактную семантическую структуру, не имеющую ничего общего с языковой интуицией носителей языка; во-вторых, громоздкие формулы, в виде которых записываются инварианты, мало пригодны в лингвистических описаниях, например, при сопоставлении или классификации инвариантов.

Это, однако, не значит, что с водой нужно выплеснуть и ребенка. Принципиально не приемлемы концепции инварианта, которые не учитывают, во-первых, взаимодействия знака с синтагматическим контекстом, а во-вторых, взаимодействия знака с системой фоновых знаний носителей языка и с культурными ситуациями коммуникативных действий.

В данной работе предложена лингвистическая концепция, согласно которой содержание языкового знака амбивалентно: с одной стороны, оно включает элементы дескриптивной семантики, или эндосемантики, которая имеет системно-языковой характер и, преимущественно, основана на дифференциальных семантических признаках; с другой стороны, в содержании знака имеются элементы когнитивной семантики, или экзосемантики, которая основана на интегральных семантических признаках, вытекающих из функционирования референта знака в тех или иных культурных и ситуативных контекстах. Экзосемантический компонент значения выполняет инферентную функцию — восполняет недостаток семантической информации, закодированной в языковой форме и структуре знака.

9. Поскольку инвариант представляет собой обобщение отдельных контекстуальных оттенков значения и, значит, в его содержании отражается отношение по крайней мере двух семантических категорий, экзосемантический компонент содержания знака имеет реляционный характер. В практике описания значений это находит проявление в том, что в семантической экспликации указывается известная участникам речевой интеракции (в нетипичных случаях — одному из них) норма некоторого, упоминаемого признака для некоторого, упоминаемого класса объектов.

### Литература

- Апресян, Ю. Д. (1969), *Идеи и методы современной структурной лингвистики*. Москва.
- Апресян, Ю. Д. (1974), *Лексическая семантика. Синонимические средства языка*. Москва.

- Апресян, Ю. Д. (1986), *Интегративное описание языка и толковый словарь*. В: Вопросы языкознания. 2, 57–70.
- Апресян, Ю. Д. (1986), *Интегративное описание языка и толковый словарь*. В: Вопросы языкознания. 2, 57–70.
- Апресян, Ю. Д. (1995), *Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография*. Москва.
- Блумфилд, Л. (1968), *Язык*. Москва.
- Будагов, Р. А. (1978), *Система и антисистема в науке о языке*. В: Вопросы языкознания. 4, 3–17.
- Вайс, Д. (1999), *Об одном предлоге, сделавшем блестящую карьеру (Вопрос о возможном агентивном значении модели «у + имя<sub>род</sub>»)*. В: Типология и теория языка. От описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. Москва, 173–186.
- Вандриес, Ж. (1937), *Язык. Лингвистическое введение в историю*. Москва.
- Волошинов, В. Н. (1929), *Марксизм и философия языка*. Ленинград.
- Волошинов, В. Н. (1929), *Марксизм и философия языка*. Ленинград.
- Гак, В. Г. (1977), *Сравнительная типология французского и русского языков*. Москва.
- Гак, В. Г. (1998), *Языковые преобразования*. Москва.
- Гинзбург, Е. Л. (1985), *Конструкции полисемии в русском языке. Таксономия и метонимия*. Москва.
- Евгеньева, А. П. (ред.) (1981–1984), *Словарь русского языка*. Т. 1–4. Москва.
- Есперсен, О. (1958), *Философия грамматики*. Москва.
- Есперсен, О. (1958), *Философия грамматики*. Москва.
- Жилин, С. А. (1983), *Смысл текста с точки зрения информационного поиска*. В: Текст как инструмент общения. Москва, 14–25.
- Жилин, С. А. (1983), *Смысл текста с точки зрения информационного поиска*. В: Текст как инструмент общения. Москва, 14–25.
- Жолковский, А. К. (2006), *Мемуарные виньетки и другие non-fiction*. В: Киклевич, А. К. (ред.), *Лингвисты шутят*, Москва, 99–119.
- Зализняк, Анна А. (2006), *Многозначность в языке и способы ее представления*. Москва.
- Звегинцев, В. А. (1976), *Предложение и его отношение к языку и речи*. Москва.
- Зельдович, Г. М. (2002), *Семантика и прагматика совершенного вида в русском языке*. В: Вопросы языкознания. 3, 30–61.
- Караулов, Ю. Н. (1985), *Семантическая иерархия в словаре и ее отражение в синтаксисе*. В: Восточные славяне. Языки — история — культура. Москва, 197–207.
- Кёрвуд, Г. В. (1989), *Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа*. В: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. Москва, 341–349.
- Кибрик, А. Е. (1997), *Иерархии, роли, нули, маркированность и «аномальная» упаковка грамматической семантики*. В: Вопросы языкознания. 4, 27–57.
- Киклевич, А. К. (1989), *Кванторные местоимения и текст*. В: Jachnow, H. (ред.), *Probleme der Textlinguistik*. München, 1–18.
- Киклевич, А. К. (1998а), *Польские притяжательные местоимения как грамматический класс*. В: Славяноведение. 6, 79–89.

- Киклевич, А. К. (1998b), *Польско-немецкие исследования семантической категории оценки*. В: Kikiewicz, A. (ред.), Паланістыка — Полоністыка — Polonistyka 1998. Мінск, 75–109.
- Киклевич, А. К. (1999), *Лекции по функциональной лингвистике*. Минск.
- Киклевич, А. К. (2001), *Значение в языке и тексте (о границах между семантикой и прагматикой)*. В: Wojtczuk, K. (ред.). *Leksyka a gramatyka w tekście językowym*. Siedlce, 7–28.
- Киклевич, А. К. (2003), *Лексический прототип, семантические окказионализмы и неопределеннозначность*. В: *Acta Polono-Ruthenica*. VIII, 207–224.
- Кобозева, И. М. (2000), *Лингвистическая семантика*. Москва.
- Кошелев, А. Д. (1996), *Референциальный подход к анализу языковых значений*. В: *Московский лингвистический альманах*. 1, 82–194.
- Кошелев, А. Д. (1998), *К описанию главного видового значения русского глагола*. В: Черткова, М. Ю. (ред.), *Типология вида. Проблемы, поиски, решения*. Москва, 219–231.
- Курилович, Е. (1962), *Очерки по лингвистике*. Москва.
- Кустова, Г. И. (2001), *Типы производных значений и стратегии семантической деривации (на примере русских глаголов физического действия)*. В: *Russian Linguistics*. 25, 5–71.
- Кустова, Г. И. (2004), *Типы производных значений и механизмы языкового расширения*. Москва.
- Кэтфорд, Дж. К. (1989), *Обучение английскому языку как иностранному*. В: *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. Москва, 366–386.
- Лакофф, Дж. (1980), *Семантические гештальты*. В: Звегинцев, В. А. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. X. Лингвистическая семантика. Москва, 350–368.
- Лахтенмяки, М. (1999), *Перевод и интерпретация: о некоторых предпосылках и мифологемах*. В: *Теоретическая и прикладная лингвистика*. 1. Проблемы философии языка и сопоставительной лингвистики. Воронеж, 32–45.
- Литвин, Ф. А. (2005), *Многозначность слова в языке и речи*. Москва.
- Лосев, А. Ф. (1976), *Проблема символа и реалистическое искусство*. Москва.
- Лосев, А. Ф. (1982), *Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию*. Москва.
- Лосев, А. Ф. (1983), *Языковая структура*. Москва.
- Максапетян, А. Г. (1990), *Каузация. Лингвистические и экстралингвистические аспекты*. Ереван.
- Мечковская, Н. Б. (2001), *«И пространство торчит преискурантом»*. *Число и слово в поэтике Иосифа Бродского*. В: Kikiewicz, A. (ред.), *Quantität und Gradüierung in der natürlichen Sprache*. München, 97–122.
- Новиков, А. Л. (2002), *О контекстуальном смысле слова*. В: *Филологические науки*. 5, 82–88.
- Новиков, А. Л. (2002), *О контекстуальном смысле слова*. В: *Филологические науки*. 5, 82–88.
- Норман, Б. Ю. (1993b), *Между лексикой и синтаксисом (к семантике относительных прилагательных)*. В: *Сборник от научных трудов, посвящен на семидесятилетие профессора Мирослав Янакиев*. София, 98–109.

- Норман, Б. Ю. (1993а), *Апология поверхностного синтаксиса*. В: Russistik. 2, 6–14.
- Норман, Б. Ю. (1995), *Тенденции в развитии качественных наречий в белорусском и других славянских языках*. В: Beiträge zur Slawistik. 2. Aktuelle Entwicklungsprobleme slawischer Sprachen. Greifswald, 108–121.
- Норман, Б. Ю. (1996), *Скорости оставляют позади катера? О логике естественного языка*. В: Русская речь. 6, 24–28.
- Норман, Б. Ю. (1998), *Понимание текста и синтаксическая «предыстория» высказывания*. В: Russian Linguistics. 22, 1–12.
- Павилёнис, Р. И. (1986), *Понимание речи и философия языка*. В: Городецкий, Б. Ю. (ред.), Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. Москва, 380–394.
- Павилёнис, Р. И. (1986), *Понимание речи и философия языка*. В: Городецкий, Б. Ю. (ред.), Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. Москва, 380–394.
- Падучева, Е. В. (1985), *Высказывание и его соотносительность с действительностью (Референциальные аспекты семантики местоимений)*. Москва.
- Падучева, Е. В. (2004), *Динамические модели в семантике лексики*. Москва.
- Перцов, Н. В. (1996), *О некоторых проблемах семантики и компьютерной лингвистики*. В: Московский лингвистический альманах. 1, 9–66.
- Перцов, Н. В. (1998а), *К проблеме инварианта грамматического значения. 1. Глагольное время в русском языке*. В: Вопросы языкознания. 1, 3–26.
- Перцов, Н. В. (1998b), *К проблеме инварианта грамматического значения. 2. Императив в русском языке*. В: Вопросы языкознания. 2, 88–101.
- Перцов, Н. В. (1999), *Заметки об инварианте*. В: Типология и теория языка. От описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. Москва, 412–421.
- Перцов, Н. В. (2000), *О неоднозначности в поэтическом языке*. В: Вопросы языкознания. 3, 55–82.
- Перцов, Н. В. (2001), *Инварианты в русском словоизменении*. Москва.
- Радченко, О. (2004), *Антагонизм универалистского и идиоэтнического в современной философии языка в России и Германии*. В: Kiklewicz, A. (ред.), *Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu. Pogranicza metodologiczne*. Słupsk, 93–104.
- Радченко, О. (2004), *Антагонизм универалистского и идиоэтнического в современной философии языка в России и Германии*. В: Kiklewicz, A. (ред.), *Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu. Pogranicza metodologiczne*. Słupsk, 93–104.
- Ратникова, И. Э. (2003), *Имя собственное: от культурной семантики к языковой*. Минск.
- Ревзин, И. И. (1962), *Модели языка*. Москва.
- Ричардс, А. (1990), *Философия риторики*. В: Арутюнова, Н. Д./Журина, М. А. (ред.), Теория метафоры. Москва, 44–67.
- Ромметвейт, Р. (1972), *Слова, значения и сообщения*. В: Психолингвистика за рубежом. Москва, 53–87.
- Ромметвейт, Р. (1972), *Слова, значения и сообщения*. В: Психолингвистика за рубежом. Москва, 53–87.

- Сепир, Э. (1993), *Избранные труды по языкознанию и культурологии*. Москва.
- Сидоров, Е. В. (1983), *Текст и речь как единство противоположностей*. В: Текст. Высказывание. Слово. Москва, 6–17.
- Симашко, Т. В./Литвинова, М. Н. (1993), *Как образуется метафора (деривационный аспект)*. Пермь.
- Скляревская, Г. Н. (1993), *Метафора в системе языка*. Санкт-Петербург.
- Татаринов, В. А. (1988), *Лексико-семантическое варьирование терминологических единиц и проблемы терминографии*. Москва.
- Татаринов, В. А. (1996), *Теория терминоведения. Т. 1. Теория термина: история и современное состояние*. Москва.
- Татаринов, В. А. (2006), *Общее терминоведение. Энциклопедический словарь*. Москва.
- Урысон, Е. В. (2003), *Проблемы исследования языковой картины мира*. Москва.
- Черемисина, Н. В. (1985), *Стационарные предложения: тенденция к стандарту, типология структур*. В: Исследования по семантике. Уфа, 26–34.
- Шмелев, Д. Н. (1964), *Очерки по семасиологии русского языка*. Москва.
- Шмелев, Д. Н. (1973), *Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка)*. Москва.
- Шмелев, Д. Н. (1977), *Современный русский язык. Лексика*. Москва.
- Auer, P. (1999), *Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand von 22 Klassikern*. Tübingen.
- Awdiejew, A. (1999), *Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej (teoria i zastosowanie)*. W: Awdiejew, A. (red.), *Gramatyka komunikacyjna*. Warszawa — Kraków, 33–68.
- Awdiejew, A. (2004), *Gramatyka interakcji werbalnej*. Kraków.
- Burkart, R. (ред.) (1995), *Kommunikationswissenschaft: Grundlagen und Problemfelder*. Wien etc.
- Chlebda, W. (1991), *Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy*. Opole.
- Dirven, R. (2001), *The Metaphoric in Recent Cognitive Approaches to English Phrasal Verbs*. В: [www.metaphorik.de](http://www.metaphorik.de). I.
- Dönninghaus, S. (2001), *Море людей и пропасть цветов. Метафоры неопределенного количества*. В: Kiklewicz, A. (ред.), *Quantität und Graduierung in der natürlichen Sprache*. München, 61–75.
- Jachnow, H. (1976), *Gibt es eine einheitliche Kasus-kategorie im Russischen?* В: *Anzeiger für Slavische Philologie*. 113–131.
- Kiklewicz, A. (2001), *Znaczenie w języku i tekście. (W poszukiwaniu inwariantów semantycznych)*. В: Nagy L. K. (ред.), *Lenguelek és maguarok Európában. Nyelv, irodalom, kultúra — parhuzamok és kapcsolatok. Tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteére*. Debrecen, 40–55.
- Kiklewicz, A. (2004), *Podstawy składni funkcjonalnej*. Olsztyn.
- Kiklewicz, A. (2005), *Finitywny (teleologiczny) model aspektualności: założenia teoretyczne*. В: *Prace Filologiczne*. L, 59–82.
- Kiklewicz, A. (2006a), *Dyfuzja semantyczna w języku i w tekście I*. В: *LingVaria*. 1, 11–21.
- Kiklewicz, A. (2006b), *Dyfuzja semantyczna w języku i w tekście II*. В: *LingVaria*. 2, 9–20.

- Kiklewicz, A. (2006c), *Modny wyraz — przymiotnik „wirtualny” (w zestawieniu z przymiotnikiem niemieckim „virtuell” oraz rosyjskim „virtual’nyj”)*. B: *Poradnik Językowy*. 1, 14–28.
- Kiklewicz, A. (2007), *Humor i karnawalizacja jako efekt atrakcji metaforycznej*. B: Mazur, J./Rumińska, M. (red.), *Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej*. Lublin, 21–38.
- Martin, W. (1997), *A Frame-based Approach to Polysemy*. B: Cuyckens, H./Zawada, B. (red.), *Polysemy in Cognitive Linguistics*. Amsterdam — Philadelphia, 100–120.
- Schildt, J. (1969), *Gedanken zum Problem Homonymie — Polysemie in synchronischer Sicht*. B: *Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung*. 22/4, 352–359.
- Searle, J. (1979), *Metaphor*. B: Ortony, A. (red.), *Metaphor and Thought*. London — New York — Melbourne, 92–123.
- Szumski, D. (1999), *Niebezpieczne związki, czyli meandry adiektywizacji*. B: Kiklewicz, A. (red.), *Паланістыка — Полоністыка — Polonistyka 1999*. Мінск, 4–28.
- Taylor, J. R. (1989), *Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory*. Oxford.
- Valin, R. D. van/Foley, W. A. (1980), *Role and Reference Grammar*. B: Moravchik, E. (red.), *Syntax and Semantic*. XIII. *Current Approaches to Syntax*. New York, 329–352.
- Zubin, D. (1978), *Discours Function of Morphology*. B: Gibon, T. (red.), *Discours and Syntax*. New York, 469–504.
- Zybatow, L. (1990), *Was die Partikeln bedeuten*. München.
- Żmigrodzki, P. (1995), *Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy*, Katowice.

## ЯЗЫКОВАЯ VS. ТЕКСТОВАЯ КАРТИНА МИРА (на примере текстов рекламы бытовой техники)\*

### 1. Субъект как фактор концептуализации

Как пишет В. З. Демьянков (1994, 21), сущность «когнитивной революции» в языкознании второй половины XX в. заключается в интерпретативном подходе к описанию знаковых систем. По мнению Э. Табаковской, различие между современной когнитивной теорией языка и структурализмом состоит в том, что «язык уже не описывается в категориях условной системы знаков — знаки получают мотивацию, которой не учитывала модель Соссюра» (2001, 30; разрядка моя. — А. К.).

Следует, однако, избегать упрощений. Разумеется, Ф. де Соссюр, Л. Блумфилд, Р. Якобсон, Н. С. Трубецкой и другие основатели структурной лингвистики понимали, что язык функционирует в физической, психической и социальной среде. В третьей главе «Введения» своего знаменитого «Курса общей лингвистики» де Соссюр писал о языкознании как о науке, которая должна изучать «жизнь знаков в рамках жизни общества; такая наука явилась бы частью социальной психологии» (1977, 54). В опубликованных заметках (1990, 50) де Соссюр интерпретировал аналогии в системе языка с точки зрения процессов мышления, трактовал их как обусловленные «ассоциацией выражаемых ими идей». Экспансию процессов аналогии в языке детей основатель структурализма объяснял недостаточно развитым характером их психики, дефицитом необходимых средств символизации и, как результат, их окказиональным появлением в конкретных коммуникативных ситуациях.

Когда Р. Т. Белл (1980, 36) пишет о дуализме языка: с одной стороны, он является высокоорганизованной системой знаков, используемой в обществе в качестве кода коммуникации, а с другой стороны, явно подвержен «капризу идиосинкразии», — мы не открываем здесь принципиально ничего нового, потому что сама идея амбивалентной природы языка не была чужда также структурализму. Новизна социологии

---

\* Первая публикация: *Текстовая картина мира (на материале польской рекламы бытовой техники)*. В: Кіклевіч, А./Важнік, С. (рэд), Паланістыка — Полоністыка — Polonistyka 2006. Мінск 2006, 259–292. Здесь печатается в расширенном варианте.



языка и социолингвистики второй половины XX в. состояла, однако, в том, что полноправным объектом научного описания была признана не только «внутренняя» система языка, но и, как писал в 60-е годы выдающийся американский языковед В. Лабов (1966, 14), его социальное функционирование (*performance*).

Социолингвистика занялась, главным образом, вариативностью плана выражения языковых знаков (Белл 1980, 57сл.). Но в зависимости от ситуации употребления варьируется не только форма, но и содержание знаков, типы концептуализации объектов и событий. Ссылаясь на социологическую теорию языка В. Н. Волошинова, Т. М. Дридзе пишет, что носители языка, создавая и получая тексты, преобразуют содержание языковых знаков, в частности, приносят в их номинативное значение прагматические элементы (1980, 124сл.). Дридзе пишет о «преодолении константных форм языка»: «Роль трактовки индивидом тех или иных общепринятых культурно-исторических значений играет немаловажную роль в ходе общения» (*ibidem*, 126).

Подобно формальной системе языка семантическая система (которая для многих современных лингвистов ассоциируется с «языковой картиной мира» — в дальнейшем — ЯКМ) имеет идиосинкратический характер, т.е. в определенной степени она мотивирована социальным контекстом. В подтверждение сказанного рассмотрим текст:

*Рядовой спрашивает сержанта:*

— *Это правда, что крокодилы летают?*

— *Кто Вам сказал эту глупость?*

— *Полковник Уолкинсон сказал, что летают...*

— *Полковник Вам это лично сказал?*

— *Да.*

— *Вообще-то они летают, но очень низко.*

В этом случае выступают три типа концептуализации одного и того же объекта. Во-первых, рядовой считает, что из того, что сказал полковник, вытекает, что крокодилы летают, другими словами — рядовой допускает, что полковник считает, что крокодилы летают. Во-вторых, рядовой допускает, что крокодилы летают, но сомневается в этом. В-третьих, сержант знает, что крокодилы не летают, но готов согласиться с полковником (социальная конвенция оказывается здесь сильнее «здорового смысла»).

В эпистемической семантике (основанной на модальной и интенциональной логике) логическое значение предложения («правда» или «неправда») определяется с учетом пропозициональных установок субъекта, таких, как *знаю, помню, верю, допускаю, сомневаюсь* и др. Таким образом, истинностное значение предложения

*Крокодилы летают*

можно определить с учетом следующих пропозициональных установок:

*Правда,  
что рядовой считает,  
что полковник считает,  
что КРОКОДИЛЫ ЛЕТАЮТ.*

*Правда,  
что рядовой сомневается,  
что КРОКОДИЛЫ ЛЕТАЮТ.*

*Правда,  
что сержант не считает,  
что КРОКОДИЛЫ ЛЕТАЮТ.*

*Правда,  
что сержант готов согласиться с полковником,  
что КРОКОДИЛЫ ЛЕТАЮТ.*

Это означает, что в семантических экспликациях не могут быть игнорированы социальные и коммуникативные параметры языковых единиц, в частности, один из наиболее важных параметров — говорящий субъект. На это, в частности, указывают приводимые ниже юмористические афоризмы. Необычная концептуализация домены [МУЖЧИНА] объясняется тем, что субъектом концептуализации (а также коммуникативным субъектом) являются активистки феминистического движения в Германии (источник: [www.zeckennase.de/witze/manto.htm](http://www.zeckennase.de/witze/manto.htm)):

— *Was ist der unsensibelste Teil am Penis? — Der Mann* (Какая часть пениса является наименее чувствительной? — Мужчина).

*Die Idealmasse eines Mannes: 90 — 30 — 90 ... — Linkes Bein — mittleres Bein — rechtes Bein* (Идеальные размеры мужчины: 90 — 30 — 90, т.е. левая нога, средняя нога, правая нога).

*Woran erkennt man, dass ein Mann sexuell erregt ist? — Er atmet!* (Каковы симптомы того, что мужчина сексуально возбужден? — Он начинает дышать).

*Warum haben Männer ein Gen mehr als ein Pferd? — Damit sie samstags beim Autowaschen nicht aus dem Eimer saufen!* (Почему у мужчин на один ген больше, чем у лошадей? — Чтобы на автозаправке они не пили из ведра).

*Warum mögen Männer Blondinenwitze? — Weil sie diese verstehen.* (Почему мужчины рассказывают анекдоты о блондинках? — Потому что других они не понимают).

*Was ist der Unterschied zwischen Chappi und einem Mann? — In Chappi ist mehr Hirn* (Какая разница между «Чанпи» и женщиной? — В «Чанпи» больше мозга).

Для всех приведенных здесь выражений характерна негативная оценка лиц мужского пола, в особенности — их интеллектуальных способностей. Разумеется, нет оснований обобщать эту аксиологическую семантику, например, как фрагмент немецкой ЯКМ, потому что речь идет о конкретной выборке текстов, культивируемых в рамках конкретной субкультуры (движения феминисток в Западной Европе) и принадлежащих к конкретному — развлекательному — жанру. Это подтверждает справедливость слов Т. М. Дридзе:

Все предметы человеческой деятельности, как и все слова человеческого языка, видятся каждому из нас как бы через призму нашего «личного» (а не общественного) интереса (1980, 170).

В связи со сказанным уместно привести утверждение основателя прагматического функционализма, выдающегося американского психолога В. Джемса:

Реальность остается явлением совершенно безразличным по отношению к тем целям, которые мы с ней связываем. Ее наиболее обыденное житейское назначение, ее наиболее привычное для нас название и ее свойства, ассоциировавшиеся с последним в нашем уме, не представляют в сущности ничего неприкосновенного. Они более характеризуют *нас*, чем саму вещь (1981, 15).

Подобную апологию субъективизма можно найти также в работах известного представителя мистицизма начала XX века, русского философа П. Д. Успенского:

Путем рассуждения мы можем установить, что в действительности мы знаем только свои собственные ощущения, представления и понятия — и мир объективного познаем, проектируя вне себя причины своих ощущений, которые мы у них предполагаем [...] Мы определяем вещи и явления объективного мира путем сравнения между собою; и мы думаем, что находим законы их существования помимо нас и нашего познания их. Но это иллюзия. О вещах отдельно от нас мы ничего не знаем (1990, 3).

В соответствии с когнитивной теорией профилирования концептуализация инвариантной референциальной ситуации (т.е. «конструирование сцены», в терминологии когнитивистов) зависит от коммуникативных установок субъектов, а также от структуры коммуникативной ситуации, например, от пространственной локализации отправителя и получателя информации. Ср. два польские предложения (пример из работы: Tabakowska 2001, 64):

*Jutro wylatuję do Paryża* ‘Завтра я вылетаю в Париж’.

*Jutro przylatuję do Paryża* ‘Завтра я прилетаю в Париж’.

В первом случае предложение наиболее уместно в коммуникативном контексте, когда адресат не находится в Париже — например, говорящий обращается к собеседнику в Варшаве, сообщая ему, что завтра вылетает в Париж:

*Завтра я вылетаю в Париж — прошу отвезти меня в аэропорт.*

Такое высказывание — в данной коммуникативной ситуации — более предпочтительно, чем высказывание

*Завтра я прилетаю в Париж — прошу отвезти меня в аэропорт.*

Предложение

*Завтра я прилетаю в Париж*

было бы более уместно в ситуации, когда адресат находится в Париже и говорящий сообщает ему эту информацию по телефону — как элемент просьбы:

*Завтра я прилетаю в Париж — встретишь меня в аэропорту?*

## 2. Параметризация ЯКМ

Учитывая изменчивый характер концептуализации мира — как в диахроническом, так и синхроническом аспектах, А. Д. Шмелев (2002, 12сл.) отрицательно высказывается по поводу использования в исследованиях ЯКМ прямых (ассертивных) манифестаций точек зрения, типа известного афоризма (автором которого является Ф. И. Тютчев):

*Умом Россию не понять*

Описание ЯКМ, как считает Шмелев, должно опираться на семантическую информацию, которая удовлетворяет двум условиям:

1. имеет фреквентивный и воспроизводимый характер — другими словами, речь идет о ключевых понятиях культуры (см. Красных 2003, 170ссл.)
2. имеет неассертивный характер; в подобном духе польский лингвист А. Авдеев (1999, 47) пишет о «семантических стандартах», которые не культивируются в «нормальных» коммуникативных условиях, т.е. в разговорной речи

Как пишет Шмелев,

особенно показательны нетривиальные семантические конфигурации, достаточно частотные в бытовом дискурсе [...] и относящиеся к неассертивным компонентам высказывания. Важно не то, что утверждают носители языка, а то, что они считают само собой разумеющимся, не видя необходимости специально останавливать на этом внимание (*ibidem*, 13).

Здесь, однако, возникает некоторое противоречие: с одной стороны, при моделировании ЯКМ нельзя опираться на идиосинкратические, т.е. изменчивые ассертивные смыслы, но, с другой стороны, неассертивные значения, например, закодированные в содержании грамматических категорий или во внутренней форме фразеологизмов, не всегда имеют статус актуальной когнитивной семантики, реально передаваемой в процессах информационного обмена. Проблема, таким образом, заключается в том, чтобы в рамках теории ЯКМ изучать явления, которые, с одной стороны, имели бы конвенциональный характер (т.е. статус семантических стандартов, по А. Авдееву), а с другой стороны, представляли бы реально транслируемую в дискурсах семантическую информацию.

Именно на второй аспект проблемы обращает внимание Анна А. Зализняк. Разграничивая информацию, закодированную в самом языке, и информацию, передаваемую с помощью других объектов, прежде всего — текстов, исследовательница пишет:

Языковую картину мира образуют [...] лишь те смыслы, которые входят в значения языковых единиц; если же между собственно лингвистическими и прочими данными обнаруживаются какие-то систематические расхождения, то это, очевидно, является лишь подтверждением правильности полученных результатов (2003, 85).

Следует, однако, помнить, что, во-первых, семантическая система языка также изменчива — как во времени, так и в пространстве. Во-вторых, информация, закодированная в системе языка, неизбежно взаимодействует с информацией, закодированной в содержании других объектов — в этом заключается сущность принципа конфигурации современной когнитивной лингвистики. Поэтому можно сомневаться, существует ли вообще «чистая» языковая семантика, не содержащая разного рода культурных и коммуникативно-прагматических «добавок» (в терминологии А. Авдеева — *naddane sensu*, т.е. добавленные смыслы).

Когнитивисты, к сожалению, обычно игнорируют тот факт, что существительное *картина* (а в особенности это становится очевидным, если заменить его синонимом *образ*) является (если воспользоваться

терминологией математической логики) номинализированным предикатом высокого порядка. В польском языке кроме существительного *obraz* имеется также производный от него глагол *obrazować*:

*Zestawienie wyników badań od 1949 r. obrazuje coroczne zmiany składowych bilansu i reszty bilansowej* = ‘Данные, полученные в результате сравнения исследований, отображают/представляют то, как ежегодно изменялся баланс’.

Пропозициональную структуру, основанную на предикате *картина* (= *отображать*), можно представить следующим образом:

КАРТИНА = ОТОБРАЖАТЬ ( $Q(x...), S$ )

Формула означает: ‘То, что некто ( $x$ ) совершает действие  $Q$ , отображает/представляет некоторую ситуацию  $S...$ ’. Наиболее важным элементом данной семантической экспликации в рассматриваемом здесь аспекте является *некто* ( $x$ ) — субъект концептуализации. Именно он определяет характер признаков, приписываемых объектам, действиям, состояниям, процессам, свойствам и событиям. Поэтому альтернативной по отношению к теории «языковой картины мира» можно считать идею «субъязыковых картин мира», т.е. закодированных в формах этнического языка социально и культурно маркированных подсистем концептуализации мира.

Сторонником второго подхода является основатель и лидер польской этнолингвистической школы Е. Бартминский. По его мнению, исследования ЯКМ должны опираться на разные фактические источники (1998, 66):

1. систему языка
2. анкетирование
3. языковые тексты
4. языковую интуицию

Недостатком этого подхода, с нашей точки зрения, является то, что в результате использования разных источников могут быть получены несовместимые и даже принципиально противоречивые данные. Например, с интуитивной точки зрения *чай* является для поляков более ключевым понятием, чем *кофе* — на это указывают и статистические данные: поляки покупают и употребляют больше чая, чем кофе. Однако существительное *kawa* ‘кофе’ в польских текстах употребляется в два раза чаще, чем существительное *herbata* ‘чай’ (в английских текстах частотность лексемы *coffee*, напротив, на 25% меньше, чем частотность лексемы *tea*). Объясняется это тем, что в польской культуре именно кофе является символом встречи, приятной беседы, перерыва в работе.

Бартминский, кроме того, подчеркивает социально и культурно маркированный характер ЯКМ, а также стереотипа как его основной единицы. Стереотип понимается, как субъективно детерминированное представление человека или социальной группы, в котором находят отражение объективные (описательные) и оценочные признаки как результат интерпретации действительности в рамках социально релевантных познавательных моделей (*ibidem*, 64). Понятие ЯКМ у Бартминского, таким образом, имеет конкретно-субъектный характер — его интересует прежде всего мотивированный общественной практикой и закодированный в формах языка образ мира «простого человека». Поэтому издаваемый под редакцией Бартминского словарь называется: «*Słownik ludowych stereotypów językowych*» («Словарь народных языковых стереотипов»).

Моделируемая лингвистами ЯКМ, следовательно, должна опираться либо на социально релевантные лексические, конвенциональные значения («суппозиции»), либо на социально релевантные, идиосинкратические коннотации (т.е. такие, которые характерны для определенных типов дискурсов).

### 3. Когнитивная лингвистика без когнитивной психологии

К сожалению, многие современные исследователи ЯКМ игнорируют критерий социальной релевантности стереотипов концептуализации. Так, польская исследовательница А. Миколайчук (*Mikołajczuk* 2000, 91 ссл.) исследует «скрытую фразеологию», которая, с ее точки зрения, является причиной трудностей в процессе изучения иностранного языка. Приводя выражения:

*ktoś wpadł w szal / apatię / panikę / rozpacz / uniesienie / zachwyt / zadumę* ‘кто-то впал в отчаяние и т.д.’

*litość / przerażenie / rozpacz / radość / wstyd ogarnia kogoś* ‘кого-то охватывает радость и т.д.’

*gniew / strach / miłość budzi się / rośnie / rozwija się / narasta* ‘растет страх и т.д.’

исследовательница пишет, что «скрытая фразеология» указывает на регулярности восприятия мира, особенно эмоций — как сил, доминирующих над человеком. При этом, однако, не учитывается ни критерий психической актуальности названных «когниций» (действительно ли они присутствуют в познавательной системе современных носителей польского языка); ни то, что «регулярности восприятия мира» выводятся из внутренней формы знаков, которая имеет исторический характер; ни то, что приводимые выражения имеют вполне определенные прагматиче-

ские, а именно — стилистические характеристики — принадлежат, скорее, к сфере книжной речи; ни то, что подобное моделирование «картины мира» на основании языковых фактов приводит к неоднозначности, потому что один и тот же концепт во фразеологии представлен разными способами, ср. в польском языке:

*czерpać radość z najprostszycн zdarzeń* ‘черпать радость из простых событий’ — понятийная метафора РАДОСТЬ — ЭТО ЖИДКОСТЬ

*szalona radość* ‘сумасшедшая радость’ — понятийная метафора РАДОСТЬ — ЭТО ЧЕЛОВЕК

*wybuch radości* ‘взрыв радости’ — понятийная метафора РАДОСТЬ — ЭТО ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО

*przepelniony radością* ‘полный радости’ — понятийная метафора РАДОСТЬ — ЭТО СУБСТАНЦИЯ/ВЕЩЕСТВО ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА

*rozpierała mnie radość* ‘меня распирала радость’ — понятийная метафора РАДОСТЬ — ЭТО СИЛА ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА

*zaowocował radością* ‘дал плоды радости’ — понятийная метафора РАДОСТЬ — ЭТО ПЛОД

*przynosić radość* ‘приносить радость’ — понятийная метафора РАДОСТЬ — ЭТО ВЕЩЬ

Таким образом, понятие радости с «когнитивной» точки зрения оказывается неопределенным. Закономерен вопрос: какова практическая ценность такого типа концептуализации, тем более что в теории понятийных метафор принят постулат потребности (*necessity hypothesis*), который означает: объяснительная функция метафор наиболее отчетлива при номинации абстрактных концептуальных областей, теоретических конструкторов и метафизических понятий, которые не поддаются прямому чувственному восприятию (Jäkel 1997; 1998; 2002). Можно сомневаться в том, что образные концептуализации типа

*радость* = ‘нечто похожее на жидкость, или на человека, или на взрывчатое вещество, или на субстанцию, или силу внутри человека, или на плод, или на вещь’

сколько-нибудь полезны практически или теоретически, а тем более сомневаться, что такого рода концептуальная информация составляет базу познавательной системы человека.

Принципы когнитивной лингвистики к проблемам лингводидактики применяет также Э. Вежбицкая. Вводя «принцип трехклассовости языка», исследовательница пишет, что в каждом этническом языке, кроме лексики и грамматики, следует выделять третий уровень — ЯКМ (2000, 163). Обратим, однако, внимание на то, что если лексика и грамматика представляют собой уровни билатеральных единиц языка, то уровень ЯКМ не представлен никакими специальными «единицами концептуа-



лизации», а значит, и не является самостоятельным уровнем языковой системы. Ошибка становится очевидной на с. 166 обсуждаемой статьи, где Вежбицкая фактически ставит знак равенства между ЯКМ и лексической семантикой языка, а именно — системой номинации и системой лексической сочетаемости. Приводя характерные для современного польского языка предложно-падежные сочетания типа

*Nie siedź długo na słońcu* ‘Не сиди долго на солнце’.

*Jurek jest nad morzem* ‘Юрек находится на море’, букв.: ‘Юрек находится над морем’.

*Turyści wchodzi pod górę* ‘Туристы входят под гору’.

*Goście siedzą za stołem* ‘Гости сидят за столом’.

Вежбицкая подчеркивает, что алогичный характер подобных выражений обусловлен особенностями польской ЯКМ. Исследовательница, таким образом, отождествляет ЯКМ (как семантическую категорию) с лексической сочетаемостью, в частности, идиоматикой (как системой форм). Такой подход следует признать ошибочным, потому что языковая идиоматика в значительной степени основана на архаических представлениях о мире и с точки зрения современной культуры многих фактов лексической сочетаемости объяснить нельзя (как и наоборот), ср. хрестоматийный пример:

*Słońce wschodzi.*

В польском языке *Garnitur leży* ‘костюм лежит’, в русском — *Костюм сидит*, а в немецком — *Anzug steht gut* ‘костюм стоит’. Вежбицкая убеждена, что в подобных случаях нельзя ограничиться только констатацией формальных различий — лексических и синтаксических, потому что их причина, по ее мнению, кроется в сознании носителей языка (*ibidem*, 166). При этом, однако, не приводятся никакие доказательства в пользу того, что данные формальные, дистрибутивные различия отражаются также в различиях семантических систем трех языков.

Хотя программным тезисом когнитивной лингвистики является утверждение о мотивационной природе языка (Tabakowska 2001, 30; см. выше), однако в практике единственным критерием когнитивных экспликаций является лексическая сочетаемость (характерный пример — работа Karaś 2003). При этом обычно когнитивисты не пользуются ни методами когнитивной психологии, ни методами психолингвистики — и в этом нет ничего удивительного, ведь большинство «когнитивистов» ни имеют ни специального психологического образования, ни опыта проведения психологических, в частности, экспериментальных исследований.

Исследовательские принципы когнитивной лингвистики во многом противоположны принципам психолингвистики, которая занималась преимущественно психологической верификацией лингвистических гипотез, а именно (как было принято это определять в 60-е и 70-е годы XX в.) — проверкой их психолингвистической реальности. При этом для решения лингвистических задач использовались методы психологии, в особенности — метод эксперимента. Когнитивная лингвистика, напротив, чуждается каких-либо экспериментальных исследований, при том, что экспериментальные психолингвистические исследования не подтверждают однозначно постулатов когнитивизма (ср. Gibbs/Mattlock 1997).

Теория ЯКМ — вопреки методологической антиструктуралистской основе — широко использует метод дистрибутивного анализа, введенный в первой половине XX в. американскими дескриптивистами (речь идет о семантической, шире — парадигматической, классификации лингвистических объектов на основании их сочетаемости, т.е. их «поведения»). Поэтому можно согласиться с А. Т. Кривоносовым, который определяет когнитивную лингвистику как теорию «лингвистической абсолютности» (2001, 273).

#### 4. ЯКМ — диахронический аспект

Более адекватная когнитивная концепция языка должна учитывать социально изменчивый характер кодирования лингвистической информации. В частности, необходимо разграничивать два понятия:

1. ЯКМ — основана на системе конвенциональных лексических (ассертивных) значений; ср. утверждение А. Н. Рудякова (2004, 159): «Элементарной составной частью языковой картины мира является *сема*»
2. текстовая картина мира (ТКМ) — основана на закодированной в форме и структуре языковых знаков ассертивной информации, а также на пресуппозициях и коннотациях (импликациях) языковых значений в дискурсах; пресуппозиции, а особенно — коннотации выводятся из регулярно репродуцируемых в рамках данной субкультуры коллокаций, т.е. устойчивых сочетаний языковых форм

В первом случае необходимо обратить внимание на то, что понятие ЯКМ связано с историческим временем: каждая система знаний, отраженная в языке, непосредственно вытекает из характерных для данного исторического периода представлений о мире, а также представлений о представлениях о мире — в этом смысле сам термин «языковая картина

мира» является неудачным — слишком узким. Картины мира диахронически изменчивы, поэтому польская исследованица Р. Гжегорчикова (1999, 44) подчеркивает, что при описании ЯКМ следует исключить факты, которые носят этимологический характер, например, содержание многих грамматических категорий, которое не отражает современного мышления (так, в польском языке категория мужского лица существительных делит весь мира на «мужчин» и «все остальное») (см. также: Jędrzejko 2000; Рахилина 1998, 296).

Архаические познавательные модели отражены не только в грамматических категориях, но и во внутренней форме многих лексем и фразеологических сочетаний типа

*Ивана охватил страх*

Поэтому нельзя согласиться с панхронической позицией исследователей, которые на основании подобного рода идиоматики строят гипотезы о ЯКМ, игнорируя факт, что идиоматика отражает прежде всего архаическое, в терминологии Э. Кассирера, мифологическое мышление, которое предшествует более развитой форме мышления — логической (см.: Лурия 1998, 14сл.). Насколько далеки могут быть традиционные (основанные на языковой идиоматике и на прецедентных текстах) представления о данной культуре от живой действительности, замечательно представляет фрагмент из книги А. Гениса «Культурология — раз!»:

*Ближе всех в Японии я сошелся с переводчиком Сагияки-Сан, который просил меня называть его Семой... Он пригласил меня в свой любимый ресторан «Волга», где мы ножом и вилкой ели борщ и искали общий язык.*

— Вы не знаете, — льстиво завязывал я беседе, — как пройти на Фудзияму?

— Понятия не имею.

— А сумо? Вы любите сумо, как я?

— Ненавижу.

— Может быть, театр? Что вам дороже — Но или Кабуки?

— Ансамбль Моисеева.

— Тогда природа: сакура, бонзай, икебана?

*Сагияки-сан выпил sake, закусил гречкой и ласково спросил:*

— Часто водите хоровод? Давно перечитывали «Задонщину»? Играете в городки? Сын ваш — Еруслан? Жена — Прасковья? Сами вы — псковский?

— Рязанский, — сказал я, приосанясь, но добавить к этому было нечего, и мы перешли на водку.

Подобно тому, как в культурах меняются научные, общественно-политические, художественные и др. стили мышления (или парадигмы), меняется и семантическая система языка, т.е. закодированные в языковых формах результаты познавательной деятельности людей. Поэтому по-

добно тому, как современный японец не знает, как пройти на Фудзияму, а современный русский не читает «Задонщину», современный поляк не делит мир на «мужчин» и «все остальное», несмотря на грамматическую категорию лица существительных в современном польском языке, вовсе необязательно считает, что *Z babą to i diabeł nie wygra* ‘У бабы и черт не выиграет’, а также необязательно осознает, что МЫСЛЬ — ЭТО ВЕЩЬ, хотя и использует в своей речи вербально-номинальную идиоматическую конструкцию *wyciągnąć wniosek* ‘сделать вывод’. Каждая ЯКМ должна быть соотнесена с определенным историческим контекстом, а теория ЯКМ должна быть дисциплиной диахронической.

Характерным примером игнорирования диахронического подхода являются доклады на научной конференции «Фразеология и языковые картины мира на переломе столетий», организованной Опольским университетом (Польша) в сентябре 2005 года. Для большинства авторов источником материала послужили фразеологические или паремиологические словари, хотя прагматический аспект — как функционируют идиомы и поговорки в речевой коммуникации и какие смыслы они передают — остался за кадром. Исследователи не отдают себе отчета в том, что в случае пословиц и поговорок нередко на первом плане находится не семантический (идеационный, в терминологии М. А. К. Хэллiday), а прагматический аспект их содержания, в частности, их коммуникативная функция — это именно тот случай, когда, по мнению Л. Витгенштейна, существенно не значение, а употребление знаков. Например, Г. Римша пишет о подобном серийном, асемантическом употреблении в русской прессе 80-х и 90-х годов XX в. библейских выражений:

*Сколько камней разбросано по нашей грешной земле? Разве сосчитаешь? Да и зачем? Не считать их надо, а собирать. Не верите? Откройте любую газету минувшего года на выбор. Например, «Советскую культуру» за 22 июня 1989 г. Видите крупный заголовок — «время собирать камни...»? То-то же! Или вот: «Правда» за 21 июля. Не забывайте: «время собирать камни...» Да что там газеты! Уже и искусство подключилось — дело-то большое, всенародное. 26 сентября по 1-й программе ЦТ прошел фильм-концерт. А называется он... Ну конечно, «...И время собирать камни...» [...] Только что посмотрела 10-й номер журнала «Нева» за 1999 год. Приятно было узнать, что и это солидное издание не осталось в стороне от важного союзного мероприятия (см. статью В. Попова «время собирать камни...», стр. 156). Кто следующий? («Литературная газета». 24.1.1990).*

Большинство пословиц и поговорок — это окаменевшие продукты речевой деятельности, которые находятся на периферии языковой системы и редко появляются в коммуникации — это своего рода коммуника-

тивны́е реликты. Например, из двух компьютерных корпусов современного русского языка:

1. <http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/korpora.html>

2. <http://corpora.yandex.ru/index.html>

я эксцерпировал употребления русской пословицы

*Баба с возу — коням легче.*

Оказалось, что общее количество употреблений этой пословицы не превышает... десяти. Значит, данную пословицу нельзя отнести к числу прецедентных текстов — она не удовлетворяет критерию фреквентивности, нельзя ее использовать и как источник материала при описании русской ЯКМ. Поэтому когда Анна А. Зализняк совершенно справедливо пишет, что ЯКМ должна базироваться на системе ключевых концептов (2003, 86) (следовало бы добавить — актуальных в конкретном историческом срезе), то исследовательница подчеркивает, что материал фразеологии и паремиологии является второстепенным и может быть привлечен только в качестве дополнительного.

## 5. Текстовая картина мира (ТКМ)

Поскольку в разных типах деятельности человека используются разные subsystemы знаний, существуют и разные семантические subsystemы этнического языка. В связи с этим уместно привести слова Е. Д. Поливанова:

[...] Нужно изучать не язык как трудовую деятельность, а язык трудовой деятельности [...] потому что таковым в сущности и является язык [...] Выучка языка, изучение данной трудовой деятельности ставится в ряд таких процессов, как письмо, сигнализация, радиотелеграфия и т.д. С этой точки зрения ее нужно изучать. Вот, по-моему самое важное для объяснения языковой эволюции (1991, 541сл.).

Интерпретируя слова великого русского лингвиста с когнитивной точки зрения, можно утверждать, что следует изучать не язык как концептуализацию (ведь в языке лишь отражаются результаты восприятия мира и познавательной деятельности людей), а язык в процессах концептуализации, т.е. разные типы кодирования информации с помощью языковых знаков в зависимости от социальной среды и контекста деятельности.

Понятие ТКМ опирается на ассертивные, а также неассертивные (пресуппозитивные и коннотативные) смыслы, реализуемые в конкретной социально-культурной сфере, в частности, в конкретном тексте.

Так, для прозы А. Платонова характерны сочинительные конструкции, в которых синтаксической связью объединены слова разных семантических групп. Такого рода коллокации позволяют судить о том, что мир абстрактных понятий в ТКМ прозы Платонова является размытым — нет четких границ между эмоциями, психическими процессами, физиологическими состояниями и физическими действиями, ср.:

*На вид майору можно было дать и пятьдесят лет, и тридцать пять: его могли утомить долгие годы труда, тревоги и ответственности.*

В приведенном предложении понятия разных категорий:

*труд* [физическая деятельность]

*тревога* [психическое состояние]

*ответственность* [общественное отношение]

помещены в один фрейм, который, вероятно, нельзя определить иначе как перечислением отдельных субкатегорий. Примеров такого типа в прозе Платонова множество:

*— Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа, — с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.*

*Одoleвая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, не зависящую ни от злодея, ни от случайности.*

*Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно сбавывало текущую кровь и жизненное чувство.*

*Они ослабели в бегстве и болезни.*

Важным источником информации при экспликации ТКМ являются метафорические конструкции, которые можно интерпретировать с точки зрения теории понятийных метафор. Понятийные метафоры — это особого рода коннотации метафорических выражений. Например, у Платонова читаем:

*Запивала чаем потерю своих сил.*

В позиции прямого объекта при глаголе *запивать* находится абстрактное существительное, что является нарушением селективных свойств данного глагола — это и создает в предложении метафорический эффект. Языковая метафора становится базой абдуктивного силлогизма (Киклевич 2005, 8):

*Обычно чаем запивают какую-либо пищу*

*Х запивала чаем потерю своих сил*

---

*ПОТЕРЯ СИЛ — ЭТО ПИЩА*

*ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ПИЩА*

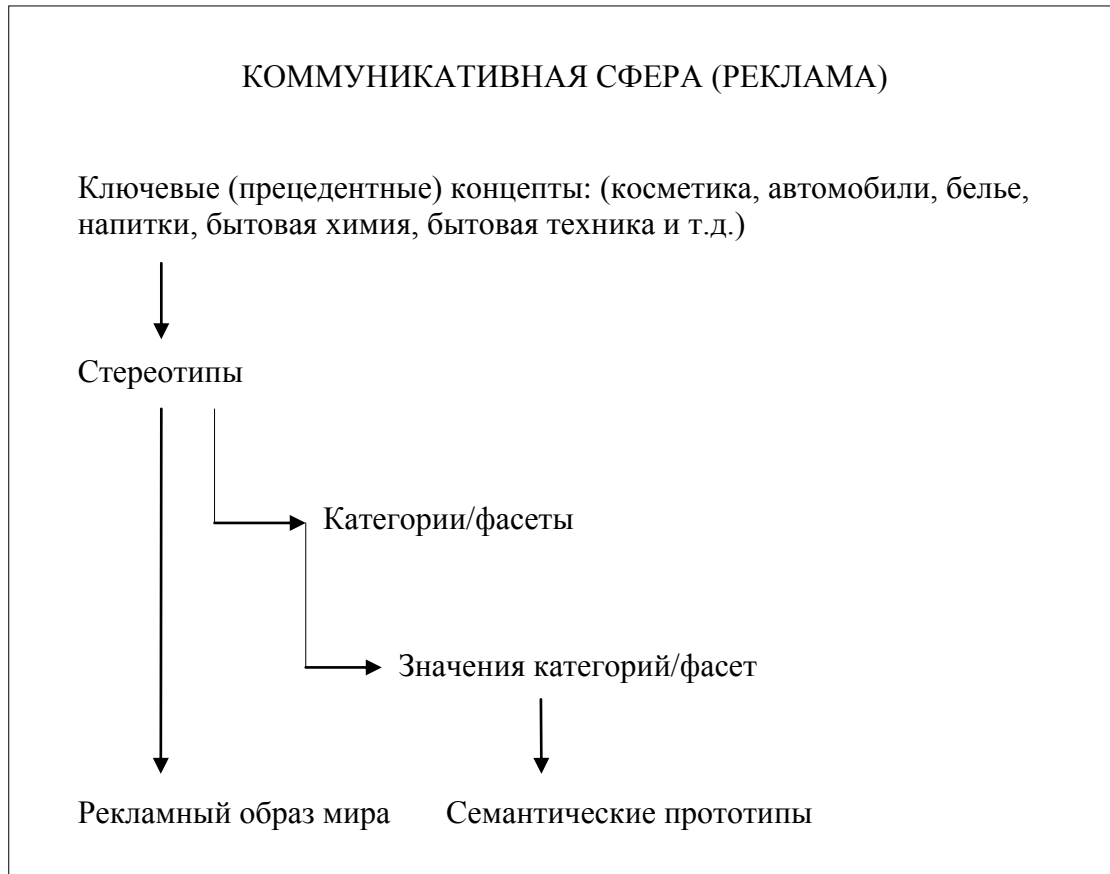
## **6. Бытовая техника в рекламе**

В литературе исследуются разные типы ТКМ, ср. краткий пречень польских публикаций: Bugajski/Wojciechowska 1996; Filar 2000; Lizak 2001; Świąćicka 2005; Wojciechowska 2000; Zimny 2001 и др. В данной работе внимание будет сосредоточено на польских текстах рекламы бытовой техники. Схема описания ТКМ рекламы представлена на рис. 1. Исследование включает несколько этапов.

1. Определение коммуникативной сферы; ср. такие коммуникативные сферы, как педагогика, наука, политика, журналистика, реклама и т.д. Отдельным коммуникативным сферам соответствуют не только функциональные стили (подсистемы языковых форм), но и определенные типы концептуализации мира.

2. Определение реестра ключевых (прецедентных) понятий и знаков, которые, во-первых, известны большинству носителей данной (суб)культуры; во-вторых, передаются на уровне актуальной информации (т.е. не относятся к плану внутренней формы знаков); в-третьих, представляют собой фреквентивную норму для данного общества, т.е. регулярно воспроизводятся в коммуникативной деятельности.

Рис. 1. Схема описания ТКМ



3. Определение стереотипов — регулярно воспроизводимых в речевой коммуникации характеристик объектов, действий, состояний, процессов и событий. Стереотипы описываются на двух уровнях: а) на уровне категорий (или фасет), таких, как цена, производитель, качество, размеры, эргономические свойства и т.д.; б) на уровне значений фасет, например, таких, как цена — низкая, качество — высокое, сырье — натуральное и т.д.

4. Стереотипные характеристики подмножества ключевых концептов составляют ТКМ. В нее входят также семантические прототипы, которые определяются на основании наиболее регулярных категорий и их наиболее регулярных значений.

Например, по данным К. Козляк (Kozlak 2003, 90ссл.), в польских текстах, рекламирующих мобильные телефоны, основное внимание уделяется не техническим данным, а психическим эффектам, которые ожидаются в связи с использованием рекламируемого продукта. В первую очередь речь идет о таких состояниях потенциального пользователя, как



радость/удовольствие — 91,2% текстов, удовлетворение — 50%, чувство свободы и независимости — 50%, чувство комфорта — 41,2%. Таким образом, можно констатировать, что в рекламной ТКМ мобильные телефоны представлены с функциональной, а не с технической, материальной точки зрения — реклама отражает эмоциональный, гедонистический и аксиологический аспекты их функционирования.

Эти результаты частично совпадают с результатами когнитивно-семантического исследования рекламы бытовой техники, которое я провел совместно с М. Монтевской. Объектом исследования были польские рекламные тексты (общее число — 50 единиц), в которых рекламировались такие товары, как холодильник, утюг, посудомоющая машина, стиральная машина, кухонная плита, кухонный робот, пылесос, сушилка, фритюрница, гриль, миксер, хлебная печь, вентилятор, электробритва и др. Каждый рекламный текст был проанализирован в соответствии с представленной выше инструкцией, в результате чего была создана база данных исследования. Ср. в качестве примера одну из таблиц нашей базы данных.

Таблица 1. Когнитивно-семантическая карта рекламного текста

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Источник (рекламный текст):<br><i>Dzięki zastosowaniu elektronicznego sterowania nowa pralka Aquamatic osiąga najwyższe klasy: klasę A za skuteczność prania i klasę A za oszczędność energii. Tym samym gwarantuje niskie koszty użytkowania oraz ochronę środowiska naturalnego</i> ‘Благодаря применению электрического управления новая стиральная машина «Акваматик» относится к наивысшей категории А — за эффективность стирки, а также к категории А — за экономию энергии. Таким образом, она гарантирует низкую стоимость эксплуатации и защиту окружающей среды’ |                                   |  |
| Название объекта: <i>стиральные машины фирмы «Candy»</i>  |                                   |  |
| КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ  |                                   | ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ  |
| КАТЕГОРИЯ   | ЗНАЧЕНИЕ                          |  |
| Качество  | высокое                           | <i>...najwyższe klasy: klasę A za skuteczność prania</i>                       |
| Экологичность   | высокая (защита окружающей среды) | <i>...ochronę środowiska naturalnego</i>                                       |
| Стоимость эксплуатации  | низкая                            | <i>...klasę A za oszczędność energii; gwarantuje niskie koszty użytkowania</i> |
| Способ эксплуатации   | электрическое управление          | <i>...elektronicznego sterowania</i>   |
| Категория   | А                                 | <i>...najwyższe klasy: klasę A</i>   |
| Версия  | новая                             | <i>...nowa pralka Aquamatic</i>  |

Поскольку в рекламных текстах используются (актуализируются) разные семантические категории (аспекты) рассматриваемых объектов — мы выделили 24 таких категории — то следующим этапом исследования является определение степени их регулярности в дискурсах данного типа. Сопоставление семантических категорий, содержащихся в нашей базе данных, с количественной точки зрения дало следующий результат — см. таблицу 2 (величина в процентах означает долю текстов, в которых культивируется данная семантическая категория).

Таблица 2. Фреквентивная иерархия семантических категорий

| СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ               | %  |
|---------------------------------------|----|
| 1. Производитель                      | 62 |
| 2. Эргономические свойства            | 54 |
| 3. Качество                           | 50 |
| 4. Версия                             | 48 |
| 5. Стоимость эксплуатации             | 28 |
| 6. Функции                            | 26 |
| 7. Практическая польза                | 26 |
| 8. Эмоциональный эффект использования | 24 |
| 9. Получаемый продукт                 | 20 |
| 10. Составные части                   | 18 |
| 11. Потребитель                       | 18 |
| 12. Место нахождения                  | 16 |
| 13. Общая оценка получаемого продукта | 16 |
| 14. Экологичность                     | 14 |
| 15. Скорость действия                 | 14 |
| 16. Технология                        | 14 |
| 17. Категория                         | 12 |
| 18. Установка производителя           | 12 |
| 19. Способ работы                     | 12 |
| 20. Ассортимент                       | 10 |
| 21. Оценка внешней формы              | 10 |
| 22. Цена                              | 8  |
| 23. Материал                          | 8  |
| 24. Опыт производителя                | 4  |

Данные показывают, что наиболее часто употребляются четыре категории: [производитель], [эргономические свойства], [качество] и [версия]. Можно полагать, что на них базируются четыре модели семантического воздействия на адресата.

Модель I: Профилирование производителя товара. В большинстве рекламных текстов указан производитель товара: *Tefal* — 19%, *Whirlpool* — 13%, *Ariston* — 10%, *BEKO* — 10%, *Moulinex* — 10%, *Siemens* — 10%, *Electrolux* — 6,5%, *Philips* — 6,5%, *Zanussi* — 6%, *Ardo* — 3%, *Gorenje* — 3%, *Panasonic* — 3%. Рекламодатель рассчитывает на то, что название известной фирмы (или известной марки) функционирует в массовом сознании как своего рода символ высокой репутации и высокого качества, а значит, можно рассчитывать на то, что при восприятии текста будет действовать известный принцип массовой коммуникации — принцип заражения.

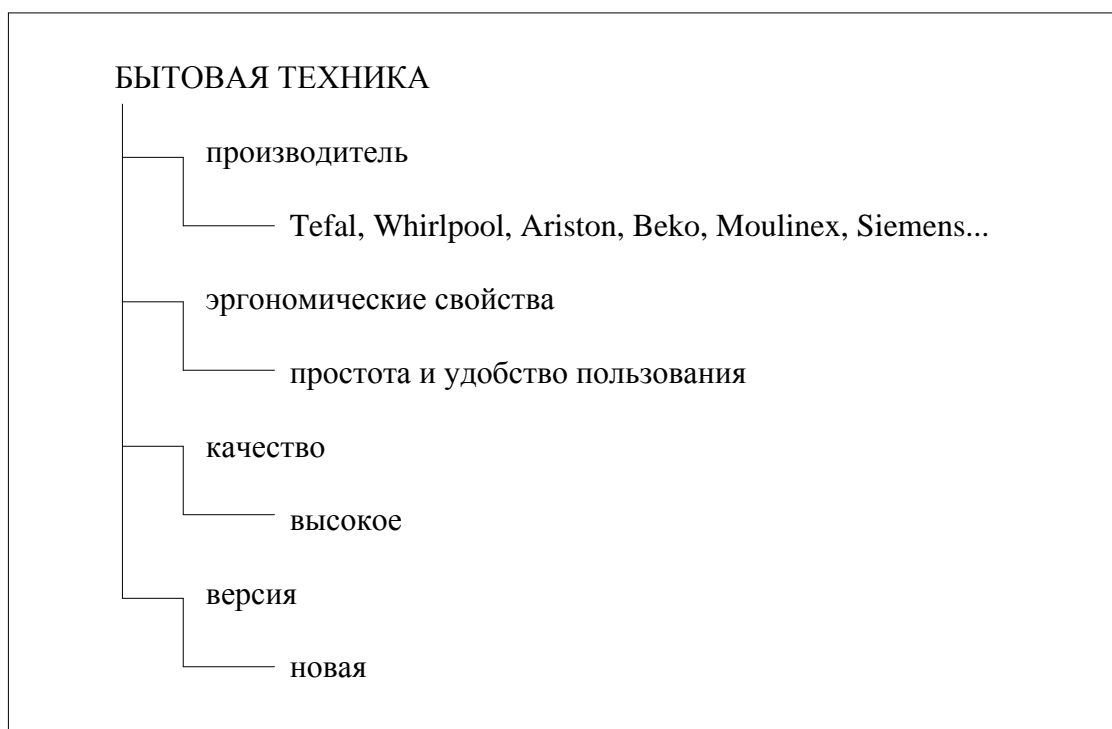
Модель II: Профилирование эргономических свойств товара. На втором месте по количеству употреблений находится семантическая категория, которая относится к сфере функциональности товара. Более половины рекламных текстов обращают внимание на то, что рекламируемый прибор прост и удобен в употреблении, т.е. не требует специальных навыков. Это свойство бытовой техники в рекламной ТКМ можно определить как эгалитарность. В определенной степени это свойство взаимодействует с другой категорией — [установка производителя], так как фактически означает, что производитель заботится о клиенте.

Модель III: Профилирование качества товара. Высокое качество товара — наиболее сильный аргумент производителя и рекламодателя, поэтому в рекламных текстах имеется прямое указание на высокое или наивысшее качество, а также указание посредством других семантических категорий, например, [категория], см. таблицу 1.

Модель IV: Профилирование версии товара. В тех случаях, когда упоминается категория [версия] — а это касается почти половины проанализированных рекламных текстов — преимущественно актуализируется ее значение [новая версия], тогда как значение [традиционная версия] было отмечено только один раз. К символу «известный», содержащемуся в категории [производитель], таким образом, добавляется другой положительный символ массовой коммуникации — «новый». Традиция как позитивная ценность в данной предметной сфере находится на периферии.

Подводя итог проведенного исследования, можно схематически представить семантический прототип домашней техники в рекламной ТКМ:

Рис. 2. Семантический прототип бытовой техники в рекламе



Таким образом, реклама учитывает приоритетные, в основном, внешние свойства объектов, создает их стереотипный образ в сознании адресатов. В рекламе невозможен такой текст, который «высвечивал бы» негативные стороны объекта, например:

*Вообще надо сказать, что холодильник можно использовать для охлаждения, но не для длительного хранения вина, так как в нем периодически возникает вибрация от работающего электромотора, которая беспокоит вино, окружающие бутылку продукты издают сильные запахи, которые неминуемо проникают в него и погубят меньше чем за месяц («Огонек». 1997/29).*

Приведенный текст вполне возможен как приложение к инструкции пользования холодильником, но он противоречит принципам концептуализации бытовой техники в рекламе.

В заключение обратим внимание на способы конфигурации прототипических категорий в семантической структуре рекламного текста. Были отмечены практически все возможные комбинации четырех категорий: [производитель] — символ «П», [эргономические свойства] — символ «Э», [качество] — символ «К» и [версия] — символ «В». Наиболее часто выступают следующие конфигурации:

- ПК — 6 текстов
- ПЭК — 5 текстов
- ПКВ — 5 текстов
- ЭВ — 5 текстов
- ПВ — 4 текста
- К — 4 текста

Ни разу не была отмечена категория [производитель] без упоминания других категорий; кроме того в единичных текстах встречаются конфигурации: В, КВ и ПЭКВ. Ср. пример текстовой реализации последней конфигурации:

*Odpowiednie przygotowanie wszystkich składników to gwarancja kulinarnego sukcesu. Maszynki Moulinex nie tylko idealnie mielą mięso, ale także potrafią szatkować warzywa i kruszyć lód. Teraz nawet wyrabianie kielbas i ciastek jest wyjątkowo proste i szybkie...*

Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что выводы, касающиеся типов конфигурации семантических категорий в текстах — т.е. своего рода синтаксиса понятийных категорий — носят предварительный характер и требуют верификации на более обширном фактическом материале.

## ЛИТЕРАТУРА

- Белл, Р. Т. (1980), *Социолингвистика. Цели, методы и проблемы*. Москва.
- Демьянков, В. З. (1994), *Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода*. В: *Вопросы языкознания*. 4, 17–33.
- Джемс, В. (1981), *Мышление*. В: Гиппенрейтер Ю. Б./Петухов В. В. (ред.), *Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления*. Москва, 11–20.
- Дридзе, Т. М. (1980), *Язык и социальная психология*. Москва.
- Зализняк, Анна А. (2003), *Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира*. В: *Русский язык в научном освещении*. 1(5), 85–105.
- Киклевич, А. К. (2005), *Проблемы семантического исследования языка в теории концептуальных метафор*. В: Jachnow H./Kiklevič A./Mečkovskaja N./Norman V./Wingender M. *Kognition, Sprache und phraseologische/parömiologische Graduierung // Slavistische Studienbücher. Neue Folge. Bd. 14*. Wiesbaden, 2005, 1–41.
- Красных, В. (2003), *«Свой» среди «чужих»: миф или реальность?* Москва.
- Кривоносов, А. Т. (2001), *Система классов слов как отражение структуры языкового сознания (Философские основы теоретической грамматики)*. Москва — Нью-Йорк.
- Леонтьев, А. А. (1974), *Психология общения*. Тарту.
- Лурия, А. Р. (1998), *Язык и сознание*. Москва.
- Поливанов, Е. Д. (1991), *Труды по восточному и общему языкознанию*. Москва.

- Рахилина, Е. В. (1998), *Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты*. В: *Семиотика и информатика*. 36, 274–324.
- Рудяков, А. Н. (2004). *Язык, или почему люди говорят. Опыт функционального определения естественного языка*. Киев.
- Соссюр, Ф. де (1977), *Труды по языкознанию*. Москва.
- Соссюр, Ф. де (1990), *Заметки по общей лингвистике*. Москва.
- Успенский, П. Д. (1992), *Tertium organum. Ключ к загадкам мира*. Санкт-Петербург.
- Шмелев, А. Д. (2002), *Русская языковая модель мира. Материалы к словарю*. Москва.
- Awdziejew, A. (1999), *Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej*. В: Awdziejew A. (ред.), *Gramatyka komunikacyjna*. Warszawa — Kraków, 33–68.
- Bartmiński, J. (1998), *Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem — na przykładzie stereotypu matki*. В: *Język a kultura*. XII, 63–83.
- Bugajski, M./Wojciechowska, A. (1996), *Teoria językowego obrazu świata w badaniach idiolektu pisarza*. В: *Poradnik Językowy*. 3, 17–25.
- Filar, D. (2000), *Językowy obraz świata a obraz świata w tekście poetyckim*. В: *Język a kultura*. 13, 169–180.
- Gibbs, R. W./Matlock, T. (1997), *Psycholinguistic Perspectives on Polysemy*. В: *Polysemy in Cognitive Linguistics. Selected Papers from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference*. Amsterdam, 213–240.
- Grzegorzczak, R. (1999), *Pojęcie językowego obrazu świata*. В: Bartmiński J. (ред.), *Językowy obraz świata*. Lublin, 39–46.
- Jäkel, O. (1997), *Metaphern in abstrakten Diskurs-Domänen: Eine kognitiv-linguistische Untersuchung anhand der Bereiche Geistestätigkeit, Wirtschaft und Wissenschaft*. Frankfurt a.M. — Berlin/Bern — New York etc.
- Jäkel, O. (1998), *Diachronie und Wörtlichkeit: Problembereiche der kognitiven Metaphertheorie*. В: Ungerer F. (ред.), *Kognitive Lexikologie und Syntax*. Rostock. S. 99–118.
- Jäkel, O. (2002), *Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Religious Texts)*. В: <http://www.metaphorik.de>.
- Jędrzejko, E. (2000), *O językowych wykładnikach pojęcia „wstyd” w różnych koncepcjach opisu*. В: *Język a Kultura*. 14, 59–75.
- Karaś, A. (2003), *Językowa konceptualizacja uczuć z grupy strachu na podstawie konstrukcji werbo-nominalnych*. В: *Poradnik Językowy*. 4, 27–35.
- Koźlak, K. (2003), *Standardy semantyczne w reklamie telefonów komórkowych. Praca magisterska*. [Promotor A. Kiklewicz]. Słupsk.
- Labov, W. (1966), *The Social Stratification of English in New York City*. Washington.
- Lizak, J. (2001), *Rola reklamy przy kreowaniu świata w literaturze dla młodzieży*. В: Habrajska G. (ред.), *Język w komunikacji*. 3, 60–66.
- Mikolajczuk, A. (2000), *Kognitywizm a nauczanie języka polskiego jako obcego*. В: Mazur J. (ред.), *Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych*. Lublin, 83–86.
- Święcicka, M. (2005), *Obraz matki w prozie obyczajowej dla młodzieży*. В: *Język Polski*. LXXXV, 2, 103–115.

- 
- Tabakowska, E. (2000), *Językoznawstwo kognitywne — nowe czy dawne horyzonty badań nad językiem?* B: Szpila G. (ред.), *Język a komunikacja 1. Język trzeciego tysiąclecia*. Kraków, 56–68.
- Tabakowska, E. (2001), *Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu*. Kraków.
- Wierzbicka, E. (2000), *Wiedza na temat współczesnej polszczyzny niezbędna w pracy lektora języka polskiego*. B: *Przegląd Polonijny*. XXVI/1, 163–171.
- Wojciechowska, A. (2000), *Magdaleny z Kossaków widzenie świata*. Warszawa — Poznań.
- Zimny, R. (2001), *Obraz samochodu jako kobiety w prasowych tekstach reklamowych*. B: Habrajska G. (ред.), *Język w komunikacji*. 3, 46–53.



## СТЕРЕОТИПЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА ТЕЛЕФОНА\*

...Больного спрашивают: «Для чего нужен телефон?» И больной отвечает: «Для того, что, значит, если есть телефон, что дает возможность... потому что телефон — это одно из лучших значит... Потому что самое лучшее. Самое лучшее в том смысле, что телефон...

Н. В. Самухин, Г. В. Биренбаум, Л. С. Выготский, «К вопросу о деменции при болезни Пика»

### 1. Телефон с точки зрения когнитивной семантики

Существительное *телефон* в русском языке многозначно. Его значениями, по данным «Словаря иностранных слов» (Петров 1981), являются:

1. прибор, преобразующий электрические колебания в звуковые
2. телефонная связь, система электрических аппаратов и устройств для передачи на расстоянии звука, главным образом, речи
3. аппарат для осуществления такой связи
4. номер такого аппарата

Эта системно-языковая многозначность находит отражение в множестве речевых реализаций, в которых *телефон* обладает различными синтаксическими функциями (т.е. номинативными признаками) и различными селективными (т.е. дистрибутивными) признаками, например:

*Нам провели телефон.*

*Звонит телефон.*

*Мы купили новый телефон.*

*Я забыл твой телефон.*

*Деньги лежат под телефоном.*

*Иван звонит по телефону.*

---

\* Первая публикация: *Стереотипы телекоммуникации и художественная символика телефона*. В: *Wiener Slawistischer Almanach*. 2001/48, 167–196. Здесь публикуется в расширенном варианте.

*Вера у меня на телефоне* ('Я разговариваю с Верой по телефону').

*Оставь коменданту телефон* ('Оставь коменданту карточку, на которой написан номер телефона').

*Весь вечер висит на телефоне* ('Весь вечер разговаривает по телефону') и др.

В отличие от лингвистического, энциклопедическое описание телефона однозначно: 'прибор, превращающий колебания тока в звуковые колебания' (Степанов 1955, 930). Кроме того, словарная статья указывает на устройство телефона и принцип его работы. Для функционального исследования языковой семантики это толкование представляется, однако, малопригодным, потому что содержит специальные сведения, которые либо отсутствуют в «наивной картине мира» носителей языка, либо не существенны при актуализации понятия «телефон» в процессах естественного речевого взаимодействия.

Именно поэтому в функциональных исследованиях последнего времени используется третий способ представления семантической информации — концептуализация данных о мире в виде фреймов (схем, сценариев, когнитивных моделей, семантических гештальтов). Фрейм — «единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия [...] структура данных для представления стереотипной ситуации» (Кубрякова и др. 1996, 188). Фрейм считается аналогом когнитивной рамки, с которой в процессе речемыслительной деятельности сопоставляется «полученная извне информация» (Уэно/Исидзука 1989, 56; Осуга 1989, 55сл.).

Фрейм имеет уровневую структуру, при этом соответствующие уровни занимают:

1. имя фрейма, например, ЧЕЛОВЕК
2. слоты (характеристики/фасеты), например, «строение», «рост», «вес», «деятельность» и др.
3. значения слотов, например, значения слота «строение» — «голова», «шея», «руки», «ноги» и т.д.

Однотипные по содержанию слоты можно группировать в категории. Фрейм ТЕЛЕФОН включает три таких категории — «объекты коммуникации», «средства коммуникации» и «факторы коммуникации».

| <b>Фрейм: ТЕЛЕФОН</b>  |   |
|--|---|
| Слоты<br>(характеристики)  | Значения слотов   |
| <u>Объекты коммуникации:</u>   |   |
| Первый абонент<br>(агент)<br>Второй абонент<br>(пациент) <sup>1</sup><br>Текст   | Взрослый, ребенок, мужчина, женщина, клиент, представитель фирмы...<br>Взрослый, ребенок, мужчина, женщина, клиент, представитель фирмы...<br><i>А. Здорово Юрка //</i><br><i>Ю. Проснулся?</i><br><i>А. Ага //</i><br><i>Ю. Да?</i><br><i>А. Да //</i><br><i>Ю. Удивительно //</i><br><i>А. Чего (со смехом) //</i><br><i>Ю. Чего ты не был-то вчера?</i><br><i>А. Да так как-то...<sup>2</sup></i>  |
| <u>Средства коммуникации:</u>  |   |
| Аппарат<br><br>Сеть<br><br>Аксессуары<br>(реквизит)  | Корпус телефона, трубка, диск, номер, шнур, гудок, звонок...<br>Кабель, провод, розетка, звуковой сигнал, электрический ток, коммутатор...<br>Телефонная книга, телефонная будка, телефонная станция, телефонистка, жетон, монета (мелочь)...   |
| <u>Факторы коммуникации:</u>   |   |
| Цель<br>Тема<br><br>Социальный контакт<br><br>Физический контакт<br>Место<br>Окружение<br>Принцип действия<br><br>Дистанция<br><br>Свидетели<br><br>Длительность<br>Качество связи<br>Сервис | Информирование, запрос, подтверждение, признание...<br>Сотрудничество, быт, здоровье, культура, социальные отношения...<br>Дружественные отношения, враждебные отношения, официальные отношения, фамильярные отношения...<br>Отсутствие визуального контакта коммуникантов <sup>3</sup><br>Улица, метро, ресторан, квартира...<br>Монотонное, немонотонное <sup>4</sup><br>Коммуникативная связь посредством перевода речевого сигнала из одной точки пространства в другую <sup>5</sup><br>Пределы помещения, пределы города, пределы государства...<br>Отсутствуют, свидетели со стороны агента, свидетели со стороны пациента, скрытые свидетели<br>Одна минута, пять минут, полчаса...<br>Хорошее, плохое...<br>Линейный участок, справочная номеров, справочная кодов, аварийная служба... |

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Различие между первым и вторым абонентом носит, главным образом, прагматический характер: агентом в типичном случае является звонящий, ставящий в соответствии со своей интенцией определенную коммуникативную цель. Второго абонента правильнее квалифицировать как пациента, а не как адресата, потому что, во-первых, от него ожидается определенный (речевой или неречевой) эффект вербального воздействия агента; во-вторых, телефонный разговор обычно имеет форму диалога, в котором коммуниканты попеременно выступают в качестве отправителя и получателя информации.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Нет возможности надлежащим образом проиллюстрировать значения данного слота — прежде всего из «технических» соображений — имеется в виду номинальный объем текстов телефонных разговоров. В качестве примера приводится отрывок из диалога, зафиксированного в источнике: Земская/Капанадзе 1978, 144.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Телефонное общение при визуальном контакте абонентов наблюдается лишь в исключительных случаях, например, при разговоре между заключенным и посетителем в некоторых тюрьмах. Нетипичность такой ситуации комически обыгрывается в фильме Г. Александрова «Волга-Волга», где один из героев, чиновник Бывалов, с балкона своей конторы по телефону отдает распоряжения конюху, который находится тут же под балконом.

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Данные значения варьируются в зависимости от того, совпадают или не совпадают коммуникативная ситуация агента и коммуникативная ситуация пациента.

ЗАМЕЧАНИЕ 5. Телефон — своего рода переводчик. Коммуникативная связь на расстоянии осуществляется благодаря двойной перекодировке — трансформации звукового сигнала в электрический (на входе) и электрического сигнала в звуковой (на выходе). В результате двойной перекодировки (в некотором смысле — отрицания отрицания) сохраняется не только содержание, но и форма сообщения — та знаковая система, с помощью которой оно было закодировано корреспондентом.

ЗАМЕЧАНИЕ 6. Предложенная схема фрейма ТЕЛЕФОН может быть, разумеется, расширена, во-первых, за счет добавления некоторых новых слотов; во-вторых, за счет представления отдельных слотов как самостоятельных фреймов с отчасти «наследованными» характеристиками; в-третьих, за счет представления значений как самостоятельных слотов.

В работе (Киклевич 1999, 169) введено понятие масштаба, который варьируется в зависимости от полноты актуализации содержащейся во фрейме информации. Ср.:

*Иван сделал покупку*

*Иван купил книгу*

*Иван купил книгу у Алеши*

*Иван купил книгу у Алеши за доллары.*

*Иван купил книгу у Алеши за 20 долларов.*

*Иван купил книгу в магазине у Алеши за 20 долларов.*

*Иван купил книгу для Ларисы в магазине у Алеши за 20 долларов.*

*Иван купил книгу в подарок для Ларисы в магазине у Алеши за 20 долларов.*

Обычно в языковом сообщении событие представляется в сокращенном виде — неслучайно последнее высказывание выглядит странным — слишком подробным, превышающим норму передаваемой информации. Рассчитывая на общие с адресатом знания о мире — так называемую апперцептивную базу, речевой субъект пропускает определенные отрезки события — благодаря общей апперцептивной базе оно воспринимается достаточно адекватно. Характерный пример — отрывок из рассказа Ю. Казакова «Вон бежит собака!»:

*Крымову захотелось курить, но совестно было беспокоить соседку, и он не пошел вперед, достал сигарету, нагнувшись, воровато чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой, невидимой в темноте струйкой вниз, под ноги.*

В тексте пропущена информация, без учета которой целостность события была бы нарушена: Крымов не только *достал сигарету*, но и, разумеется, *зажал ее во рту*, не только *чиркнул зажигалкой*, но и *зажег зажигалкой сигарету*, не только *с наслаждением затянулся*, но и, скорее всего, после этого *погасил зажигалку*. Как видим, формат события в действительности значительно больше его представления в тексте.

Форматирование события определяется возможными мирами — ситуациями употребления фреймов, которым в когнитивной семантике соответствуют мотивирующие контексты (Кубрякова и др. 1996, 188). Если фрейм выступает как амбивалентная по отношению к возможным мирам семантическая база, то контекстно обусловленное уменьшение его формата является разновидностью профилирования — процесса, в результате которого возникает профиль фрейма. Хотя некоторые исследователи подчеркивают, что профили — это не разные значения одного и того же слова, а способы организации семантического содержания внутри одного значения (Bartmiński/Niebrzegowska 1998, 217), более предпочтительной представляется точка зрения, согласно которой разного рода семантические коннотации (в том числе и профили) имеют внешнюю природу — они обусловлены социально-культурным контекстом языковой коммуникации и появляются в определенных, культурно маркированных условиях (Kiklewicz 2004, 47). Подобную точку зрения в первой половине XX в. высказывал Л. С. Выготский (1982, 347).

Особенность актуализации фрейма в художественном тексте заключается в том, что его переформатирование носит не только «технический» характер и связано с необходимостью разгрузить объем краткосрочной памяти благодаря элиминированию разного рода конвенциональных и прагматических импликаций, но и преднамеренный характер — благодаря преднамеренности художественный текст становится знаком особого рода — в нем появляется информация о наличии/отсутствии информации, т.е. о тех элементах языкового образа денотата, которые отражены в тексте, и о тех, которые пропущены. В результате подобной актуализации фрейма его имя становится символом, актуализирующим в сознании (или подсознании) реципиента ограниченный набор характеристик или даже какую-то одну характеристику.

## 2. Реализация семантики фрейма ТЕЛЕФОН на уровне слотов

По определению А. Пуанкаре, «бесконечность обозначает количество, способное расти выше или ниже какого бы то ни было предела; это изменяющееся количество, о котором можно сказать, что оно перейдет все пределы, но нельзя сказать, что оно их перешло» (1990, 476). Количество составляющих фрейм слотов, актуализируемых в той или иной коммуникативной ситуации, также никогда не переходит предела, устанавливаемого мотивирующим контекстом, — какая-то часть информации всегда остается неэсплицированной. Особенности художественного текста таковы, что из состава фрейма ТЕЛЕФОН обычно элиминируются слоты, относящиеся к технической стороне телефонной связи, например, «сеть» или «принцип действия». Если эти категории отражаются в поэтическом тексте, они используются либо как одно из средств «остранения», например, в песне Б. Гребенщикова «2-12-85-06», либо как символическое средство, например, в цикле М. Цветаевой «Провода» (символ разлуки), ср.:

*О, по каким морям и городам  
Тебя искать? (Незримого — незрячей!)  
Я проводам вверяю проводам,  
И в телеграфный столб упершись — плачу.*

В стихотворении А. Кушнера «Твой голос в трубке телефонной...» технические детали телефонной связи переосмысливаются как сопоставимые с голосом и «душой бессмертья». *Толченый уголь, кабель, траншея и металлическая нить* теряют у Кушнера свою инструментальность, служебность, выстраиваясь в ряд «второй действительности» — «тьмы

перевоплощений».

В обыденной телекоммуникации, которой, в отличие от коммуникации типа *face-to-face*, не свойственно «единство места» (Höflich 1989, 211), пространственная локализация абонентов (в первую очередь звонящего) весьма существенна — не случайно эта характеристика зачастую специально уточняется:

*Откуда ты звонишь?  
Я звоню с работы.*

— *Кто говорит?*  
— *Слон.*  
— *Откуда?*  
— *От верблюда* (К. Чуковский).

Однако в художественном профилировании телефона слот «место» не играет значительной роли и, если актуализируется (а это бывает достаточно редко), то вместе со слотом «окружение» (именно в его значении ‘немонотонное окружение’, т.е. несовпадение пространственной локализации звонящего и адресата). В стихотворении А. Вознесенского «Автомат» попытка идентификации личности первого абонента осуществляется посредством конструирования образа места:

*Москвою кто-то бродит,  
накрутит номер мой.  
Послушает и бросит —  
отбой... [...]  
Стоишь в метро конечной  
с открытой головой,  
и в диске, как в колечке,  
замерзнул пальчик твой.  
А за окошком мелочью  
стучит толпа отчаянная,  
как очередь в примерочную  
колечек обручальных.*

## 2.1. Транслятивный (интенциональный) аспект телекоммуникации

Обычно в тексте актуализируются слоты, которые непосредственно связаны с личностью первого или второго абонента. При этом с л е к ц и я сл о т о в может быть весьма радикальной — в ее результате ситуация телефонного разговора бывает отражена единственной характеристикой, например, «текст», который может не содержать обязательных в коммуникативной практике фатических реплик типа

*Алло!*

*Слушаю вас и т.п.*

Художественный телефонный «текст» может не иметь также стереотипной формы реплицирования, ср.:

*— Я тебя ни грамма не люблю,  
не боюсь тебя ни граммочки  
и на километр не подпущу —  
убирайтесь к вашей дамочке.*

*Первый ты меня забыл,  
а теперь и я тебя забыла,  
позабудь навеки тот забор,  
до которого с тобой ходила!*

*Выбрось телефон из головы!*

*Навсегда, навеки мы на «вы»* (Б. Слуцкий. «Триада по телефону»).

Впрочем, в этом случае, как и во всех подобных, содержание слота имплицитно определяет другие характеристики фрейма. Благодаря таким импликациям в приведенном тексте «прочитывается» «первый абонент» — женщина, «второй абонент» — мужчина, «тема» — любовные отношения, «цель» — разрыв любовных отношений, «свидетели» — отсутствуют (в соответствии с социальной нормой подобные темы обсуждаются конфиденциально). Однако многие слоты («аппарат», «реквизиты», «сеть», «дистанция», «сервис» и др.) остаются все-таки за рамками подобных импликаций — они располагаются вне фокуса внимания. Таким образом, в процессе переформатирования фрейма действует принцип приоритета, который регулируется конвенциональными стереотипами (по Э. Гуссерлю — «нормами общего значения») или индивидуальными установками коммуникантов.

Одна из особенностей художественной реализации фрейма ТЕЛЕФОН касается абонентов. Несмотря на то, что телекоммуникация охватывает двух участников и при элиминировании хотя бы одного из них становится бессмысленной и невозможной, в обыденном сознании телефон ассоциируется прежде всего с передачей информации, что отражено и в приведенной ранее словарной дефиниции: телефонная связь предназначена «для передачи на расстоянии звука, главным образом, речи». С утилитарной точки зрения телекоммуникация предстает как деятельность первого абонента, который посредством речи реализует свои коммуникативные интенции, именно поэтому телекоммуникация интенциональна. Данную характеристику подтверждают результаты социологических опросов: 57,1 % респондентов свидетельствуют, что звонят с целью «что-либо рассказать», и лишь 16,6 % — чтобы услышать знакомый голос (Beck 1989, 59).



Транслятивная семантика телефона как средства односторонней связи и именно — передачи информации, как указывается в литературе (Rammert 1989, 92 и ссл.), была характерна для начала эпохи телекоммуникации: первыми пользователями телефона были представители бизнеса — банкиры, курьеры, агенты и т.д. Первоначально телефон как техническое средство накладывался на систему уже сложившихся социальных отношений (в гостиницах первые телефоны заменили механические и электрические звонки для вызова персонала), лишь позднее была создана телефонная сеть.

Подтверждением стереотипной интенциональной семантики телефона является и языковая синтагматика. Хотя глагол *звонить* многозначен и обозначает, во-первых, действие первого абонента (*Вера звонит*), во-вторых, действие телефонного аппарата (*Телефон звонит*; ср. подобное употребление в конструкциях *будильник звонит, колокол звонит, куранты звонят*), в подавляющем большинстве употреблений реализуется первое значение. Ср. пример из прозы В. Голявкина:

*Звонок по телефону разбудил меня.*  
— *Что ты сейчас делаешь?*  
— *По телефону разговариваю. Кто это?*

Обратим внимание на выражение *звонок по телефону* вместо возможного *звонок телефона* — первое выражение в большей степени представляет ситуацию звонящего.

Кроме того, хотя это значение (действие абонента) описывается в словаре как ‘вызывать звонком телефонного аппарата для разговора по телефону’, в речевых контекстах *звонить* обычно значит ‘передавать информацию по телефонной связи’, например:

*Оказывается, она затем и звонила в Ленинград, посоветоваться* (Д. Гранин).  
*Она бросилась звонить, чтобы встретиться со своим возлюбленным* (Ф. Искандер).  
*Я заходил в какие-то мастерские, разговаривал с кровельщиками, жестянщиками, звонил на фабрики и склады* (В. Солоухин).

Важно в связи с этим отметить, что в русском языке глагол *звонить* — в соответствии с нормой — сочетается с подчинительными союзами *что, чтобы*, т.е. в конструкциях, которые характерны для глаголов речи (Красных 1993, 60), ср.:

*[Маша] позвонила Петру, что у нее свободный билет* (В. Каверин).  
*Нина позвонила домой, чтобы ее ждали к обеду* (С. Антонов).  
*Позвоните ему о том, чтобы он принес книгу.*

Что касается существительного *звонок*, то он преимущественно *звонит* или *раздается*, хотя встречается и его метонимическое употребление в значении ‘телефонный разговор с кем-л.’, например:

*Это был странный звонок, несколько озадачивший Петю* (В. Каверин).

Для слова *телефон* прежде всего характерна сочетаемость с глаголами речи или воздействия в позиции второго аргумента, ср.: *обрывает его телефон, бросился к телефону, врал по телефону, решил позвонить по внутреннему телефону, сказал мне по телефону, докладывал по телефону, попрощалась с ним по телефону* и т.д. Проанализируем примеры подобной актуализации фрейма ТЕЛЕФОН в прозе В. Пелевина:

*Кто-то поплелся на апелляцию, кто-то прыгал от радости на расчерченном белыми линиями асфальте, кто-то бежал к телефону...* («Омон Ра») *Гусейн достал телефон, набрал номер и значительно поглядел на Татарского. На том конце линии взяли трубку* (“Generation «П»”).

В первом случае не сообщается цель акции «бежать к телефону», но из содержания события (сдача вступительного экзамена) однозначно следует, что целью является передача информации о результатах экзамена (глагольная словоформа *бежал* указывает на то, что результат, скорее всего, положительный). В другом примере выражение *значительно поглядел* подчеркивает высокий престиж телефона как средства оперативного решения проблем с помощью передачи речи партнеру, находящемуся на значительном удалении (*на том конце*). Примером подобной целевой интерпретации телефона может быть заметка в белорусской газете «Наша ніва» (номер за 19 августа 1909 г.):

*Новы Двор. Лідс. пав. Віл. губ. Як тэлеграфам можна перасылаць па дроце ліст, так сама можна перасылаць па дроце мову. Тэлефоны для краю дуже карыстная рэч і за граніцай яны ўсюды заведзены. Там кожная почта, кожная воласць мае тэлефон, праз каторы можа гаварыць кожны, заплаціўшы невялікіе грошы (5-25 кап.). Апроч гэтаго ўсякі, хто хочэ, можа мець у хаці свой тэлефон і таварыць з другі канцом сьвета. Гэтакая прылада для людзей дуже карыстна: треба, скажем, пільна доктара, ксендза — папа — пагаварыў праз тэлефон — за мінуту — дзве, доктар ці ксёндз ужо збіраецца ехаць, треба, скажем, прадаць на вёсцы жыта, а не ведаем цэны, зараз праз тэлефон запытаўся у Вільні, якая цэна на жыта, ці паднялася, ці не — і ўжо не ашукаюць. Вось у пятым земскім вучастку Лідз. пав. земскі Шаталов устроіў тэлефоны межы трема воласцямі: Дубіцкай, Астрыцкай і Сабокінскай (Пакроўскай). Може за некалькі гадоў гэтак усякая воласць будзе мець тэлефон, з воласці ў наветовы горад, с наветовых у губернскіе і гэтакім парадкам можна будзе гаварыць с кім захочэш па усёй нашай бацькаўшчыне — Беларусі.*

Интенциональная утилитарная символика телефона, видимо, отражает общую закономерность — приоритет интерактивной функции языка над реактивной. Например, в говорах признак речепроизводства кладется в основу номинации личности в десять раз чаще, чем признак речевосприятия (Соболева 2001, 152).

Подобная интенциональная актуализация фрейма ТЕЛЕФОН, при которой отражается лишь коммуникативная ситуация звонящего, может наблюдаться и в художественном тексте. Таково стихотворение В. Луговского «На переговорной», в котором на фрейм ТЕЛЕФОН указывают словоформы и выражения: *товарищ диспетчер, дадите Москву* (в значении ‘соедините телефонной связью с абонентом в Москве’), *на линии, номер, слышишь, говорить, за три тысячи верст, три минуты*. Содержание стихотворения представляет собой произносимый в телефонную трубку монолог первого абонента, при этом передаваемая адресату информация как бы самодостаточна, носит эпический характер — описание стройки в отдаленной от Москвы на «три тысячи верст» Средней Азии, практически не релевантна по отношению к фоновой интимной связи абонентов — мужчины и женщины (на эту связь указывают выражения *Ты слышишь меня, дорогая?* и *три минуты с любимой*). Ср.:

*А люди приходят, уходят, летят, уезжают и спят,  
Как птицы, вполглаза, покуда заря не родится.  
Увозят бурильщиков, крепких, веселых ребят,  
Пыльные «ЗИС»ы экспедиций.  
Всю ночь в общежитье приглушенный топот сапог,  
И кто-то прощается, письма кому-то даются.  
Упал вещевого мешок. Ушел разговор за порог.  
И вдруг запоют на дворе, и голоса сольются.*

Собственно, описание «счастливого бремени» — «труда людей» и сопровождающего его энтузиазма могло бы быть осуществлено и в обычной эпической форме, которой Луговской владел мастерски (в этом жанре он, может быть, не знал себе равных), однако рамки телефонного разговора понадобились автору, скорее всего, для того, чтобы вписать повествование в контекст человеческих отношений, придав ему тем самым бóльшую достоверность. Таким образом, хотя объективно-повествовательная интонация текста контрастирует с социально-психологическим контактом абонентов и ожидаемой «домашней семантикой», подчеркивается релевантность текста по отношению к реальности. Вспомним, что символом реальности телефон выступает и в фильме А. Тарковского «Сталкер» — когда его пронзительный зуммер вторгается в зловещую тишину «зоны», «чудо» заканчивается — «зона» теряет свою парало-

гичность, «абсолютность», становясь своего рода приложением к действительности, т.е. становясь «аргументом» и переставая быть «предикатом».

Текст в результате подобной манипуляции перестает быть констативом — он становится перформативом — развертывающимся на глазах у читателя сообщением. Реальность же сообщения косвенно имплицитирует правдивость передаваемого содержания, из чего следует, что ссылаясь на телекоммуникацию может использоваться как суггестивное средство. Эту функцию, видимо, выполняют и актуализируемые слоты «дистанция» — в значении *за три тысячи верст*, и «длительность» — в значении *три минуты с любимой* (о суггестивной функции числительных см.: Киклевич/Потехина 1998, 122; Kiklewicz 1996, 111 и сл.). При этом необходимо отметить, что чтение стихотворения в среднем темпе, действительно, длится около трех минут.

Впрочем, возможна и иная интерпретация: «телефонный» контекст понадобился автору, чтобы снизить пафос повествования, придать ему эмоциональность, создать второй план — интимных отношений, противопоставить «размаху пространства» тишину незримой московской квартиры с прильнувшей к телефонной трубке любимой женщиной.

Менее радикальная редукция второго абонента наблюдается в повести К. Воробьева «Вот пришел великан...»: здесь, как правило, сохраняется реплицирование, оба участника речевого взаимодействия определены, хотя в тексте представлена только коммуникативная ситуация первого абонента. Ср.:

*Лозинской я позвонил в половине третьего. Трубку сняла она, а не он. Я поприветствовал ее с наступающим рассветом и сказал, что во всем мире нынче не спит только один человек — я. Она ничего не ответила и продолжала слушать, — в трубке я чувствовал ухом ее тихое детское дыхание. Я немного подождал и сказал, что в телевизионную вышку только что сел месяц. Из моей телефонной будки он похож, сказал я, на разрезанный арбуз в авоське, и не знает ли она, кому досталась его вторая половинка?*

*— Нет-нет, вы не туда попали, — сказала она, но трубку не положила.*

*— Это вы не туда попали, — сказал я шепотом.*

*— Но это квартира. Наберите, пожалуйста, нужный вам номер.*

*— Это вы наберите, пожалуйста, нужный вам номер, — сказал я, но она уже положила трубку.*

## 2.2. Эффекторная функция телефона

Художественные тексты, в которых показано телефонное пространство звонящего, однако, весьма редки. В подавляющем большинстве текстов телекоммуникация, когда она находится в фокусе внимания и является художественным объектом, описывается с точки зрения вто-

рого абонента, и в этом, может быть, главная особенность художественного профилирования фрейма ТЕЛЕФОН. При интенциональной интерпретации, как уже указывалось, телефон выступает как средство передачи информации, способ реализации намерения субъекта, на первом плане находится его посредническая, инструментальная функция. Но в художественном тексте на первый план выступает обычно каузативная функция телефона — телефонный звонок, телефонное сообщение определенным образом воздействуют на состояние и поведение второго абонента. Знаменитое *У меня зазвонил телефон* К. Чуковского в этом отношении символично: на «том» конце линии находятся животные, на «этом» конце — человек, таким образом, читатель включается в пространство второго абонента.

Список текстов, в которых фрейм ТЕЛЕФОН актуализируется как эффе́ктор, значителен: Н. Гумилев, «Костер»; О. Мандельштам, «Телефон», «Примус»; К. Чуковский, «Телефон»; А. Тарковский, «Зуммер»; А. Межиров, «Короткие гудки»; А. Вознесенский, «Автомат»; А. Тарковский, «Зуммер»; А. Кушнер, «Твой голос в трубке телефонной...», «Разговор»; Е. Рейн, «Баллада ночного звонка»; Ю. Левитанский, «Часы и телефон...»; В. Шлангбаум, «Телефонный звонок» и др. Широко распространены тексты этого типа в массовой песенной культуре, ср. популярную песню из фильма «Карнавал» с характерным рефреном «Позвони мне, позвони...». В романе Ю. Олеши «Зависть» описывается телефонный разговор:

*Он (Андрей Бабичев. — А. К.) говорит по телефону. Раз десять в вечер его вызывают. Мало ли с кем он может разговаривать. Но вдруг до меня доносится:*

*— Это не жестокость.*

*Я прислушиваюсь.*

*— Это не жестокость. Ты спрашиваешь, я и говорю. Это не жестокость. Нет, нет! Можешь быть совершенно спокойна. Ты слышишь? — Унижается? Что? Ходит под окнами? — Не верь. Это его штучки. Он и под моими окнами ходит. Это ему нравится, что он ходит под окнами. Я его знаю. — Что? А? Плакала? Весь вечер? Напрасно весь вечер плакала. — Сойдет с ума? Отправим на Канатчикову [...]*

В эксплицитном виде представлен, собственно, только «текст», и именно в форме реплицирования, хотя «чужие» реплики подаются в виде косвенной речи — вопросительных высказываний типа

*Унижается?..*

*Ходит под окнами?..*

*Плакала?..*

Чередование утвердительных и вопросительных выражений указывает на диалогический характер речевой ситуации. Хотя нет прямых указаний, можно полагать, что в данном фрагменте отражена коммуникативная ситуация второго абонента: во-первых, сообщается, что Бабичева «раз десять в вечер вызывают» к телефону, т.е. подчеркивается его стереотипная роль пациента телефонной связи; во-вторых, реплики Бабичева носят преимущественно реактивный характер: *Это не жестокость* — вероятно, реакция на реплику *Это жестокость; Отправим на Канатчикову* — скорее всего, реакция на реплику *Он сойдет с ума* и т.д.; в-третьих, информация первого абонента (в том виде, как ее можно реконструировать) более связна и носит фактуальный характер, ср.:

*Это жестокость — обходиться с Х-ом подобным образом, ведь он унижается, ходит под моими окнами, поэтому я вчера весь вечер плакала — я боюсь, что он сойдет с ума.*

Напротив, реактивные реплики второго абонента носят окказиональный и эмоционально-оценочный характер.

Хотя, как уже отмечалось, глагол *звонить* в значении ‘вызывать звонком телефонного аппарата для разговора по телефону’ употребляется преимущественно для указания агента (т.е. в контекстах типа *Вера звонит*), в мотивировке этой номинации закодирована точка зрения второго абонента, ведь телефонный звонок раздается в пространстве получателя информации:

*Как-то вечером раздался телефонный звонок. Тетя Клава была уверена, что это Зинаида со своим зятем, но звонил друг молодости по имени Эдик (В. Токарева).*

Все контексты с глаголом *звонить* можно, таким образом, разбить на две группы: а) глагол употребляется в прямом значении — описывается коммуникативное пространство слушающего, б) описывается коммуникативная ситуация первого абонента и глагол *звонить* употребляется, скорее всего, как результат метонимического переноса. К контекстам первого типа можно отнести:

*На другой день совещались мы в райкоме, как вдруг секретарша вызывает меня к телефону. Звонят из колхоза (В. Солоухин).*

*Глебов [...] почти опрометью бросился к телефону [...] Был уверен, что звонит Толмачев (Ю. Трифонов).*

*Ты думаешь я не понимаю, кто тебе звонит? (Н. Шмелев).*

*Мне звонил отец Тоси Лубковой (В. Гендряков).*

Примерами контекстов второго типа являются:

*Звоню министру К. Рахимову, объясняю суть дела. Он все записал, обнадежил, пообещав, что телефон будет налажен* (В. Солоухин).

*В будке пахнет мочой — Монахов звонит Наташе. Торжественно лепечет про смерть* (В. Каверин).

*Тетя Клава постояла над цыпленком и пошла звонить подруге Зинаиде* (В. Токарева).

*Она бежала на станцию звонить в Москву* (Ю. Трифонов).

### 2.3. Персонализация телефона

Функция эффектора обуславливает несколько направлений семантического переосмысления телефона. Одно из них — персонализация. Уже М. МакЛюан заметил, что «телефон представляет собой инклюзивную форму коммуникации, которая предполагает партнера» (2004, 348). С точки зрения адресата телефон выступает как «сообщник» агента, как своего рода второй агент, а в ситуациях, когда звонящий не может быть достаточно идентифицирован (прежде всего из-за отсутствия визуального контакта коммуникантов) — как основной источник воздействия на адресата («фиктивный партнер» у М. Пруста, см.: Rollka 1989, 317). Ю. М. Лотман писал о персонализации высокоорганизованного текста, который воспринимается как прямой собеседник — читатель общается с текстом, а не с автором текста. Подобный эффект наблюдается и в телекоммуникации: слоты «аппарат», «сеть», «аксессуары» и др. из директории «средства коммуникации» перемещаются в директорию «объекты коммуникации» и начинают восприниматься как полноправные участники диалога.

Явление, когда инструмент действия метафорически уподобляется субъекту, хорошо описано в литературе (см.: Максапетян 1990, 98), следует, однако, подчеркнуть, что эта метафора характеризует прежде всего речевую деятельность объекта вербального воздействия. Приведем ряд подобных синтагматических свидетельств персонализации телефона:

*Все еще кое-кто из старых работников обкома вскакивает по стойке «смирно», когда звякнет телефон прямого провода с «первым кабинетом»* (А. Бек).

*На третий день в обед телефон не ответил* (Ю. Трифонов).

*За столом сидел интеллигентного вида господин в белом халате [...] и внимательно слушал черную эбонитовую трубку телефонного аппарата, прижимая ее ухом к плечу. Его руки механически перебирали какие-то бумаги; время от времени он кивал головой, но вслух ничего не говорил* (В. Пелевин).

В последнем предложении отражена коммуникативная закономерность, когда паравербальные стереотипы визуального общения переносятся в область телекоммуникации (см.: Baumgarten 1989, 193). В одном анекдоте рассказывается, что однажды в царской России абонента по ошибке соединили с канцелярией императора. Услышав в трубке «Канцелярия его величества», абонент тут же вскочил на ноги и начал петь национальный гимн России: «Боже, царя храни!»

Персонификация телефона становится наиболее сильной и очевидной, когда его основная коммуникативная функция по тем или иным причинам нарушается, например, из-за плохого качества связи, неопределенности звонящего, длительного ожидания звонка и т.д. Так осмысливается звонящий в пустоту телефон в стихотворении О. Мандельштама «Примус» (технический износ аппарата становится здесь символом старости, см.: Тименчик 1988, 156):

*Плачет телефон в квартире  
Две минуты, три, четыре...  
Замолчал и очень зол:  
Ах, никто не подошел.  
— Значит, я совсем не нужен.  
Я обижен, я простужен.  
Телефоны-старички —  
Те поймут мои звонки.*

При использовании специальных телефонных служб, например, службы времени или справочной службы, абонент практически общается с телефоном, ведь личность речевого партнера при этом не имеет значения.

В ситуации длительного ожидания телефонного разговора телефон оказывается сильнее человека, который не может повлиять на его молчание. Отсутствие передачи информации первым абонентом интерпретируется как прихоть телефона, что является типичным примером контактной магии (Фрэзер 1986, 20). В рассказе В. Шлангбаума «Телефонный звонок» ожидающий звонка герой засыпает и во сне телефон сначала представляется ему как настольное зеркало без отражений, а потом — как множество висящих в воздухе телефонов:

*Оказалось, телефоны, каждый сам по себе, постоянно передвигались в пространстве. Иван Семенович попытался было заставить себя поверить, что увиденное им является лишь продуктом его воображения, изнуренного долгим ожиданием, как прямо перед ним неизвестно откуда на стол приземлился самый что ни на есть настоящий телефон [...] Ему стало ясно одно: пока этих телефонов не расплодилось и они, чего доброго, не начали чего-нибудь с ним вытворять, нужно было в срочном порядке покинуть помещение [...] Вокруг него в абсолютном безмолвии прямо по воздуху кружили десятки телефонов [...] Постояв так*



*некоторое время, он стал замечать, что телефоны вовсе и не проявляют никакой враждебности: в их первоначальной назойливости он даже рассмотрел (или так ему показалось) дружеское расположение (так, например, один из телефонов, не без труда, конечно, умудрился завязать развязавшиеся шнурки на его ботинках). «Да и вправду, чего это я, — постепенно оправляясь от прежнего остолбенения, произнес про себя Иван Семенович. — Может, они просто не умеют говорить? Может, они долго ни с кем не общались? Может, им предложить чего-нибудь поесть, в конце концов?».*

В юмореске И. Иртеньева персонифицируется испорченный телефон: электронное устройство для передачи информации становится самостоятельным партнером по коммуникации. Для понимания приводимого ниже текста важно учитывать то обстоятельство, что его содержание отражает кризис производства и обстановку товарного дефицита в СССР. При этом заслуживает внимания и то, что впервые рассказ Иртеньева был напечатан в газете «Советская торговля», в номере за 8 декабря 1981 г.:

— Алло.

— Алло.

— *Добрый день.*

— *Добрый день.*

— *Это книжный магазин?*

— *Это книжный магазин.*

— *Есть в продаже «Три мушкетера»?*

— *Есть в продаже «Три мушкетера».*

— *С иллюстрациями Доре?*

— *С иллюстрациями Доре.*

— *И Хемингуэй есть?*

— *И Хемингуэй есть.*

— *«Прощай оружие»?*

— *«Прощай оружие».*

— *А трилогии Макара Расторгуева «Ширь широкая» нет?*

— *А трилогии Макара Расторгуева «Ширь широкая» нет.*

— *Это хорошо.*

— *Это хорошо.*

— *Может, и Достоевский есть?*

— *Может, и Достоевский есть.*

— *Полное собрание сочинений?*

— *Полное собрание сочинений.*

— *И такое бывает наяву?*

— *И такое бывает наяву.*

— *Потрясающе!*

— *Потрясающе!*

— *И можно приезжать и брать?*

— *И можно приезжать и брать.*

— *Простите, а как к вам проехать?*

- Простите, а как к вам проехать?  
 — Это я вас спрашиваю!  
 — Это я вас спрашиваю!  
 — Наверное, опять барахлит телефон.  
 — Наверное, опять барахлит телефон.  
 — Значит, нет в продаже «Трех мушкетеров»?  
 — Значит, нет в продаже «Трех мушкетеров».  
 — Всего доброго.  
 — Всего доброго («Барахлит телефон»).

Объектом персонификации может становиться номер телефона, например, в стихотворении А. Тарковского «Телефоны»:

*Десять букв алфавита без смысла,  
 Десять цифр из реестра судьбы  
 Сочетаются в странные числа  
 И года громоздят на горбы.  
 Их щемящему ритму покорный,  
 Начинаешь цвета различать,  
 Может стать, зеленый и черный –  
 В–1–27–45.  
 И по номеру можно дознаться,  
 Кто стоит на другой стороне,  
 Если взять телефонные святцы  
 И разгадку найти, как во сне.*

Вычеркивание номера телефона рассматривается как действие того же типа, что и табуирование — его эффектом является несуществование субъекта, например, у Мандельштама:

*Петербург! Я еще не хочу умирать:  
 У тебя телефонов моих номера...*

#### **2.4. Экспрессивный аспект телекоммуникации**

Отношение первого абонента к телефону, главным образом, практическое, прагматическое. Поскольку звонящий в известной степени является «хозяином» ситуации, его эмоциональное состояние устойчиво, хотя в текстах встречаются и эмоционально маркированные эпизоды, например, приведенное высказывание из прозы Пелевина:

*Гусейн достал телефон, набрал номер и значительно поглядел на Татарского*

где возможность оперативной телекоммуникации вызывает чувство гордости и удовлетворения у звонящего. Как средство социального управ-

ления телефон может вызывать «чувство власти» (Baumgarten 1989, 195). В приводимых далее примерах такое положительное эмоциональное состояние у первого абонента связано с эффективностью связи, с личностью коммуникативного партнера или же с телефонным номером второго абонента:

*Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, все лучшее поднялось из его души и поместилось на лице* (В. Пелевин).

*Номер домашнего телефона у Лозинской был запоминающе легкий, как есенинская строка — два-двенадцать-шеснадцать* (К. Воробьев).

Принципиально иное отношение к телефону наблюдается в пространстве второго абонента — на каузативно-эффекторную функцию телефона здесь накладывается сильная эмоциональная аура. Как правило, к эмотивной семантике добавляется оценочная, т.е. характеристика коммуникативной ситуации по шкале «хорошо — плохо»:

*Самым счастливым событием жизни главной героини становится телефонный звонок, в котором герой [...] просит у нее прощения на русском, которого она не понимает* («Знамя». 2000/10).

*Меня не было дома. Когда я пришел домой, Марина сказала мне, что звонил по телефону Синдерюшкин и спрашивал меня. Я, видите ли, был нужен какому-то Синдерюшкину!* (Д. Хармс).

В первом случае телефонный звонок вызывает положительные эмоции адресата, во втором случае — отрицательные. В художественной литературе преимущественно представлены ситуации второго типа, что является своего рода парадоксом, ведь по статистическим данным (Lange 1989b, 169 и ссл.) только 4 % респондентов оценивают свой последний телефонный разговор как неудачный, тогда как 58,6 % считают его полезным, а 69,8 % — приятным. Причин, вызывающих негативное эмоциональное состояние второго абонента, несколько, одна из них — личность первого абонента, ср.:

*Поверить в его продукт было труднее, чем прийти в возбуждение от телефонного секса, зная, что за охрипшим от страсти голосом собеседницы прячется не обещанная фотографией блондинка, а простуженная старуха, вяжущая носок и читающая набор стандартных фраз со шпаргалки на которую у нее течет из носа* (В. Пелевин).

*У, моя бы воля! Я бы спалила все эти твои книжки, я бы выгнала эту клыкастую тварь, оборвала бы этот проклятый телефон, чтобы он наконец замолчал, замолчал, черт бы его побрал! Ты думаешь, я не знаю, кто тебе звонит?* (Н. Шмелев).

Кроме того, эмоциональное переживание второго абонента может быть связано с неопределенностью личности звонящего — это стало одной из распространенных лирических тем художественной литературы, ср. стихотворение А. Вознесенского «Автомат» или Е. Рейна «Баллада ночного звонка». Отсутствие физического контакта коммуникантов и связанная с этим неопределенность звонящего вызывает противоположные эмоции: с одной стороны, возникает возможность романтической идеализации корреспондента, например, в стихотворении Н. Гумилева «Костер»:

*Неожиданный и смелый  
Женский голос в телефоне, —  
Сколько сладостных гармоний  
В этом голосе без тела!*

В литературе первой половины XX в., как указывает Р. Тименчик (1988, 157), подобным образом поэтизировался образ телефонистки.

С другой стороны, недоступность коммуникативного партнера, условность коммуникативной ситуации обуславливают интерпретацию телефона как псевдообщения (Тименчик 1998, 156) или «слепой коммуникации» (Lange 1989a, 39). Соответствующая эмотивная семантика отражена в цикле М. Цветаевой «Провода», схожая интонация содержится в стихотворении А. Кушнера «Разговор». Телефон исключает многие формы естественного фатического общения — этим, в частности, объясняется такое явление, как «нетелефонный разговор». В литературе встречается противопоставление отмеченного выражения *телефонный разговор* неотмеченному \**телефонная беседа* (Баранов/Добровольский 1997, 12), впрочем, о степени этой неотмеченности можно спорить, ср.:

*Но Лиза о тревогах маминых не подозревала, не спешила их рассеивать. Беседа с Сонькой по телефону, хохотала гомерически, так что мама в испуге вбежала (Н. Кожевникова).*

Разумеется, важным фактором, влияющим на эмоциональное (обычно — отрицательное) состояние реципиента, является содержание телефонного сообщения:

*Гумберт знает, какую роль в его судьбе играет «всесильная machina telephonica» [...] Для него это громовые раскаты судьбы, знак “Incipit Tragoedia!” Трагедия рождается для Гумберта из телефонного сообщения о том, что Лолита пропускает уроки музыки (Сендерович/Шварц 1999, 29).*

*Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с 1 декабря 1934 г. В четыре часа утра раздался пронзительной телефонный звонок. Мой муж Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание детей.*

*— Прибыть к шести утра в обком. Комната 38.*

*Это приказывали мне, члену партии.*

*— Война?*

*Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось что-то недоброе (Е. Гинзбург).*

Эмоциональная семантика возникает также на фоне прогнозирования поведения второго абонента, в котором предусматривается факт и эффект ожидаемого телефонного звонка:

*Она томилась не то грезой о скоро прожитом, не то ожиданием какой-то близко грядущей улады, потому что часами сидела, устремив взгляд на телефон. Вид у нее был блаженно отсутствующий, будто она нежилась в хвойной ванне, но когда фыркнул телефон, рука ее хищно металась к трубке и Верванна не говорила, а почти пела — «вас слушают» (К. Воробьев).*

Негативную реакцию субъекта вызывает «телефонозависимость» — отсутствие звонка и связанное с ним нарушение плана действий, как в рассказе В. Шлангбаума «Телефонный звонок» или стихотворении Ю. Левитанского «Часы и телефон...». Напротив, факт телефонного звонка вызывает положительную эмоциональную реакцию второго абонента. В рассказе В. Шлангбаума эта реакция так сильна, что герой умирает, при этом его последние слова — *Я счастлив, черт подери!!!* Р. Тименчик отмечает, что для художественного дискурса характерно осмысление телефона как символа смерти (1988, 156).

Фактором негативного эмоционального осмысления телефона является также коммуникативная оккупация — незапланированность телефонного звонка, который вопреки воле второго абонента бесцеремонно «врывается» в его коммуникативное пространство. В связи с этим М. МакЛюан пишет о разрушении границы между личной и общественной сферами жизни (McLuhan 2004, 346сл.).

По данным У. Ланге (Lange 1989b, 172), 50 % респондентов (исследование проводилось в 80-е годы прошлого века в Берлине) призналось, что нуждалось бы в существовании своего рода «коммуникативного фильтра», позволяющего блокировать нежелательные телефонные звонки. Угроза, которую чувствует пользователь со стороны телефона, состоит в том, что роль субъекта при этом остается пассивной, зависимой от чужой воли, абонент должен, иногда вопреки планам поведения, незамедлительно ответить на телефонный звонок. Классическим примером негативной реакции на телефонную агрессию является стихотворе-

ние «телефонененавистника» (Супрун 2001, 63) К. Чуковского «Телефон»:

*И такая дребедень  
Целый день:  
Динь-ди-лень,  
Динь-ди-лень,  
Динь-ди-лень!  
То тюлень позвонит, то олень.*

Ср. подобные примеры:

*А спустя десять лет утром меня поднял с постели телефонный звонок* (В. Тендряков).  
*Неторопливую, перемешанную воспоминаниями их беседу за питьем чая в служебном кабинете генерала прервал телефонный звонок* (Ю. Бондарев).  
*Они впервые отправились в маленькое путешествие всей семьей, у них прекрасная каюта-люкс, издали доносится музыка, их не достигнет здесь ни телефонный звонок, ни внезапный наскок доброго знакомого...* (Ю. Нагибин).  
*Nie uciekłem od polityki, tylko przed dziennikarzami. Popłynąłem w rejs, gdzie nie musiałem odbierać telefonów* („Angora”. 2001/9).

Негативная эмоциональная оценка телефона может быть и совершенно окказиональной, возникающей на основе ассоциативной связи или обусловленной психической установкой субъекта, например:

*Вереванне, как я замечал, все трудней и трудней приходилось переносить мое присутствие. Сам я тоже через силу терпел сладкий дух не то пудры, не то раздавленной земляники, теплыми волнами исходивший от нее. Меня раздражали ее толстые голые локти, ленивые эмалевые глаза, неспособные удивляться [...] Бесил, наконец, телефон на ее столе, — он не звонил, а мурлыкал, как сытый кот: наверно, чашка звонка была заправлена ватой* (К. Воробьев).

У. Ланге (Lange 1989b, 171) указывает, что существуют возрастные стереотипы эмоционального переживания телефонного звонка: у стариков телефон ассоциируется с «плохими новостями», у молодежи — с освобождением от скуки (*relief from boredom*). Существуют и другие эмоциональные стереотипы: например, в 40-50-е гг. XX в. телефонный аппарат белого цвета считался признаком комфорта и роскоши (Beck 1989, 66). Подобной коннотацией обладал домашний телефон также в советской культуре, ср. ироническую реплику А. Паса:

*Писателю обещали поставить телефон, как только он станет инвалидом первой группы* («Литературная газета». 1970/37).

### 3. Символика телефона на уровне значений слотов

Процессы художественного профилирования фрейма наблюдаются также на уровне значений слотов — в зависимости от мотивирующего контекста происходит предпочтение одних значений и функциональное элиминирование других. Таким образом возникает второй план символической семантики телефона — неслучайно Л. Клеберг (2007, 362) пишет о телефоне как о факторе, создавшем «его дискурсивные формы и мифы, различные в различных конкретных сообществах».

Рассмотрим несколько наиболее характерных примеров такой актуализации значений.

#### 3.1. Интимность

Ваш Галина хвостик вкусный  
в твердый кинем подстаканник  
голосок Галины грустный  
мы услышим в телефон

Д. Хармс

Прежде всего следует обратить внимание на реализационные характеристики слота «тема». Художественное профилирование фрейма ТЕЛЕФОН, как уже указывалось, отличается подчеркнутым вниманием к человеку и сфере человеческих отношений, поэтому в художественных текстах обычно нейтрализуются значения вне этой сферы. Широко распространенная в лирической поэзии тема телекоммуникации — любовные или, шире, интимные отношения абонентов, ср. стихотворения Б. Слуцкого «Триада по телефону», А. Вознесенского «Автомат», Е. Рейна «Баллада ночного звонка», А. Кушнера «Разговор» и др. (на это символическое значение, в частности, указывает В. Руднев — 1997, см.: Клеберг 2007, 371). Устойчивым эротическим символом является телефон в массовой культуре, например, в так называемой «популярной песне».

Симптоматично, что швейцарская фирма «Skim» запроектировала эксклюзивную одежду (свитера по 134 USD и кожаные куртки по 350 USD) с вышитыми номерами телефонов или адресами электронной почты владельцев, главным образом, женщин, которые пожелали именно таким способом установить сексуальный контакт с мужчиной.

Другой интересный пример: в «Словаре афоризмов, литературных, публицистических и фольклорных контекстов» А. Виндгольца (2000) в статье «Телефон» имеется отсылка к статье «Женщина».

Один из стереотипов телекоммуникации — зависимость между, с одной стороны, дистанцией и, с другой стороны, темой и целью: чем больше дистанция между коммуникантами, тем слабее интерактивная и сильнее экспликативная (экспрессивная) функция телефона. Телефонное общение между шефом и сидящей через стену в приемной секретаршей носит сугубо официальный и деловой характер (фатическое общение по телефону — в силу доступности прямого визуального контакта — было бы в этой ситуации неестественным):

*Тимур Тимурович наклонился над телефоном и нажал какую-то кнопку.  
— Сонечка, пожалуйста, четыре кубика, как обычно, — сказал он в трубку  
(В. Пелевин).*

Однако при значительном удалении коммуникантов друг от друга естественность их фатического и вообще неинтерактивного телефонного общения возрастает. Характерным примером является проанализированное выше стихотворение В. Луговского «На переговорной», содержание которого никак не ангажировано во взаимодействие коммуникантов.

Указанная зависимость связана с тематической ориентацией телефонной символики: эротическая и, шире, социативная тематика телефонной связи сопровождается в лирической поэзии мотивом значительной взаимной удаленности субъектов, их разобщенности, невозможности физического контакта, ср. характеристики коммуникантов у Цветаевой: *незрячая и незримый* (Л. Клеберг, со ссылкой на А. Хана, пишет, что параметры телекоммуникации «развеществляют, деформируют и умерщвляют исходную живую коммуникативную ситуацию», см.: 2007, 362). Ср. характерные поэтические реакции:

*Я давно не верю в телефоны,  
В радио не верю, в телеграф...* (А. Ахматова)

*Не мила мне  
С давних пор  
Телефонизация.  
Телефонный разговор  
Дружбы профанация* (Н. Доризо).

В обыденной коммуникации, как пишут исследователи, если лицо, с которым мы разговариваем по телефону, нам не известно, то нам важно знать, кого оно представляет — фирму, учреждение, группу лиц и т.д. — каким-либо образом мы должны его идентифицировать (Hermann/Grabowski 1994, 468). Поэтика же телефона базируется, в основном, на ситуациях, в которых подобная идентификация отсутствует.



Семантика разобщенности коммуникативных партнеров может усиливаться значением их немонотонного окружения, например, в ситуации, когда звонящий пользуется телефоном-автоматом, а адресат — домашним телефоном. Примером осмысления подобной ситуации телеобщения является песня Ю. Визбора «Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня...». При этом подчеркивается несовместимость пространства звонящего (улица, телефонная станция) с пространством адресата (домашняя квартира), что, в свою очередь, является основой дальнейших семантических импликаций.

Таким образом, на эротическую символику телефона накладывается уже упомянутая символика псевдообщения, поэтому телефон в художественном дискурсе практически никогда не ассоциируется со счастливой любовью и психологической гармонией в отношениях коммуникантов. Эту семантику воплощает в себе известное *начинать каждый вечер с нуля* из песни В. Высоцкого «07». Мотив «телефонной драмы», как отмечает Р. Тименчик (1988, 158 и сл.), в первой половине XX в. воплощен в термине *телефониада*.

Ярким примером такой символики является повесть К. Воробьева «Вот пришел великан...», в которой многочисленные телефонные разговоры героев — своего рода суррогат естественного интимного общения мужчины и женщины. Телефонную будку, из которой главный герой Кержун звонит любимой женщине, он называет *своей* — это едва ли не единственное место интимной, духовной связи героев. Следует отметить, что эротическая символика телефонной будки является устойчивой:

*На каждом холме она разыгрывала блудницу, а иногда и в телефонных будках и в клозетах* (Г. Миллер, пер. Г. Егорова).

С этой точки зрения заслуживает внимания заметка в польском еженедельнике «Angora» (2001/34), в которой сообщается о том, что голландская фирма «KPN Telecom», торгующая мобильными телефонами, предложила своим клиенткам... эротические вибраторы — при условии, что они заключат договор с фирмой до конца текущего месяца.

Приведенный в разделе 2.1 диалог — одна из центральных сцен в повести Воробьева. Герой звонит из телефонной будки, в половине третьего ночи, после значительного количества выпитого «очень схожего с марганцовкой» сухого вина. «Беспутность» разговора и сюрреализм всей ситуации (а после еще следует драка, и герой попадает в больницу) не только обнажают чувства главного героя, но и подчеркивают трагизм всей любовной истории, которая не вписывается в социальный и (широко понимаемый) идеологический контекст.

### 3.2. Русский человек на *rendez-vous*

Другим стереотипом художественного профилирования телефона является согласование значений слотов «первый абонент», «второй абонент» и «социальный контакт». Как отмечалось в предыдущем разделе, телекоммуникация представляется в художественных текстах как часть интимных, любовных отношений. Социологи отмечают, что телекоммуникация обычно осуществляется в рамках уже существующих социальных отношений, вероятность разговора с незнакомцем по телефону примерно в два раза меньше, чем вероятность разговора “face-to-face” (Lange 1989a, 37).

Соответствующие роли в рамках интимных отношений обуславливают гендерные характеристики коммуникантов. В связи с этим следует отметить три закономерности: во-первых, участниками телекоммуникации обычно являются разнополые субъекты; во-вторых, в тексте обычно представлена мужская точка зрения, что, видимо, объясняется частичной идентификацией автора-мужчины и героя. Подобно тому, как в наскальных рисунках палеолита преобладают изображения женщин над изображениями мужчин, изображения «чужих» над изображениями «своих», изображения животных над изображениями человека (Топоров 1972, 88), в поэтических текстах актуализируются оппозиции:

мужчина — женщина  
свой — чужой  
человек — животное

В стихотворении К. Чуковского «Телефон» наблюдатель находится в пространстве человека, ср. *У меня зазвонил телефон*, животные же находятся «на том конце связи».

В-третьих, в фокусе рассмотрения обычно находится коммуникативная ситуация второго абонента: лирический герой мужчина разговаривает с позвонившей ему женщиной (как в стихотворении А. Кушнера «Разговор»), бездействует и «томится» в ожидании телефонного звонка (как в стихотворении Ю. Левитанского «Часы и телефон...») или же пытается раскодировать личность позвонившей незнакомки (как в стихотворениях А. Вознесенского «Автомат» или Е. Рейна «Баллада ночного звонка»). Таким образом, если в массовом культурном семиозисе закодированы корреляции «мужской» — «активный», «женский» — «пассивный» (Иванов/Топоров 1974, 259), то в художественном профилировании телефона, скорее всего, наоборот — отражена инфантильность мужского персонажа и активность (нередко остающейся за кадром) героини.

В определенной степени к данной категории относится и ситуация «телефонного секса» (Schindler 1996, 237), хотя инициатором телефонного контакта здесь является мужчина.

В этом, видимо, проявляется пресловутый синдром «русского человека на randevу» (название статьи Н. Г. Чернышевского). Вспомним и другого классика русской литературной критики — Н. А. Добролюбова (речь идет о романе И. С. Тургенева «Накануне»):

Елене именно нужно было, чтобы явился человек не нумерованный и не выжидающий себе назначения, а самостоятельно и неодолимо стремящийся к своей цели и увлекающий к ней других [...] И еще хотят, чтобы он (Инсаров. — А. К.) был русским! «Нет, он не мог бы быть русским!», — восклицает сама Елена в ответ на явившееся было сожаление, что он не русский. И действительно таких русских не бывает, не должно и не может быть (1976, 193).

Впрочем, данное явление характерно также для польской художественной культуры, ср. стихотворение П. Песчиньского «Стихи»:

*Późny grudzień. Poniedziałek. Dzień  
dobry na atak żalobnej depresji:  
nikogo obok, pogoda pod bezdomnym  
psem, jakby Ktoś w niebie szorował  
podłogi, brudnoszare, wyżywał  
szmaty. Ale ty zadzwoniłaś krótko  
po dziewiątej i światło przemiany  
wpuściłaś do środka: w camera obscura  
poharatanej w miłosnej kraksie duszy.  
Tylko zadzwoniłaś i już wyjrzało  
słońce. Rozkwitło, rozpromieniło,  
rozśpiewało się (bo ty zadzwoniłaś)  
słońce.*

С другой стороны, заполнение позиции первого абонента женским персонажем можно объяснить и начавшейся в XX в. феминизацией и профанизацией техники, ср.:

*Женщина не каждый свой вздох описывает подругам по телефону, но почти каждый (Л. Петрушевская).*

По наблюдениям социологов (Schadeboth et al. 1989, 105сл.), женщины (как работающие, так и домохозяйки) в частных разговорах пользуются телефоном чаще, чем мужчины, что объясняется большей коммуникативной активностью «прекрасного пола». Ср. характерный, отражающий эту тему анекдот:

— *Трудно поверить!* — обращается отец к своей дочери, которая обычно целыми часами разговаривает по телефону. — *Сегодня ты говорила только 15 минут!*

— *Просто кто-то по ошибке набрал другой номер...*

В литературе также отмечается, что телекоммуникативная практика мужчин носит преимущественно деловой, а практика женщина — личный характер (Lange 1989a, 32).

### 3.3. Криптитивная функция телефона

Слот «свидетели» обычно реализуется в значении ‘отсутствуют’, что соответствует интимному характеру телефонного разговора, в котором принимают участие два человека (хотя демонстративная модель Г. Белла работала с одним отправителем и тремя слушающими, что в дальнейшем легло в основу радиокоммуникации). Впрочем, в отдельных случаях появляются свидетели со стороны агента, со стороны пациента или скрытые свидетели, например:

*Ольга [...] подслушивала чужие разговоры о себе, что, кстати, делать очень вредно и ведет к психическим отклонениям, так ей советовала подруга Зоя, приводя в пример Сталина, который тронулся разумом на отводной телефонной трубке, слушая что о нем говорят соратники (Л. Петрушевская).*

Участники телекоммуникации учитывают возможность существования скрытых свидетелей и подслушивание, в таких случаях разговор может маркироваться как *нетелефонный* — т.е. содержащий информацию, предназначенную исключительно для адресата. Собственно, реплика

*Это — нетелефонный разговор*

является сигналом прекращения телефонной связи или изменения темы. Однако во многих случаях ни первое, ни второе невозможно (или нежелательно), тогда говорящие прибегают к иносказанию. *Т е л е ф о н н ы й э з о п о в я з ы к* — относительно распространенное явление, в особенности в такой социальной ситуации, как «любовный треугольник». Иносказание используется обычно для того, чтобы скрыть личность одного из абонентов и цель, тему разговора. Неоднократно этот прием применяется в повести К. Воробьева «Вот пришел великан...»:

*По тому, как Ирена поспешно, четко и приветливо сказала мне «здравствуйте, Владимир Юрьевич» (в действительности героя зовут Антон Павлович. — А. К.), я понял, что там в квартире есть кто-то чужой, кому не надо знать,*

кто звонит.

— Я, наверно, тот художник-старик, что оставил тебе под стеклом записку?

— спросил я.

— Да-да, — засмеялась она. — Я нашла вашу записку, Владимир Юрьевич. Спасибо, что надумали позвонить. Как здоровье Анны Трофимовны?

— Толстеет неизвестно с чего, — сказал я.

— Передайте ей, пожалуйста, мое почтение, — сказала Ирена. Она говорила весело, почти озорно и совсем безопасно.

— У тебя сидит эта вальяжная ступа? — спросил я о Вереванне.

— Да-да.

— Я ее терпеть не могу! — сказал я.

— Тоже самое и там, — ответила Ирена. — Погода одинаковая, только в Кисловодске еще жарче. И устойчивей.

— Она сказала, что я дурак и самовлюбленный пижон, — пожаловался я.

— Эту новость я уже слышала, Владимир Юрьевич... Очень прискорбно, конечно.

— Я хочу тебя видеть, — сказал я.

— Непременно, Владимир Юрьевич. Звоните иногда.

— Через час, ладно? — сказал я.

— Да-да. Не забудьте поклониться от меня Анне Трофимовне.

— Гони скорей эту корову вон! — посоветовал я.

— Вы очень добры, Владимир Юрьевич... До свидания, — сказала Ирена.

Иносказание относится к проявлениям более общей криптотивной функции телефона, в основе которой лежит отсутствие прямого визуального контакта участников телекоммуникации. Ср. характерный пример камуфлирования адресата в пьесе (и в популярном кинофильме) А. Володина «Осенний марафон»:

*Бузыкин положил трубку.*

*— Веригин звонил из издательства. Все торопят, торопят...*

*Нина. А тебе не показалось, что у него женский голос?..*

*Бузыкин. Он через секретаря разговаривал. Через секретаришу...*

Существование только одного — аудиального канала связи позволяет звонящему ввести адресата в заблуждение, как, например, в фильме Г. Данелия «Я шагаю по Москве» (по сценарию Г. Шпаликова). Для этого дополнительно используются наброшенный на трубку платок, кулак, модуляции голоса и др.:

*Я набрал номер рабочего телефона Ирены, но после третьего гудка отозвалась Вереванна. Отключаться молча я не решился и спросил через кулак, когда приезжать за бочками.*

*— Каким еще бочками! Это издательство, — суматошно ответила она. Я сказал, что впервой слышу про такую контору и повесил трубку (К. Воробьев).*

*Книги были такой же его страстью, как и женщины, и времени книги требовали не меньше, чем они: сколько раз он старательно, вкладывая в голос всю нежность, на которую был способен, врал по телефону, чтобы только увильнуть от очередного свидания [...] (Н. Шмелев).*

Реализации криптотивной функции телефона способствует плохое качество связи, вызывающее трансформации голоса и проблемы с идентификацией абонента (примеры частично заимствованы у Р. Тименчика):

*Телефон будто усиливал его всегдашний грузинский акцент (А. Бек).*

*И слышу мягко зашлушенную // Я вашу речь, как сквозь туман (Л. Пеньковский).*

*Дачный телефонный аппарат был старый, с вращательной ручкой, — и между ним и Машенькой было верст пятьдесят гудящего тумана (В. Набоков).*

*В трубке шуршал его голос, точно он говорил через бумагу (Р. Ивнев).*

#### 4. Заключение

Подобно тому как поэтическая форма представляет собой определенное отрицание общелитературного языка, поэтическая семантика во многом базируется на отступлении от конвенциональных эпистемических норм (этнически маркированных или немаркированных), иными словами, на отступлении от обыденности, от того, «как бывает». Может быть, именно к художественному творчеству приложимо высказывание Н. Амосова: «Человеческий ум добивается бóльших успехов, создавая новые формы, чем копируя природу».

Поэтическая символика телефона, как и символика любого другого типа, основана на том, что одни элементы семантического гештальта выдвигаются на первый план, становятся доминирующими, тогда как другие «зашториваются», становятся функционально нерелевантными. Так создается художественное профилирование телефона — ряд его символических значений, регулярно культивируемых в художественном дискурсе. В качестве подобных стереотипных образов телефона следует, прежде всего, отметить образ персонифицируемого эмотивного фактора, обычно вызывающего отрицательное психологическое состояние реципиента, образ разлуки, ожидания и псевдообщения, образ «неразделенной», «безответной» и т.д. любви, образ коммуникативной оккупации и вмешательства в «личную жизнь», образ женской коммуникативной активности и инфантильности мужчины.

С развитием телекоммуникации меняется и ее художественное переосмысление. Так, если традиционный телефон ассоциируется с фиксированным и известным звонящему местом второго абонента (это определяется дополнительной маркировкой номера — «служебный телефон» или «домашний телефон»), то с появлением сотовых телефонов (так называемых «мобильников») второй абонент «ускользает» — его местонахождение уже нельзя определить ссылкой на реквизиты. В этом случае, с одной стороны, телекоммуникация становится более естественной, потому что исчезают определенные «технические» ограничения связи, но, с другой стороны, поскольку места абонентов не фиксированы, телекоммуникация становится еще более условной. Ср. отражающий эту ситуацию анекдот:

*Надоел мужику кот.*

*Взял он его, посадил в сумку, отвез подальше, бросил. Но кот вернулся. И так несколько раз. Наконец мужик решил довести его поглубже в чащу. Отвез, бросил, а весь обратный путь вилял и запутывал дорогу. В конце концов сам заблудился. Звонит домой жене:*

— *Слушай. Кот пришел?*

— *Пришел.*

— *Ну-ка, позови его к телефону...*

Нет сомнений, что эти и другие особенности современной передачи речи на расстоянии найдут отражение в художественной литературе, а значит, появится и новая символика телефона, которая, можно надеяться, станет предметом новых исследований.

## Литература

- Баранов, А. Н./Добровольский, Д. О. (1997), *Постулаты когнитивной семантики*. В: *Известия РАН. Серия литературы и языка*. 56/1, 11–21.
- Виндгольц, А. (2000), *К слову сказать. Словарь афоризмов, литературных, публицистических и фольклорных контекстов*. Москва.
- Выготский, Л. С. (1982), *Собрание сочинений. Т. 2. Проблемы общей психологии*. Москва.
- Земская, Е. А./Капанадзе, Л. А. (ред.) (1978), *Русская разговорная речь. Тексты*. Москва.
- Иванов, Вяч. Вс./Топоров, В. Н. (1974), *Исследования в области славянских древностей*. Москва.
- Киклевич, А. К. (1999), *Лекции по функциональной лингвистике*. Минск.
- Киклевич, А. К./Потехина, Е. А. (1998), *О суггестивной функции текста*. В: Мишланов В. А. и др. (ред.). *Фатическое поле языка. Памяти профессора Л. Н. Мурзина*. Пермь, 114–126.
- Клеберг, Л. (1997), *К семиотике телефона*. В: Hellmann, В./Huttunen, Т./Obatnin, G. (red.), *Varietas et concordia. Essays in Honour of Professor Pekka Pesonen*.

- On the Occasion of His 60th Birthday. Helsinki, 362–378.
- Красных, В. И. (1993), *Русские глаголы и предикативы. Словарь сочетаемости*. Москва.
- Кубрякова, Е. С./Демьянков, В. З./Панкрац, Ю. Г./Лузина, Л. Г. (1996), *Краткий словарь когнитивных терминов*. Москва.
- Максапетян, А. Г. (1990), *Каузация. Лингвистические и экстралингвистические аспекты*. Ереван.
- Осуга, С. (1989), *Обработка знаний*. Москва.
- Петров, Ф. Н. (ред.) (1981), *Словарь иностранных слов*. Москва.
- Пуанкаре, А. (1990), *О науке*. Москва.
- Руднев, В. (1997), *Словарь культуры XX века*. Москва.
- Сендерович, С. Я./Шварц, Е. М. (1999), *Закулисный гром: о замысле Лолиты и о Вячеславе Иванове*. В: *Wiener Slawistischer Almanach*. 44, 23–47.
- Соболева, Л. И. (2001), *Некоторые результаты количественного анализа параметров номинации личности в туровских говорах*. В: Киклевич А. К. (ред.). Паланістыка — Полонистика — Polonistyka 2000. Мінск, 143–152.
- Степанов, Ю. А. (ред.) (1955), *Краткий политехнический словарь*. Москва.
- Супрун, А. Е. (2001), *Исследования по лингвистике текста*. Минск.
- Тименчик, Р. Д. (1998), *К символике телефона в русской поэзии*. В: Труды по знаковым системам. Вып. 20. Тарту, 155–163.
- Топоров, В. Н. (1972), *К происхождению некоторых поэтических символов (палеолитическая эпоха)*. В: Ранние формы искусства. Москва, 77–103.
- Уэно, Х./Исидзука, М. (ред.) (1989), *Представление и использование знаний*. Москва.
- Фрэзер, Д. Д. (1986), *Золотая ветвь*. Москва.
- Bartmiński, J./Niebrzegowska, S. (1998), *Profile a przedmiotowa interpretacja świata*. В: Bartmiński J./Tokarski R. (ред.), *Profilowanie w języku i w tekście*. Lublin, 211–223.
- Baumgartem, F. (1989), *Psychologie der Telefonierens*. В: Forschungsgruppe Telefonkommunikation (ред.). *Telefon und Gesellschaft*. Bd. 1. Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Berlin, 187–196.
- Beck, K. (1989), *Telefongeschichte als Sozialgeschichte: Die soziale und kulturelle Aneignung des Telefons im Alltag*. В: Forschungsgruppe Telefonkommunikation (ред.). *Telefon und Gesellschaft*. Bd. 1. Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Berlin, 45–75.
- Hermann, T./Grabowski, J. (1994), *Sprechen. Psychologie der Sprachproduktion*. Heidelberg — Berlin — Oxford.
- Höflich, J.-R. (1989), *Telefon und interpersonale Kommunikation — Vermittelte Kommunikation aus einer regelorientierten Kommunikationsperspektive*. В: Forschungsgruppe Telefonkommunikation (ред.). *Telefon und Gesellschaft*. Bd. 1. Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Berlin, 197–220.
- Kiklewicz, A. (1996), *O niektórych zasadach komunikacji powszedniej (na materiale polskich i rosyjskich wyrażen ilościowych)*. В: Norman B. i in. (ред.). *Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowych i tekstowych*. Siedlce, 105–118.
- Kiklewicz, A. (2004), *Znaczenie i konceptualizacja w semantyce kognitywnej*. В: *Prace Językoznawcze*. VI, 41–58.



- Lange, U. (1989a), *Telefon und Gesellschaft — Eine Einführung in die Soziologie der Telefonkommunikation*. B: Forschungsgruppe Telefonkommunikation (ред.). Telefon und Gesellschaft. Bd. 1. Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Berlin, 9–44.
- Lange, U. (1989b), *Von der ortsgebundenen “Unmittelbarkeit” zur raum-zeitlicher “Direktheit” — Technischer und sozialer Wandel und die Zukunft der Telefonkommunikation*. B: Forschungsgruppe Telefonkommunikation (ред.). Telefon und Gesellschaft. Bd. 1. Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Berlin, 1989b, 167–186.
- McLuhan, M. (2004), *Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka*. Warszawa.
- Rammert, W. (1989), *Der Anteil der Kultur an der Genese einer Technik: Das Beispiel des Telefons*. B: Forschungsgruppe Telefonkommunikation (ред.). Telefon und Gesellschaft. Bd. 1. Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Berlin, 87–96.
- Rollka, B. (1989), „*Nachts ging das Telefon*”. *Das Telefon in der Unterhaltungsliteratur unter besonderer Berücksichtigung des Kriminalromans*. B: Forschungsgruppe Telefonkommunikation (ред.). Telefon und Gesellschaft. Bd. 1. Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Berlin, 309–329.
- Schadeboth, E. et al. (1989), *“Der kleine Unterschied” — Erste Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Berliner Haushalten zur Nutzung des Telefons im privaten Alltag*. B: Forschungsgruppe Telefonkommunikation (ред.). Telefon und Gesellschaft. Bd. 1. Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Berlin, 101–115.
- Schindler, F. (1996), *Liebe, Sexualität und Sprache in Rußland*. B: Schindler, F. (ред.), Linguistische Beiträge zur Slavistik. München, 232–249.

## СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АСПЕКТОВ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА\*

На то мы и просвещенное общество,  
что чтим непонятное.

Андрей Битов

И все промолчали, не понимая значе-  
ния ее речи...

Андрей Платонов

### 1. Введение

Исследования в области понимания текста (далее — ПТ) в первой половине XX века проводились, главным образом, в рамках психологической проблематики *readability/Lesbarkeit* — «читабельности» текста, в конце же 70-х годов разработкой этой темы серьезно занялись лингвисты. Современное состояние теории ПТ позволяет говорить о ней как о глубоко разработанной научной дисциплине, которая включает несколько разделов, представлена рядом фундаментальных теорий, таких, как (см.: Habermas 1985, 1986; Biere 1991; Terhorst 1995 и др.):

1. теория циклов
2. теория стратегий
3. теория сценариев
4. интерактивная теория и др.

Данная статья представляет собой попытку систематизации важнейших понятий теории ПТ с позиций функционально-семантического подхода.

### 1. Объекты понимания

Сущность понимания заключается в процедуре транспозиции структуры и, главное, функций объекта, в его моделировании, т.е. перенесении в

---

\* Первая публикация: *Опыт систематизации аспектов понимания текста*. В: *Русский текст*. 2001/6, 5–38. Здесь публикуется в расширенном варианте.

другую субстанциональную среду. В зависимости от отношения к коммуникации можно различать два вида понимания:

1. коммуникативное и
2. некоммуникативное

При коммуникативном понимании объектом восприятия, идентификации и интерпретации является текст — в форме того или иного языка. Другими словами, коммуникативное понимание — это реконструкция смысла, закодированного в форме и структуре высказывания/текста как инструмента социальной интеракции.

В современных исследованиях ПТ трактуется как ментальная репрезентация, при которой учитываются установки реципиента, функции текста в социальной среде, включенность текста в интерактивный контекст и др. (Heinemann/Wiehweger 1991, 117). С функционально-семантической точки зрения ПТ выступает как психическая (в особенности интеллектуальная) переработка текстовой информации.

Экспликативные формы презентации текстовых функций реализуются в виде отдельных языковых знаков того или иного формата либо в виде операций со знаками (например, их дублирования). Импликативное выражение текстовых функций осуществляется с помощью нулевых форм (которые обычно обусловлены актуализацией конситуации или контекста), а также с использованием значений других знаков.

Что касается набора подлежащих интерпретации основных функций текста, то он может быть получен в результате системного логического исчисления, в основе которого лежит структура коммуникативного акта (Kiklewicz 1998, 158; 2004, 48):

1. коннотативная / стилистическая функция
2. интерактивная / иллюкутивная функция
3. импликативная функция
4. юнктивная функция
5. интерпретативная функция
6. номинативная функция

При некоммуникативном понимании речь идет о познании мира, о ментальном воспроизведении наблюдаемых явлений и событий. При этом понимание выступает либо как гносеологический феномен — субстантивация, категоризация, концептуализация мира (того или иного из множества возможных миров), либо как эмпатический феномен — восприятие иного «внутреннего мира», сопереживание, перенесение себя в состояние другого. В каждом из этих случаев мы имеем дело с вторичной коммуникативностью (ср. «общение с воображаемым партнером» у М. С. Кагана — 1988, 199), которая состоит в «распредмечивании» мира, раскрытии «смыслового потенциала вещей» (Крымский 1982, 38) или, как пишет Э. Г. Аветян (1989, 240сл.), при

условии реализации в субъекте «тайны мира»: «Субъект — место рождения новой действительности». Впрочем, элементы эмпатического восприятия встречаются и при коммуникативном ПТ, ср. фрагмент из пьесы В. Казакова «Ошибка живых»:

*М*

*Я стоял, как всегда погруженный в задумчивость. Мимо меня стояли дома, проходили люди. Вдруг один из них — из домов и из людей, привлек мое внимание и поразил меня. Это был прохожий лет XXX — XXXIX, он был неправдоподобно бледен, но мгновениями становился бледнее самого себя...*

*Н*

*Я слушаю вас так внимательно, что сам начинаю бледнеть [...]*

*Наездница*

*Проклятье! У меня от ваших реплик в горле запершило...*

Понятие эмпатии занимает центральное место в концепции С. Куно (Куно 1987). Под эмпатией понимается идентификация говорящего с лицом или не-лицом, принимающим участие в событии, которое описывается текстом. Благодаря такой идентификации формируется перспектива события, которая отражается в соответствующем оформлении текста. Так, считает Куно, в высказываниях с активной формой глагольного сказуемого говорящий идентифицирует себя с субъектом (первым аргументом), а в высказываниях с пассивной формой глагола — с объектом (вторым аргументом). Впрочем, П. Шлобинский (Schlobinski 1996, 237) совершенно справедливо указывает на то, что, помимо эмпатической иерархии, при восприятии текста актуализируются также многие другие факторы.

Коммуникативное и некоммуникативное понимание — не жестко детерминированные категории, в их отношениях есть элементы общности. При ПТ, как пишет Т. А. ван Дейк (van Dijk 1980, 160сл.), действуют общие принципы понимания и восприятия информации, с другой стороны, понимание — это лишь один из нескольких видов обработки текста. Так, ПТ в некоторых прагматических теориях, которые восходят к работам позднего Л. Витгенштейна, рассматривается как правильное участие в языковой игре, оно равнозначно знанию того, как следует употреблять текст и как на него реагировать (Bublitz 1994, 35сл.). В своей «практической семантике» Х. Герингер (Geringer 1974, 108) определяет ПТ как его соотнесение с конвенциональными образцами языковых действий. Ср. пример и н ф е р е н ц и и некоммуникативного понимания при ПТ:

Учитель

[...] *Можете ли вы сказать мне, мадемуазель, Париж — это столица...*

Ученица (думает мгновение, потом радостная, что узнает)

*Париж — это столица... Франции?*

Учитель

*Ну да, мадемуазель, браво, но это же чудесно, это изумительно. Примите мои поздравления. Вы знаете географию нашей страны как свои пять пальцев [...]*

Ученица

*Снег падает зимой. Зима — это одно из времен вода. Три остальных — это... э-э... вес...*

Учитель

*Что?*

Ученица

*...на, потом лето... и... э-э...*

Учитель

*Начинается как омнибус.*

Ученица

*Да, осень.*

Учитель

*Прекрасно сказано, изумительно. Я убеждаюсь, что вы хорошая ученица. Вы делаете успехи, вы умны, вы кажетесь мне образованной, у вас хорошая память (Э. Ионеско, «Урок»).*

При понимании данного текста мы не только декодируем его собственно языковое содержание, но и анализируем речевые действия отдельных персонажей, а также лежащие в их основе психологические установки, в чем и проявляются элементы невербального понимания. К примеру, читатель может оказаться неспособным идентифицировать действия Учителя с какой-либо из известных ему схем поведения — в частности, согласиться с высокой оценкой знаний Ученицы. Чтобы найти соответствующую схему поведения, читателю необходимо расширить круг возможных интерактивных (дискурсивных) миров, т.е. коммуникативных сфер и ситуаций — например, принять во внимание возможный мир «Любовь», ср. интерпретации.: «Понятно, почему Учитель высоко оценил ответ Ученицы — просто он в нее влюблен».

Наконец, поскольку мы имеем дело с художественным текстом, читатель может обратиться к реконструкции возможных миров автора, ср.: «Понятно, почему Учитель так высоко оценил ответ Ученицы — автор текста просто дурачит читателя, сознательно нарушает нормы социального взаимодействия, чтобы вызвать комический эффект». Во всех этих возможных интерпретациях (а их можно продолжить) ПТ сопутствует некоммунитивное понимание — интерпретация намерений речевых субъектов, интерпретация тех суперзнаков, по отношению к которым данный текст выступает как субзнак, интерпретация действий, которые осуществляются посредством текстовой деятельности и др.

Коммуникативные (семиотические) и некоммунитивные (несемиотические) объекты понимания интегрируются в рамках герме-

невтического подхода, в соответствии с которым понимание — общая категория осмысления любых форм человеческой деятельности (Гусев/Тулъчинский 1985, 30).

## 2. Ранги понимания

Можно выделять два ранга ПТ:

1. пассивное и
2. активное понимание

Первая, более традиционная трактовка ПТ предполагает, по определению А. Е. Супруна, «точное (в пределах допустимых колебаний) воссоздание принимающим того содержания, которое вкладывал передающий» (1980, 13; ср. также: Жинкин 1982, 80). В этом случае основой понимания является тождество/сходство вербальных кодов коммуникантов. Некоторые авторы подчеркивают, что социально значимые элементы коммуникативного процесса, прежде всего — общий языковой код, являются важнейшим фактором эффективности ПТ (Гусев/Тулъчинский 1985, 153) (см. далее).

Существенным признаком пассивного ПТ выступает его г л у б и н а . Диапазон колебаний смысла текста при его восприятии варьируется, в частности, в зависимости от жанра, ср. военную команду, поваренную книгу и лирическое стихотворение — в последнем случае диссипативность смысла заложена в самой природе жанра, ср.:

*Никто меня не поймет —  
и не должен никто понять* (З. Гиппиус).

Но ПТ предполагает также активность адресата, на что указывал еще В. фон Гумбольдт (1984, 77сл.): понимать значит не только декодировать текст по правилам соответствующего языка, но и вовлекать (по Р. Барту — «ангажировать») его в собственную акциональную или ментальную сферу. Подобное толкование понимания содержится в тезисе П. Д. Успенского: «Вы можете понять других настолько, насколько понимаете самих себя и только на уровне вашего собственного бытия» (1990, 442). Ср. также близкую мысль Э. Г. Аветяна: только «в себе — мера понимания другого» (1989, 274). Ср. характерный пример из художественного текста:

*Вольноопределяющийся замолк на минуту, а затем не без ехидства сказал капралу:  
— Этим я хочу сказать, что каждый может попасть в щекотливое положение  
и что человеку свойственно ошибаться.*

*Из всего этого капрал понял только, что ему ставятся на вид его собственные ошибки. Он опять отвернулся к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога* (Я. Гашек. пер. П. Богатырева).

Активность ПТ проявляется в феномене *Texterwartungen* ‘ожидание текста’ (Heinemann/Wiehweger 1991, 260сл.) — адресат еще до акта коммуникации прогнозирует определенные действия, в которых будет использоваться текстовая информация. В этом смысле можно говорить об интенциях речевого адресата. Интенциональность обычно связывают с речевой деятельностью говорящего, тогда как интенции слушающего изучены чрезвычайно слабо, а ведь в коммуникативных актах, особенно — с использованием письменных текстов, намерения адресата исключительно важны, ср. такую знакомую всем ситуацию, как сборка купленного набора мебели, обязательным компонентом которой является изучение соответствующей инструкции.

Активность реципиента проявляется также в селекции текстов в зависимости от их соответствия целям планируемой деятельности, а также в том, что Т. М. Дридзе назвала «вторичной информативностью». Включая текст в мир своей личности, реципиент привносит в него новые, индивидуальные смыслы, выходит за рамки смысла текста (Залевская 1988, 15; Кашкин 1988, 26; Кочергин/Тимофеев 1989, 19; Крымский 1982, 27), что принято связывать с понятием креативности ПТ. Ярким примером такого понимания являются тексты, действительный прагматический эффект которых в семиотическом пространстве культуры не совпадает с замыслом автора, ср. историю «Науки любви» Овидия.

Традиция такой трактовки ПТ в восточнославянской филологии восходит к работам А. А. Потебни, который, в частности, писал: «Говорить значит не передавать свою мысль другому, а только возбуждать в нем его собственные мысли» (1976, 541). В наиболее радикальных прагматических концепциях каждое новое прочтение текста рассматривается как новый текст (Раерске 1990, 137сл.). В качестве примера креативности ПТ рассмотрим отрывок из стихотворения А. Кушнера:

*Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,  
И сам готов кого-нибудь обидеть.  
Но куст тебя заденет, бесноватого,  
И ты начнешь и говорить, и видеть.*

В этом отрывке не может быть незамеченной асимметрия двух оппозиций: *слеп — видеть* и *глух — говорить*. Вторая оппозиция должна бы иметь вид: *глух — слышать*. Только в этом случае может быть сохранен общий для обеих оппозиций конструктивный принцип, ср.:

- слепой — ‘не видит’
- глухой — ‘не слышит’
- немой — ‘не говорит’
- \*глухой — ‘не говорит’

Что же имел в виду автор? То, что говорить предполагает слышать? А может быть — наоборот? А может быть, принималось во внимание фонетическое сходство — совпадение инициальных согласных: *глух* — *говорить*? А может быть, отмеченная нами асимметрия случайна, непреднамеренна? Как бы там ни было, но в тексте потенциально заложено право адресата истолковать его содержание таким или иным образом. Поэтому к тексту, в особенности же — к художественному тексту, применима аксиома «бесконечной семантической валентности» знака А. Ф. Лосева, согласно известному определению которого «значение знака есть знак в свете своего контекста» (еще ранее подобную трактовку предложил и обосновал М. М. Бахтин).

### 3. Уровни понимания

Уровни понимания выделяются в зависимости от видов информации, которая подвергается обработке в процессе восприятия текста адресатом. Об уровнях здесь уместно говорить потому, что разные виды информации иерархически организованы и различаются по степени сложности.

Б. Ф. Поршнев (1979, 151сл.) различал несколько уровней ПТ:

1. фонетический
2. семантический
3. стилистический
4. логический уровни

Согласно М. Бирвишу (1988, 95), текст понимается на четырех уровнях:

1. фонетическом
2. синтаксическом
3. семантическом
4. контекстуальном

Ю. Н. Караулов (1987, 51сл.) различает понимание замысла автора (подтекста), понимание концепции текста и понимание смысла слов текста и их сочетаний. В теории стратегий Т. А. ван Дейка/В. Кинча (1983; см. также: Schade et al. 1991, 20) в процессе понимания выделяются:

1. уровень атомарных пропозиций — интерпретацию исходных семантических единиц: морфем, слов, предложений
2. уровень сложных пропозиций



3. уровень локальной когеренции — интерпретацию семантических структур, образуемых сложными пропозициями
4. уровень макроструктур, на котором осуществляется динамическая репрезентация глубинного содержания текста
5. уровень суперструктур — глобальную репрезентацию текста с учетом когнитивных, эстетических, психологических, социальных и др. факторов

С. С. Гусев/Г. Л. Тульчинский (1985, 139) называет четыре вида герменевтической интерпретации текста, которые включают и уровни понимания собственно текста, и уровни понимания окружающего его социального и онтологического континуума:

1. грамматическая интерпретация — анализ языковой формы текста
2. стилистическая интерпретация — анализ речевого жанра
3. историческая интерпретация — анализ обстоятельств создания и бытования текста
4. психологическая интерпретация — анализ психологических состояний речевого субъекта

С. А. Васильев (1982, 91ссл.) предлагает дифференцировать:

1. уровень перевода
2. уровень комментария
3. уровень толкования
4. уровень методологии текста

В системной концепции ПТ Х. Штронера (Strohner 1990, 132ссл.) рассматриваются:

1. уровень восприятия перцептивной информации — идентификация отдельных компонентов текста как необходимое условие его дальнейшего декодирования
2. уровень восприятия синтаксической информации — структурных отношений между компонентами
3. уровень восприятия семантической информации — многообразных форм отношений текста с миром
4. уровень восприятия прагматической информации — многообразных форм отношения текста к социальной среде

В трактовке М. Хильшер (Hielscher 1996, 72) понимание выступает в трех формах:

1. как реконструкция системы пропозиций
2. как актуализация системы знаний о мире, взаимодействующей с системой языковых знаний
3. как интерпретация интенции говорящего/пишущего

Я намеренно привел около десятка перечней уровней ПТ. Обратим внимание, что здесь нет двух таких списков, которые бы полностью совпадали друг с другом.

В особенности вызывают интерес два аспекта. Первый касается дифференциации двух макроуровней ПТ: обработки «технической» вербальной информации и обработки смысла. Важнейшая цель ПТ, как указывает Т. А. ван Дейк, — получение и сохранение содержательной информации, в частности — связывание содержащихся в тексте пропозиций, конкретная же фонетическая, морфологическая, лексическая и синтаксическая информация — только технические средства для кодирования и декодирования смысла. С. Бублиц (Bublitz 1994, 172 ссл.) последовательно различает *Gesagte* — то, что сказано, и *Gemeinte* — то, что имеется в виду, при этом подчеркивая, что понимание сосредоточено на *Gemeinte*, которое может быть воссоздано реципиентом при анализе *Gesagte*, а также единиц большего объема. Дж. Брансфорд/Дж. Франк (Bransford/Franks 1971) указывают, что предложение обрабатывается так глубоко, пока оно не будет идентифицировано с соответствующей пропозициональной схемой. Поверхностный синтаксис при этой обработке нужен постольку, поскольку с его помощью можно обнаружить «следы» той или иной схемы. Ср. характерную с этой точки зрения художественную сентенцию из пьесы Г. Айха:

*Розита. Трудно говорить то, чего не понимаешь.*

Неслучайно в романе Ф. Достоевского «Бесы», в сцене праздника, прочитанное Липутиным стихотворение воспринимается публикой на уровне замысла (в терминологии прагмалингвистики — иллюкутивной функции), а не на уровне внутренней формы. Достоевский пишет:

*Глупее всего, что многие из них (т.е. зрители. — А. К.) приняли всю выходку патетически, то есть вовсе не за пасквиль, а действительно за реальную правду насчет гувернантки, за стишки с направлением.*

Если в 70-е годы XX века интерес исследователей был, преимущественно, направлен, на внутриязыковую сторону обработки текста, то для современных работ более характерен интерес к внеязыковым аспектам ПТ. Современные «ментальные модели», как пишет У. Христманн (Christmann 1989, 86ссл.), отражают целостный смысл текста, его связь с описываемым положением дел. Языковая интерпретация текста рассматривается лишь как его предпонимание, понимание же в полном смысле слова может быть достигнуто только с учетом контекста (Звегинцев 1968, 253 ссл.; Гусев/Тульчинский 1985, 139; Кочергин/Тимофеев 1989, 80ссл.). Весьма характерно с этой точки зрения следующее высказывание:

Понимание знака выступает [...] в качестве процесса восстановления структуры смысла как структуры определенных в данном знаке программ социокультурной деятельности (Гусев/Тульчинский 1985, 139).

В связи с этим может быть поставлен вопрос о том, представляет ли соответствующая «материальная» реакция адресата отдельный, самостоятельный уровень ПТ. Здесь мы солидарны с А. Венцель (Wenzel 1984, 26), которая подчеркивает, что понимание — ненаблюдаемый процесс, о котором можно судить по его результатам — например, конкретным действиям реципиента, однако сами эти действия являются уже следствием понимания, но не его частью. ПТ — лишь основа, условие успешного взаимодействия коммуникантов. К примеру, адресат декодирует реплику

*Принеси юбку!*

как просьбу, т.е. интерпретирует две важнейшие закодированные в ней функции: номинативную и иллокутивную. При этом о понимании можно говорить и в ситуации, если адресат не выполнит просьбу (или команду) говорящего, потому что прагматический (перлокутивный — по Дж. Остину) эффект текста возникает не только в соответствии с закодированными в нем функциями, но и (наверное, еще в большей степени) в соответствии с планами поведения адресата.

#### **4. Фазы понимания**

Фазовый характер ПТ, пожалуй, не вызывает сомнения ни у кого из специалистов, хотя конкретизация последовательности отдельных этапов у разных исследователей выглядит по-разному. Согласно одной точке зрения, восприятие текста осуществляется в процессе восхождения от частного к общему: от сенсорного восприятия к перцептивному, а на перцептивном уровне — от первичного анализа слова к пониманию мысли (Дридзе/Леонтьев 1976, 29). Интерпретация локутивной функции текста при этом предшествует интерпретации его иллокутивной и перлокутивной функции, а понимание содержательно-фактуальной информации предшествует пониманию содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой информации. Так, Й. Гжесик (Grzesik 1980, 190) считает, что восприятие эстетического содержания текста осуществляется как дополнительная операция, в основе которой лежит сопоставление семантики, формы текста, а также сопутствующих смыслов.

Согласно другой точке зрения, процесс понимания разворачивается в обратном направлении — от общего к частному: сначала извлекается фрейм (схема, скрипт, сценарий, гештальт) текста, а затем он конкретизируется в ходе реконструкции его языкового содержания (Лаккофф 1981, 350 ссл.; ван Дейк 1989, 41 ссл.; Каменская 1990, 136 ссл.).

Ю. М. Лотман (1970, 265) считал, что восприятие информации о жанре, стиле текста и тех художественных кодах, которые реципиент должен активизировать в своем сознании, предшествуют восприятию «сюжетно-мифологизирующей» информации.

Р. Келлер (Keller 1986, 60) отрицает научный подход, в соответствии с которым сначала анализируется значение языкового выражения, а потом его содержание соотносится с обстановкой общения. Наоборот — первоначально интерпретируется функция языковых выражений в системе действий и правил соответствующей языковой игры, и уже на этом фоне конкретизируется содержание знака.

Наконец, данные противоположные точки зрения интегрируются в концепции «герменевтического круга»: толкование макро-структуры осуществляется посредством анализа инфраструктуры и наоборот (Гусев/Тульчинский 1985, 31). При этом по принципу дополнительности взаимодействуют два процесса: прогнозирование целостного смысла текста на основе интерпретации его частей и корректировка смысла отдельных элементов с учетом смысла целого.

Такой интегральный подход характеризует процедурную теорию В. Кинча/Г. А. ван Дейка (van Dijk/Kintsch 1983). При обработке текстовой информации действуют четыре принципа:

1. принцип сегментации — членение текста на единицы меньшего формата
2. принцип категоризации — определение формата единиц текста
3. принцип комбинации — установление линейно-позиционных структур
4. принцип интерпретации — учитывающее принятые конвенции соотнесение единиц текста и отношений между ними с определенными значениями

ПТ в процедурной теории рассматривается как последовательное восстановление адресатом текстовой когеренции — смысловой связности простых и сложных пропозиций, которые выступают как формы репрезентации знаний о положениях дел (ситуациях и событиях). Исследователи подчеркивают, что на ПТ влияет не его номинальный объем — число словоформ, а его семантическая структура, в частности — число пропозиций (Christmann 1989, 44сл.; Sucharowski 1996, 187). Когеренция проявляется в дублировании отдельных компонентов в составе пропозиций (частным случаем которого является кореференция), в содержательном включении одних пропозиций в другие, а также в различных видах логико-семантических связей между ними. Чем выше место пропозиции в иерархической семантической структуре текста, тем выше ее значимость при обработке текста (что доказано экспериментально — Terhorst 1995). При отсутствии или дефиците вербализованной информа-

ции о семантической структуре, образуемой пропозициями текста, адресат может воспользоваться механизмом *инференции* — актуализировать свои внеязыковые знания, в том числе — и предварительные установки. Так генерируются новые пропозиции, которые заполняют пустые места в содержательной структуре текста и обеспечивают его связность.

Первоначально обрабатывается какое-то число пропозиций (зависящее от объема краткосрочной рабочей памяти реципиента, который обычно не превышает семи пропозиций), затем, когда для множества проанализированных пропозиций определяется семантическая структура, начинается очередной цикл: активируется новая порция пропозиций и в процессе обработки устанавливается новая структурная схема. При этом в процессе обработки из рабочей памяти постепенно выбрасываются те элементы, которые не существенны для дальнейшего ПТ.

Таким образом, в теории циклов, а также теории стратегий ПТ рассматривается как сложный процесс, в котором взаимодействуют различные принципы обработки информации. При анализе пропозиций учитывается тип/жанр текста — данная информация иногда воспринимается на этапе, предшествующем непосредственный контакта адресата с текстом (van Dijk 1980, 186).

## 5. Факторы понимания

При описании факторов ПТ я исхожу из трех важнейших предпосылок:

1. классификация основных факторов ПТ должна удовлетворять требованиям логической правильности
2. она должна учитывать многоаспектный характер ПТ
3. она должна быть выводимой из содержательной структуры коммуникативного акта

Я буду исходить из представления о коммуникативном акте как о функциональной системе:

1. Элементы коммуникации
  - 1.1. Средства коммуникации (высказывания и тексты)
  - 1.2. Субъекты коммуникации
    - 1.2.1. Корреспондент (говорящий/пишущий)
    - 1.2.2. Реципиент (слушатель/читатель)
2. Факторы коммуникации
  - 2.1. Язык (код)
  - 2.2. Контекст
    - 2.2.1. Невербальный контекст
      - 2.2.1.1. Референциальный (ситуативный) контекст
      - 2.2.1.2. Социально-психологический контекст

## 2.2.2. Вербальный контекст

Факторы ПТ можно определить в рамках данной системы понятий, а именно — как отношения элементов и факторов коммуникации, см. таблицу:

| Элементы коммуникации | ФАКТОРЫ КОММУНИКАЦИИ |                       |                                    |                     |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
|                       | Язык                 | Контекст              |                                    |                     |
|                       |                      | Невербальный контекст |                                    | Вербальный контекст |
|                       |                      | Ситуативный контекст  | Социально-психологический контекст |                     |
| Средства коммуникации | структурно-речевой   | ситуативный           | интерактивный                      | композиционный      |
| Субъекты коммуникации | системно-языковой    | когнитивный           | социо-культурный                   | интертекстуальный   |

В зависимости от соответствующего отношения компонентов коммуникации можно выделять несколько факторов ПТ:

1. структурно-речевой — имманентно-языковые характеристики текста
2. системно-языковой — степень подобия вербальных кодов коммуникантов
3. ситуативный — референциальные характеристики текста
4. когнитивный — неязыковые знания коммуникантов о предметной области текста
5. интерактивный — прагматическая функция текста как его роль в процессе социального взаимодействия
6. социо-регулятивный — знание норм социального поведения
7. композиционный — отношения между языковыми знаками в содержательной структуре знаков большего формата
8. интертекстуальный (ассоциативный) — виртуальные отношения знаков, т.е. знания других текстах

Названные факторы ПТ могут быть обобщены в нескольких категориях. Во-первых, будем выделять факторы, которые составляют эмпирическую сферу ПТ — это «факторы первой строки» — структурно-речевой, ситуативный, интерактивный и композиционный, а также факторы, которые составляют эпистемическую сферу ПТ — это «факторы второй

строки» — системно-языковой, когнитивный, социо-регулятивный и интертекстуальный.

В множестве знаний, которые необходимы адресату для ПТ, Д. Буссе (Busse 1992, 149ссл.), автор концепции экспликативной семантики, называет знания о правилах языка, знания о предшествующих текстах и речевых актах, знания о социальных нормах взаимодействия, знания о личности автора, знания о внешнем мире, дискурсивно-абстрактные знания (например, философские теории, «картина мира») и др.

Во-вторых, будем выделять факторы, которые образуют вербальную сферу ПТ — это «факторы крайних столбцов» — структурно-речевой, системно-языковой, композиционный и интертекстуальный (ассоциативный), а также факторы, которые образуют невербальную сферу ПТ — это «факторы центральных столбцов» — ситуативный, когнитивный, интерактивный и социо-регулятивный.

Отношения между данными категориями варьируются в зависимости от типа и жанра текста. Так, различие между эмпирическими и эпистемическими факторами ПТ в определенной мере нейтрализуется в рамках художественной коммуникации — сама оппозиция средств и субъектов коммуникации применительно к художественному тексту является не столь очевидной, как в других случаях, потому что здесь можно говорить о диалоге реципиента с текстом. Ю. М. Лотман писал, что высокоорганизованный текст перестает быть лишь посредником в акте коммуникации — он становится равноправным собеседником, обладающим высокой степенью автономности. Эта особенность художественной речи проявляется в статусе поэтического языка, о котором Я. Мукаржовский писал, что он «не является разновидностью литературного языка», потому что

нарушение литературной нормы, и особенно систематическое ее нарушение, дает возможность использовать язык для целей поэзии; без этой возможности поэзии не было бы вообще (1968, 407).

Поскольку, таким образом, поэтический текст создается на неизвестном адресату субъязыке и стимулирует расширение его семиотической компетенции, то в поэтической речи не код предшествует тексту, а текст — коду. В целом же граница между текстом и кодом в рамках художественной коммуникации оказывается размытой. При восприятии художественных текстов их синтагматическая структура — часть структуры поэтического идиолекта, его прямая демонстрация, так что приобщение адресата к тексту означает также освоение конкретного поэтического языка.

Динамический характер носят и отношения между вербальной и невербальной сферами ПТ. Так, художественный текст основан на регулярном нарушении литературной нормы, при этом важнейшим признаком такого нарушения является его преднамеренность, что обуславливает знаковый характер самого способа выражения смысла — о параллелизме понятий преднамеренности и знаковости писал Я. Мукаржовский (1975, 173). Преднамеренное нарушение языковых стереотипов семантизируется, при этом — независимо от того, происходит ли информационное усложнение (повышение степени энтропии) или упрощение текста — например, в речевых выражениях с редупликацией: «в условиях, когда каждый элемент из серии повторяющихся в данном речевом отрезке не несет никакого нового содержания, содержательным может становиться сам факт повтора компонентов сообщения» (Киклевич 1989, 68).

Именно преднамеренность нейтрализует оппозицию двух, на первый взгляд, взаимоисключающих характеристик поэтического текста: с одной стороны, согласно классической формулировке Р. Якобсона, «поэтическая функция проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» (1975, 204) — отчего степень его информативности должна уменьшаться. Но, с другой стороны, по сравнению с регламентированными текстами, смысловой потенциал художественного текста намного выше. Парадокс объясняется именно преднамеренностью факта проецирования «принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации», который становится самостоятельной частью содержания текста, получающего, таким образом, по определению Н. И. Жинкина, «двойную информативность», т.е. информацию о том, что сказано и как сказано.

### 5.1. Структурно-речевой фактор ПТ

Языковая структура текста характеризуется горизонтальной семантической избыточностью — повторяемостью отдельных содержательных характеристик его компонентов. В лингвистике текста это свойство называется когеренцией. Горизонтальная избыточность текста противопоставляется его информативности, т.е. степени энтропии — количеству непредсказуемого, нового, необычного в сообщении. Впрочем, отношения между избыточностью и информативностью, в действительности, намного сложнее — их адекватного описания, как представляется, до сих пор нет.

Трудности ПТ вследствие высокой степени его энтропии (снижение или отсутствие понимания) обусловлены тем, что при этом превы-



шается объем внимания и объем краткосрочной памяти реципиента (Моль 1973, 205сл.). Именно по этой причине затруднено восприятие антропонимов-неологизмов из прозы С. Лема:

*Tzirtzrarrquax  
Tirrlitriplrripilt  
Qurrstiorrquiorr  
Cwidtderduck*

Если синтаксическая структура текста превышает допустимый предел сложности, то возникают проблемы с ее идентификацией, а ПТ блокируется, например, на уровне макроструктур или на уровне локальной когеренции: выделяемые пропозиции не могут быть систематизированы реципиентом в виде соответствующей иерархии. Ср. примеры таких текстов:

*Тот я, который когда-то на нежной ладил свирели песнь и, покинув леса, побудил соседние нивы, да селянину они подчиняются, жадному даже (труд, земледелам любезный), — а ныне ужасную Марта брань и героя пою, с побережий Трои кто первый прибыл в Италию, роком изгнан, и Лавинийских граней к берегу, много по суше бросаем и по морю оный, силой всевышних под гневом злопамятным юной Юноны, много притом испытал и в боях, прежде чем основал он город и в Лаций богов перенес, род откуда латинов, и Альба Лонги отцы, и твердыни возвышенной Румы (Вергилий, «Энеида». Пер. В. Брюсова).*

*Между преступными по службе деяниями и служебными провинностями усматривается существенное различие, обусловливаемое тем, что дисциплинарная ответственность служащих есть следствие самостоятельного, независимо от преступности или неприступности, данного деяния, нарушение особых, вытекающих из служебно-подчиненных обязанностей, к которым принадлежит также соблюдение достоинства власти во внеслужебной деятельности служащих (С. Сергеич, «Искусство речи на суде»).*

*Укажите, какими особыми обстоятельствами обосновано получение разрешения, в отношении которого сделан запрос в связи с периодом квоты, к которому относится предыдущее заявление, а также когда, как и почему отклонены какие бы то ни было заявления стороны (сторон) какими бы то ни было инстанциями на основании раздела VII или же по иной причине, а также подвергалось ли обжалованию данное или предыдущее решение, и если да, то почему и с каким результатом (С. Н. Паркинсон, «Законы Паркинсона». Пер. Н. Трауберг).*

Другая причина нарушения предела внимания адресата — чрезмерный объем дублирующихся омонимичных знаков. Одним из характерных примеров являются широко распространенные в «деловой прозе» цепочки родительных падежей существительных, например:

*Лаборант не изучил причин разрушения форм строения деталей систем управления.*

Явление этого же типа — многократное повторение одного и того же содержания на разных уровнях структуры сложного предложения, ср.:

*Если головоломка, которую вы разгадали перед тем, как вы разгадали эту, была труднее, чем головоломка, которую вы разгадали после того, как вы разгадали головоломку, которую вы разгадали перед тем, как вы разгадали эту, то была ли головоломка, которую вы разгадали перед тем, как вы разгадали эту, труднее, чем та? (П. Линдсей/Д. Норман, «Переработка информации у человека»).*

Невозможность восстановления текстовой когерентности может компенсироваться активизацией внимания реципиента по направлению к другим аспектам содержания текста. Например, в подобной ситуации адресат может активизировать ситуативную функцию текста и обратиться к одному из возможных онтологических миров. Так, из-за обрыва сюжетных синтагм в фольклорных текстах, в частности — в былинах и волшебных сказках, возникает «мотив чудесного» (Неклюдов 1969, 146ссл.). В других случаях при непонимании содержательно-фактуальной информации внимание адресата может быть сосредоточено на стилистической или интерактивной функции текста, т.е. на понимании целей и обстоятельств его создания/бытования. Так, смысловая наполненность стихотворения В. Хлебникова «Дележ добычи» принципиально корректируется, когда читатель идентифицирует лежащий в его основе конструктивный принцип — перевертыш:

*Воров о ров! Кулики лук.*

*Он, острог гор, тссс... оно Течет, течет*

*Оно.*

*Рублем оценив свинец, о мел бурь/ Нет, ворона норов — тень!*

*Узел ежели железу?*

*Или во плаче пчел, плеч печаль повили? [...]*

Жанровая функция текста (считалка) является доминантной для адресата и в следующем случае:

*Из-под горки катится*

*голубое платице —*

*на боку зеленый бант.*

*Тебя любит капитан.*

*Капитан молоденький,*

*звать его Володенькой.*

А. Моль обращает внимание на то, что трудности восприятия и понимания текста могут быть обусловлены не только его чрезмерной информа-

тивностью, но также и излишней избыточностью (1973, 206). Тривиальность содержательно-фактуальной информации обуславливает поиск реципиентом иных (не номинативных) функций текста. Так, например, воспринимаются шуточные стихотворения Н. Заболоцкого из цикла «Из записок старого аптекаря», ср.:

*Весьма возможно, что в соленом огурце  
Довольно много витамина С.*

Претенциозность стиля противоричит банальности содержания, что позволяет адресату интерпретировать коннотативную функцию текста как «литературная пародия», а интерактивную функцию — как «комический эффект».

Семантическое дублирование словоформ в тексте составляло основу «высокого стиля» в древнерусской литературе XIV–XV вв., а раньше — стиля «плетения словес». По мнению Д. С. Лихачева, характерный для данных стилей повтор слов с близкими значениями выступал как средство актуализации «духовной» информации, восприятие которой определялось тем, что при потере внимания отдельные смысловые компоненты текста упускались из виду (1979, 102ссл.).

Важным фактором ПТ является также эксплицитность текстовой информации, прежде всего — выраженность смысловых отношений между пропозициями как основными информационными единицами текста. К. Бринкер (Brinker 1985, 39) выделяет три основных типа показателей семантических отношений в тексте:

1. имманентно-текстовые, например, коннекторы
2. имманентно-языковые, например, такие, как синонимия, антонимия, гипонимия и др.
3. трансцендентно-языковые, т.е. внеязыковые знания субъектов

У. Христанн (Christmann 1989, 52) представляет коннекторы как особые функциональные операторы, которые связывают фактуальные пропозиции в одно смысловое целое; по содержанию различается восемь типов коннекторов.

## 5.2. Системно-языковой фактор ПТ

Данный фактор состоит в общности языковой компетенции отправителя и получателя сообщения (Ingarden 1972, 150). В феномене понимания воплощена коммуникативная сущность языка, который в качестве общего для определенной социальной группы кода речевой деятельности — именно благодаря пониманию — обеспечивает успешность речевого взаимодействия субъектов.

Так, в романе И. Бунина «Жизнь Арсеньева» (в пятой книге) есть фрагмент:

*[...] Мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую, сказала, что ей нужно зайти там к белошвейке, и мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением. С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос; у белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания.*

Существительное *белошвейка*, согласно толкованию В. И. Даля, означает «женщину, промышленную шитьем белья». Только при условии, что читающему известно это значение, возможно понимание интимности ситуации и эмоционального состояния героя, которое описывает Бунин.

Положительным фактором понимания является не столько высокая степень владения языковым кодом коммуникантов, сколько именно степень подобия их языковой компетенции, поэтому в повести С. Моэма «Луна и грош» француженка пытается говорить с англичанином на ломаном французском — «ей казалось, что так он лучше ее поймет».

Системно-языковой фактор ПТ варьируется в зависимости от степени подобия кодов на фонемном, морфемном, лексическом и синтаксическом уровнях. Искажение говорящим единиц того или иного уровня, а также отсутствие у адресата необходимых для дешифровки сообщения языковых знаний вызывает нарушения ПТ, что убедительно проиллюстрировано Ю. С. Крижанской/В. П. Третьяковым (1990, 88ссл.).

Специального внимания заслуживают две проблемы системно-языкового понимания. Первая состоит в том, что в условиях социальной дифференциации языка реципиент, помимо языкового кода, должен учитывать специфику контекста взаимодействия, который отражается в характере реализации языкового кода, а именно — его варьирования. Поэтому роль системно-языкового фактора ПТ не может быть абсолютизирована: понимать значит не только применять конвенционально принятые правила кодирования/декодирования, но также и соотносить текст с предметной областью референции и с той коммуникативной ситуацией, в которой он выступает как элемент используемого субъектом инструментария.

Общение в условиях социальной дифференциации языка протекает в форме перманентной *п е р е к о д и р о в к и* — процесса, в котором, по мнению Н. И. Жинкина (1982, 93), важнейшую роль транслятора (т.е. переводного языка) играет внутренняя речь, которая и обеспечивает ПТ.

Другая проблема, о которой необходимо здесь хотя бы упомянуть, касается многоканальности текстовой информации, которая частично передается в форме различных невербальных кодов. С одной стороны, употребление нескольких кодирующих устройств должно усложнять

процесс восприятия текста, но, с другой стороны, поскольку эти коды определенным образом соотношены друг с другом, возникает «вертикальная» избыточность текста — дублирование кодов, которое интенсифицирует механизм понимания.

### 5.3. Ситуативный фактор ПТ

Поскольку текст, как указывал Л. Н. Мурзин, имеет гносеологическую природу и связан с отражением и познанием мира (Мурзин/Штерн 1991, 44), то естественно, что одним из важнейших факторов его понимания является характер референции, т.е. способ отражения мира в тексте.

Понимание текста облегчается в случае референтных высказываний, в которых именные группы указывают на выделенные единичные предметы или выделенные подмножества предметов. При этом, если именная группа выполняет также и детерминативную функцию, а в особенности — передает значение ситуативной (или дейктической) определенности, всегда имеется ссылка на область референции. Прежде всего применительно к конкретно-референтным текстам имеет силу положение концепции М. М. Бахтина — В. Н. Волошинова, согласно которому

жизненный смысл и значение высказывания [...] не совпадают с чисто словесным составом высказывания [...] То, что называется «пониманием» и «оценкой» высказывания [...] всегда захватывает вместе со словом и внесловесную жизненную ситуацию (Волошинов 1929, 386сл.).

Роль конситуации в процессе ПТ особенно значительна в устном общении, в разговорной речи, где экстралингвистические факторы позволяют декодировать сообщение даже при достаточно сильном искажении языковой структуры высказывания. Роль ситуации в устном общении состоит в том, что сенсорные эффекторы, прежде всего визуальные, помогают слушающему адекватно декодировать сообщение. С другой стороны, известно, что чем литературнее речь, тем меньшую роль играет в ней общая обстановка и общий предыдущий опыт говорящих.

Наблюдаемость референтной ситуации позволяет говорящему редуцировать план выражения текста, т.е. экономить свои синтагматические усилия, а слушающему — компенсировать материальные лакуны в поверхностной структуре текста ссылками на ситуативный контекст. Ср. выражения с незамещенными синтаксическими позициями отдельных компонентов, смысловая интерпретация которых может варьироваться в зависимости от конситуации:

*Да ведь я еще ничего* (Н. Гоголь).

*Ты не очень* (А. Володин).

*Текст роли?* («Литературная газета». 06.07.1983).

Эллипсис можно трактовать как нулевой синтаксический знак, который имеет индексальную, а именно — анафорическую (речевой эллипсис) или дейктическую (ситуативный эллипсис) природу. Например, последнее из приведенных высказываний можно интерпретировать: ‘Сделал ли ты с текстом роли то, что в соответствии с нормой нужно с ним сделать в данной ситуации?’

Референтная ситуация может компенсировать отсутствие в тексте отдельных важных для построения его семантической структуры пропозиций. Так, чтобы восстановить когерентность в сообщении:

*Мама, дай салфетку — я почешу ногу* (пример из детской речи)

необходимо обратиться к анализу референтной ситуации, которая совпадает с коммуникативной ситуацией: говорящий — ребенок, слушающий — его мать; салфетка и нога, о которых идет речь в сообщении, находятся в одном наблюдаемом пространстве. Ср. другой вариант письменной «подачи» того же текста:

*(Пятилетняя девочка, сидя за столом с испачканными руками, обращается к матери).*

*Мама, дай салфетку — я почешу ногу.*

Анализ ситуации позволяет дополнить текст отсутствующей пропозицией и восстановить его когерентность, ср.:

*Мама, дай салфетку — я вытру руки и почешу ногу.*

Формирование и понимание сообщения с опорой на конкретную наблюдаемую ситуацию — важнейший признак одного из видов афазии — болезни Пика. При этом «смысловые отношения [...] подменяются отношениями между предметами и притом отношениями конкретно-ситуационными» (Самухин и др. 1981, 136). Нарушение психики при болезни Пика приводит к тому, что человек перестает понимать выражения с неконкретно-референтными терминами — афоризмы, пословицы, поговорки, абстрактные слова.

Ситуативность мышления и речевого поведения, в том числе и понимания речевых сообщений характерна для детского возраста, а также для маргинальных примитивных культур (см. исследования Л. С. Выготского, А. Р. Лурия и др.). В целом же данное явление отражает архаичные элементы языкового сознания, в филогенезе которого слово, как писал Вандриес, «было не только условным знаком, но и составной частью вещей; оно как бы обладало их свойствами» (1937, 175). Ср. харак-

терный пример такого ситуативного и в то же время эмпатического понимания в романе И. Бунина «Жизнь Арсеньева»:

*Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня? Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне (невуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел», — и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, бездыханный, забытый в книге вижу я», — и я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме.*

Учитывая важность референтной информации в процессе ПТ, Х. Шерер (Scherer 1989, 78ссл.) пишет о необходимости создания «ситуативной грамматики» — комплексной научной дисциплины, которая бы изучала функционирование языковых знаков с опорой на онтологический контекст.

#### 5.4. Когнитивный фактор ПТ

Данный фактор предполагает наличие общего фонда внеязыковых (энциклопедических) знаний коммуникантов. А. Е. Супрун, который определяет данный фактор понимания как «содержательный» (противопоставляя его «языковому» пониманию), приводит показательный пример: вопрос к клиенту ресторана в гостинице

*Номер комнаты?*

будет непонятен тому, кто не знает, что стоимость завтрака включена в стоимость места в гостинице. Подобным образом современный тинейджер только на языковом уровне поймет строки из написанного в 1895 году «Сонета к форме» В. Брюсова:

*И я хочу, чтоб все мои мечты,  
Дошедшие до слова и до света,  
Нашли себе желанные черты.  
Пускай мой друг, разрезав том поэта,  
Упьется в нем и стройностью сонета  
И буквами спокойной красоты!*

Современный молодой читатель (представитель поколения «Пепси») может не понять, зачем читатель должен резать книгу и каким способом

(или образом) это должно быть сделано. Без фоновых знаний об истории книгопечатания понимание данного вербального текста затруднено и даже — в адекватном виде — невозможно.

В современной лингвистике текста широко принято положение, в соответствии с которым модель текста должна учитывать зависимость его содержания от его места/роли в конкретной неязыковой ситуации, а также общих и конкретных (ситуативных) знаний речевых субъектов. Поэтому считается, что модель текста, в принципе, должна быть такой же, как и модель знания, т.е. представлять собой когнитивную сеть, в которой узлы соответствуют отдельным референтам (объектам, отрезкам времени и пространства, положениям дел и т.д.), а ребра — отношениям между ними (Engelberg et al. 1984, 17ссл.). Исключительно важную роль при ПТ играют поэтому упорядоченные структуры знаний — фреймы, скрипты, сценарии, которые составляют общий для корреспондента и реципиента эпистемический континуум (Sanford/Garrod 1981).

Разумеется, тезаурусы коммуникантов совпадают лишь частично, что, во-первых, дает возможность потребителю текста пополнять свою базу данных, проникать в чужую культурную среду, а во-вторых, обуславливает креативность понимания — субъективную интерпретацию текста с позиций индивидуального практического и духовного опыта, а также мотивов деятельности. Элементы креативности наиболее очевидны, когда понимание представляет собой целенаправленное (в том числе и познавательное) действие субъекта. В этом случае, как писал А. Н. Леонтьев, мир для человека выступает в своем устойчивом отношении к потребностям коллектива, к его деятельности.

Значительная часть сведений о мире хранится в языковой памяти человека, прежде всего — в сфере лексической семантики. Согласно образному (и весьма характерному для структурного языкознания) выражению А. А. Леонтьева, «язык необходимо „снять с полки“, чтобы „достать“ продукты человеческого мышления, лежащие на этой полке во втором ряду» (1969, 34). Вместе с тем огромное количество наших знаний о мире находится за пределами языка, ср.:

*Если срок действия паспорта истек, его нужно продлить или заменить паспорт на новый.*

*После заключения или расторжения брака в паспорте ставится соответствующая отметка.*

*В Белоруссии талоны на прием к врачу выдаются по предъявлении паспорта.*

*Иван Петрович носит паспорт в заднем кармане брюк.*

Все эти эпистемы зафиксированы в форме высказываний, которые, как известно, не хранятся в памяти в устойчивом лексикализованном виде, а создаются из соответствующего лексического материала по определен-



ным синтаксическим моделям. Если знания о мире, зафиксированные в языке, как правило, — по крайней мере в рамках данной языковой общности — универсальны и относительно устойчивы, то знания, не имеющие языковой фиксированности, напротив, изменчивы (во времени и в пространстве) и вариативны, нередко они связаны с конкретным видом деятельности человека, конкретным социальным, культурным, историческим, психологическим и т.д. контекстом.

Приведенные эпистемы, а также подобные могут выступать как прагматические пресуппозиции или как коммуникативные импликации, сопровождающие употребление речевых сообщений. Восприятие и понимание текста осуществляется обычно с учетом этих пресуппозиций и импликаций. Так, при декодировании высказывания:

*Вася плавает в ледяной воде при температуре минус 20°*

мы учитываем ряд пресуппозиций:

*Вода замерзает при температуре 0°.*

*Если вода замерзает, то она превращается в лед.*

*Во льду невозможно плавать.*

*Некоторые люди плавают в холодной воде и др.*

Это дает основание интерпретировать высказывание как ‘Вася плавает в ледяной воде при температуре воздуха минус 20°’, а не как ‘Вася плавает в ледяной воде при температуре воды минус 20°’.

Другой пример: на основании наших географических знаний предложение из прозы И. Бунина

*В день моего отъезда гремел первый гром*

понимается как

*В день моего отъезда гремел первый в этом году гром*

а не как *первый вообще гром*.

Важным фактором ПТ является поиск тех возможных миров (т.е. ситуаций употребления), по отношению к которым рассматриваемые пресуппозиции были бы истинны. Так, излюбленная иллюстрация структуралистов — высказывание:

*Зеленые идеи яростно спят*

относительно «действительности» (или, другими словами, относительно «здорового смысла») ни истинно, ни ложно, потому что ложны его пресуппозиции:

*Идеи бывают цветными.  
Существуют идеи зеленого цвета.  
Идеи спят.  
Сон может быть яростным.*

Но если мы найдем возможный мир, в котором они будут истинны (например — возможный мир «Фантастика»), языковое выражение будет восприниматься как вполне нормальное. В некотором смысле сходный мотив содержится в стихах Б.Пастернака:

*Я Наташе пишу, что секрет чернокнижья  
Грезить тем, что вне вымысла делают все.*

Впрочем, имеется и другой способ толкования выражений, область референции которых составляют альтернативные «действительности» положения дел: «вымысел, — писал Г. Фреге, — является тем случаем, когда выражение мыслей не сопровождается, несмотря на форму утвердительного предложения, действительным утверждением их истинности».

Наличие у коммуникантов общих эпистемических пресуппозиций обуславливает понимание истинностного значения языковых выражений. Определение истинностного значения — составная часть понимания, ведь сообщение может быть декодировано и в том случае, когда оно истинно, и тогда, когда оно ложно, ср.:

*Коршун — хищная птица.  
Курица — хищная птица.*

Однако нельзя согласиться с (ранним) Л. Витгенштейном, что понимание базируется на знании условий истинности. Отношение между осмысленностью и истинностью неоднозначны. Наличие истинностного значения предполагает осмысленность текста: если некто способен применить выражение как знак ситуации, которая имеет место или не имеет места, то он понимает содержание этого выражения. Напротив, если выражение бессмысленно, оно ни истинно, ни ложно, адресат не понимает его — в том смысле, что существует хотя бы одна функция выражения, которую он не способен отразить в ментальной модели.

## **5.5. Интерактивный фактор ПТ**

Данный фактор обусловлен включенностью текста в социально-психологические отношения субъектов, выполняемой им функцией в системе взаимодействия субъектов. Чем лучше эта функция выражена, тем более оптимально ПТ. Так, реплика:

*Как дела?*

в обыденном устном общении выступает обычно как форма фамильярного приветствия, хотя соответствующий перформативный глагол отсутствует — поэтому возможно ошибочное понимание этой реплики как принуждения к информированию о состоянии дел. Именно такая ошибка, по свидетельству польского писателя А. Слонимского, была характерна для речевой практики еще недостаточно освоившихся польских эмигрантов в Англии.

Интерактивный фактор ПТ проявляется в индивидуальности или множественности адресатов текста. Устное общение при условии визуального и аудиального контакта участников диалога в большей степени способствует пониманию, чем письменный текст в рамках художественной коммуникации, где формальный и реальный адресаты могут не совпадать. Поэтический текст может быть адресован конкретному лицу, например, стихотворение И. Бродского «Александровский сад» посвящено поэту Е. Рейну, но в то же время как явление литературы текст адресуется и читательской аудитории, которую можно рассматривать как группу зрителей или свидетелей коммуникации, принимающую сообщаемое «на свой счет».

Впрочем, нередко субъект художественной коммуникации учитывает потенциальное присутствие зрителей и косвенно включает их в интенциональный диапазон. Характерно с этой точки зрения название стихотворения А. Белого «Асе (прощание с ней)», где одна часть — *Асе*, содержит апелляцию к адресату, а другая часть — *прощание с ней*, содержит апелляцию к читателям. Несовпадение прямого и косвенного адресатов рассматривается некоторыми исследователями как причина переосмысления текста (Гусев/Тульчинский 1985, 144).

Ориентация текста на конкретного читателя (круг читателей) позволяет интерпретировать его и в условиях компрессии семантической структуры. Так, Ю. Н. Тынянов писал о конкретизации адресата как поворотном моменте лирики А. Пушкина 20-х гг. XIX в.:

При конкретности «автора» и неминуемо связанной с нею конкретности «лирических героев» и «адресатов» появляется та «домашняя семантика», которая не терпит пояснительных мест и развитых описаний. Лирические стихотворения Пушкина 20-х годов не только ведутся от имени конкретного «поэта», но, например, жанр посланий этим совершенно преобразуется: он полон той конкретной недоговоренности, которая присуща действительным обрывкам отношений между пишущим и адресатом (1968, 130; разрядка моя. — А. К.).

### 5.6. Социо-регулятивный фактор ПТ

Этот фактор состоит в общности знаний коммуникантов о нормах социального взаимодействия (van Dijk 1980, 169), а также в отношении между интенцией говорящего и прагматической функцией текста, с одной стороны, и прагматическими установками адресата, с другой стороны.

Речевая коммуникация, согласно И. Швиталле (Schwitalla 1979, 48ссл.) (мы намеренно не останавливаемся здесь на широко известной системе постулатов речевой коммуникации Г. П. Грайса), регулируется следующими правилами, которые в нормальном случае известны всем речевым субъектам:

1. внимание коммуникантов направлено друг на друга
2. то, что говорит партнер, релевантно
3. партнеры пользуются одной и той же схемой выражения и интерпретации смысла, расхождения между этими схемами незначительны
4. только один из партнеров является говорящим
5. роль говорящего переходит от одного партнера к другому
6. речевой субъект рассчитывает на согласованность своего вклада и вклада своего партнера

Соответствие замысла текста прагматическим интенциям адресата является фактором, оптимизирующим ПТ. М. Хильшер (Hilsher 1996, 142) экспериментально доказала, что совпадение психических состояний партнеров по коммуникации (*Stimmungskongruenz*) ускоряет понимание.

Важность данного фактора ПТ особенно проявляется в ритуальном общении, где функции и роли партнеров строго регламентированы. В. Н. Топоров считает, что известная формула раннего Л. Витгенштейна «Границы моего языка означают границы моего мира» была бы справедлива и по отношению к архаичным культурам, где язык (текст) целиком погружен в ритуал, а речевой акт полностью исчерпывается ритуальным заданием.

В. Хайнеманн/Д. Вивегер (Heinemann/Wiehweger 1991, 270ссл.) пишут о ПТ, ориентированном на поведение субъектов (*verhaltensorientiertes Textverstehen*) — когда акт чтения текста реципиентом является для автора важнейшим стимулом его создания. Таковы вывески, объявления, юридические и др. тексты. Адресат ожидает их появления как элементов определенной стабильной системы социальных отношений.

Социо-регулятивный фактор ПТ проявляется также в психологическом контакте говорящего и слушающего, в частности, в том, как высоко оценивает адресат авторитетность автора и связанную с ним значимость/престижность текста.

Р. Келлер (Keller 1986, 59) показывает, что социо-регулятивный фактор ПТ может вступать в противоречие с формальной логикой. Допустим, некто читает на рекламном щите фирмы, производящей сигареты:

*Keine schmeckt besser* — ‘Нет сигарет лучше по вкусовым качествам’.

С формально-логической точки зрения данное сообщение допускает, что существуют также сигареты с такими же высокими вкусовыми качествами. Однако реципиент первоначально воспринимает жанровую информацию — «реклама», и на основании своего практического, в том числе и социального, опыта воспроизводит коммуникативную стратегию автора: рекламодатель стремится к тому, чтобы склонить потенциального покупателя к приобретению рекламируемого товара, поэтому он стремится представить товар как можно лучше, в первую очередь, представить такие его свойства, которые положительно отличают данный товар от конкурентных товаров того же типа. Поскольку рекламодатель не может признать (во всяком случае «на словах») одинаковых достоинств товаров конкурентов, то можно заключить, что приведенное рекламное сообщение следует понимать:

*У наших сигарет наивысшие вкусовые качества; нет фирмы, чья продукция сравнилась бы с нашей по данному показателю.*

### 5.7. Композиционный фактор ПТ

Очередной фактор ПТ связан с учетом вербального контекста. Роль контекста для ПТ наиболее очевидна при его сопоставлении с конситуацией. Как писал И. И. Ревзин, в связном тексте «контекст заменяет ситуацию, в которой происходит общение» (1978, 146). Механизмы активизации композиционного фактора принципиально не отличаются от ситуативного понимания. По мнению И. Беллерт, поскольку ПТ базируется на его связности, то адекватная интерпретация высказывания, выступающего в дискурсе, требует знания предшествующего контекста.

При репрезентации семантики отдельных словоформ контекст может выступать как своего рода фильтр, очищающий текст от неоднозначности — благодаря семантической когерентности, которая возможна только в условиях контекста, т.е. некоторой совокупности композиционно связанных языковых знаков, блокируются (элиминируются) те семантические признаки, которые не соответствуют схеме композиции (попросту — не дублируются), и, напротив, слово, которое адресат не способен идентифицировать вне контекста, «насыщается» в тексте когерентными семами, т.е. интерпретация номинативной (а точнее — де-

скриптивной) функции слова осуществляется в данном случае за счет его «горизонтального» вербального окружения. Ср. подобный пример со словоформой *хамсин* (название ветра):

*От песку, от горячего ветра закрыли люминаторы [...] Жгучий ветер с песком дул в каюту всю ночь [...] К рассвету хамсин пронесло* (И. Бунин).

Как и случае с ситуативным ПТ, композиционный фактор ПТ обуславливает смысловое восприятие выражений с нулевыми формами, только в этом случае незамещенная синтаксическая позиция выступает не как дейктический, а как анафорический знак, ср.:

*Иван читает журнал, а Маша — газету* = ‘Иван читает журнал; Маша выполняет упомянутое действие с упомянутым предметом’.

### 5.8. Ассоциативный фактор ПТ

Для ПТ важен не только «горизонтальный», но и «вертикальный» вербальный контекст, не только синхронические (системные), но и диахронические (исторические) связи между текстами. Текст, и прежде всего художественный текст, представляет собой многомерное семантическое пространство, которое составляют не только единицы, функциональная значимость которых ограничена рамками данного речевого акта, но и единицы, которые могут быть функционально интерпретированы со ссылкой на другие речевые акты и на другие тексты. В семиозисе культуры текст не изолирован от других текстов, напротив — он вступает с ними в диалогические отношения, что проявляется в существовании разного рода ассоциаций, аллюзий, реминисценций, общих мотивов, прямых и скрытых цитат и.д. — знание же этих отношений участниками информационного обмена способно оптимизировать ПТ, увеличить степень его глубины. Так, карикатуру в польской газете «*Rzeczpospolita*» (реплика изображенного на рисунке Леха Валенсы означает: «Как могло такое случиться?») можно понять при условии, если читателю известно публичное высказывание Валенсы о роли президента в парламенте:

*Powinna być lewa noga i prawa noga. A ja będę pośrodku* («Должна быть левая нога и правая нога. А я буду посередине»).



При сопоставлении текстов, которые обладают общими мотивами, возникают дополнительные смыслы, ср. у А. Пушкина (пример заимствован у В. С. Соловьевой):

*Блажен, кто знает сладострастье  
высоких мыслей и стихов! («Жуковскому»).*

*Блажен, кто в отдаленной сени,  
Вдали взыскательных невежд.  
Дни делит меж трудов и лени («Уединение»).*

*Блажен, кто в шуме городском  
мечтает об уединеньи... («Из письма к кн. П. А. Вяземскому»).*

Интертекстуальная компетенция речевого субъекта особенно важна при восприятии пародий, которые, как писал Ю. Н. Тынянов, целиком направлены на имитацию определенного произведения, жанра, автора или литературного направления (1977, 289). Так, элемент пародийности — один из доминирующих в творчестве литературной группы ОБЭРИУ (20-е и начало 30-х годов XX в.), ср. отрывок из стихотворения Н. Олейникова, в котором дополнительная информация (а именно — репрезентация интерпретативной функции текста) возникает благодаря ассоциации с известным стихотворением М. Лермонтова «Из Гете»:

*Дико прыгает букашка  
С беспредельной высоты,  
Разбивает лоб бедняжка...  
Разобьешь его и ты.*

При понимании некоторых литературных текстов, например, философа С. Соловьева, логика Н. А. Васильева, филолога У. Эко и др., интертекстуальная компетенция адресата должна включать знание о созданных их авторами научных теориях (ср. дискурсивно-абстрактные знания в концепции Д. Буссе).

## 6. Заключение

В данной статье рассмотрены важнейшие аспекты ПТ, а именно: объекты понимания, ранги понимания, уровни понимания, фазы понимания и факторы понимания. В центре внимания находились факторы ПТ, которые были классифицированы следующим образом: структурно-речевой, системно-языковой, ситуативный, когнитивный, интерактивный, социорегулятивный, композиционный и интертекстуальный.

Подобная систематизация важнейших аспектов ПТ необходима именно сегодня, когда эмпирическая лингвистика накопила значительный материал в области восприятия и понимания языковых сообщений, а теоретическое языкознание предложило целый ряд концептуальных моделей их интерпретации. Если учесть, что интерес к проблеме ПТ проявляют не только лингвисты, но и психологи, социологи, философы (а значит, нужна координация этих разных концептуальных областей), а также то, что некоторые важные проблемы не только не решены, но и не сформулированы (например, роль в процессе когеренции разных функционально-семантических классов синтаксических единиц — предикатов, аргументов, операторов), становится вполне очевидной важность исследований обобщающего характера.

Долгое время главным персонажем в лингвистических и психолингвистических исследованиях речевой деятельности был говорящий, а речевая деятельность рассматривалась, главным образом, как текстопорождение. Исследования в области ПТ показывают, что речемыслительная деятельность адресата является отнюдь не менее важной, целенаправленной, избирательной, активной, разносторонней, наконец — достойной научного изучения, тем более что существуют такие коммуникативные ситуации, в которых языковая компетенция актуализируется исключительно в процессах восприятия текста, а именно — чтения. О таком явлении в статье «*Rewolucja lingwistyczna*», опубликованной в польском журнале «*Wysokie obcasu*» — 2004/20, пишет Паулина Райтер. Эту же мысль подчеркивает А. Генис, автор замечательной книги эссе «*Культурология — раз!*»:

Хотя студентами Бродского чаще всего были начинающие поэты, он, как и другие ценители литературного гедонизма — Борхес и Набоков,



учил не писать, а читать. Иногда он считал это одним и тем же: «мы можем назвать своим все, что помним наизусть». Тезис Бродского «человек есть продукт его чтения» следует понимать буквально. Чтение — как раз тот случай, когда слово претворяется в плоть. Нагляднее всех этот процесс представляют себе поэты. Так у Мандельштама читатель переваривает слова, которые меняют молекулы его тела.

Таким образом, с полным основанием можно утверждать, что герменевтическое направление в современных науках о языке имеет огромные перспективы, а дальнейшее развитие научных исследований в области понимания текста сулит теоретическому и эмпирическому языкознанию немало интересных и значительных результатов.

### Литература

- Аветян, Э. Г. (1989), *Семиотика и лингвистика*. Ереван.
- Бирвиш, М. (1988), *Насколько линейно упорядоченной является языковая обработка*. В: Петров, В. В./Герасимов, В. И. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. Москва, 93–152.
- Вандриес, Ж. (1937), *Язык*. Москва.
- Васильев, С. А. (1982), *Уровни понимания текста*. В: *Понимание как логико-гносеологическая проблема*. Киев, 90–120.
- Волошинов, В. Н. (1929), *Марксизм и философия языка*. Ленинград.
- Гумбольдт фон, В. (1984), *Избранные работы по языкознанию*. Москва.
- Гусев, С. С./Тульчинский, Г. Л. (1985), *Проблемы понимания в философии*. Москва.
- Дейк ван, Т. А. (1989), *Язык. Познание. Коммуникация*. Москва.
- Дридзе, Т. М./Леонтьев, А. А. (ред.) (1976), *Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации)*. Москва.
- Жинкин, Н. И. (1982), *Речь как проводник информации*. Москва.
- Залевская, А. А. (1988), *Понимание текста. Психолингвистический подход*. Калинин.
- Каган, М. С. (1988), *Мир общения*. Москва.
- Каменская, О. Л. (1990), *Текст и коммуникация*. Москва.
- Караулов, Ю. Н. (1987), *Русский язык и языковая личность*. Москва.
- Кашкин, И. О. (1988), *О методе и школе советского художественного перевода*. В: Матяш, Н. (ред.), *Поэтика перевода*. Москва, 21–28.
- Киклевич, А. К. (1989), *Типология сочинительных конструкций с лексическим повтором*. В: *Русский язык*. IX, 67–76.
- Кочергин, А. Н./Тимофеев, К. А. (1989), *Текст как явление культуры*. Москва.
- Крижанская, Ю. С./Третьяков, В. П. (1990), *Грамматика общения*. Ленинград.
- Крымский, С. Б. (1982), *Философско-гносеологический анализ специфики понимания*. В: *Понимание как логико-гносеологическая проблема*. Киев, 20–38.
- Лакофф, Дж. (1981), *Лингвистические геистальты*. В: Звегинцев, В. А. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. X. Лингвистическая семантика. Москва, 350–368.

- Леонтьев, А. А. (1969), *Язык, речь, речевая деятельность*. Москва.
- Леонтьев, А. Н. (1981), *Проблемы развития психики*. Москва.
- Лихачев, Д. С. (1979), *Поэтика древнерусской литературы*. Москва.
- Лотман, Ю. М. (1970), *Структура художественного текста*. Москва.
- Моль, А. (1973), *Социодинамика культуры*. Москва.
- Мукаржовский, Я. (1968), *Литературный язык и поэтический язык*. В: Кондрашов, Н. А. (ред.), *Пражский лингвистический кружок*. Москва, 406–430.
- Мукаржовский, Я. (1975), *Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве*. В: Басин, Е. Я./Поляков, М. Я. (ред.), *Структурализм: «за» и «против»*. Москва, 164–192.
- Мурзин, Л. Н./Штерн, А. С. (1991), *Текст и его восприятие*. Свердловск.
- Неклюдов, С. Ю. (1969), *Чудо в бытине*. В: *Труды по знаковым системам*. IV, 146–158.
- Поршнева, Б. Ф. (1979), *Социальная психология и история*. Москва.
- Потебня, А. А. (1976), *Эстетика и поэтика*. Москва.
- Ревзин, И. И. (1978), *Структура языка как моделирующей системы*. Москва.
- Самухин, Н. В. и др. (1981), *К вопросу о деменции при болезни Пика*. В: Корнилов, А. П./Николаева, В. В. (ред.), *Хрестоматия по патопсихологии*. Москва, 114–149.
- Супрун, А. Е. (1980), *Лекции по лингвистике*. Минск.
- Тынянов, Ю. Н. (1968), *Пушкин и его современники*. Москва.
- Тынянов, Ю. Н. (1977), *Поэтика. История литературы. Кино*. Москва.
- Успенский, П. Д. (1990), *Психология возможной эволюции человека*. В: Касавин, И. Т. (ред.), *Заблуждающийся разум? Многообразие внеучного знания*. Москва, 383–448.
- Якобсон, Р. (1975), *Лингвистика и поэтика*. В: Басин, Е. Я./Поляков, М. Я. (ред.), *Структурализм: «за» и «против»*. Москва, 193–230.
- Viere, V. U. (1991), *Textverstehen und Textverständlichkeit*. Heidelberg.
- Bransford, J. D./Franks, J. J. (1971), *The abstraction of linguistic ideas*. В: *Cognitive Psychology*. 2, 331–350.
- Brinker, K. (1985), *Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden*. Berlin.
- Bublitz, S. (1994), *Der 'linguistic turn' der Philosophie als Paradigma der Sprachwissenschaft. Untersuchungen zur Bedeutungstheorie der linguistischen Pragmatik*. Münster — New York.
- Busse, D. (1992), *Textinterpretation. Sprachtheoretische Grundlagen einer explikativen Semantik*. Opladen.
- Christmann, U. (1989), *Modelle der Textverarbeitung: Textverarbeitung als Textverstehen*. Münster.
- Dijk van, T. A. (1980), *Textwissenschaft. Eine interdisziplinäre Einführung*. Tübingen.
- Dijk van, T. A./Kintsch, W. (1983), *Strategies of Discourse Comprehension*. New York — London.
- Engelberg et al. (1984), *Ein prozedurales Modell des Textverstehens für die Übersetzung*. Konstanz.
- Grzesik, J. (1980), *Textverstehen, lernen und lehren. Geistige Operationen im Prozeß des Textverstehens und typische Methoden für die Schulung zum kompetenten Leser*. Stuttgart.

- Habermas, J. (1985), *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt/Main.
- Habermas, J. (1986), *Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt/Main.
- Heinemann, W./Wiehweger, D. (1991), *Textlinguistik. Eine Einführung*. Tübingen.
- Heringer, H. J. (1974), *Praktische Semantik*. Stuttgart.
- Hielscher, V. (1996), *Emotion und Textverstehen. Eine Untersuchung zum Stimmungskongruenzeffekt*. Opladen.
- Ingarden, R. (1972), *Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki*. Warszawa.
- Keller, R. (1986), *Interpretation und Sprachkritik*. В: *Sprache und Literatur*. 57, 54–61.
- Kiklewicz, A. (1998), *Zur funktionalen Modellierung der Aussage*. В: *Papiere zur Linguistik*. 59/2, 157–179.
- Kiklewicz, A. (2004), *Podstawy składni funkcjonalnej*. Olsztyn.
- Kuno, S. (1987), *Functional Syntax: Anaphora, Discourse and Emphasis*. Chicago.
- Paepcke, F. (1990), *Wielojęzyczność w poezji*. В: Andrzejewski, B. (ред.), *Komunikacja — rozumienie — dialog*. Poznań, 135–144.
- Sanford, A. J./Garrod, S. C. (1981), *Understanding written language*. Chichester.
- Schade, U. et al. (1991), *Kohärenz als Prozeß*. В: Rickheit, G. (ред.), *Kohärenzprozesse*. Opladen, 7–58.
- Scherer, H. (1989), *Situationsgebundene Kommunikation*. В: *Sprache in Situation. Eine Zwischenbilanz*. Bonn, 56–79.
- Schlobinski, P. (1996), *Empirische Sprachwissenschaft*. Opladen.
- Strohner, H. (1990), *Textverstehen. Kognitive und kommunikative Grundlagen der Sprachverarbeitung*. Opladen.
- Sucharowski, W. (1996), *Sprache und Kognition. Neuere Perspektiven in der Sprachwissenschaft*. Opladen.
- Terhorst, E. (1995), *Textverstehen bei Kindern. Zur Entwicklung von Kohärenz und Referenz*. Opladen.
- Wenzel, A. (1984), *Verstehen und Verständigung in Gesprächen am Sozialamt. Eine empirische Untersuchung*. Tübingen.

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ И ТЕОРИЯ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ\*

В уме своем я создал мир иной  
И образов иных существованье;  
Я цепью их связал между собой,  
Я дал им вид, но не дал им названья.

М. Ю. Лермонтов

Каждая эпоха в культуре и науке, с одной стороны, полифонична, поэтому представление истории человеческой мысли в виде цепи сменяющихся друг друга парадигм — не более чем условность. Этот вывод можно сделать хотя бы из работы Р. Якобсона (1985, 348ссл.). Однако, с другой стороны, множество сосуществующих идей, гипотез, концепций, теорий и школ всегда структурировано, в нем можно выделить доминирующее направление. Одним из базовых в структуре научного знания является отношение «центр — периферия», которое, вероятно, и выступает важнейшим фактором, обуславливающим динамику науки, т.е. смену парадигм.

В конце 70-х годов XX в. А. Е. Супрун проницательно заметил, что в современной лингвистике происходит круговорот идей — возвращение к известным, старым проблемам в новом концептуальном контексте (1978, 133). При этом самоопределение каждой более или менее самостоятельной парадигмы разворачивается в двух плоскостях: как процесс интеграции, т.е. поиска исторических источников и аналогий в смежных предметных областях, и как процесс дифференциации, т.е. противопоставления предшествующим или конкурирующим парадигмам.

В 1953 году на конференции в Индианском университете Р. Якобсон произнес известную фразу: «Lingwista sum, linguistici nihil a me alienum puto!» — таким образом декларируя программу структурного описания поэтического текста. Однако, скорее всего, формула Якобсона

---

\* Первая публикация: *Художественный текст и теория возможных миров*. В: Борухов, Б. Л./Седов, К. Ф. (ред.), *Художественный текст: онтология и интерпретация*. Саратов 1992, 39–47. Здесь публикуется в переработанном и расширенном варианте.

— своего рода шифтер, содержание которого варьируется в разных культурных контекстах в зависимости от того, какой смысл приписывается понятию «лингвистика». Так, уже спустя 20 лет Д. Болинджер отрицает структурный подход как таковой, не желая, по его словам, «отсиживаться в башне из слоновой кости», и также декларирует автономность предлагаемого им когнитивного подхода к описанию языка: «Еще не так давно трудно было поверить, что лингвист согласился увидеть здесь (т. е. в различных тонкостях употребления языковых выражений. — А. К.) предмет для разговора» (1987, 26).

Структурная доктрина, несомненно, внесла значительный вклад в изучение поэтического языка и художественного текста (прежде всего усилиями русской формальной школы, школ пражского, французского и тартуского структурализма). Сменившая структурную антропологическая (в другой терминологии — коммуникативно-прагматическая) доктрина выбрала своим объектом социальное взаимодействие с помощью языка. При этом весь концептуальный и терминологический арсенал современной лингвистической прагматики и когнитологии — пресуппозиции, импликации, коннотации, фреймы, интенции, речевые акты и т. д., ориентирован, главным образом, на говорящего/пишущего субъекта и практически не адаптирован к тем многочисленным видам современной коммуникации, где реципиент, по словам Ю. М. Лотмана, «общается» непосредственно с текстом. Поэтому совершенно очевидно, что изучение художественного текста в контексте идей и методов лингвистической прагматики и когнитологии представляет значительный интерес — и как возможность верификации репрезентативных потенций указанных научных направлений, и как возможность нетрадиционного подхода к традиционным проблемам художественного текста.

Одна из аксиом современной прагмалингвистики звучит: для того, чтобы правильно предсказать применение тех или иных грамматических правил, мы должны учитывать социальный контекст высказывания, равно как и другие скрытые допущения, которые делаются участниками коммуникации в разговоре. Среди прочих элементов фонда «скрытых допущений» выделяются прагматические пресуппозиции — общие для коммуникантов «пропозиции, неявно подразумеваемые еще до начала передачи речевой информации» (Столнейкер 1985, 428; см. также: Плотников 1989, 77ссл.). Согласно цитируемому здесь Столнейкеру, прагматические пресуппозиции обуславливают класс возможных миров, в рамках которого определяются границы речевой ситуации. Это означает, что речевая стратегия говорящего формируется с учетом возможных состояний референциальной ситуации. Осмысленность высказывания требует, чтобы оно было истинным хотя бы в одном из возможных миров, задаваемых пресуппозициями.

Проиллюстрируем эти положения конкретным примером: русский специалист делится на страницах «Литературной газеты» (8 августа 1990 г.) своими впечатлениями о системе университетского образования в США:

*Так усердно, на мой взгляд, в Америке занимаются на протяжении всего срока обучения. Естественно, я заинтересовался, за сколько «неудов» студента вправе отчислить. Меня просто не поняли.*

Причина коммуникативной неудачи объясняется различием прагматических пресуппозиций коммуникантов. База данных корреспондента сообщения включает пресуппозиции:

*Студент может получить на экзамене одну или несколько неудовлетворительных оценок.*

*Получив на экзамене одну или несколько неудовлетворительных оценок, студент университета может продолжать учебу и т. д.*

Вопрос

*За сколько «неудов» студента вправе отчислить из университета?*

предполагает, что существует по крайней мере один возможный мир, по отношению к которому высказывание уместно, и намерение говорящего состоит в том, чтобы сделать запрос относительно выбора этого возможного мира. С точки зрения слушающего этот вопрос неуместен, так как его база знаний исключает все те пресуппозиции, которые для говорящего истинны.

Одну из первых попыток применения семантики возможных миров для описания естественного языка в русском языкознании осуществил Вяч. Вс. Иванов (1982), в работе которого, помимо ряда интересных наблюдений и обобщений, имеются, с моей точки зрения, спорные утверждения. Так, Иванов считает, что истоки теории возможных миров Я. Хинтикки — в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна, с чем нельзя согласиться. Онтологизация и связанная с ней экспансия языка у раннего Витгенштейна, классическая манифестация которой дана в формуле: «Границы языка... означают границы моего мира», — объясняется тем, что языковая семантика в «Логико-философском трактате» принципиально не отличима от референции: атомарные факты мира получают полную иконическую репрезентацию в атомарных предположениях языка науки. Витгенштейн подчеркивает, что предложение скоординировано с референциальной ситуацией и на уровне отдельных элементов, и на уровне структуры: логическая конфигурация пропозиции копирует конфигурацию описываемой ситуации. Таким образом,

изоморфизм атомарных фактов и атомарных предложении, а также возможность формального исчисления атомарных предложений открывали перспективу для позитивистского описания мира посредством описания языка.

Теория возможных миров Я. Хинтикки методологически не только не вытекает из «Трактата», но, скорее, антагонистична ему. Она возникла в принципиально ином контексте, где значение языкового выражения не ограничено ни остенсивностью знака, ни его логико-синтаксической формой, а отношение «язык» — «мир» дополняется отношением «язык» — «человек». Эта прагматическая доктрина стала доминирующей в исследованиях позднего Витгенштейна, автора оригинальной системы лингвистической философии, в основе которой лежит представление о конвенциональном, идиосинкратическом характере языковых выражений, смысл которых может быть описан с учетом их употребления.

Один из критиков «Трактата» Ф. Рамсей выразил квинтэссенцию прагматизма формулой: «Значение предложения определяется ссылкой на действия, к которым ведет его утверждение» (цит. по: Козлова 1972, 151).

Иванов рассматривает возможные миры в контексте теоретико-игровой семантики кванторов, что, по моему убеждению, не совсем соответствует концепции Хинтикки, у которого возможные миры вводятся в рамках теории пропозициональных установок. Финский логик проводит градацию языков: в первопорядковом языке (к которому он причисляет логику Г. Фреге) значение целиком определяется референцией знака (1980, 72; см. также: Степанов 1985, 247сс.). Можно дискутировать по поводу характеристики Хинтиккой логики Фреге, в работах которого содержится и прообраз пропозициональных установок (на что указывает Степанов — 1985, 164), и различие мысли, утверждения мысли и воздействия на слушающего с помощью утверждения — все это соответствует основным понятиям современной теории речевых актов.

В языке с пропозициональными установками (типа *X знает, что P*; *X считает, что P*; *X помнит, что P* и т.д.) смысл высказывания определяется не только референцией, но и пропозициональной установкой, отражающей и нтенциональные состояния субъекта.

Если в первопорядковом языке знак непосредственно указывает на своей референт — благодаря своей иконичности или конвенциональности, то в языке с пропозициональными установками для определения референта знака приходится рассматривать более, чем одну возможность — в зависимости от того, по какому направлению, в соответствии с пропозициональной установкой, пойдет развитие событий (Хинтикка 1980, 77). Наличие нескольких пропозициональных установок для инва-

риантной пропозициональной функции обуславливает наличие нескольких интенциональных альтернатив, т. е. состояний действительного мира, которые Хинтикка и называет возможными мирами: «Это обычные возможные состояния дел или направления развития событий, совместимые с рассматриваемой установкой некоторого определенного лица» (ibidem, 87). В связи с этим замечу, что В. Б. Касевич (1988, 66) необоснованно сводит идею возможных миров к различию реальности и ирреальности.

Ц. Тодоров пишет о «непрозрачности», т. е. нереперенциальности поэтического знака, который «многосмыслен и способен вызывать множество ассоциаций» (1983, 363). «Непрозрачность» художественного текста проявляется и в том, что в его основе лежит особый языковой код, обладающий максимальной степенью специализации, включенности в сознание и мирозерцание автора. Художественный текст ориентирован на специфическую, «вторую» действительность — субъективную картину мира художника, объединяющую в себе множество его пресуппозиций, пропозициональных установок и интенциональных состояний. Поскольку эта «вторая» действительность неминуемо представляет реальность, во многих чертах альтернативную по отношению к так называемой объективной реальности, ее можно трактовать как один из возможных миров, а точнее — один из трансцендентных возможных миров, или **макромиров**.

С моей точки зрения, удобно различать два уровня обобщенности понятия возможного мира:

1. возможные миры как ситуации и события (онтологические сценны), при этом можно различать как минимум два их типа: референциальные (или онтологические), т.е. ситуации/события, которые описываются в высказывании/тексте, и коммуникативные (интерактивные), т.е. ситуации социального взаимодействия с использованием речевых сообщений
2. возможные миры как виртуальные коалиции ситуаций и событий, т.е. с одной стороны, так называемые предметные области, например, такие, как флора, фауна, общественные отношения, производство, маркетинг, здоровье и т.д., а с другой стороны, коммуникативные сферы — такие, как наука, СМИ, образование, повседневная коммуникация и др.

В художественном тексте представлены все четыре категории: онтологические и коммуникативные возможные миры первого уровня, а также коммуникативные сферы (обычно это — художественная коммуникация) и предметные области.

В понятии возможного мира нет ничего мистического, равно как и в понятии реальности не может быть ничего абсолютного, поэтому ко-



гда М. Хайдеггер пишет, что поэт — вестник, через которого говорит бытие, эта формула, скорее всего, имеет смысл лишь при интерпретации термина «бытие» как «бытие поэта». Подобным образом следует понимать и высказывание Л. Толстого: «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет увидеть, а так, как они есть» — в определении «так, как есть» всегда имеется элемент индивидуальной или групповой, а также исторической, культурной и т.д. установки.

Словоупотребление в художественном тексте соотносится не только со спецификой идиолекта автора, но и с особенностями возможного мира, который с той или иной полнотой репрезентирован тексте. При этом надо иметь в виду, что степень субъективности и искренности художника варьируется. Так, Н. Н. Страхов писал о Ф. М. Достоевском:

Это был один из самых искренних писателей, что все, им писанное, было переживаемо и чувствуемо [...] Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему (см.: Тюнькин 1990, 424).

В особенности учет возможных миров важен при описании тропов, которые, как верно заметил Ю. Д. Апресян, по своей структуре не отличимы от языковых ошибок. Неузואльное употребление слов в художественном тексте может иметь по крайней мере два различных объяснения:

1. либо мы имеем дело с нарушением собственно языковой нормы и с метафорой, которая, вслед за Вяч. Вс. Ивановым, понимается здесь как «смена знаков, различных по значению, но употребляемых в одинаковых синтаксических контекстах» (1975, 184)
2. либо языковая форма текста вполне корректна, но речь идет о таком возможном мире, фрагменты которого несовместимы с эпистемическими прогнозами реципиента

Необходимость подобного выбора возникает при интерпретации не только художественной, но и языковой метафоры. Поскольку предметная область значения языкового знака неопределенна и невозможно с точностью установить классы предметов, способных и не способных выступать в качестве референта имени, то речевая практика то и дело наталкивается на вопросы: «Можно ли так сказать?», «Соответствует ли такое употребление слова его значению?» и т. п. К примеру, русский глагол *завести (себе)* в значении ‘приобрести что-л., обзавестись чем-л.’ употребляется в конструкциях:

*завести (себе) лошадь*  
*завести (себе) кота*

*завести (себе) попугая и др.*

Однако существует целый ряд потенциальных языковых выражений, о которых мы не можем определенно утверждать, во-первых, что они соответствуют языковой норме, во-вторых, что хотя бы один из их лексических элементов не испытывает семантической деривации, т.е. употребляется в переносном значении, ср.:

*завести (себе) свинью  
завести (себе) кролика  
завести (себе) комара  
завести (себе) жену  
завести (себе) дом  
завести (себе) ковер  
завести (себе) обои  
завести (себе) пачку чая и др.*

Впрочем, скорее всего, выражения такого рода при неизменности лексических значений соотносятся с нестандартными возможными мирами, т. е. такими, которые менее характерны для определенной культуры. Так, высказывание

*Он вселился в новую квартиру и первым делом завел себе пачку зеленого цейлонского чая*

может быть в максимально общем виде интерпретировано: ‘Он купил пачку цейлонского чая, и сделал это так, как покупают то, о чем можно сказать *завести себе нечто*’. Пачка цейлонского чая в этом контексте как бы одушевляется, т.е. уподобляется живому существу.

Возможный мир в подобных коммуникативных ситуациях выступает как особая, «мерцающая» действительность, у которой неопределенный онтологический статус. Ср. аналогичные примеры из художественных текстов:

*Длинным треугольником летели,  
Утопая в небе, журавли (Н. Заболоцкий).*

*Бывают крылья у художников,  
Портных и железнодорожников (Г. Шпаликов).*

*Сначала пустой был асфальт, потом пошли навстречу ровные порции машин,  
где-то впереди нарезанные светофором (В. Попов).*

Скорее всего, мы имеем здесь дело с особыми референциальными возможными мирами, а не с явлением семантической деривации лексем —

на это указывает возможность употребления специального маркера аномальности — *как бы*, ср.:

*Журавли как бы утопали в небе.*

*У художников есть как бы крылья.*

*Порции машин были как бы нарезаны светофором.*

Подобную ситуацию наблюдаем также в отрывке из прозы Ф. Сологуба:

— *А ты не смотри, спи себе.*

— *Я бы... не смотрел, — глаза смотрят.*

Здесь выражение *глаза смотрят* можно интерпретировать как *глаза как бы сами смотрят* — таким образом, нет никакого смысла говорить о метонимическом употреблении существительного *глаза*. Аналогично употребляется существительное *лапа* в отрывке из повести Т. Владимова «Верный Руслан» — выражение *отрывал одну лапу* можно интерпретировать как *отрывал как бы одну лапу*, ср.:

— *Внимание!* — командовал инструктор, и все собаки заранее умирали от восторга. — *Показываю!*

*И, опустившись на четвереньки, он показывал как уклониться от палки или от пистолета и перехватить руку с оружием. Правда, иной раз инструктору все же попадало палкой по голове или по зубам, но он не выходил из игры. Он только на секунду отрывал одну лапу от земли и проверял, нет ли каких повреждений.*

Неузуальное словоупотребление в тексте, таким образом, может означать не только языковую метафору, но особое, нетривиальное семантическое содержание текста, при этом можно различать два явления. Первое — это онтологическая аномалия, при которой мы имеем дело с нестандартным, редким, особым положением дел. Например, польский еженедельник «Ангора» (2004/42) сообщает о построенном еще в годы ГДР в городе Прора, сегодня пустующем, пятикилометровом здании дома отдыха, рассчитанного на... 20 тысяч человек (см. фотоснимок).



Ср. речевые примеры онтологических аномалий:

*Сходил за печь, вынес два валенка вина* (В. Попов).

*Детский восторг выражается в разном. На встречах «Живая тетя Таня...», «Хочу стать Хрюшей», — мечтают дети. А Бейдер говорит, что назовет свои мемуары «20 лет под юбкой тети Вали» («Комсомольская правда». 3.VIII.1991).*

В первом предложении читателя может удивить экзотический способ хранения вина — в валенке, а во втором случае речь идет об актере-кукольнике, выступающем в телевизионной передаче «Спокойной ночи, малыши!»

К явлениям того же типа следует отнести и употребление выражения *рассыпать книгу* в приводимом ниже отрывке из публицистического текста:

*Счастливчик... Тридцать седьмой год членства — и ни выговора, ни занесения, ни обсуждения даже. Везун и ловчила. Вышибали с работы, заносили по цензуре в черные книжки, книги рассыпали, фильмы гноили на полках* (Ю. Черниченко).

На первый взгляд, выражение *рассыпать книги* может показаться странным — в соответствии с нормой следовало бы сказать иначе: *разбросать книги*. Но в данном случае имеется в виду специфическая предметная область — полиграфия, и именно полиграфическая технология докомпьютерной эпохи, поэтому с учетом данной онтологической информации выражение *рассыпать книгу* должно интерпретироваться следующим образом: ‘уничтожить набор книги, т.е. разобрать сложенные в определенном порядке литеры, воспроизводящие текст книги’.

Второй тип аномальных возможных миров — деонтическая аномалия (ср. понятие деонтической/интенциональной модальности в работе: Kiklewicz 2004, 168ссл.) — обусловлен психическими состояниями субъекта, прежде всего такими, как воображение и восприятие. Так, в стихах У. Эмпсона:

*Лишь кровь горячая рождает  
В нас вечный дух для славных дел*

Д. Дэвидсон (1990, 180) не усматривает метафоры слова *дух*, потому что, по его мнению, для автора стихов оно связано с мифопоэтической семантикой: *дух* понимается как небольшая, но активная часть крови, нечто среднее между душой и телом.

Подобная ситуация наблюдается и в стихотворении Н. Заболоцкого «Движение»:

*Сидит извозчик, как на троне,  
Из ваты сделана броня,  
И борода, как на иконе,  
Лежит, монетами звеня.  
А бедный конь руками машет,  
То вытянется, как налим,  
То снова восемь ног сверкают  
В его блестящем животе.*

В сочетаниях *бедный конь руками машет* и *восемь ног*, конечно же, нет никакой метафоры. Референтом данного текста выступает возможный мир (а именно — предметная область) «движение», альтернативный по отношению к возможному миру «покой». Стандартные предпосылки

*У лошади нет рук или  
Лошадь имеет четыре ноги*

истинны только в рамках категории покоя и ложны в категории движения: в возможном мире «движение» размыта граница между передними и задними конечностями, а их количество пропорционально скорости движения. Ср. другие примеры художественных текстов, в которых представлены интенциональные возможные миры:

*Снежной пылью осыпая,  
сводит голубей с ума  
розовая, голубая  
разноцветная зима (Н. Ушаков).*

*У нас загадка не простая...  
Ты требуй, вопреки молве,  
Чтоб яблони сбирались в стаи,  
А голуби росли в траве (П. Васильев).*

*Он женщину в небо подкинул —  
и женщина в небе висит (А. Еременко).*

*Это дерево — мой ребенок от вас, Наташа (Ю. Олеша).*

*Деревья никогда ничего не говорили. Впрочем, одно дерево однажды сказала:  
«Ничего!» (С. Миллиган, пер. Г. Кружкова).*

*Он опять отвернулся к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога (Я. Гашек, пер. П. Богатырева).*

Важнейшую роль пропозициональных установок (другими словами — операторов деонтической модальности) типа *Мне кажется, Я представляю, Я вижу* следует признать и в случае многих выражений, культивируемых в повседневной коммуникации, например, ставших хрестоматийными выражений:

*Солнце всходит.*

*Солнце заходит.*

Здесь лексически не реализованы модальные, а именно — перцептивные операторы, ср. трансформы:

*Я вижу, что солнце всходит/заходит.*

Ср. художественную рефлексию по поводу данного явления известного прозаика А. Битова:

*«Луна зашла за тучу» — повторил я про себя эту спокойную фразу, и меня разоб-  
брал смех: «Луна-то никогда ни за какую тучу не заходила! То есть предста-  
вить только себе, где туча, где я, где Луна... — трудно привести пример более  
юмористического смещения масштабов!»*

При интерпретации текста важно учитывать и коммуникативные возможные миры, т.е. особые социальные условия бытований сообщений. В качестве примера рассмотрим высказывание:

*Соседка радостно сообщает:*

*— А у нас в магазине рис продают!!!*

С одной стороны, казалось бы, мы имеем дело с тривиальным утверждением, т.е. с речевым выражением того, что А. Авдеев называет «семантическим стандартом»: тот факт, что в магазине продают рис, является самоочевидным. Но с другой стороны, если мы учтем, что высказывание произносится в условиях дефицита продуктов питания в эпоху развитого социализма — в 80-е годы XX в., то данный коммуникативный контекст объясняет и целесообразность самого сообщения, и сопутствующую ему эмоциональную модальность.

Мир полон метафор, пока мы плохо понимаем его. Поэтому исследователь метафоры в художественном тексте должен быть весьма внимательным по отношению к разного рода языковым аномалиям. В 60-е и 70-е годы XX века филологи (а вместе с ними — математики, кибернетики, инженеры) увлекались исследованием поэтического языка. С точки зрения современного филологического, герменевтического мышления художественный текст — это, скорее, повод, чтобы задуматься

маться о человеке, а именно — о когнитивной мотивации наших коммуникативных действий.

### Литература

- Болинджер, Д. (1987), *Истина — проблема лингвистическая*. В: Сергеев, В. Б./ Паршин, П. Б. (ред.), *Язык и моделирование социального взаимодействия*. Москва, 23–43.
- Дэвидсон, Д. (1990), *Что означают метафоры*. В: Арутюнова, Н. Д./Журинская, М. А. (ред.), *Теория метафоры*. Москва, 173–193.
- Иванов, Вяч. Вс. (1975), *Функции и категории языка кино*. В: *Труды по знаковым системам*. Вып. 7. Тарту, 170–192.
- Иванов, Вяч. Вс. (1980), *Семантика возможных миров и филология*. В: Григорьев, В. П. (ред.), *Проблемы структурной лингвистики 1980*. Москва, 5–19.
- Касевич, В. Б. (1988), *Семантика. Синтаксис. Морфология*. Москва.
- Козлова, М. С. (1972), *Философия и язык*. Москва.
- Плотников, Б. А. (1989), *О форме и содержании в языке*. Минск.
- Степанов, Ю. С. (1985), *В трехмерном пространстве языка*. Москва.
- Столнейкер, Р. (1985), *Прагматика*. В: Падучева, Е. В. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. Москва, 419–438.
- Супрун, А. Е. (1978), *Лекции по языковедению*. Минск.
- Тодоров, Ц. (1983), *Понятие литературы*. В: Сьепанов, Ю. С. (ред.), *Семиотика*. Москва, 355–369.
- Тюнькин, К. И. (ред.) 1990), *Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. I*. Москва.
- Фреге, Г. (1987), *Мысль: логическое исследование*. В: Горский, Д. П./Петров, В. В. (ред.), *Философия. Логика. Язык*. Москва, 18–47.
- Хинтика, Я. (1980), *Логико-эпистемические исследования*. Москва.
- Якобсон, Р. (1985), *Избранные работы*. Москва.

## ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ТЕКСТА\*

Я боюсь, что наступит мгновенье,  
И, не зная дороги к словам,  
Мысль, возникшая в муках творенья,  
Разорвет мою грудь пополам.

Николай Заболоцкий

Творчество — это страсть, умираю-  
щая в форме.

Михаил Пришвин

Как-то, когда я стыдил моего родив-  
шегося уже в Америке сына за то, что  
он не читал Достоевского, наш друг  
художник Бахчанян все испортил, ска-  
зав, что это все не важно, потому что  
Пушкин, например, тоже не читал До-  
стоевского.

Александр Генис

### Введение

Сущность эстетической функции текста заключается в том, что текст соотносится не с объективной действительностью, а с вымышленным, фиктивным миром, что и обуславливает динамику эмоционального состояния реципиента, чаще всего — читателя. В процессе реализации эстетической функции, как считают немецкие исследователи В. Хайнеманн/Д. Вивегер (Heinemann/Wiehweger 1991), осуществляется психологическая разгрузка, информирование и управление — именно поэтому эстетическая функция стоит в их концепции как бы особняком. Согласно другой точке зрения, передача эстетической информации — особый речевой акт, находящийся вне информирования, побуждения или кон-

---

\* Первая публикация: *Лекции по функциональной лингвистике*. Минск: Издательство БГУ, 1999; 40–54. Здесь публикуется в переработанном виде.



тактирования. Как считала Т. М. Сильман (1977, 179), коммуникативная природа художественных текстов вторична, ведь, например, лирическое стихотворение представляет собой не адресованное кому-либо сообщение, а разговор лирического героя с самим собой. В. Г. Адмони писал об «эгоцентризме» художественных текстов, которые, в отличие от сакральных или утилитарных текстов, «не имеют очевидного рационального коммуникативного назначения» (1994, 120).

### 1. Трактовка эстетической функции в структурной поэтике

Широко известно определение поэтической функции Р. Якобсона: она «проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» (1975, 204). Еще раньше Я. Мукражовский определял природу словесного искусства как преднамеренность, т.е. смысловое единство всех частей и элементов художественного произведения (1975, 166ссл.). Это — имманентно-структурное определение эстетической функции. В его основе лежат такие понятия, как информация, энтропия, код, канал и др. В монографии польского исследователя М. Порембского (Porębski (1986, 18ссл.) коммуникативный канал представляется в виде места, которое может быть заполнено цифрой:

1

Рис. 1

Если в нашем распоряжении имеются два знака, а именно — 1 и 0, то по данному каналу мы можем передать два сигнала:

1 0

Рис. 2

Если же канал трехместный, то количество информации, которую можно передать при том же инвентаре знаков, возрастает до восьми:

000 100 010 001 110 101 011 111

Рис. 3

Данные восемь сигналов, исходные знаки 1 и 0, а также правила их сочетаемости составляют код. Но в процессах обмена информацией далеко

не всегда реализуется весь потенциал кода, что связано с наличием в канале разного рода препятствий — «шумов». В случае вербальной коммуникации «шум в канале» означает либо нарушения аудиального или визуального восприятия речи (большое расстояние между субъектами, темнота и т.д.), либо особое — деструктивное — физиологическое или психологическое состояние одного из коммуникантов, либо отсутствие необходимого социального контакта и др. Ю. М. Лотман неоднократно подчеркивал, что с развитием культуры количество шума в вербальном семиотическом канале возрастает, объяснением чему является общее усложнение семиозиса, индивидуализация семиотических личностей. В связи с подобными процессами А. Моль писал о «мозаичной культуре» (1973, 357).

Что происходит с информацией в результате воздействия на нее шума? Проследим это на примере рассматриваемого нами троичного кода. Шумовое воздействие может, например, стереть первое место. Тогда для получателя информации некоторые сообщения перестанут различаться:

00 00 10 01 10 01 11 11

Рис. 4

Чтобы избежать проблем, связанных с многозначностью, можно попытаться устранить шумы в канале. Но зачастую подобная задача не выполнима, например, из-за упомянутой выше «мозаичности» семиозиса. Другое возможное решение — использовать только часть кода, а именно — некоторый субкод *A*. Допустим, в нашем трехэлементном коде мы используем не восемь, а только четыре набора знаков:

000 110 101 011

Рис. 5

В таком случае даже при условии, что под воздействием шума каждое место (первое, второе или третье) будет заблокировано, все сигналы сохранят свою специфическую информацию, ср. (нейтрализовано первое место):

00 10 01 11

Рис. 6

Теоретически для передачи четырех сигналов хватило бы четырех наборов из двух элементов, как это показано на рис. 6. Но с учетом того, что какие-то элементы сообщения могут «потеряться», мы вынуждены использовать сообщения с бóльшим количеством элементов (рис. 5). Таким образом, в оптимальном случае код характеризуется избыточностью, или редундантностью, которая гарантирует сохранение информации в условиях естественной коммуникации, далеких от идеальных:

Эта довольно дорогостоящая особенность языка направлена на то, чтобы обеспечить языковым сообщениям определенный иммунитет к ошибкам, возникающим при передаче информации (Дюбуа/Эдделин /Клинкенберг и др. 1986, 74; см. также: Славиньский 1975, 262).

По данным цитируемых выше авторов, объем общей избыточности письменных французских текстов составляет 55 %; это означает, что, если 55 % текста будет недоступно для восприятия, текст в целом останется понятным. Не случайно для описания знаков препинания А. А. Реформатский предлагал «теорию защит»: будучи избыточными графическими средствами письменного текста, такие знаки служат «добавочной защитой смысловых отношений перед восприятием читателя» (1987, 148).

Избыточность, сохраняя информацию от потери, однако приводит к семантическому опустошению сообщения, потому что количество информации в расчете на каждую его единицу уменьшается (Лотман 1972, 34сл.). Напротив, возрастает количество языковых средств, используемых для передачи того или иного сигнала. Совершенно очевидно, что такой большой объем средств требует специальной обработки, коррективки, редактирования, что, как указывает Порембский, приводит к канонизации субкода (Porębski 1986, 34), которому в условиях естественноречевой коммуникации соответствует понятие литературного языка.

Но избыточность сообщения может вызывать и обратный эффект — рост информации. Редундантное сообщение при этом осмысливается как сигнал с новым, обогащенным содержанием, потому что информативным становится сам способ передачи сообщения.

Вернемся к нашему трехэлементному субкоду *A* (см. рис. 5). Он может быть преобразован в субкод *B*, если допустить, что каждое сооб-

щение имеет вариант с дополнительной единицей информации, которая возникает благодаря тому, что семантизируется форма передачи знака, т.е. само место становится частью содержания (см. рис. 7).

0'00 0'10 0'01 0'11

Рис. 7

В субкоде *A* значимость каждого сигнала определяется в системе отношений с другими сигналами, внутренняя же структура самого сигнала не учитывается, поэтому с содержательной точки зрения двузначный сигнал тождествен трехзначному:

000 = 00

Рис. 8

В художественном субкоде *B* значимость сигнала определяется с учетом его внутренней структуры, здесь уже

0'00 ≠ 00

Рис. 9

Таким образом, не расширяя объема кода (не добавляя новых мест), с помощью субкода *B* мы увеличиваем количество передаваемой информации — ведь операция выделения знаком «'» в нашей графической модели может быть применена к любому месту любого сигнала, так что число разных сигналов возрастает до 32.

Обратим внимание, что теперь, когда способ выражения становится значимым, избыточность сообщения исчезает: если стереть первое место, то сигналы

000 и 0'00

Рис. 10

станут неразличимыми:

00 = 00

Рис. 11

В этом заключена важнейшая особенность художественного субкода — его исключительно слабый шумовой иммунитет: малейшие нарушения в коммуникативном канале способны существенным образом изменить содержание сообщения. Поэтому с коммуникативной точки зрения художественный текст является дефектным — функцию общения (в смысле — информирования) в условиях естественной коммуникации, т.е. при наличии многочисленных помех, он выполняет довольно плохо.

Впрочем, структурную лингвистику как раз мало интересовала внешняя сторона художественных текстов. Структурное толкование эстетической функции текста носит имманентно-языковой характер и базируется на «принципе повтора» (Ю. М. Лотман): преднамеренное дублирование разноформатных компонентов текста вводит в фокус внимания реципиента форму сообщения, которая становится источником новой информации. В «Тезисах Пражского лингвистического кружка» читаем:

[...] Все стороны лингвистической системы, играющие в деятельности общения только подсобную роль, в поэтической речевой деятельности приобретают уже самостоятельную значимость. Средства выражения [...] стремящиеся в деятельности общения автоматизироваться, в поэтическом языке стремятся, наоборот, к актуализации (Тезисы 1960, 79: см. также: Тынянов 1965, 121; Жирмунский 1977, 16-17).

В развитии структуры поэтического текста Р. Барт (1983, 326ссл.) выделял два периода: классический и современный. Классическое поэтическое письмо отличалось от прозы лишь квантитативно — некоторым обязательным количеством неустраняемых орнаментальных, декоративных средств — тропов. Важнейшая особенность классической эпохи — структурные соответствия формы и содержания, что выдвигал в качестве основного требования к словесному искусству один из классиков английского Просвещения Г. Хоум:

Слова, обозначающие тесно связанные предметы мысли, должны помещаться возможно ближе друг к другу [...] Слова мы помещаем в том же порядке, в каком поместили бы обозначаемые ими предметы (1977, 345сл.).

В искусстве нового времени симметричность языка и мира нарушается: форма здесь, по определению Р. Арнхейма, — нечто большее, чем толь-

ко форма (1974, 70). Креативность языка выдвигается в область сознательной, преднамеренной деятельности субъекта. Цитируя К. Брюллова: «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть», — Л. С. Выготский добавлял: «Это все равно что сказать, что искусство начинается там, где начинается форма» (1978, 54сл.).

Синтагматическая цепь в классической поэзии подчинялась требованию «изящной, декоративной упорядоченности», как писал Барт, или требованию «гибкости языка», как писал А. Н. Колмогоров. В поэзии модернизма синтагматическая цепь организуется принципом семантического единства текста. «В художественном тексте происходит семантизация несемантических (синтаксических) элементов естественного языка», — указывал Ю. М. Лотман (1970, 31). Термин «синтаксический» здесь следует понимать более широко — как «дистрибутивный» или «комбинаторный», потому что «принцип повтора» распространяется на все — знаковые, субзнаковые и суперзнаковые, единицы языка.

Эстетический эффект, таким образом, возникает благодаря совокупности «вариаций, в которых может выступать „гештальт“ сообщения, не переставая быть отчетливо распознаваемым» (Моль/Фукс/Касслер 1975, 36) (хотя о степени «распознаваемости» можно дискутировать). Эту неразрывность плана содержания и плана выражения поэтического текста в художественной форме отразил Н. Заболоцкий:

*Соединив безумие с умом,  
Среди пустынных смыслов мы построим дом —  
Училище миров, неведомых доселе.  
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.*

Ярким примером семантически значимого дублирования элементов поэтического текста могут быть фонетические повторы (Лотман 1972, 63-64; Панов 1979, 227; Григорьев 1979, 132 и др.). Например:

*Мне снился сон: я мучаюсь и мчусь* (Б. Ахмадулина).

Звуковые повторы *с — с — с' — с'*, *м/у/ч/с' — м/ч/у/с'* порождают ассоциативные связи между словами и генерируют новые смыслы: скорость мучительна, мука близка, движение как спасение, мучение неодолимо, необъяснимо и т.д. Другой пример:

*Мне жалко не этого бала  
И пыла, а жизни — до слез* (А. Кушнер).

Фонетическое сходство словоформ бала — пыла создает семантический эффект — значения пышности и суетности, которые противопоставляются

признаку обыденности или, возможно, признаку интимности в лексическом значении лексемы жизнь. Обратим внимание также на возможную значимость фонетической ассоциации пыл — пыль. Как видим, «поэтическое сообщение как бы растворяет слова вокруг их смысла [...] продолжая все же намекать на этот смысл» (Моль/Фукс/Каслер 1975, 153сл.).

Особенно значимы звуковые повторы в некоторых версиях поэтического модернизма, например, в футуризме. Как декларировал Хлебников, «слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка» (1933, 235-236). Заслуживает внимания также посвященный поэтическим операциям над звуковой формой фрагмент эссе Х. Л. Борхеса:

Рассеянное поглощение расхожего текста — к примеру, столь недолговечных газетных статей — предполагает изрядную толику случайности. Сообщают — навязывая его — некоторый факт: информируют о том, что вчерашнее происшествие, как всегда непредвиденное, имело место на такой-то улице, таком-то углу, в такое-то время дня — перечень ни для ничего не значащий — и, наконец, что по такому-то адресу можно узнать подробности. В подобных сообщениях протяженность абзацев и их звучание являются фактором второстепенным. Совершенно иначе обстоит дело со стихами, незыблемым законом которых является подчиненность смысла эвфоническим задачам (или прихотям). Второстепенным является не мелодия стиха, а содержание («Страсть к Буэнос-Айросу»; разрядка моя. — А. К.).

«Принцип повтора» в содержательной структуре художественного текста может быть описан с коммуникативно-прагматической точки зрения. В известной теории имплицатур Г. П. Грайса ведущим принципом речевого взаимодействия является принцип кооперации: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» (1985, 222). Принцип кооперации реализуется, в частности, с помощью «категории отношения», которой соответствует постулат релевантности: «Не отклоняйся от темы». Данный постулат и обуславливает семантическую связность текста, которая представляет собой норму вербальной коммуникации. Но применительно к художественным текстам следовало бы говорить о гиперрелевантности, потому что связность охватывает здесь не только содержательные, но и формальные, так сказать, «технические» компоненты текста.

Необходимо, однако, отметить, что формальная ориентация художественного текста варьируется в зависимости от того, что Р. Барт называет «стилем письма». Так, в поэтическом тексте семантизация плана формы обычно сильнее, чем в прозе (см.: Sławiński 1974, 141сл.).

Подтверждение этой мысли можно найти в текстах выдающихся прозаиков:

[...] Страница, обреченная на бессмертие, невредимой проходит сквозь огонь опечаток, приблизительного перевода, неглубокого прочтения и просто непонимания [...] «Дон Кихот» посмертно выиграл бы все битвы у своих переводчиков и преспокойно выдерживает любое, даже самое посредственное переложение. Гейне, который ни разу не слышал, как этот роман звучит по-испански, прославил его навсегда [...] Я вовсе не одобряю небрежности и не верю в мистическую силу нескладной фразы и стертого эпитета. Просто я искренне убежден, что возможность упустить два-три неброских приема: зрительную метафору, приятный ритм, удачное междометие или гиперболу и т.д. — лишний раз доказывает, что писателя ведет избранная тема. И в этом все дело (Х. Л. Борхес, «Страсть к Буэнос-Айросу»; разрядка моя. — А. К.).

Писатель — прежде всего человек, который ставит все свои слова, постигнув их смысл. Пусть из будет сто, но ни одного приблизительного. Писатель все-таки пишет смыслами, а не словами (А. Битов, «Писатель пишет смыслами...»; разрядка моя. — А. К.).

## 2. Коммуникативные аспекты художественного воздействия

Принцип повтора — важный, но не единственный и не самодостаточный признак языковых выражений, выполняющих эстетическую функцию. Д. Ораич-Толич (Oraić-Tolić 1995) справедливо указывает, что имманентно-структурная трактовка эстетической функции объясняется влиянием литературного авангарда, в кругу которого находились формалисты (Р. Якобсон, Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, Б. М. Томашевский и др.). Поэтому якобсоновское определение поэтической функции как абсолютизации принципа синтагматического дублирования элементов текста представляется частным случаем, уместным по отношению к конкретному виду поэтики. Такое определение было бы, напротив, неуместным применительно к «классическому письму». С другой стороны, принцип дублирования наблюдается также вне сферы словесного искусства, например, в лечебном гипнозе и вообще в довольно широком репертуаре средств суггестивной функции.

Как уже отмечалось, информационный рост в поэтическом тексте нейтрализует избыточность, а это угрожает смысловой наполненности и понятности сообщений. Возникает парадокс, который невозможно разрешить, если не принять точку зрения, согласно которой обмен художественными текстами представляет собой особую разновидность комму-



никации. Принимая такую точку зрения, М. Порембский указывает, что художественная коммуникация всегда отличается целями, которые реализуются с помощью информационного обмена (Porębski 1986, 40сл.). Я. Мукаржовский писал, что актуализация («размораживание» по А. Молю) плана выражения в поэтическом тексте

приобретает максимальную интенсивность, которая оттесняет на задний план сообщение как цель высказывания и становится самоцелью; она совершается не для того, чтобы служить цели сообщения, а для того, чтобы выдвинуть на первый план сам акт выражения, говорения» (1967, 410). «Для всех остальных функций вещи [...] имеют ценность лишь в той степени, в какой они отвечают цели, достижению которой служит данная функция. Только для эстетической функции носитель функции представляет ценность сам по себе, представляет ценность ввиду способа, каким он создан и формируется (Мукаржовский 1994, 126сл.).

Ср. также определение литературы у Тодорова:

[...] Литература есть система, системно организованный язык, сосредоточивающий в силу этого наше внимание на себе самом, язык, приобретший свойство самоцельности (1983, 361).

Самоцельность литературы (и вообще искусства) позволяет описывать ее как игру, ведь, как пишет Х.-Г. Гадамер — сторонник игровой концепции искусства, «подлинная цель игры — вовсе не ее (игровой задачи. — А. К.) решение, а порядок и структура самого игрового движения» (1988, 153).

Различая два вида информации — семантическую и эстетическую, А. Моль указывает, что информация первого типа имеет сугубо утилитарный характер и может использоваться для стимулирования определенных действий адресата сообщения. Эстетическая информация никогда не содержит принуждения к действиям, она лишь способна влиять на состояние реципиента (1966, 200сл.; см. также: Левицкий 1998, 27).

Применительно к художественному тексту теряет силу требование семантической однозначности и понятности вербального сообщения. Художественная коммуникация всегда подразумевает определенный конфликт текста и реципиента. По словам Ю. М. Лотмана,

выполнять функцию «хороших стихов» в той или иной системе культуры могут лишь тексты, высоко для нее информативные. А это подразумевает конфликт с читательским ожиданием, напряжение, борьбу и в конечном итоге навязывание читателю какой-то более значимой, чем привычная ему, художественной системы (1972, 130).

Если канонический субкод направлен на преодоление «шума», то эстетический, напротив, в какой-то степени сам и программирует его. Шум в эстетическом канале — явление нормальное. Если в литературном языке значения относительно строго соответствуют формам и более или менее автоматически узнаются благодаря им, то в поэтическом языке при аморфности границы между значением и формой, языком и речью исчезает конвенциональность содержания и гарантия того, что данная форма будет интерпретирована таким, а не иным способом.

Понимание утилитарного текста должно воссоздавать его первоначальный замысел. Напротив, понимание художественного текста представляет собой акт творения: читатель должен создать ассоциативную связь между формой и смыслом.

Нередко эта связь не имеет строгих психологических очертаний, восприятие текста ограничивается лишь констатацией, что такая связь имеется — читатель подсознательно ощущает существование «островка организованности», и это доставляет ему эстетическое наслаждение. Ср. стихотворение В. Хлебникова:

*Ветер утих и утих.  
Вечер утих.  
У тех смелых берез  
С милой смолой  
Где вечер в очах  
Серебряных слез.*

Наличие фонетических повторов здесь очевидно, но вряд им можно приписать конкретную, однозначную семантическую функцию или хотя бы то, что А. Моль называет семантическим «гештальтом». В связи с этим нельзя не вспомнить замечание Ю. М. Лотмана: «Всякая упорядоченность художественно активна, если она проведена не до конца и оставляет определенный резерв неупорядоченности» (1970, 140).

Можно встретить мнение, что «стихи только для того и нужны, чтобы не дать поэту говорить». И это верно, если предикат *говорить* понимать как 'говорить в соответствии с коммуникативными нормами'. В нормальном случае устное сообщение должно быть соотнесено с окружающей обстановкой: положением дел, участниками и зрителями вербального взаимодействия, характером психологического и социального контакта между коммуникантами и др. Языковые выражения, с помощью которых могут быть выражены фоновые знания субъекта о ситуациях и событиях, которыми сопровождается произнесение высказывания, называются **п р е с у п п о з и ц и я м и** :

*Не курить!* — пресуппозиция: *Возможно/ождается, что кто-то будет курить.*

*Хлеба к обеду в меру бери!* — пресуппозиция: *Ожидается, что кто-то возьмет хлеба сверх меры.*

*Посетители в верхней одежде не обслуживаются!* — пресуппозиция: *Ожидаются посетители в верхней одежде.*

*Посетители без верхней одежды не обслуживаются!* — пресуппозиция: *Ожидаются посетители без верхней одежды.*

Поэтический текст, который характеризуется гиперсвязностью, практически лишен ситуативной связности на уровне целого: в рамках художественной коммуникации имплицатуры вовсе не обязательны, как и не обязательна какая-либо содержательная связь художественного текста с конкретной обстановкой его создания или восприятия. Именно это имеет в виду Гадамер, когда пишет об отсутствии у литературы «онтологической валентности» (1988, 210). Искусство с онтологической точки зрения амбивалентно, поэтому можно оспорить правомерность иронического тона в известном отрывке из рассказа А.Чехова «Ионыч»:

[...] *Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...»*  
*Окна открыты настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами равнину и путника, одиноко шедшего по дороге.*

Скорее, следует согласиться с утверждением другого классика — И. Анненского: «Чем далее вперед продвигается искусство, чем выше творящий дух человека, тем наивнее кажутся нам в применении к поэзии требования морализма».

Впрочем, нельзя говорить и о полной онтологической нерелевантности художественного текста. Во-первых, он существует в определенном идеологическом контексте, содержательно с ним связан, что проявляется, например, в такой характеристике реалистической литературы, как *тенденциозность*. Так, можно считать, что поэма Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» содержит общую культурную пресуппозицию *Воздействие на общественное мнение средствами литературы способно оптимизировать государственное устройство*.

Во-вторых, при восприятии художественного текста реципиент стремится каким-то образом связать его содержание со своим внутренним миром — с системой знаний, в том числе и знаний о текстах, типах текстов, а также со своим эмоциональным состоянием. Вообще следует сказать, что релевантность художественного текста в большей степени

связана с читателем, ведь именно он является инициатором выбора текста, от читателя зависит и его окончательная интерпретация.

В отличие от утилитарных художественные тексты слабо ко-  
дифицированы. Ср. характерный пример:

*Я как-то предложил Маяковскому купить у меня рифму.*

— *Пожалуйста, — сказал он с серьезной деловитостью. — Какую?*

— *Медикамент и медяками.*

— *Рубль.*

— *Почему так мало? — удивился я.*

— *Потому что говорится «медикамент», с ударением на последнем слоге.*

— *Тогда зачем вы вообще покупаете?*

— *На всякий случай (Ю. Олеша).*

Вот это «на всякий случай» оказывается в художественном тексте важнее, чем правила нормативной грамматики. Данная сторона художественных текстов нашла свое отражение в теории деформации Я. Мукаржовского, который считал, что нарушение литературной нормы является основой поэтической функции (1967, 407). Так, в стихотворении В.Хлебникова

*Умерло солнце — выросли травы,*

*Умерли травы — выросли козы,*

*Умерли козы — выросли шубы*

нарушается лексическая сочетаемость: \**умерли травы*, \**выросли шубы*, но именно намеренный характер нарушения делает его оправданным: правила лексической сочетаемости подчиняются семантическому дублированию в тексте (*умерло... умерли... умерли... — выросли... выросли... выросли...*), а также логико-семантическим связям его частей (*умерли... — выросли...*). Создается непрерывное семантическое пространство, диахронически моделируется миропорядок:

*солнце → трава → козы → шубы*

Вторичность литературной нормы в художественном тексте, как считал Мукаржовский, настолько сильна и очевидна, что, по его мнению, без возможности нарушения нормы поэзии не было бы вообще.

### 3. Феноменологическое определение эстетической функции

Для современного понимания эстетической функции характерен феноменологический подход, который концентрирует внимание на содержании художественных текстов, прежде всего — на специфическом для художественной литературы способе отражения мира.

В соответствии с нормами речевой коммуникации участники диалога должны выполнять постулаты категории «качества», которые Грайс формулирует так: «Не говори того, что ты считаешь ложным» и «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» (1985, 222). В художественном тексте эти нормы речевой деятельности не имеют силы — в искусстве нет логического «да» и «нет» (Жинкин 1985, 78). «Там, где обнаружена соизмеримость вещи и пересказа, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала», — писал О. Манделштам.

В рамках аналитической философии высказывания, входящие в художественный текст, рассматриваются как квази-суждения, которые, указывая на несуществующие объекты, не обладают ни истиной, ни ложью. Одним из первых эту идею высказывал выдающийся немецкий логик Г. Фреге, который считал, что выражения, относящиеся к области искусства, обладают смыслом, но не обладают значением (указанием на конкретные наблюдаемые предметы).

Данное свойство художественных текстов называется автореференциальностью (или автосемантической) — об этом пишет Ж.-Ф. Жаккар (2004, 83). Ср. характерный с этой точки зрения приводимый ниже текст анекдота, в котором цепь событий опирается на связности, но не имеет ничего общего с понятием целостности, т.е. соотносительности текста с некоторым замкнутым во времени и в пространстве событием или секвенцией событий:

*Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол. Вдруг — звон разбитого стекла. Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой, и гонится за мальчиком. Мальчик бежит от него и думает: «Зачем, зачем это все? Зачем весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья? Зачем??? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не читаю книжку моего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?»*

*Гавана. Эрнест Хэмингуэй сидит в своем кабинете на загородной вилле, дописывает очередной роман и думает: «Зачем, зачем это все? Как все это надоело, эта Куба, эти пляжи, бананы, сахарный тростник, эта жара, эти кубинцы!!! Почему я не в Париже, не сижу со своим лучшим другом Андре Моруа в обществе двух прелестных куртизанок, попивая утренний аперитив и беседуя о смысле жизни?»*

*Париж. Андре Моруа в своей спальне, поглаживая по бедру прелестную куртизанку и попивая свой утренний аперитив, думает: «Зачем, зачем это все? Как надоел этот Париж, эти грубые французы, эти тупые куртизанки, эта Эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову! Почему я не в Москве, где холод и*

*снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым за стаканом русской водки и не беседую с ним о смысле жизни?»*

*Москва. Холод. Снег. Андрей Платонов. В ушанке. В валенках. С метлой. Гонится за мальчиком и думает: «Б\*\*\*\*, догоню — убью на х\*\*\*!!!»*

В качестве примера реализации автореферентности художественного текста можно рассмотреть использование индексальных выражений — субститутивных и дейктических местоимений. В обыденной коммуникации их корректное употребление предполагает наличие обозначаемого предмета — референта (или денотата), который упоминается в контексте данного сообщения или же присутствует в коммуникативной ситуации. Так употребляется местоимение *ее* в выражении:

*Низко над нами пролетела ворона, ее черные перья лоснились.*

В речевой практике эпизодически представлены и выражения, в которых индексальные знаки лишены соотнесенности с конкретными референтами и выступают в обобщенном значении, например:

*Ты — мне, я — тебе.*

Однако такие случаи достаточно редки. Напротив, в художественном, а особенно — поэтическом, тексте употребление местоименных слов с семантикой неопределенности или обобщенности является типичным. Ср. юмореску В. Кандинского «Почему»:

— *Никто оттуда не выходил.*

— *Никто?*

— *Никто.*

— *Ни один?*

— *Нет.*

— *Да! А как я проходил мимо, один все-таки там стоял.*

— *Перед дверью?*

— *Перед дверью. Стоит и руки расставил.*

— *Да! Это потому что он не хочет никого впустить.*

— *Никто туда не входил?*

— *Никто.*

— *Тот, который руки расставил, тот там был?*

— *Внутри?*

— *Да, внутри.*

— *Не знаю. Он руки расставил только затем, чтобы никто туда не пошел.*

— *Его туда поставили, чтобы никто туда внутрь не вошел? Того, который расставил руки?*

— *Нет, он пришел сам, стал и руки расставил.*

— *И никто, никто оттуда не выходил?*

— *Никто, никто.*

В тексте отсутствует информация, которая позволяла бы идентифицировать референты местоимений *тот*, *там*, *никто* и др., принципиально невозможны определения типа: «Человек, которого я вижу, есть тот человек, который расставил руки» или «Место, в котором я нахожусь, есть то место, откуда никто не выходил».

С этой точки зрения интересен также рассказ И. Бунина «Качели», в котором категория лица вообще не актуализована:

*В летний вечер сидел в гостиной, брэнча на фортепьяно, услышал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не в лад закричал, запел [...]*

*Вошла в синем сарафане, с двумя длинными темными косами на спине, в коралловом ожерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице:*

*— Это все про меня? И ария собственной композиции?*

*— Да!*

*И опять ударил и закричал [...]*

Иногда референты местоимений, употребляемых в поэтическом тексте, все же могут быть идентифицированы, ср. известное пушкинское стихотворение «К\*\*\*»:

*Я помню чудное мгновенье:*

*Передо мной явилась ты...*

С одной стороны, *я* — Пушкин, *ты* — А. П. Керн, которой посвящено стихотворение. Но, с другой стороны, в процессе художественной коммуникации семантика индексального знака расширяет свой объем и выходит за пределы конкретной референции: *я* — это уже влюбленный лирический герой, *ты* — прекрасная женщина и объект обожания. Художественный текст, таким образом, обладает референтной амбивалентностью (потенциальностью), в нем изначально закодировано право реципиента на то, чтобы актуализировать смысл текста применительно к себе, интерпретировать его как: «Все сказанное могло бы касаться меня самого».

Лирические «я» и «ты», как писала Т. М. Сильман (1977, 37сл.), способствуют обобщенности образа, вызывают в воображении каждого конкретного читателя личные ассоциации. Таким образом возникает эмоциональная релевантность художественного текста, о которой говорилось выше. Эту сторону художественной литературы подчеркивал Я. Мукаржовский (1994, 102): читатель, по его мнению, стремится к тому, чтобы установить психологическую связь с текстом, интерпретировать текст на фоне индивидуального духовного и практического опыта. Благодаря активности реципиента текст соотносится

с ситуациями, которые он (читатель. — А.К.) сам пережил или может пережить в существующих условиях, с чувствами и порывами, которые сопровождали или могли сопровождать подобные ситуации, с действиями, на которые они могли побудить самого читателя [...] Художественное произведение не указывает на действительность, которую прямо изображает [...] оно как знак вступает в не прямое (образное) отношение с реальным фактом, жизненно важным для воспринимающего, и тем самым ко всему его универсуму как комплексу ценностей» (Мукаржовский 1994, 102).

Гадамер подчеркивает, что бытие литературы — в чтении, «только в процессе понимания происходит обратное преобразование мертвых следов смысла в живой смысл» (1988, 214ссл.).

В современной науке доминирует феноменологическая трактовка художественного текста, в соответствии с которой, как писал Р. Ингарден, мир, отражаемый в художественной литературе, является фикцией. В художественной литературе, по утверждению Мукаржовского, «вопрос о том, происходило ли в действительности событие, о котором повествуется, теряет для слушателя (читателя) жизненную важность» (1994, 99ссл.). В качестве примера можно сослаться на мнение А. Вертинского, который в своих дневниках писал о том, что стихи И. Северянина совершенно оторваны от действительности.

Д. Ораич-Толич, критикуя структурную концепцию искусства, предпочитает дефиницию, согласно которой сущность эстетической функции состоит в том, что она соотносит текст с одним из альтернативных так называемой «действительности» возможных миров (Oraić-Tolić 1995, 63ссл.). Видимо, нечто подобное имел в виду и Якобсон, ведь его поэтическая функция противопоставлена референтной.

Как показала Т. М. Сильман, условность изображения событий в разных литературных жанрах варьируется, достигая максимальной степени в лирике, где все события погружены «в недра сознания», являются материалом чьих-то мыслей и чувств. Время действия в лирическом тексте (если и возможно говорить в этом случае о действии) совпадает со временем восприятия и переживания, а место действия не существенно (1977, 176-178).

В художественном, в том числе и в повествовательном прозаическом тексте действует принцип трансцендентности автора: повествователь вездесущ, все факты внешнего мира, все психологические состояния героев открыты его прямому наблюдению. Эта неустранимость, автора, его абсолютная компетенция, собственно, и является основной фикцией нарративного художественного текста — все более или менее частные конфликты между онтологией текста и внеш-



ним миром так или иначе обусловлены этой магической всеосведомленностью автора. Ср. отрывок из романа Ф. М. Достоевского «Бесы»:

*Комната, из которой выглянул Петр Степанович, была большая овальная прихожая. Тут до него сидел Алексей Егорыч, но он его выслал. Николай Всеволодович притворил за собою дверь в залу и остановился в ожидании. Петр Степанович быстро и пытливо оглядел его.*

— Ну?

— *То есть если вы уже знаете, — заторопился Петр Степанович, казалось, желая вскочить глазами в душу, — то, разумеется, никто из нас ни в чем не виноват, и прежде всех вы, потому что это такое стечение... совпадение случаев... одним словом, юридически до вас не может коснуться, и я летел предупредить [...]*

Диалог происходит между двумя героями, что касается автора, который представляет нам содержание разговора, то он как бы есть и его как бы нет: с одной стороны, автор должен физически присутствовать в сцене встречи, как свидетель разговора, а с другой стороны, функционально в сцене встречи его нет, герои никак не учитывают присутствия свидетеля. Таким образом создается магический эффект присутствия/отсутствия, характерный для художественных текстов.

В научном тексте, который отражает закономерные связи явлений, высказывания обладают, преимущественно, качественным (надситуативным, обобщенным) значением, ср. статью из «Энциклопедического словаря»:

*Волк — хищное животное семейства собак. Распространен в Европе, Азии и Северной Америке. Питается разнообразными копытными, грызунами, птицами, падалью. Причиняет огромный вред животноводству.*

Ср. этот текст с отрывком из рассказа Б. Зайцева «Волки»:

*Как всегда, волки плелись гуськом: впереди седой, мрачный старик, хромавший от картечины в ноге, остальные — угрюмые и ободренные — старались поаккуратнее попасть в следы передних, чтобы не натруживать лап о неприятный, режущий наст.*

Для восприятия приведенного отрывка из рассказа Зайцева, а также всего рассказа в целом читателю вовсе необязательно знать точное место и время событий. В отличие от так называемой литературы факта (рапортов, дневников, репортажей, протоколов и т.п.), художественный текст, как уже отмечалось, отличается вымыслом. Но эта особенность художественной прозы все-таки не главная. Во-первых, в ряде случаев конкретная локализация описываемых событий во времени и пространстве важна и представляет собой важный фактор понимания текста, ср. «По-

весть непогашенной Луны» Б. Пильняка. Еще Р. Ингарден отмечал, что художественный текст допускает некоторую степень референтности.

Во-вторых, особенность нарративного текста заключается в том, что интенциональные состояния героев (такие, как мышление, переживание, вера, предположение, радость, огорчение и др.), но в первую очередь — состояния автора, представляются как реальные, наблюдаемые факты. В литературе факта, в том числе и в научной прозе, интенциональные состояния выражаются специальными модальными формами, например: *возможно, не исключено, предположительно, допустимо, верно* и др. Ср. пример такого «прозрачного» стиля повествования:

*Волки шли шагом. Возможно, им показалось, что погоня прекратилась.*

Таким образом представляются интенциональные состояния в литературе факта.

В художественной литературе (в литературе вымысла) эпистемический статус передаваемой информации определяется изначально, а именно — жанром текста, сферой коммуникации. Но в краткосрочной памяти читателя эта метакommункативная информация быстро стирается, поэтому читатель оказывается в плену иллюзии реальности, правдоподобности текста. Этому способствует отсутствие алетических и деонтических операторов в авторском тексте. Ср. характерный отрывок из рассказа Зайцева:

*И теперь волкам казалось, что отставший товарищ был прав [...] Их брало отчаяние [...] Им показалось, что лучше всего лечь и сейчас же умереть; они завывали, как им показалось, перед смертью, но когда передние, трусившие теперь вбок, обратились в какую-то едва колеблющуюся черную ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге, стало так страшно и ужасно одним под этим небом [...] Волки стояли кучей вокруг старика (вожака. — А. К.). Куда он ни оборачивался, везде видел острые морды, круглые, блестящие глаза и чувствовал, что над ним повисло что-то мрачное [...]*

Пропозициональные предикаты *казаться, показаться, страшно, чувствовать* и др. в художественном тексте, в принципе, не зависят от каких-либо операторов модальных установок (хотя в практике реализация этого принципа варьируется). Такая доступность «внутреннего» психического мира героев прямому наблюдению нарратора объясняется его исключительным правом: повествователь (подобно математику!) рассказывает о мире, который сам же и создает.

#### 4. Художественный текст и восприятие (вместо заключения)

Особенность эстетической функции текста заключается также в его восприятии. Например, в художественной коммуникации понимание текста иногда отождествляется с воспроизведением речевой деятельности корреспондента. Именно таким образом В. Семенцов (1988, 31) интерпретирует слова Пушкина:

*Нет, весь я не умру — душа в заветной лире  
Мой прах переживет и тленья убежит —  
И славен буду я, доколь в подлунном мире  
Жив будет хоть один пиит.*

Семенцов пишет:

Он (автор. — А. К.) выражает уверенность, что будет «славен», т.е. хранимую «в заветной лире» его душу смогут воспринять и полюбить читатели-поэты, «доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит». Вот оно, условие воспроизводимости деятельности поэта и, значит, бессмертия его личности, его души: только другой поэт способен настолько глубоко воспринять его слова, мысли и чувства [...] чтобы [...] полностью войти в состояние пушкинской «деятельности» и в ней обрести живую душу поэта (1988, 31).

Та же идея выражается в известной реплике пушкинского Пимена:

*Когда-нибудь монах трудолюбивый  
Найдет мой труд усердный, безымянный,  
Засветит он, как я, свою лампаду —  
И, пыль веков от хартий отряхнув,  
Правдивые сказанья перепишет ...*

#### Литература

- Адмони, В. Г. (1994), *Система форм речевого высказывания*. Санкт-Петербург.  
Арнхейм, Р. (1974), *Искусство и визуальное восприятие*. Москва.  
Барт, Р. (1983), *Нулевая степень письма*. В: Степанов, Ю. С. (ред.), Семиотика. Москва, 306–349.  
Выготский, Л. С. (1978), *Психология искусства*. Москва.  
Гадамер, Х.-Г. (1988), *Истина и метод. Основы философской герменевтики*. Москва.  
Грайс, Г. П. (1985), *Логика и речевое общение*. В: Падучева, Е. В. (ред.), Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. Москва, 217–237.  
Григорьев, В. П. (1979), *Поэтика слова. На материале русской советской поэзии*. Москва.

- Дюбуа, Ж./Эделин, Ф./Клинкенберг, Ж.-М. и др. (1986), *Общая риторика*. Москва.
- Жаккар, Ж.-Ф. (2004), «*Cisfinitium*» и смерть. В: Буренина, О. (ред.), *Абсурд и вокруг*. Москва, 75–91.
- Жинкин, Н. И. (1985), *Проблема художественного образа в искусствах*. В: ИАН ОЛЯ. 44/1, 76–82.
- Жирмунский, В. М. (1977), *Теория литературы. Поэтика. Стилистика*. Ленинград.
- Левицкий, Ю. А. (1998), *Проблема типологии текстов*. Пермь.
- Лотман, Ю. М. (1970), *Структура художественного текста*. Москва.
- Лотман, Ю. М. (1972), *Анализ поэтического текста*. Ленинград.
- Моль, А. (1966), *Теория информации и эстетическое восприятие*. Москва.
- Моль, А. (1973), *Социодинамика культуры*. Москва.
- Моль, А./Фукс, В./Касслер М. (1975), *Искусство и ЭВМ*. Москва.
- Мукаржовский, Я. (1994), *Исследования по эстетике и теории искусства*. Москва.
- Мукаржовский, Я. (1967), *Литературный язык и поэтический язык*. В: Кондрашов, Н. А. (ред.), *Пражский лингвистический кружок*. Москва, 406–431.
- Мукаржовский, Я. (1975), *Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве*. В: Басин, Е. Я./Поляков, М. Я. (ред.), *Структурализм: «за» и «против»*. Москва, 164–192.
- Панов, М. В. (1979), *Современный русский язык. Фонетика*. Москва.
- Реформатский, А. А. (1987), *Лингвистика и поэтика*. Москва.
- Семенцов, В. (1988), *Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты*. В: Алаев, Л. Б./Гаспаров, М. Л./Куделин, А. Б. и др. (ред.), *Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации*. Москва, 5–32.
- Сильман, Т. (1977), *Заметки о лирике*. Ленинград.
- Славинский, Я. (1975), *К теории поэтического языка*. В: Басин, Е. Я./Поляков, М. Я. (ред.), *Структурализм: «за» и «против»*. Москва, 256–276.
- Тезисы Пражского лингвистического кружка* (1960). В: Звегинцев В.А. *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях*. Ч. 2. Москва, 69–85.
- Тодоров, Ц. (1983), *Понятие литературы*. В: Степанов, Ю. С. (ред.), *Семиотика*. Москва, 355–369.
- Тынянов, Ю. Н. (1965), *Теория поэтического языка. Статьи*. Москва.
- Хлебников, В. (1933), *Собрание произведений*. Т. 5. Ленинград.
- Якобсон, Р. (1975), *Лингвистика и поэтика*. В: Басин, Е. Я./Поляков, М. Я. (ред.), *Структурализм: «за» и «против»*. Москва, 193–230.
- Heinemann, W./Viehweger, D. (1991), *Textlinguistik. Eine Einführung*. Tübingen.
- Oraić-Tolić, D. (1995), *Das Zitat in Literatur und Kunst*. Wien — Köln — Weimar.
- Porębski, M. (1986), *Sztuka a informacja*. Kraków.
- Sławiński, J. (1974), *Dzieło. Język. Tradycja*. Warszawa.

## КОЛИЧЕСТВО И ЮМОР\*

В поэме может быть любое:  
Стоял один, а стало — двое.

Александр Кушнер

У Пушкина было четыре сына,  
и все идиоты.

Даниил Хармс

### 1. Введение

Количество, как показывают лингвистические исследования последнего времени (Яхнов 2001), является одной из базовых когнитивных и семантических категорий. Неудивительно поэтому, что количество представляется «вездесущим», в том числе и в тех сферах человеческой деятельности, которые связаны с речью: говоря о чем-либо, практически невозможно избежать количественных характеристик предметов и их отношений. Это касается и текстов с намеренным, запрограммированным юмористическим эффектом (впрочем, такой эффект может быть и случайным). Количественная параметризация хотя бы косвенно присутствует даже в тех случаях, когда у смешного совсем иная, некантитативная природа, как в следующем старом анекдоте.

*В семье родился мальчик. У родителей большая радость. Но — проходит, год, потом второй, а мальчик — все молчит. Беда! Но вот однажды во время завтрака мальчик произносит:*

*— Каша соленая!*

*Родители переполошились, запрыгали:*

*— Сынок, да ты, оказывается, говорящий!.. Что ж ты раньше-то не говорил?*

*— А чего говорить? — отвечает сынок. — Раньше каша нормальная была.*

Причина комического эффекта в данном случае заключается в необыкновенной рассудительности, практичности двухлетнего ребенка. Коли-

---

\* Первая публикация: *Количество и юмор*. В: Kiklewicz, A. (ред.), *Quantität und Graduierung in der natürlichen Sprache*. München 2001, 123–148.

чество же выступает как сопутствующий, но неустранимый фактор: в тексте сообщается о возрасте мальчика (*проходит год, потом второй*), что создает эффект нарастания признака и эффект ожидания развязки. Благодаря использованию количественной характеристики юмористическое воздействие текста, таким образом, усиливается.

Сопоставление количества и юмора может, на первый взгляд, вызвать недоумение и удивление: количество — категория рациональная, основанная на практической потребности человека в измерении и счете, а вот комическое — это, скорее, категория иррациональная, «праздная», основанная на потребности человека, например, в психологической разгрузке. И все-таки между количеством и комическим есть переходные мосты. Как не обратить внимания (хотя бы и за рамками научного дискурса) на сходство в звучании самих слов или на русское идиоматическое выражение *смеяться до колик* — вспоминая при этом знаменитое райкинское *коликчество*? Что касается объективно существующих связей между данными категориями, то основное, что их объединяет, — это понятие *нормы*. Соотнесение с количественной нормой позволяет в индоевропейских языках дополнительно характеризовать референты именных групп с помощью специальных количественных лексических предикатов (иногда их относят к операторам, или функторам, высказывания), которые составляют ядро категории количества и которые подразделяются на три разряда (Киклевич 1998, 72сл.; 2001):

1. номинальное количество — определяется по отношению к арифметической норме множества и выражается числительными
2. градуальное количество — определяется по отношению к ситуативной норме множества и выражается фреквентивными наречиями и прилагательными
3. реальное количество — определяется по отношению к экзистенциальной норме множества и выражается кванторными словами

Ср. примеры каждого типа количественной семантики:

*Катя съела две сливы* = ‘Количество слив, которые съела Катя, равно эталонному множеству из двух элементов’

*Катя съела много слив* = ‘Количество слив, которые съела Катя, превышает количество слив, которые обычно она съедает / которые съедает ребенок в ее возрасте’

*Катя съела все сливы* = ‘Количество слив, которые съела Катя, равно количеству имевшихся слив’

В различных известных теориях комического (теории негативного качества, теории обманутого ожидания, теории комического шока, теории противоречия и др.) понятие нормы также играет важную роль. Указание на отклонение от нормы содержится уже в классическом определе-

нии Аристотеля: «Смешное — это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное». В более эксплицитном виде эту идею выразил другой автор:

Все комические явления отвечают двум условиям: во-первых, любое можно считать в каком-то смысле отклонением от нормы, во-вторых, ни одно не угрожает личной безопасности познающего субъекта, не вызывает страха (Дземидок 1974, 56).

Замечательный русский исследователь юмора В. З. Санников (1989, 22сл.) отмечает, что данные признаки комического необходимы, но недостаточны — не всякая безобидная ошибка вызывает смех. Так, большинство корректорских ошибок вызывает лишь досаду — например, опечатки в слове *послами*:

*Высокие договаривающиеся стороны обменялись тослами (поемами, бослами).*

Но вызывает смех другая опечатка в том же слове:

*Высокие договаривающиеся стороны обменялись ослами.*

Причиной этого Санников считает то, что в предложении (в тексте) возникает дополнительный смысл, контрастирующий с первым, в рассматриваемом случае — дискредитация послов.

Далее я покажу, как взаимодействуют категории количества и комического, а именно — какие особенности употребления количественных выражений (далее — КВ) в речи позволяют говорящему создавать юмористический эффект.

## 2. Субкатегории квантитативного юмора

Субкатегории квантитативного юмора образуются группами, а точнее — парадигматическими рядами текстов, в которых используется, актуализируется определенная сторона КВ — формальная или, чаще, содержательная. Этот признак так или иначе не соответствует норме — фонетической, грамматической, лексико-семантической, синтаксической, прагматической, что при восприятии текста вызывает у слушающего «комический шок» — нарушение ожидания, которое сформировалось на основе семантической связности текста. При этом важно отметить, что мы имеем дело не просто с языковой оплошностью, а с таким нарушением языковой нормы, за которым стоит определенная характеристика предмета — она-то (нередко сопровождаясь уже упомянутым выше

оценочным компонентом дискредитации), будучи безопасной для реципиента, и вызывает комическую реакцию. Например:

*Siedmioletni Chaimiek biedzi się nad rozwiązaniem zadania rachunkowego, w końcu zwraca się do ojca:*

— *Tate, ile jest osiemdziesiąt plus siedemdziesiąt?*

— *Złoty pięćdziesiąt.*

Нарушением нормы здесь является то, что субъект не в состоянии отвлечься от конкретного количества. Вопреки ожидаемому *sto pięćdziesiąt* в качестве ответа звучит *złoty pięćdziesiąt* — косвенная характеристика человека как занудного, чрезмерно практичного, примитивного. Юмористический эффект усиливается еще тем, что читатель (или слушатель) понимает свое преимущество перед героем: *Я знаю, как надо ответить правильно; Я — не такой зануда* и т.д.

## 2.1. Актуализация грамматических признаков КВ

Данная субкатегория малочисленна — примеров, в которых юмористический эффект был бы прямо связан с грамматическими (словообразовательными или словоизменительными) характеристиками КВ, немного. Так, в следующем анекдоте обыгрывается согласовательная категория количественных числительных:

*Буфетчица Дома литераторов жалуется:*

— *Какие писатели необразованные. Говорят «одно кофе», а ведь «кофе» мужского рода. И один только Гамзатов сказал: «Дайте мне один кофе... — и добавил: — И один булочка».*

Слабая «мощность» грамматических признаков КВ в юмористических текстах — важный показатель всего количественного класса: несмотря на то, что в славянских языках, КВ частично являются флексийными, склоняемыми, их морфологические свойства, по сравнению с существительными или прилагательными, куда беднее. Если для частеречной принадлежности существительных морфологические показатели принципиально важны, то КВ получают свою частеречную определенность, скорее, на основании иных — лексико-семантических признаков.



## 2.2. Актуализация лексико-семантических признаков КВ

### 2.2.1. Омонимия КВ

Омонимия как раз и обеспечивает эффект нарушения ожидания в юмористических текстах: наличие у языковой формы нескольких значений позволяет ей выступать в тексте то с одним содержанием — которое принимается за норму, то с другим — которое воспринимается как отступление от нормы.

#### 2.2.1.1. Омонимия КВ и не-КВ

Данное явление охватывает языковые конструкции с КВ, которые в большей или меньшей степени носят идиоматический характер и в которых КВ потеряло свою категориальную семантику или же она отодвинута на дальнюю периферию его семантической структуры. В юмористическом тексте происходит «размораживание» идиомы и возвращение КВ его первоначального количественного смысла. Так и возникает двузначность, вызывающая комический эффект, ср. (примеры Санникова):

*После обеда у нас мертвый час... или два (С. Альтов).*

*«Хоть одним глазком взгляну на Париж», — мечтал Кутузов (А. Кнышев).  
— Ничего не может быть лучше стакана вина! — сказал кто-то в одном берлинском обществе, в присутствии знаменитого профессора Энгеля. Энгель ответил: «Ну нет! Бутылка вина, по-моему, лучше» .*

*— Что может быть неприятнее полученной пощечины? — Две.*

В приводимом далее белорусском анекдоте наблюдается омонимия синтаксической группы *сто і* (числительное + союз) и глагольной (полонизированной) формы *стоі* = ‘стоит’:

*Была ў аднаго гаспадара жонка, надта ўжо вяліка гультайка. Надышло лета, так мужык паслаў яе на гоны жыта жаць. Яна то, пашэды, нажала адзін сноп, паставіла, легла ў цяньку і давай спаць. Спала, спала, аж покуль слонка зайшло. Увечары прыходзіць дахаты, так мужык пытае:*

*— А што, колькі ж нажала? А яна:*

*— Стоі сноп!*

*Ён жа думаў, што сто і адзін сноп, так давай выхваляць на вёсцы жонку:*

*— Аго, — кажа, — мая жонка работніца: сто і адзін сноп нажала!*

*Назаўтра таксама нічога не нажала. Анно праспала да вечара, а прыйшоўшы, кажа:*

*— Стоі сноп!*

Так гэто ў тыдзень, мужык наняў нешта з дзесяць фурманак, ужо гэтыя снапы вазіць! Прыязджае, анно ж стаіць сноп і яна, як карова, выцягнулася каля яго, спіць!

— А каб це так і гэтак!

Калі не вырве кала, калі стане яе лупіць, анно косці траскаюць!

Причиной комического эффекта может стать омонимия числительного и неопределенного артикля, например, немецкого *ein*:

*Friedrich II. hatte in Johann Joachim Quantz einen Flötenlehrer und Hofkomponisten von großer Begabung, der rund 300 Flötenkonzerte und 200 Kammermusikwerke mit Flöte komponierte. Der König liebte es, Quantz zu necken. Einmal schrieb er in Abwesenheit des Künstlers auf dessen Notenblatt: «Quantz ist ein Esel! Friedrich II». Als Quantz sein Pult wieder betrat, beobachtete ihn der König, weil er sehen wollte, wie er auf seine Anzüglichkeit reagierte. Quantz jedoch zeigte überhaupt keine Reaktion. Er tat so, als ginge ihn die Notiz des Königs überhaupt nichts an. Schließlich ertrug der König die Spannung nicht mehr und fragte: «Hat er nicht gesehen, was auf dem Notenblatt steht?» — «Gewiss, Majestät!» — «Was sagt er dazu?» — «Nichts, Majestät!» — «Na, dann lese er es doch einmal laut vor!» In größter Gelassenheit las der Musiker: «Quantz ist ein Esel, Friedrich der zweite!»*

Любопытно, что в русской версии этого анекдота, приводимой Санниковым (1989, 109), используется тот же принцип, хотя наблюдается омонимия иного рода — лексема *первый* употребляется и как порядковое числительное (*первый по счету*), и как показатель степени (*самый большой, непревзойденный*):

*При дворе прусского короля Фридриха II самым ужасным преступлением считалось опоздание на официальные приемы, чем Вольтер особенно грешил [...] Когда однажды он появился в разгар какого-то званого обеда, король молча встал из-за стола и написал мелом на мраморной плите камине: «Вольтер — первый осел». Прочитав написанное, Вольтер дописал внизу: «Фридрих Второй».*

### 2.2.1.2. Омонимия кванторных слов

Отмеченное в предыдущем разделе явление наблюдается и в сфере употребления кванторных слов:

Петька: — Василий Иванович, рыба-то вся!

Чапаев: — Жарь всю.

П'яніца, ледзь пераваліўшыся цераз парог сваёй кватэры, сказаў жонцы:

— Усё! Больш піць не буду!

Узрадаваная жонка распранула яго, разула і нават спаць паклала. Ляжыць ён, уздыхае, а пасля кажэ жонцы:

— Але і менш піць таксама не буду!

В первом случае местоимение *вся* выступает в кванторном значении (*жарь всю*) и в некванторном значении (*рыба вся* = ‘запас рыбы закончился’). В другом случае наблюдается омонимия лексемы *больш*: выражение *Больш пиць не буду* истолковывается и как ‘В дальнейшем пить не буду’, и как ‘В большем количестве пить не буду’.

В приводимых далее примерах неопределеннозначность возникает уже внутри самой кванторной семантики (примеры Санникова):

*Муж, узнавший об измене жены, входит в квартиру, с силой захлопывает дверь, направляется тяжелыми шагами к жене и, покраснев от гнева, говорит: — Я знаю всё! — Вот и прекрасно, тогда скажи, когда была битва на Марне, малыши никак не может закончить домашнее задание!..*

*Некогда я любил ее. А теперь — некогда* (А. Кнышев).

*Интересен следующий белорусский пример:*

*Прыедзьы пан звяртаецца да селяніна:*

*— Што гэта там капаюць?*

*— Магілу, паночку.*

*— Гм, магілу, а я думаў, што ў такой пекнай і здаровай ваколіцы людзі паміраюць не часта.*

*— Людзі тут, паночку, не часта, а толькі адзін раз паміраюць.*

Существительное *людзі* в первом случае употребляется в коллективном значении, а квантитативная характеристика *паміраюць не часта* относится к сообществу людей, проживающих в конкретной местности. Во втором случае то же существительное употребляется в дистрибутивном значении и указывает на дискретное множество людей, к каждому из которых применима упомянутая квантитативная характеристика.

### 2.2.1.3. Омонимия КВ, основанная на компрессии

Компрессия — сокращение формы высказывания за счет той информации, которая передается в (широко понимаемом) контексте. Омонимия — естественное следствие такой операции, потому что некоторые незаполненные синтаксические позиции в зависимости от установки речевого субъекта допускают различную интерпретацию, например:

*— Ці не бачыў, васпан, бягучага зайца? — пытае паляўнічы аратая.*

*— Ага, бачыў.*

*— Ці даўно бег?*

*— А ўжо, пэўна, тыдні два будзе.*

Один из собеседников, а именно — *араты*, буквально понимает заданный вопрос, игнорируя (сознательно или несознательно) закодированную в нем (благодаря фреймам существительных *охотник, охота, поиск*) количественную информацию: охотника же интересует наблюдаемый пахарем заяц, который находился на расстоянии его зрительного восприятия в момент (отрезок) времени, который относится к интервалу времени, занятому охотой.

Другой пример — омонимия КВ в *43-м*, которое употребляется в значении ‘в 43-м году’ и ‘троллейбусе 43-го маршрута’:

*Входит в троллейбус старый инвалид. Все места заняты. Он обращается к молодому развалившемуся на сиденье парню.*

— *Сынок, уступи мне, старому, место!*

*Парень смотрит в окно и никакого внимания.*

— *Сынок, я ведь в 43-м ногу потерял!*

*Молодой нахал отвечает:*

— *Я только сегодня ехал в 43-м и никакой ноги там не видел.*

### 2.2.2. Синонимия КВ

Для юмористического эффекта используется дифференциация синонимических КВ — единицы, обозначающие одну и ту же величину, представляются как различные по содержанию:

*W czasie rozprawy sądowej sędzia przesłuchuje świadka Meira Lejzora:*

— *Ile świadek ma lat?*

— *Pięćdziesiąt sześć do stu dwudziestu.*

— *Nie rozumiem.*

— *Pięćdziesiąt sześć do stu dwudziestu!*

*Obecny na sali adwokat żydowskiego pochodzenia proponuje:*

— *Może ja zadam świadkowi pytanie?*

— *Proszę!*

— *Ile świadek ma lat do stu dwudziestu?*

— *Pięćdziesiąt sześć.*

*Einstein war umgezogen und gab einem seiner Freunde die neue Telefonnummer — 24361. Der Freund bedauerte, er habe gerade nichts zum Schreiben, und bat Einstein, ihn später noch einmal anzurufen, da er sich Telefonnummern so schlecht merken könne. «Aber diese hier ist doch einfach zu merken», widersprach Einstein: «Zwei Dutzend und neunzehn hoch zwei».*

### 2.2.3. Соотношение количества и качества

Количество и качество — неразрывные категории, количественный параметр обычно не имеет смысла в отрыве от дескриптивной характеристики факта или предмета. В нормальных условиях наблюдается определенный баланс этих признаков: КВ добавляется к именной группе, уточняя уже имеющуюся характеристику обозначаемого ей референта. Но этот баланс может нарушаться, во-первых, за счет того, что предметная характеристика начинает влиять на (ограничивать) количественную, во-вторых, за счет того, что количественная характеристика может оказаться более важной, чем предметная. Подобное доминирование количественной или качественной характеристики, представляя собой определенное нарушение нормы, и приводит к возникновению комического эффекта. Данное явление представлено несколькими разновидностями.

#### 2.2.3.1. Конкретное количество

##### 2.2.3.1.1. Синдром Митрофана

Митрофан, известный фонвизинский герой, прославился практическим мышлением — неспособностью оперировать абстрактными понятиями. Не раз образ Митрофана использовался с сопутствующей негативной коннотацией, Ю. М. Лотманом — даже в научной полемике. В рассматриваемом случае синдром Митрофана отражает специфику употребления КВ: речевой субъект не способен осуществлять количественные операции, абстрагироваться от конкретных предметов и ситуаций. Обычно такого рода тексты (а их корпус значителен) сопровождаются дополнительным сатирическим эффектом. Приведем только несколько избранных примеров:

*Zawodowy karciaz i szuler Josel Nyselbaum leży na stole operacyjnym. Po założeniu maski chloroformowej lekarz każe mu liczyć. Pacjent liczy:*

*— Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, walet, dama, król, as...*

*Pewien chełmski mędrzec polecał na koński targ, aby kupić sobie konia. Handlarz końmi zachwalał jedno ze swoich zwierząt:*

*— To wspaniała sztuka, szybki jak wiatr. Pomyśl, wsiądziesz na niego w Chełmie o trzeciej nad ranem, a już o szóstej będziesz w Lublinie!*

*Chełmianin skrzywił się:*

*— To nie dla mnie — powiedział. — Co ja będę u licha robił w Lublinie o tak wczesnej porze? (A. Drożdżyński).*

*Icek, nie grzeszący nadmiarem rozumu, zjawia się na rynku. Tam otaczają go znajomi Żydzi i zadają mu pytanie:*

— *Słuchaj no, Icuniu, ile bułek zjadłeś dziś na czczo?*

— *Pięć.*

*Wszyscy się śmieją.*

— *Niemądry jesteś! Jedną bułkę zjadłeś na czczo, a cztery na pełny żołądek.*

— *Oj, doskonały dowcip! — wykrzykuje Icek. — Muszę go powtórzyć mojej żonie!*

*Biegnie do domu staje w progu i pyta:*

— *Bajle, ile bułek zjadłaś dzisiaj na czczo?*

— *Trzy bułki.*

*Icek wzdycha:*

— *Jaka szkoda! Gdybyś zjadła pięć bułek, opowiedziałbym ci doskonały dowcip!*

*Ідуць два дабрадзеі з ярмаркі. І як пяць вярстоў праехалі, так і адначываць трэба: бо як пяць вярстоў, то й карчма стаіць. От ідуць і забалакаліся.*

— *А што, — кажэ, — як бы яго злічыць колькі то вярстоў да неба?*

— *А бог яго святы знае, колькі. Думка така, што вярстоў з пяць будзе.*

— *Цю на цябе, куме! Та як бы туды пяць вярстоў было, то там бы карчма стаяла!*

### 2.2.3.1.2. Ассоциативное количество

В основе ассоциативного количества лежит устойчивая связь между предметом и его количественной характеристикой. Поверхностно-синтаксическим проявлением ассоциативного количества может быть идиоматика, ср. такие устойчивые сочетания, как *сто грамм, семь нянек, пятнадцать суток, пол-литра* и др. Комический эффект возникает оттого, что одно и то же КВ используется как нейтральное и как ассоциативное или же оттого, что КВ вызывает разные ассоциации, в том числе и такие, которые являются неожиданными для реципиента.

— *Як табе спадабалася падарожжжа на гарадах? Мо, не хапала часу на знаёмства з кожным горадам?*

— *Ды не. Я ў адным толькі Полацку на пятнаццаць сутак затрымаўся.*

*Если температура воды достигает сто грамм, загорается красная лампочка.*

К сфере ассоциативного количества следует отнести и те речевые факты, когда для определенных количественных операций и оценок используются нерелевантные основания или критерии — таким образом нарушается устойчивая связь между качеством и количеством:

— *Скажите, пожалуйста, почему этот гроб стоит 30 рублей, а этот 60?*

— *В нем повернуться можно.*

### 2.2.3.1.3. Переход количества к качеству

Зависимость количественных отношений между предметами от качественных отношений между ними — характерная черта человеческой психики. Существует психологический тест: «Что вы предпочитаете получить:

- 1) 0,1 доллара или один шанс из десяти получить 1 доллар?
- 2) 1 доллар или один шанс из десяти получить 10 долларов?
- 3) 10 долларов или один шанс из десяти получить 100 долларов?
- 4) 100 долларов или один шанс из десяти получить 1000 долларов?
- 5) 1000 долларов или один шанс из десяти получить 10 000 долларов?
- 6) 1 000 000 долларов или один шанс из десяти получить 10 000 000 долларов?»

Оказывается, что при увеличении суммы меняется стратегия выбора: чем больше сумма, тем меньше желание реципиента участвовать в лотерее, и «только любитель сильных ощущений, связанных с риском, откажется от верных 1000000 долларов ради 10%-ного шанса получить 10000000 долларов» (Линдсей/Норман 1974, 507).

Гипертрофированная зависимость качественной характеристики предмета от количественной юмористически обыгрывается в анекдоте:

— Сведка, як ваша імя і прозвішча? — Мікола Касаты. — Колькі гадоў? — Восемдзесят два. — Дзеці ёсць? — Нямашака. — Сакратар, запішыце, што дзяцей няма. Ну, раскажыце, Касаты, што вам вядома ў гэтай справе. — Іду я, значыцца, са сваім сынам Гаўрылам... — Пачакайце. Вы ж казалі, што ў вас дзяцей няма. — Але, няма... — Ну, кажыце далей. — Іду я з сынам Гаўрылам праз поле... — З сынам Гаўрылам? Вы ж кажыце, што ў вас дзяцей няма. — Ну, няма. — А Гаўрыла? — Якое ж гэта дзіця? Яму ўжо пяцьдзсят гадоў стукнула.

### 2.2.3.2. Автономное количество

Здесь, в противоположность явлению, рассмотренному в предыдущих разделах, количественные операции над объектами не учитывают их специфики, количественные же отношения существуют автономно. Подобные тексты отражают схоластическое, оторванное от жизни мышление, которое также становится объектом критики.

#### 2.2.3.2.1. Приоритет количества над качеством

К данному разряду относятся тексты, в которых количественные характеристики предметов и действий оказываются, вопреки норме, важнее, чем качественные, что, при соответствующих условиях, и вызывает комический эффект. Рассмотрим характерный пример этого типа:

*Do rabina Zisla przybiegł raz oburzony bogacz chełmski:*

— *Rabbi, muszę koniecznie rozwieść się z żoną!*

— *Z jakiego powodu?*

— *Ona mnie okrada!*

— *Dowód?*

— *Znalazłem u niej, ukryty pod gorsetem, mój nowy, drogi czasomierz. Rabin popadł w zadumę.*

— *Czasomierz to znaczy zegar?*

— *Tak jest.*

— *A jaki to był zegar? Kieszonkowy czy ścienny?*

Количественная детализация (*Что это были за часы — карманные или настенные?*), которая, судя по описанию в тексте, осуществляется с особой тщательностью и серьезностью, вступает в очевидное противоречие с таким простым онтологическим фактом, как *место под корсетом жены...*

В следующем случае также наблюдается разрыв между количеством и качеством, в частности, оценкой предмета:

*В Англии одного человека обвинили в двоеженстве и он был спасен своим адвокатом, который доказал, что его клиент имел трех жен (пример Санникова).*

Решение суда представляется как механическое отклонение версии о двоеженстве в пользу версии о троеженстве — оправдательный приговор не учитывает содержательного различия данных количественных понятий. Примером механического, чисто арифметического решения проблемы, связанной с количеством, может быть также следующий анекдот:

*Heim möchte es nicht, wenn man ihn bei privaten Zusammenkünften um seinen ärztlichen Rat bat. Einmal fragte ihn bei einem Abendessen seine Tischnachbarin: «Herr Doktor, was mache ich da? Immer morgens beim Aufstehen ist mir so dumm im Kopf. Das dauert dann aber nur regelmäßig eine halbe Stunde, dann fühle ich mich wieder frisch und klar». Darauf Heim trocken: «Stehen Sie eine halbe Stunde später auf!»*

Данная группа текстов богата интересным и разнообразным материалом, поэтому приведем (без комментирования) только некоторые избранные примеры:

*Ernst Bumm wurde von einer Universität in der Schweiz nach Halle berufen. In der Schweiz war es ihm zur Gewohnheit geworden, den Muttermund einer Kriechenden mit der Größe eines Drei-Franken-Stückes zu vergleichen. In Deutschland nun ging ihm während der Vorlesung auf, dass dieser Vergleich hier wohl nicht verstanden würde, er besann sich auf die deutsche Währung, rechnete um und behauptete nun, der Muttermund sei 2 Mark 40 groß.*



*Жванецкий рассказывал:*

— Иду по одесскому Привозу. Продают семечки. У одной бабки — 10 копеек, у другой — 10 копеек, у третьей, у четвертой. Смотрю, сидит бабка и продает семечки по 20 копеек за стакан. Я спрашиваю: “Почему это вы, гражданочка, продаете семечки по 20 копеек, а другие по 10?”

— Ты что, не понимаешь, что 20 копеек — это больше, чем 10?

*Муж весь отпуск в санатории резался в преферанс, а когда возвратился домой, самодовольно сообщил жене:*

— Нам крупно повезло. Тот костюм, который ты мне купила перед отъездом за 2 тысячи, я проиграл, но уже за 22.

*Едзе бацька на кірмаш.*

— Купі мне, татачка, шапку, — просіць сын.

— Добра, сынку!

*Прыязджае бацька з кірмаша. Сустрэкае сын яго за брамаю.*

— Ці купіў, тата, шапку?

— На табе шапку!

— А татачка, а галубчык! Вот хіба шапка! Колькі ты за яе даў?

— Саракоўку.

— Няхай яна згарыць, калі саракоўку!

Узяў сын ды кінуў шапку.

*Pani Róża opowiada swej przyjaciółce Sabinie:*

— Wiesz, widziałam wczoraj na własne oczy, jak ten sławny malarz holenderski Rembrandt wsiadł na placu Opery do tramwaju numer dwanaście...

— To czysty nonsens!

— Dlaczego nonsens? — pyta urażona pani Pollak.

— Przecież «dwunastka» nie jedzie przez plac Opery!

### 2.2.3.2.2. Операции над возможным количеством как над реальным

В текстах этого типа комизм возникает оттого, что герои производят количественные операции над несуществующими объектами, при этом результаты таких операций оцениваются независимо от факта несуществования объектов.

— Дорогая, я сегодня сэкономил 20 пенсов потому, что не ехал на автобусе, а бежал за ним пешком.

— Ну и дурень же ты! Почему же ты не побежал за такси, тогда ты мог бы сэкономить целых два фунта! (пример Санникова).

— Хаим, одолжи мне десять рублей.

— У меня есть только пять.

— Ну давай пять, а пять ты мне останешься должен.

*Ішли галодныя цыган і мужык. Знайшлі пірог. Пачалі дзяліць. А нажа ў іх не было, каб на роўныя палавіны разрэзаць. Тады цыган і кажа мужыку:*

*— Давай так зробім... Ты адзін раз укусіш — я раз укушу, ты раз — кусь, я раз — кусь, ты — кусь, я — кусь, кусь...*

*Пасля апошніх слоў мужык як трэсне цыгыны на патыліцы.*

*— За што ты мяне? — узвыў цыган.*

*— А за тое, што два разы кусаў.*

## 2.2.4. КВ как компонент ситуативной семантики текста

В данном разделе собраны комические тексты, которые также основываются на отклоняющемся от нормы соотношении количества и качества, но их особенность состоит в том, что нарушается *количественный параметр ситуации* (события): количественная характеристика события как таковая противоречит ожиданию реципиента или же имеет специфическое, не соответствующее норме значение.

### 2.2.4.1. Количественная характеристика как ситуативная аномалия

В текстах этого типа комический шок возникает из-за того, что один из участников диалога рассматривает некоторое событие как в том или ином аспекте квантифицируемые, тогда как его партнер считает количественный критерий в данном случае неуместным.

*Eines Tages wollte das Finanzamt Euskirchen von dem Erzähler und Lyriker Jakob Kneip in der Einkommensteuererklärung wissen: «Ob und wann wurde Ihr Betrieb gegründet oder ein bereits bestehender Betrieb durch Sie übernommen?» Der Schriftsteller gab offiziell und wahrheitsgemäß an:*

*«Mein Betrieb wurde vor 55 Jahren neu gegründet, da ich als Schüler mein erstes Liebesgedicht verfasste. Der Betrieb hat seither ohne Unterbrechung bestanden».*

*Bei einer Abendgesellschaft wollte eine Dame ein juristisches Gespräch mit Storm beginnen und fragte ihn: «Sagen Sie mal, Herr Storm, was ist eigentlich die Strafe für Bigamie?» — Storm knurrte: «Zwei Schwiegermütter».*

*Goście podziwiają w salonie nowy koncertowy fortepian Bösendorfera, na którym pani Róża i jej córka od czasu do czasu rzępolą.*

*Pewna dama pyta:*

*— A czy na tym wspaniałym instrumencie gra się również na cztery ręce?*

*Pani Pollak odpowiada urażona:*

*— A cóż to ja jestem? Małpa?!*

### 2.2.4.2. Игнорирование количественной характеристики события

Тексты данного типа построены по тому же принципу, что и тексты предыдущего типа, только здесь, наоборот, количественная параметризация ожидаема, но один из участников диалога отказывается от нее.

*У жанчины пытающа:*

— Колькі вам год?

— Трыццаць.

— Але ж вы і год назад таму тое ж гаварылі.

— Я ад сваіх слоў ніколі не адмаўляюся.

*Звонок в дверь. На пороге сантехник:*

— Кран течет?

— Нет!

— А чего тогда вызывали?

— Да не вызывали мы!

— Ваша фамилия Сидоровы?

— Нет. Они полгода как съехали.

— Ну дают! Сантехника вызвали, а сами съехали.

*Do pewnego krawca przyszedł klient zamówić spodnie. Pierwsza miara odbyła się po tygodniu, druga po miesiącu, a gotowy strój udało się z trudem wydebić od krawca po kwartale. Klient zawołał więc oburzony:*

— *Panie, przecież wasz Pan Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, a pan na głupią parę spodni potrzebujesz aż trzech miesięcy?*

— *Panie kochany — odpowiedział krawiec — ale popatrz pan na te spodnie i popatrz pan na ten świat!* (A. Drożdżyński).

### 2.2.4.3. Различие ситуативных ракурсов

Здесь ситуация, в которой один из участников получает количественную характеристику, выступает как инвариант, по отношению к которому существуют принципиально разные, несовместимые интерпретации субъектов. На этом контрасте и основан комизм.

*Chelmsianin wybierający się pociągiem do Lublina zatrzymuje na drodze dorożkę.*

— *Słuchajcie no! Co kosztuje jazda na dworzec?*

— *Pięćdziesiąt kopiejek.*

— *A taniej nie będzie?*

— *No, powiedzmy, czterdzieści...*

— *Dobrze.*

— *To proszę wsiadać!*

— *Ani mi się śni! Chciałem się tylko przekonać, ile zaoszczędzę idąc do stacji piechotą.*

*W sklepie:*

— *Czy sa czerstwe bułeczki?*

— *Sa.*

— *A ile?*

*Ekspedientka liczy, liczy i wreszcie mówi:*

— *153.*

— *To dobrze wam tak! Po co żeście napiękli!*

#### 2.2.4.4. Содержание количественной характеристики ситуации

Причина комического в данном случае состоит в том, что, хотя участники диалога рассматривают ситуацию или объект как принципиально квантифицируемые, количественная оценка в каждом случае имеет разное содержание, причем в одном случае критерий оценки соответствует норме, а в другом — отклоняется от нее.

*Мужчина собирается познакомить своего приятеля с женщиной: «Она некрасивая, но если ты выпьешь побольше, ты перестанешь это замечать». Приятель соглашается, но увидав женщину, в ужасе кричит: «Нет! Мне столько не выпить!»*

— *Трахім! Як твой пчальнік? Маеш карысць? — О, яшчэ колькі! — Так шмат мёду было? — Мёду то не, але пчолы разоў з пяць пакусалі цешчу, дык цяпер, брат, маю хату за вярсту абходзіць.*

*Раніца. Каля сельскага магазіна, на ганачку, спіць вартаўнік. Прыйшоў загадчык магазіна на працу і будзіць вартаўніка.*

— *Макар Ягоровіч, уставай, твая варта ўжо скончылася.*

*Вартаўнік працірае вочы, яшчэ не зусім прачнуўшыся, здзіўляецца:*

— *Як скончылася? Толькі ж нядаўна была цэлая паўлітэрка...*

Интересен следующий анекдот:

*Жанчына прыехала з вёскі ў горад, прадала на базары курыцу і пайшла ў цырульню, каб зрабіць прычоску.*

— *Якую вы хочаце прычоску? — пытаецца цырульнік.*

— *Завіўку, — адказвае жанчына.*

— *А якую?*

*Тая адказвае:*

— *На ўсю курыцу.*

Комизм возникает уже из-за того, что для характеристики причёски женщина использует не известный парикмахеру количественный параметр: под выражением *на ўсю курыцу* имеются в виду *деньги, полученные от продажи курицы*. Но дело еще и в том, что существительное ку-

*рыца* в данном контексте осмысливается как название женского полового органа — подобная символика встречается в фольклоре, ср. белорусскую частушку:

*Сербіянка, мая мамка,  
Не хадзі на вуліцу —  
Атарвалі хлопцы цыцкі,  
Атарвуць і курьцу.*

#### **2.2.4.5. Событие не подчиняется количественным законам**

Комизм возникает из-за столкновения двух точек зрения — рациональной и нерациональной. Согласно первой, некоторые существенные параметры события можно прогнозировать, согласно же другой точке зрения — всякое прогнозирование, в том числе и относящееся к количеству, бессмысленно.

*Один англичанин все время проигрывал деньги на скачках и однажды он, наконец, понял, что нужно сделать, чтобы взять крупный выигрыш. Он не играл шесть лет. За шесть лет он скопил шесть тысяч фунтов стерлингов. И через шесть лет 6-го числа 6-го месяца в день больших скачек в Лондоне он встал в 6 часов утра, специально вызвал такси с номером 66-66, приехал на ипподром, дал 6 шиллингов на чай таксисту, пошел в 6-ю кассу и все шесть тысяч фунтов стерлингов поставил на 6-й заезд на 6-ю лошадь. И лошадь пришла... шестой.*

*Еврей выиграл главный выигрыш в числовой лотерее, поставив на число 49. Другой еврей его спрашивает:*

*— Как ты додумался поставить на 49?*

*— Очень просто. Мне снились семерки, семерки. Я посчитал их, насчитал шесть штук и поставил на 49.*

*— Но ведь шестью семь — 42, а не 49!*

*— Вот и ходи без штанов со своей математикой!*

#### **2.2.5. Интерпретация КВ**

Именные группы, включающие КВ, могут становиться объектом семантической интерпретации. С учетом разнообразия видов интерпретации данный корпус текстов можно разбить на несколько групп.

### 2.2.5.1. Фреквентивная интерпретация количества

Это оценка арифметического количества по шкале ‘много — мало’. Обычно комический эффект при этом возникает потому, что данная оценка отклоняется от нормы или от ожидания реципиента.

*Коктебель! [...] Каких-нибудь 4-5 тысяч верст не дошел сюда Пржевальский [...]* (А. Кнышев, пример Санникова).

*Сыны дужа не любілі старога бацьку, які толькі тое і рабіў, што ляжаў на печы. Селі яны есці і не клічуць старога. Тады адзін павярнуўся да печы і кажа:*

*— Ну, ідзі за стол, чаго ж ляжыш?*

*Стары злез, сеў з краю і кажа:*

*— Ну, што ж вы, дзеткі, на мяне злуецца. Колькі тут мне жыць засталася. Ад сілы гадоў пятнаццаць, а то, можа, і таго не працягну.*

*Два п'яныя мужчыны сядзяць за сталом. Перад імі талерка з агуркамі.*

*— Ты чаго па два агуркі на відэлец бярэш? — пытаецца першы.*

*— А таму, што болей не лезе, — апраўдваецца другі.*

*Stary żebrak otrzymuje z kasy bogacza comiesięczną jałmużnę w wysokości guldena. Pewnego razu zgłasza się po zasilek, ale służba nie wpuszcza go do mieszkania, gdyż tam odbywa się wesele córki pana domu.*

*Dziad oburza się:*

*— I dlatego tam zrezygnować z całego guldena? Na mój koszt chce wydać za mąż jedynaczkę?*

### 2.2.5.2. Аксиологическая интерпретация

Здесь мы имеем дело с оценкой количества по признакам ‘хорошо’ и ‘плохо’:

*Муж сидит у могилы жены: «Совсем один... Совсем один? Совсем один!!!»*

*Размаўляюць два сябры-сабутэльнікі.*

*— Мінулы раз, у дзень палучкі, я дзесяць рублёў прапіў і, уяві сабе, жонка мне ні слова не сказала.*

*— Не можа быць!*

*— Праўда, вось ужо другі тыдзень са мной не размаўляе.*

*Sara przypomina mężowi:*

*— W czerwcu upływa dwadzieścia pięć lat od dnia naszego ślubu. Powinniśmy święcić srebrne gody. Mąż odpowiada swej ślubnej sekretnicy:*

*— Zaczekaj jeszcze pięć lat, a będziemy święcić wojnę trzydziestoletnią!*

В следующем примере одно и то же количество *один рубль* (за голову селедки) оценивается трижды: сначала положительно — купившим селедки помещиком, затем отрицательно — тем же помещиком (узнавшим о реальной цене селедок), и, наконец, опять положительно — хитрым евреем, который обращает внимание, что селедки «начинают действовать»:

*Едут в одном купе еврей и помещик.*

— Скажи-ка, — спрашивает помещик, — почему вы, евреи, так оборотисты?

— Потому что мы едим рыбы головы, в них много фосфора, а фосфор очень полезен для мозгов.

— Тогда продай мне селедки, которые ты везешь с собой.

— Не могу, это мой ужин.

— Даю рубль за штуку.

— Хорошо. Договорились.

*Купил помещик пять селедок, съел селедочные головы, а на ближайшей остановке поезда вышел попить пива. Вернувшись в купе, говорит:*

— Какой же я дурак! В буфете селедки продают по 5 копеек, а я у тебя купил по рублю!

— Вот видите, — отвечает еврей, — уже начинает действовать!

#### 2.2.5.4. Деонтическая интерпретация количества

Комический эффект может возникать и из-за того, что одна и та же количественная характеристика по-разному интерпретируется с точки зрения планов поведения, интересов, предпочтений субъекта, т.е. по таким признакам, как 'полезно', 'важно', 'престижно', 'разрешается', 'следует', 'не следует' и др. Нередко эта оценка сопровождается аксиологической.

*«...Какого цвета он был, когда... когда он был шариком?» — «Красного». — «Подумать только! Красного... Мой любимый цвет? — пробормотал Иа-Иа про себя. — А какого размера?» — «Почти с меня». — «Да? Подумать только, почти с тебя! Мой любимый размер!» (А. Милн, пер. Б. Заходера; пример Санникова).*

*Znany wileński sowizdrzał Motke Chabad stał się nagle posiadaczem dwóch złotych. Wszedł więc do jadłodajni, zasiadł wygodnie przy stoliku i zamówił pieczeń wołową.*

*Aliści gdy podano mięso, kpiarz zalał się łzami:*

— *Żal ściska serce, że dla takiego żdziebka flaków zarznąć musieliście całego wołu!*

### 2.2.6. КВ в тексте — семантические парадоксы

Данный корпус составляют тексты, в которых имеется *семантическое противоречие* — одна часть исключает по содержанию другую. Так, в следующем примере высказывание с количественным числительным противоречит высказыванию с порядковыми числительными:

*Eines Tages stand ein braver, verängstigter Musikschüler bei der Prüfung zitternd vor seinem Lehrer. Dieser, der ihm wohlwollend gesinnt war, stellte das, was er wohl für eine leichte Frage hielt: «Wie viele Symphonien hat Beethoven geschrieben?» Schlotternd antwortete der Schüler: «Drei». «Wie?» meinte darauf der Professor. «Drei? Ja, wie heißen denn die?» Darauf erwiderte der Schüler, ohne noch lange nachzudenken: «Die Dritte, die Fünfte und die Neunte!»*

Семантический парадокс может заключаться и в неправильном построении выражений с кванторными словами. В следующем примере нарушается условие, в соответствии с которым объем множества, квантифицируемого с помощью местоимения *все*, должен превышать два элемента:

*Все присутствующие члены собрались немедленно, в числе двух. Председатель по жребию избран г-н Жуковский, секретарем я (А. Пушкин; пример Санникова).*

Другой тип семантических парадоксов — противоречие между вопросом о точной количественной информации и неопределенным количеством в ответе на вопрос:

*Экзаменатар запытаў у студэнта:*

— Скажыце, калі ласка, у які час адбываліся падзеі, пра якія вы павінны расказаць, адказваючы на першае пытанне білета?

— Даўно.

— А дакладней?

— Вельмі даўно.

— А яшчэ больш дакладна?

— Яшчэ даўней.

Другие примеры:

*Абрам пишет письмо другу. Написал. В конце приписал: «Постскриптум. Хаим! Хотел послать тебе сто рублей, но, к сожалению, конверт уже заклеил!»*

— Еш, кумок, клёцкі. Я ж іх не лічу — сама гатавала.

— Дзякуй, кума, ужо і так чатыры з'еў.

— Няпраўда, кумок, — шэсць.

*Chaim, po zjedzeniu sutego obiadu w koszernej restauracji, zwraca się do właściciela lokalu:*



— *Powinien pan koniecznie obniżyć ceny potraw! Po pierwsze, pańskie jadło to pa-skudztwo, które w ogóle nie nadaje się do spożycia. A po drugie, porcyjki są o wiele za małe!*

*Pewien bogacz zwrócił się do Herszla.*

— *Śluchaj, Herszlu, jeżeli bez chwili zastanowienia powiesz mi kłamstwo, dam ci rubla.*

— *Jak to rubla? — powiedział Herszl. — Przecież obiecałeś dwa!*

### 2.2.7. Операции с множествами

Значительную по объему группу составляют юмористические тексты, в которых комический эффект возникает в результате нарушающих норму операций с множествами.

#### 2.2.7.1. Неоднородность множества

Если множество в математическом смысле может объединять любые по содержанию объекты, то в обыденном сознании множество (группа, совокупность, класс) обычно ассоциируется с содержательным сходством объектов. Поэтому объединение в множество неоднородных объектов воспринимается как нарушение нормы, что и вызывает комический эффект. Подобное явление распространено, в частности, в сфере сочинительной связи (Buttler 1968, 77ссл.; Fontański 1980, 47сл.):

*Женщины [...] бывают худые, смуглые, лет тридцати слишком, черные, не выпускающие изо рта папирасы, увядшие, с холодными серыми глазами, крупнокостные, с широким и сильным тазом, большие, дородные, дебелие, с гладкой дюжей спиной, хорошо сохранившиеся и крикливые (Н. Носов; пример Фонтанского).*

*Агафия Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами (Н. Гоголь; пример Фонтанского).*

Вызывающее комизм объединение в множество неоднородных объектов может осуществляться и за пределами сочинительной связи:

*Właściciel sklepu poucza nowo przyjętego praktykanta:*

— *Trzeba dołożyć starań, aby klient nie wychodził stąd z pustymi rękoma. Jeśli nie ma na składzie żądanego towaru, należy zaproponować coś zastępczego.*

*Po godzinie zjawia się klient i prosi o papier toaletowy.*

*Praktykant, pomny słów pryncypała, powiada usłudźnie:*

— *Papieru toaletowego chwilowo u nas brak. Możemy jednak zaproponować pierwszorzędny papier szmerglowy!*

*Do sklepu bławatnego wchodzi klient i prosi o czerwone płótno. Kupiec rozgląda się po półkach, wyciąga sztukę żółtego i kładzie przed klientem.*

— *Ależ ja pana prosiłem o czerwone płótno.*

— *W tej chwili, proszę szanownego pana.*

*Po chwili kupiec kładzie przed klientem zielone płótno. Klient uparcie doprasza się czerwonego. Kupiec próbuje jeszcze podać białe, niebieskie, różowe. Kiedy nie udaje mu się namówić klienta do zakupu, z uśmiechem odpowiada:*

— *Wie pan, takiego z u p e ł n i e czerwonego, to my nie mamy (A. Drożdżyński).*

Отдельную подгруппу составляют тексты, в которых содержательная повторяемость множества в определенный момент нарушается, что и вызывает комический эффект::

*Дневник партизана.*

*14 июня: Пришли немцы и выгнали нас из леса.*

*15 июня: Выгнали немцев из леса.*

*16 июня: Пришли немцы и выгнали нас из леса.*

*17 июня: Выгнали немцев из леса.*

*18 июня: Пришли немцы и выгнали нас из леса.*

*30 июня: Пришел лесник и погнал всех к ё\*\*\*\*\* матери.*

*Froim, znany z małomówności, wchodzi do fryzjera. Usłużny mistrz brzytwy zadaje kolejne pytania:*

— *Ostrzyć?*

— *Aha.*

— *Ogolić?*

— *Aha.*

— *Uczesać?*

— *Aha.*

— *Gorący kompres?*

— *Aha.*

— *Umyć głowę?*

— *Aha.*

— *Brylantyna?*

— *Aha.*

— *Woda kolońska?*

— *Aha.*

— *Krem?*

— *Aha.*

— *Puder?*

— *Aha.*

— *Masaż elektryczny?*

— *Aha.*

— *Płaci pan dziesięć koron.*

— *Oho!...*

### 2.2.7.2. Принадлежность элемента к множеству

В текстах этого типа внимание обращается на принадлежность элемента множеству. Обычно комический эффект возникает в результате неожиданного с точки зрения нормы включения элемента в множество или исключение из множества:

*Ураднік, пераехаўшы з правінцыі ў горад, сустрэў там мешчаніна з мястэчка, у якім раней працаваў. Прывітаўся і пытаецца:*

— *А што цяпер у вас чуваць, ці заўсёды там гэтулькі дурных, як даўней?*

— *Не, — адказаў мешчанін, — як вы ад'ехалі, адным дурнем стала меней.*

*Старэнькі мужычок, прыйшоўшы ў горад, заходзіць у нейкі парадны магазін і пытае:*

— *Ці не тут прадаюцца хамуты?*

— *Не, стары! — адказваюць быўшыя там два франты-прыказчыкі. — Тут прадаюцца дурні.*

— *Ба-а-ч! — круцячы галавой, дзівіцца мужычок. — Відаць, і торг добра ідзе, бо толькі два і засталіся.*

*Do rabina z Koryczyniec, zwanego „kobięcym cadykiem”, przychodzi ciężarna Żydówka: — Rabbi, mamy już, na psa urok! sześcioro dzieci, a wkrótce urodzi się siódme. Chciałam się was poradzić, jak w przyszłości zapobiec ciąży? — Trzeba pić lemoniadę. — Przedtem czy potem? — Zamiast.*

### 2.2.7.3. Суммирование множеств

Суммирование множеств вызывает комический эффект, когда оно осуществляется вопреки ожиданию одного из участников ситуации; его коммуникативный партнер, напротив, с прагматической точки зрения заинтересован в суммировании:

*Nowo przyjęty rabin okazał się nieukiem, toteż kabał chce się go czym rychlej pozbyć. Ale duszpasterz nie przyjmuje do wiadomości ani ustnego, ani pisemnego wymówienia. — Nie mogę stąd odejść! — oświadcza. — Według Talmudu decydująca jest w każdym wypadku opinia większości. A wszystkie gminy wyznaniowe życzą sobie, żebym tu pozostał...*

*Муж: Што ты за гаспадыня — у адной сарочцы абдзёрты правы рукаў, у другой няма левага.*

*Жонка: Вялікая важнасць! Надзень абедзве, то і будуць абодва рукавы.*

Суммирование множеств может рассматриваться субъектом как чисто математическая операция, противоречащая здравому смыслу, таким об-

razem, здесь реализуется и другая, ранее рассмотренная (раздел 2.2.3.2.1) субкатегория — приоритет количества над качеством:

*Pewien młody talmudysta z Chełma, nie bardzo świadom spraw życia doczesnego, został dość wcześnie ożeniony. Niedługo po ślubie jego żona urodziła dziecko. Młody człowiek poleciał do rabina i pyta go:*

— *Rebe, wydarzyła mi się dziwna rzecz. Moja żona właśnie urodziła dziecko, a my jesteśmy po ślubie tylko trzy miesiące. Jak to może być, przecież każdy wie, że do tego trzeba dziewięć miesięcy.*

*Rabin uśmiechnął się i powiedział:*

— *Mój synu, niewielkie masz pojęcie o tych sprawach. Nie znasz prostych zasad kalku-  
lacji. Pozwól, że ci zadam kilka pytań: żyłeś ze swoją żoną trzy miesiące?*

— *Tak.*

— *Czy ona z tobą też żyła trzy miesiące?*

— *Tak.*

— *A razem żyliście ze sobą trzy miesiące?*

— *Tak.*

— *Policz więc: trzy miesiące i trzy miesiące i trzy miesiące i, ile razem?*

— *Dziewięć miesięcy, rebe.*

— *Widzisz, nie namyślisz się i przychodzisz mi zawracać głowę głupimi pytaniami*

(A. Drożdżyński).

#### 2.2.7.4. Произведение множеств

Произведение множеств вызывает юмористический эффект, когда оно осуществляется механически, без учета содержания каждого из множеств:

*W pociągu spotykają się: komiwojażer z Warszawy i handlarz z Berdyczowa. Agent pyta: — Ilu Żydów mieszka w Berdyczowie? — Na psa urok, pięć tysięcy. — A ilu chrześcijan? — Ja wiem... ze dwie setki. — A co robią? — Co mają robić? Rąbią drzewo, noszą wodę, pilnują koni... A ilu Żydów mieszka w Warszawie? — Na psa urok, około dwustu tysięcy. — A chrześcijan? — Chyba dwa razy tyle. — To na co wam tylu drwali i nosiwodów?!*

*Schopenhauer war ein starker Esser. Einmal saß er in der Gaststube eines Hotels und langte gerade kräftig zu, als ein Gast eine Anspielung darauf machte, dass es Menschen gebe, die könnten für zwei Essen. Schopenhauer hörte das, schaltete sich in das Gespräch ein und meinte: «Zu diesen Menschen gehöre ich. Ich denke aber auch für zwei».*

### 2.2.7.5. Пустое множество

С точки зрения «здорового смысла», который и отражен, преимущественно, в естественных языках, множество — уже в силу этимологии этого слова — не может быть пустым, хотя в математике это — вполне нормальное, естественное понятие. Комизм в речевой практике может возникать как раз из-за того, что некоторое множество как «область расуждения» героев оказывается пустым:

*Капитан корабля кричит:*

— *Кто там внизу?*

— *Билл, сэр!*

— *А что вы там делаете?*

— *Ничего, сэр.*

— *А Том с вами?*

— *Да, сэр.*

— *Что он делает?*

— *Он помогает мне, сэр.*

*Przed wojną Żyd pochodzący z prowincji zgłasza się do lwowskiego Funduszu Bezrobocia i prosi o zasiłek.*

— *Kim jesteście z zawodu? — pyta urzędnik.*

— *Ja poluję na dzikie zwierzęta.*

— *A gdzie mieszkacie?*

— *W Bóbrce.*

— *Przecież tam nie ma dzikich zwierząt!*

— *Właśnie dlatego jestem bezrobotny.*

### 2.2.7.6. Интерпретация целого как части и части как целого

Множества различаются по объему, при этом более объемные множества включают в себя менее объемные. Комизм возникает, когда одно и то же множество воспринимается разными субъектами как часть и как целое, а некоторый признак переносится с части на целое и наоборот:

*Дано мне тело — что мне делать с ним, // Таким единым и таким моим.*

*Автоэпиграмма: Мне дан желудок, что мне делать с ним, // Таким голодным и таким моим? (О. Мандельштам; пример Санникова).*

*Подпольный кооператив киллеров. Приходит «новый русский» и делает заказ:*

— *... Клиент живет по адресу: Молодежная, 47, подъезд 3, этаж...*

— *Да подожди ты. Скажи, сколько денег даешь?*

— *Миллиард.*

— *Ну, тогда этаж можешь не называть.*

### 3. Заключение

Юмористические тексты, основанные на неправильном, отступающем от нормы употреблении КВ — числительных, кванторных и фреквентивных слов, словоформ (чаще всего существительных) в единственном и множественном числе, специальных количественных (обычно глагольных) предикатов, определенных синтаксических конструкций (например, сочинительной связи) и др., представляют собой своего рода «отрицательный материал» (термин Л. В. Щербы), показывающий сущность языковой категории количества, ее место в системе языка и правила ее функционирования в речи. С одной стороны, в юмористических контекстах КВ ведут себя так, как и слова других частей речи, о чем свидетельствует, например, их омонимия — универсальное семантическое средство создания комического эффекта. С другой стороны, КВ в рассмотренных контекстах употребляются только так, как могут употребляться формы категории количества, поэтому среди субкатегорий количественного юмора значительное место занимают операции с множествами, отношение качества и количества, количество как компонент ситуативной семантики.

Последняя субкатегория заслуживает особого внимания. Дело в том, что, хотя количество, как уже отмечалось, считается одной из важнейших, даже — базовых семантических категорий, в лингвистической семантике оно не получило пока соответствующей интерпретации. Так, в семантическом синтаксисе количество обычно отсутствует в наборе основных семантических функций (глубинных падежей, аргументов, актантов), рассматривается за пределами основной, минимальной схемы предложения — формально-грамматической или семантической. Количественная семантика вводится на этапе расширения, развертывания синтаксических моделей, что явно не соответствует статусу категории, претендующей на «базовость». Впрочем, есть и исключения. В синтаксической концепции Г.А. Золотовой (1988, 430) рассматривается дименсив — «признаковый компонент, характеризующий размер, исчисляемую меру величины»:

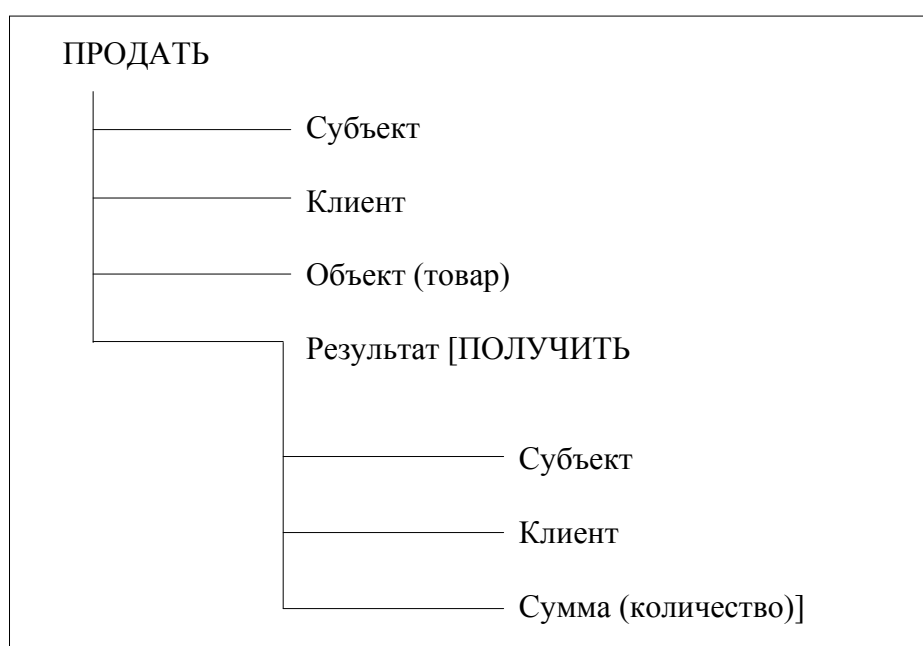
*Всю ночь не смолкала музыка.  
Всю неделю шли дожди.  
Разговаривали всю дорогу.  
Век живи, век учись.  
Прибор включается каждые 20 минут.  
Нагреть до 30 градусов.*

Выделяет Золотова и квантитатив — «компонент, содержащий количественные характеристики», например:

*Музей посетило до тысячи экскурсантов.*

Проанализированный нами языковой материал убеждает в том, что и дименсив, и квантитатив представляют собой основные семантические функции именных групп в высказываниях с предикатами, обладающими специфической количественной валентностью. Например, глаголы *продать* и *купить* предполагают не только агента, клиента, объект (товар), в меньшей степени — место, время, цель, причину акции и дополнительные обстоятельства, например, скидку, посредничество и т.д., но также, что чрезвычайно важно, количественную характеристику — *стоимость*, на что указывает и идиоматика: *продал/купил за столько-то*. Причем с прагматической точки зрения стоимость (цена) зачастую оказывается наиболее существенным компонентом — не так важно, *кому, где, когда, при каких обстоятельствах*, а иногда даже — *что продан*, как важно — *за сколько продан*, потому что в стоимости и в конечном получении прибыли и заключена сущность акта продажи.

Квантитативный элемент *стоимость (за сколько)* можно представить и как своего рода предикат, манифестирующий особую включенную пропозицию, которая отражает определенный фрагмент события «Купля-продажа». Событие «Купля-продажа» не является простым, однократным — оно состоит из предварительного договора, обсуждения цены, передачи денег (иногда наличные не участвуют), подготовки товара к транспортировке, оформления перевозки и т.д. Если представить ситуацию продажи в виде семантической схемы, то количественная информация о денежной сумме, которую покупатель передает продавцу, будет относиться к разделу «Результат акции»:



Для ситуации купли тот же количественный компонент будет относиться к разделу «Условие акции».

Важно то, что количественная характеристика в этом случае рассматривается не только в ономаσιологическом, но и в функциональном — синтаксическом и семасиологическом аспекте. Конечно, присутствие количественного признака в ситуативной семантике, приписываемой тому или иному предикатному слову, может быть более или менее значимо, ср., с одной стороны, глаголы *накосил, нарубил, насобирал*, которые предполагают определенную количественную характеристику объекта, с другой стороны, например, глаголы состояния — *спать, ждать, мерзнуть*, для семантического окружения которых количественные признаки не так важны. Но и в последнем случае, во-первых, количественная семантика благодаря соответствующей актуализации может проявляться в синтагматике (*Как долго я спала!*), во-вторых — проявляться в словообразовании и дальнейших семантико-синтаксических преобразованиях (*ждать* → *прождать*, ср.: *Петя ждал Машу* — \**Петя прождал Машу*; *Петя ждал Машу целый час* — *Петя прождал Машу целый час*).

Проанализированный корпус юмористических текстов подтверждает эту идею. Достаточно сослаться на многочисленные примеры, в которых количество выступает как неотъемлемая характеристика ситуации, события или факта, см. разделы, посвященные ассоциативному количеству, соотношению количества и качества, количеству как компоненту ситуативной семантики текста.

Косвенно же мы в очередной раз подтвердили старую истину, что смех — дело серьезное.

## Литература

- Бандарчык, В. К. (рэд.) (1984), *Жарты, анекдоты, гумарэскі*. Мінск.  
 Дземидок, Б. (1974), *О комическом*. Москва.  
 Золотова, Г. А. (1988), *Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса*. Москва.  
 Киклевич, А. К. (1998), *Язык и логика. Лингвистические проблемы квантификации*. München.  
 Киклевич, А. К. (ред.) (2000), *Лингвисты шутят*. München.  
 Киклевич, А. К. (2001), *К типологии количественных выражений в естественном языке*. В: Jachnow, H. et al. (ред.), *Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien*. Wiesbaden, 41–61.  
 Киклевич, А. К. (ред.) (2006), *Лингвисты шутят*. Москва.  
 Линдсей, П./Норман, Д. (1974), *Переработка информации у человека*. Москва.  
 Раскин, И. (1997), *Энциклопедия хулиганствующего ортодокса*. Москва.  
 Санников, В. З. (1999), *Русский язык в зеркале языковой игры*. Москва.



- 
- Яхнов, Х. (2001), *Количество как основная когнитивная и семантическая категория*. В: Киклевич, А. (ред.), *Количественность и градуальность в естественном языке*. München, 1–9.
- Buttler, D. (1968), *Polski dowcip językowy*. Warszawa.
- Fontański, H. (1980), *Stosunki współrzędności w zdaniu pojedynczym w języku polskim i rosyjskim*. Katowice.
- Friedrich, I./Schank, S. (ред.) (1997), *Die besten Anekdoten*. Geneva.

## ИДИОЭТНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКА М. М. БАХТИНА И ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ЧУЖОЙ РЕЧИ\*

### Введение

В заметках 1959-1961 гг. М. М. Бахтин писал (1979b, 297 ссл.):

В какой мере лингвистические (чистые) определения языка и его элементов могут быть использованы для художественно-стилистического анализа? Они могут служить лишь исходными терминами для описания. Но самое главное ими не описывается, в них не укладывается [...] Предметом лингвистики является только материал, только средства речевого общения, а не само речевое общение [...]

В относящемся к тому же периоду переработанном варианте книги о Ф. М. Достоевском Бахтин различает лингвистику как науку о языке и металингвистику как науку о диалогической речи. Он указывает (1979a, 212):

Лингвистика изучает сам «язык» с его специфической логикой в его общности, как то, что делает возможным диалогическое общение, от самих же диалогических отношений лингвистика последовательно отвлекается.

Чтобы максимально точно интерпретировать эти слова одного из выдающихся филологов XX в., следует вспомнить еще одно его высказывание: «Определить свою позицию, не соотнеся ее с другими позициями, нельзя». Подобно словесному тексту, наука диалогична: ученый неминуемо ведет диалог со своими предшественниками, со своими прямыми и косвенными, реальными и потенциальными оппонентами. О таком динамическом механизме культуры пишет один из последователей Бахтина — философ В. С. Библер, который усматривает в традиционной для философии дихотомии «всеобщего» (т.е. интеллектуального) и «совместного» (т.е. реализующегося в сфере материального производства) труда

---

\* Первая публикация: *Язык — личность — диалог. Некоторые экстраполяции социометрической концепции М. М. Бахтина*. В: *Диалог. Карнавал. Хронотоп*. 1/2, 9–20. Здесь публикуется в переработанном варианте.

общее начало: корпоративность, «кооперацию способностей» (1991, 159ссл.).

Теория Бахтина формировалась и должна восприниматься, главным образом, на фоне методологии *структурализма*. Диалог, а именно — конфликт со структурализмом определил ее фундаментальные положения и, в частности, то содержание, которое вкладывалось Бахтиным в термин «лингвистика». Спустя 30 лет после выхода переработанного издания «Проблем поэтики Достоевского» в лингвистике произошли кардинальные изменения: в сферу ее компетенции оказались вовлечены не только формы «диалогической речи», но и многообразные типы социального взаимодействия с помощью языка, скрытые допущения речевых актов, различные виды пресуппозиций и импликаций, интенциональные состояния говорящего, целая гамма иллокутивных и перлокутивных свойств высказывания, перформативы и правила их употребления, эпистемические и когнитивные аспекты языковых выражений, текст во всем богатстве его семантического пространства, а также многое другое, в чем еще несколько десятилетий назад лингвист просто не увидел бы предмета для разговора.

Совершенно естественно, что в рамках новой лингвистической парадигмы, которая имеет функциональную, антропологическую доминанту, филологическое наследие Бахтина получает обновленное содержание. В данной работе с точки зрения современной функциональной лингвистики будут рассмотрены некоторые важнейшие фрагменты общелингвистической концепции Бахтина, содержащейся прежде всего в написанной под его непосредственным влиянием книге В. Н. Володинова «Марксизм и философия языка», а также — в более фрагментарном виде — в работе «Проблемы речевых жанров» и в заметках 1959-1961, 1970-1971 гг.

## **1. «Внутренняя» vs. «внешняя» лингвистика**

Кратко очертим тот научно-исторический контекст, который предшествовал теоретическим исследованиям Бахтина. Хотя и с известной условностью, история языкознания может быть представлена в виде диалектической борьбы и единства двух факторов существования языка:

1. «внешнего», т.е. функционально-коммуникативного и психологического, связанного с характеристикой языкового субъекта и социального контекста речи
2. «внутреннего», т.е. имманентно-структурного, связанного со спецификой устройства языка как системы субзнаков, знаков и суперзнаков

Первый фактор обуславливает изменчивость языка, основанную на том, что каждый индивид не просто механически усваивает языковую структуру как материал для речевых сообщений, а приспособливает ее к особенностям своей интеллектуальной и практической деятельности. Второй фактор, напротив, обуславливает устойчивость языка как коммуникативного кода, обязательного для членов социума.

Разные школы, направления и формации в науке о языке по-разному решали вопрос о предмете лингвистики. Так, языкознание средних веков было, по существу, надсоциальным: испытывая сильнейшее влияние формальной логики, оно фактически содержало имманентно-структурную апологию, поскольку структура языка (в особенности — грамматическая) представлялась всеобщей и универсальной, и не только отдельная личность, но и отдельный народ не рассматривался как самостоятельный и свободный языковой субъект, способный в определенной степени варьировать стандартную логическую основу. Из постулатов логицизма с неизбежностью вытекает вывод, что носителем языка, в сущности, выступает весь человеческий род. Это дает основание усматривать в логицизме, как и в натуралистических работах А. Шлейхера, «мнимый» антропологический принцип, который, в отличие от современных этнолингвистических исследований, носил не эмпирический, а априорный и косвенный характер.

Признание универсальности языка было возможно только при одном условии — если языковое содержание и языковая форма понимались дизъюнктивно, причем языковой форме приписывался статус лишь вторичной по значимости материальной оболочки универсального, согласующегося с логикой языкового содержания. Эта точка зрения уже в средние века была подвергнута критике в восточном языкознании. Так, арабский философ Абу Хаййан ат-Таухиди (X-XI вв.) доказывал «соразмерность» мысли и вмещающей ее словесной формы, отвергал экспансию логицизма в семантическом анализе языковых выражений. Его «Книга услады и развлечения», по существу, содержит открытую апологию этнолингвистики: по мнению автора, членение фразы на смысловые компоненты в соответствии с правилами логики «исходит из разума греков и обусловлено их языком, а разум индийцев, тюрков и арабов не позволяет так мыслить» (1988, 63).

Более последовательно и систематически данная точка зрения была выражена В. фон Гумбольдтом, который декларировал прямую связь языка с психологией и культурой народа. В русском языкознании развитие этого направления связано прежде всего с именами И. И. Срезневского, А. А. Потебни, Ф. И. Буслаева, А. А. Шахматова. «Каждое слово для историка, — писал Срезневский, — есть свидетель, памятник, факт жизни народа» (1887, 3).

Известное гумбольдтовское толкование языка как выражения «духа народа» характеризовалось амбивалентностью и отражало определенное равновесие коммуникативной и психической функции языка. Доминировавшие в конце XIX — начале XX вв. психологические теории заимствовали у Гумбольдта лишь понятие «дух», тем самым ориентируя лингвистическое описание исключительно на психическую сферу индивида. «По своей сущности любое языковое выражение является индивидуальным духовным творчеством», — утверждал один из авторитетов того времени К. Фосслер (1960, 292).

Сменившая психологизм структурная парадигма, напротив, вычеркнула из определения Гумбольдта слово *дух*, а также, как мы убедимся далее, и слово *народ*, исключив из рассмотрения все внелингвистические факторы, проявляющиеся в конкретных актах использования языка. Именно в этом смысле справедливо известное утверждение В. И. Абаева о структурализме как о дегуманизации науки о языке.

Ф. де Соссюр сосредоточил внимание на социальной (коммуникативной) функции языка, благодаря которой он культивируется как устойчивый, надындивидуальный код (система знаков), лежащий в основе речевой деятельности и выступающий важнейшим фактором ее успешности — понимания речевых сообщений. По словам одного из видных представителей французского структурализма, философа Н. Мулуда, де Соссюр

по отношению к любому содержанию человеческого опыта [...] придавал языку роль априорного организатора; язык не может быть номенклатурой фактов опыта; все, что мы воспринимаем или представляем, включается в определенные им рамки (1973, 296).

Теория де Соссюра методологически контroversивна — на этот ее аспект впервые обратил внимание Г. Ханс-Мартин (см. Поляков 1987, 8). С одной стороны, основатель структурализма утверждал, что по своей сущности язык является социальным и независимым от индивида феноменом, указывая, в частности, на связь между семиологией и социальной психологией (1977, 54). С другой стороны, в «Курсе общей лингвистики» утверждается, что язык представляет собой замкнутую, имманентную сущность, систему значимостей, индифферентную по отношению к жизнедеятельности языковой общности.

Данное противоречие разрешимо, если мы примем, что понятие «социальный» понималось де Соссюром как «надындивидуальный», т.е. конвенциональный, имеющий отношение к тому общему семиотическому опыту, который регулирует в обществе обмен вербальной информацией.

Вряд ли есть основания утверждать, что де Соссюр отрицал связь языка с динамическими процессами в обществе или исключал варьирование языка в результате дифференциации общества на классы, группы, 'коллективы, которая неизбежна в условиях все усложняющейся и специализирующейся практической и интеллектуальной деятельности людей (Kikiewicz 2004, 41ссл.). Об этом свидетельствует хотя бы его интерес к диалектам, к изменениям языка во времени и пространстве (1990, 52ссл.). Но де Соссюра привлекала другая область исследования языка — семиология, наука «о знаках, которая изучает, что происходит, когда человек пытается передать свою мысль с помощью средств, которые неизбежно носят условный характер» (1990, 196).

## 2. Социология языка — концепции Поливанова и Бахтина

В русском языкознании в первой половине XX в. были разработаны альтернативные структурализму концепции, прежде всего — Е. Д. Поливанова и М. М. Бахтина.

Теория Поливанова является амбивалентной по отношению к «внутренним» и «внешним» аспектам языка — она уделяет внимание и собственно структуре языка, и его психическому и социальному содержанию. По определению Поливанова,

язык есть тождество систем произносительно-слуховых символов, существующих у n-го числа индивидуумов, объединенных кооперативными потребностями в перекрестной коммуникации (1968, 178).

При этом Поливанов подчеркивал зависимость языка от «специфических кооперативных потребностей» членов коллектива, которые и определяют специфику общения (1991, 539ссл.). Так, рыболовство, по наблюдению Поливанова, в отличие от охоты, в большей степени способствует корпоративности членов языкового сообщества. Подобные отношения обнаруживаются и между двумя типами хозяйства — натуральным и товарным: первое обуславливает изоляцию, а второе — консолидацию индивидов и целых языковых коллективов (1991, 540).

Одно из важнейших положений в концепции Поливанова — требование «изучать не язык как трудовую деятельность, но как язык трудовой деятельности» (1991, 541). Это, по его мнению, открыло бы возможность систематического исследования не только территориальных диалектов, но и другой важнейшей сферы функционирования языка, практически не изученной, — социально-групповых диалектов (говоров социальной группы). С сожалением следует отметить, что эта важнейшая и интереснейшая научная задача в современной лингвистике не по-

лучила должной разработки. Спустя более чем полвека после исторического доклада Поливанова «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория» (1929 г.) Р. Барт в статье «Разделение языков» (1973 г.) сетовал на то, что социолекты (аналог поливановских социально-групповых диалектов) воспринимаются в лингвистике лишь как «промежуточные, неустойчивые, «забавные» состояния, какие-то экзотические причуды» социального бытования языка» (1989, 520).

Во многих чертах отличную от идей Поливанова теорию в тот же период, развивая ее в последующих работах, предложил Бахтин. Ее первое и весьма существенное отличие от взглядов Поливанова — прямая критика структурализма Ф. де Соссюра. Бахтин выступал как последователь восточнославянской психологической школы, в частности, А. А. Потебни, согласно известному определению которого «мы говорим не только тогда, когда думаем, что нас слушают и понимают, но и про себя и для себя» (1976, 305). Бахтин подчеркивал, что в основе языка лежит потребность человека выразить, объективировать себя. Сущность языка поэтому сводится к духовному творчеству индивида. Язык существует только для говорящего, а если при этом язык может служить также средством общения, то эта его функция является побочной, не затрагивающей сущности языка.

Предлагаемую де Соссюром схему коммуникативного акта «говорящий — слушающий» Бахтин квалифицировал как ничего не объясняющую абстракцию, поскольку, с его точки зрения, эта схема не отражает активности слушающего. С одной стороны, согласно Бахтину, содержание высказывания можно понять лишь в контексте того вопроса, ответом на который оно является. Тем самым коммуникативная инициатива говорящего представляется лишь относительной и вплетается в систему социального взаимодействия, в диалог с чередованием позиций коммуникантов (ср. «перекрестную коммуникацию» у Поливанова). С другой стороны, Бахтин считал, что восприятие речи не пассивно, как вытекает из схемы де Соссюра, а активно, поскольку предполагает подготовку слушающим ответной реплики (или, шире, ответной реакции) в рамках диалога.

В «Записках по русской грамматике» Потебня писал: «Всегда отношение символа к обозначаемому определяется ничем иным, как употреблением в связной речи» (1977, 113). Эта мысль была последовательно развита в трудах Бахтина (а также В. Н. Волошинова), который утверждал, что языковая форма (или языковая структура) и для говорящего, и для слушающего выступает не в виде устойчивых и неизменных как с физической, так и с семантической точки зрения сигналов, но всегда в виде изменчивых, динамичных и гибких знаков, адаптированных психикой языкового субъекта, соотнесенных с социальным мотивом ре-

чи (Волошинов 1929, 6). Этот социальный мотив речи и выступал у Бахтина важнейшим фактором, который определяет характер речевой деятельности:

Язык есть непрерывный процесс становления, осуществляемый социальным, речевым взаимодействием говорящих [...] Структура высказывания является чисто социальной структурой (Волошинов 1929, 108).

Это общее положение нашло отражение в идее Бахтина о семантическом релятивизме слова: «Смысл слова всецело определяется его контекстом», — которая впоследствии была детально разработана А. Ф. Лосевым (1976, 113; 1982, 114ссл.).

Социально-деятельностной доминантой речевого акта объясняется и трактовка Бахтиным высказывания, смысл которого устанавливается благодаря его соотнесенности с конкретной внесловесной ситуацией (см. Волошинов 1929, 104). Позднее в работах В. А. Звегинцева, В. Н. Ерхова и др. эта трактовка высказывания получила дальнейшее развитие.

Таким образом, подобно тому, как психологическая школа противопоставляла себя логицизму (логическому формализму), теория Бахтина глубоко антагонистична по отношению к структурализму — в обоих случаях мы, по существу, имеем дело с одной и той же оппозицией: идиоэтнического и имманентно-структурного факторов существования и функционирования языка, хотя, в отличие от психологистов, Бахтин уделял большее внимание социальному аспекту речевой деятельности, поэтому его работы в определенной степени легли в основу прагмалингвистики.

### **3. Панвербализм?**

Предложенной здесь социоцентрической трактовке теории Бахтина, на первый взгляд, противоречат его некоторые высказывания, например: «Язык, слово — это почти все в человеческой жизни» (1979b, 297). Ср. также утверждение В. Н. Волошинова: «[...] Не столько выражение приспособляется к нашему внутреннему миру, сколько наш внутренний мир приспособляется к возможностям нашего выражения» (1929, 108). Это дало основание некоторым исследователям психологии общения охарактеризовать теорию Бахтина как *знакоцентрическую*. Так, А. В. Брушлинский и В. А. Поликарпов упрекают Бахтина в панвербализме:



Для Бахтина (как и для Выготского) на первом месте почти всегда выступает речь, слово [...] используемые даже тогда, когда он затрагивает преимущественно проблемы мышления (1990, 98).

Этот упрек можно, однако, оспорить. Бахтин, как раз напротив, выступает как критик панвербализма (в версии де Соссюра). Его же формула «Язык — все» означает включенность языка во все сферы социальной и психологической жизни человека, а во многих случаях — функционирование в качестве своего рода программы человеческой деятельности, в особенности в ситуациях стереотипного или ритуального поведения. Таким образом и следует понимать его слова:

Жизнь по своей природе диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответственность, соглашаться и т.п. В этом диалоге человек участвует весь и всю жизнь: глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками. Он вкладывает всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань человеческой жизни, в мировой симпозиум (1979b, 318).

Только благодаря социо-психической ангажированности язык способен приобретать статус гносеологического императива, определяющего границы референциальной ситуации, но только в некоторой степени, в зависимости от динамики социальной структуры пользователей, а также в зависимости от структуры речевого акта.

Брушлинский/Поликарпов критикуют Бахтина за игнорирование синергического аспекта психологии общения, отдавая предпочтение деятельностно-процессуальной теории С. Л. Рубинштейна:

Для Рубинштейна субъект — это тот, кто осуществляет изначально практическую деятельность, поведение, общение, созерцание и т.д. Тем самым в человеке и человеком формируется и развивается единство сознания и деятельности. Для Бахтина, напротив, на первый план выступает лишь единство сознания и речи, поскольку субъект для него — прежде всего речевой, говорящий (1990, 102).

Действительно, понятие социальной практики у Бахтина не конкретизировано, а его диалогические отношения в известной степени самодостаточны, изолированы от конкретных субъектно-объектных отношений. Но это не означает, что диалогические отношения у Бахтина — «вещь в себе». Глагол *жить* в высказывании Бахтина «Жить — значит участвовать в диалоге» следует понимать как *жить социально*, а *диалог* необязательно существует в речевой форме.

Подобный вывод следует и из теории речевых жанров, и из понимания языка как варьирующегося явления. Бахтин указывал, что

«нейтральные словарные значения» обеспечивают общность языка и взаимопонимание его носителей. Однако, «использование слов в живом речевом общении всегда носит индивидуально-контекстуальный характер» (1979b, 268). Исходя из этих посылок, Бахтин проводил иерархию лексиконов (за которой, в сущности, стоит иерархия языков):

1. нейтральное слово общенародного языка
2. «чужое» слово, т.е. принадлежащее другому идиолекту или, по Бахтину, другому «голосу»
3. «мое» слово, наполненное специфической экспрессией в конкретной ситуации с определенным речевым намерением

Пожалуй, наиболее важным в этой концепции является положение, согласно которому на уровне «моего» слова взаимодействуют, а иногда даже «сливаются» (о чем применительно к «стилю» писал и Р. Барт — 1983, 310) духовная и языковая сферы личности. Данная способность языка проникать в континуум человеческой психики является тем фундаментальным свойством, которое обуславливает и его социальную дифференциацию, и его гибкость по отношению к «текучести» мира, а в итоге — надежность языка как средства коммуникации в условиях, далеких от идеальности.

#### 4. Учение о «чужой» речи

Несомненный интерес для современной лингвистики представляет мысль Бахтина о том, что «индивидуальный речевой опыт всякого человека формируется и развивается в непрерывном и постоянном взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями» (1979b, 269). Соседство с иными языковыми средствами приводит к явлениям интерференции, т.е. к заимствованиям элементов «чужого» языка и «чужой» речи.

Можно различать два типа кодовых взаимодействий:

1. перекодирование и
2. поликодирование

Если под **кодированием** текста понимать его построение в соответствии с правилами определенной знаковой системы, то **перекодирование** — это смена кодов при сохранении по крайней мере основной части транслируемого смысла.

При **поликодировании** текста происходит совмещение (интерференция) нескольких кодов в рамках одного и того же текста. Наиболее распространенной является ситуация, когда один из кодов выступает основным, доминирующим, а другой присутствует (другие присутствуют) в виде отдельных иноязычных вкраплений, которые пред-

ставляют собой разного уровня сложности заимствования из альтернативного кода (альтернативных кодов).

Многие тексты в языковой коммуникации характеризуется поликодированием: во-первых, благодаря использованию элементов различных вербальных кодов или вариантов одного и того же вербального кода; во-вторых, благодаря значимости коннотаций, обусловленных принадлежностью текста к тем или иным сферам интеракции, другими словами — знаковостью высшего порядка; в-третьих, благодаря параллельному употреблению вербальных и невербальных знаковых систем.

Перекодирование (перевод) осуществляется в условиях, когда коммуникативный контекст не допускает передачи информации в знаках данного кода — наиболее часто это обусловлено отсутствием у реципиента необходимой языковой компетенции. Другой такой причиной может быть неуместность данного кода (чаще всего — одного из вариантов языка) в условиях данного общения, когда говорят о стилистической некорректности текста. Ср. характерный с этой точки зрения фрагмент рассказа В. Шукшина «Чудик»:

*В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь. Тчк. Васятка». Телеграфистка, строгая красивая женщина, прочитав телеграмму, предложила:*

*— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.*

*— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!... Вы, наверное, подумали...*

*— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи.*

*Это открытый текст.*

*Чудик переписал: «Приземлились. Все в порядке. Васятка».*

*Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка».*

*Стало: «Долетели. Василий».*

Перекодирование и поликодирование текста имеют генетическую связь: способность к переводу текста с одного языка на другой развивается с накоплением заимствований из «чужого» кода и предполагает имитирование речевой деятельности представителя альтернативной языковой среды. Поэтому неспособность субъекта к заимствованию «чужого» языка (цитированию его носителей) свидетельствует о невозможности перевода и понимания текста, что, например, наблюдается в рассказе В. Гаршина «Денщик и офицер»: солдат Никита бессилён воспроизвести и интерпретировать фразу из воинского устава:

*Знамя есть священная хоругвь...*

Поликодирование текста выступает в двух разновидностях:

1. языковое заимствование
2. речевое заимствование (цитирование)

При языковом заимствовании происходит перенос знака одного кода в текст другого кода — с возможной перспективой его адаптации системой этого кода. Можно различать собственно языковое и стилистическое заимствование. Первый случай хорошо известен и изучен в научной литературе. Во втором, более специфическом случае заимствуются элементы чужих, сосуществующих в семиозисе культуры или личности вариантов одного и того же кода. Это явление называется также стилизацией (Skubalanka 2001, 179ссл.). Ср. примеры из прозы М. Антониони, которые представляют собой заимствования из идиолектов Х. Л. Борхеса и Ф. С. Фитцджеральда — на это, в частности, указывает специальный оператор перекодирования — выражение с глаголом в форме сослагательного наклонения *как сказал бы X*:

*Борхес сказал бы, что эта женщина ирреальна...*

*Это был день воображаемых телеграмм, как сказал бы Фитцджеральд.*

Другие формы маркирования языковых заимствований — выражения

*как говорится*

*так сказать*

*дескать*

*строго говоря*

*выражаясь по-вашему*

*пользуясь терминами математики (философии, кибернетики и т.п.)*

*можно сказать и др.*

Этому же служит прием *закавычивания*. Например, экспансию этого явления мы наблюдаем в опубликованной в «Литературной газете» (17.X.1990) полемической статье С. Столбуна «Кто сменил веру, не имел никакой»:

*Пусть Александр Исаевич Солженицын не обольщается: предложенные им преобразования (по сути, уже начавшиеся) не пройдут без горя и крови. Через мой труп, во всяком случае, вам переступить придется. Вас это, разумеется, не остановит, тем более что я еврей (хотя и женат на русской) и, что еще «хуже», коммунист по убеждению. Мои взгляды — не повторение всеобщей «попугайщины», а результат собственных многолетних размышлений [...] Что для вас судьба каких-то «маргиналов», как теперь говорят. «По делу вору мука», — скажет Солженицын. Хотя какой я «вор»: никого не убил, не ограбил, «стукачом» никогда не был [...] Я и такие, как я, уже намечены негласно в качестве неизбежных жертв надвигающейся «преобразовательщины» [...] Еще не начали «обустраивать Россию», а уже наметили*

категорию «нелюдей» [...] Уверен, раздавив таких, как я, «белое колесо» не остановится [...] Пойдут политические процессы, «запреты на профессии». Следом за ними — составление списков, погромы, «охоты на ведьм» [...] Номенклатура, партократия «перекрасится» и выживет, они еще громче будут командовать погромщиками [...]

Впрочем, часто подобная отсылка к «чужому» языку (или субъязыку) прямо не эксплицируется. Ср. яркие примеры стилистической интерференции из весьма характерной с этой точки зрения книги Э. Г. Аветяна «Семиотика и лингвистика» (1989) — здесь мы найдем множество заимствований из художественного стиля:

*«Здравый смысл» ужаснется такой постановке вопроса: что сверх чувственного предмета — от лукавого. Мы стоим перед лицом феноменов, а детерминированность явлений — «метафизический трюк», шальная логика, у которой все получается... Глаза наши имеют дело с одними и теми же объектами, но внутреннему взору открывается мир в разном интеллектуальном колорите.*

Другой критерий дифференциации языковых заимствований — степень их адаптированности к новой языковой среде. Так, традиционно различают заимствованные (адаптированные) и иностранные (неадаптированные) слова, например, *очаг* и *интервью*.

Если языковое заимствование основано на принципе «Как говорится», «Как говорит X» или «Как сказал бы X», то речевое заимствование характеризует формула «Как сказал X». Цитирование, другими словами, чаще всего состоит в переносе из одного текста в другой синтаксически организованных элементов, при этом наиболее часто встречаются реминисценции из известных литературных произведений и других прецедентных текстов, ср.:

*И он — Поэт, и Принц, и Нищий* (В. Каменский).

*Как всякий промотавшийся барин, он считает себя униженным и оскорбленным* (Ю. Олеша).

*Мне показалось, что он немного играет под младшего Капицу — ведущего специалиста по очевидному невероятному* (В. Конецкий).

*Глупости! Я теперь вольная птица. И потом мне до них нет дела. Вот уж никогда не забочусь, что скажет княгиня Марья Алексеевна* (В. Михальский).

*Недавно протискивалась я в отделе женского белья большого универмага. Каких только фасончиков, кружавчиков и расцветок нет! Ловлю взгляд продавца: дамочка, вам не сюда, вам в «Богатырь». А я не хочу в «Богатырь» и «Три толстяка» — я хочу зайти в любой магазин и купить мой размер. А названия магазинов? Почему не «Русская красавица»? Не «Душечка»? Вы можете себе представить душечку 44-го размера? Я — нет. Когда я в обычных магазинах спрашиваю колготки любимого 7-8 размера, слышу: «Все раскуплены». Значит, не я одна такая*

*в Москве дылдошка и толстушка, значит, есть еще женщины в русских селеньях!* («Огонек». 2004/10).

Другой случай — когда основой реминисценции является устойчивое выражение из иного, альтернативного функционального стиля — более высокого или более низкого, ср.:

*Я остановился меж двух ракет и оттуда сказал, как из дверей старинной гостиной, что кушать подано* (К. Воробьев).

*Бушуют калориферы при входе в «Националь». Не слишком людно вроде, но нет местов. Свободных нету мест* (А. Межиров).

Наконец, наименьшая степень конвенциональности источника цитаты выступает в ситуациях, когда воспроизводится (реальная или, реже, потенциальная) реплика партнера или третьего лица (при этом заимствоваться могут отдельные лексемы, грамматические и фонетические формы). Данное явление можно назвать *эх о л а л и е й*:

*Стрелочник сказал, что пока надо погодить* (А. Платонов).

— *Что вы там делаете?* — *Я там сплю* (Ю. Олеша).

— *Мы греемся... или мы что?* — *Мы что* (В. Попов).

*Она сидела на краешке дивана, положив руки на колени и выпрямив спину, всем своим видом показывая, как она «терпеливо ждет»* (А. Битов).

*Уж я не знаю, что его влекло:*

*корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой,*

*но некогда в российское село —*

*ура! ура!* — *шут прибыл италийский* (Б. Ахмадулина).

*Наконец, он признался себе, что ему не хватает Мери... Ладно. Приползет. Куда ей деваться. Но Мери не приползла* (Ю. Нагибин).

— *Интересно, — прошептала девушка, — на ком он женат? Вы случайно не знаете?* — *Случайно не знаю* («Литературная газета». 21.IV.1982).

— *Сейчас замерзнешь!* — *Чего я замерзнешь? Я одет, как зимой ходил* (Разговорная речь).

*Казалось бы, артист ничего не играет, просто вот он такой — сильный, ловкий, умелый, открытый, добрый и очень честный [...] Николай Афанасьевич Крючков и в жизни сильный, ловкий, умелый, открытый, добрый и очень честный* («Комсомольская правда». 26.XII.1980).

Разновидностью цитирования следует также признать *эмпатическую номинацию*, т.е. использование при назывании лица чужой точки зрения. Речь идет о коммуникативных ситуациях типа:

Мать дочери: — *Я ухожу к бабушке, ты остаешься с папой.*

Жена отцу, в присутствии дочери: — *Дедушка, наша Катя сегодня сама убрала в комнате!*

К явлениям данного типа следует отнести и языковые выражения, в которых вместо личного местоимения (обычно первого лица) используется нарицательное существительное — говорящий как бы цитирует воображаемый официальный источник, поэтому такой тип номинации можно назвать институциональным:

— *Все, — сказал Василий. — Завязываю я с тобой, деваха. Подается Алафеев в другие места* (В. Конецкий).

*Все же бабка сунула краюху!*

*Все на свете зная наперед,*

*Так сказала: — Слушайся старуху!*

*Хлеб, родимый, сам себя несет* (Н. Рубцов).

Журналист беседует с поэтессой Новеллой Матвеевой: — *А как появились песни Новеллы Матвеевой? Сегодня без них непредставима современная песенная поэзия* («Литературная Россия». 5.XI.1982).

Институциональная номинация особенно характерна для авторитарного дискурса в сфере политики, в частности, как пишет И. Ф. Ухванова (2002, 140), для публичных выступлений президента Белоруссии А. Лукашенко, ср.:

*Группа социологов [...] попробовала быстро отследить рейтинг Лукашенко.*

*Это из тех, которые воевали против Лукашенко на выборах*

*вместо: Группа социологов попробовала быстро отследить мой рейтинг. Это из тех, которые воевали против меня на выборах.*

Цитирование относится к явлениям поликодирования на том основании, что явная или скрытая отсылка к другому тексту выступает как самостоятельный элемент смысла текста, выходящий за пределы той части его структуры, которая программируется соответствующим основным кодом.

Важнейшим критерием дифференции видов цитирования является степень эксплицитности исходного текста — по этому признаку можно различать собственно цитаты и аллюзии.

Речевое цитирование в виде массовой ориентации на авторитетный текст (или тексты) может выступать фактором стабилизации языковой нормы. Ср. точное замечание Ф. Кафки по поводу нормирования немецкого языка:

Гете мощью своих произведений задержал, вероятно, развитие немецкого языка. Если проза за это время иной раз и отдалялась от него, то сейчас она в конце концов снова вернулась к нему с тем большей страстностью, и даже старые обороты, которые, правда, можно найти у Гете, но с ним не связаны, она теперь освоила, чтобы насладиться усовершенствованным видом своей безграничной зависимости.

Сфера заимствований включает не только явления межъязыковых переходов — интерлингвистические заимствования, но и семантическую деривацию, которая состоит в переносе знака из одной семантической подсистемы языка в другую — интралингвистические заимствования. И при типичном заимствовании, и при семантической деривации (в частности, при метафорическом переносе) происходит смена языкового и речевого контекста знака, что и позволяет говорить о данных процессах как о сходных явлениях — неслучайно в обоих случаях в качестве графического показателя используются кавычки. Так, газетная заметка об известном шахматисте Гате Камском, который, согласно подписанному им контракту, с 1991 года выступает за команду Франции, названа «Трехцветный» Гата («Советский спорт». 21.I.1991). Закавыченность прилагательного *трехцветный* указывает на его семантическую деривацию. С одной стороны, мы имеем дело с обычной метафорой прилагательного, но, с другой стороны, эта метафора возникает как отсылка к «чужой» речи. Авторство подобных выражений с семантической деривацией как бы приписывается некоему гипотетическому говорящему, который мог бы позволить себе расширить семантику прилагательного *трехцветный* таким образом, что оно выражало бы и смысл 'относящийся к Франции'.

Для цитирования важно сохранение смысла знака, для метафоры — его трансформация. Вместе с тем в каждом из этих процессов реализуются и обратные тенденции. При цитировании знак попадает в новый речевой и прагматический контекст и, подчиняясь его «конструктивному принципу» (термин Ю. Н. Тынянова), в определенной мере модифицирует свое значение, другими словами — получает определенную коннотацию. Значит, можно утверждать, что цитирование обычно сопровождается элементами семантической деривации, поскольку полное сохранение содержания знака в новом контексте невозможно уже потому, что, как указывал А. Ф. Лосев, «значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста» (1976, 125).

При метафорическом переносе, напротив, дает о себе знать деривационная история знака (или этимология его вторичного употребления). Семантическая деривация сопровождается, как правило, семантическим наследованием — сохранением дополнительных, периферийных номинативных признаков, которые не существенны с точки зрения данной метафорической проекции (или, в терминологии М. М. Новоселова — с точки зрения «абстракции сравнимости»), но которыми знак обладает в исходном контексте. Собственно, возможность семантического наследования отчасти и является мотивировкой переносного употребления слова, поскольку обуславливает не просто смену плана выражения для инвариантного смысла, а именно — создание но-



вого смысла — благодаря фоновым отношениям между первичной и вторичной семантикой знака.

Метафора, таким образом, реализуется не только в плане лексического значения, но и в плане этимологии (мотивировки) знака, которая (мотивировка) особенно очевидна и важна в случае так называемых «живых» метафор. Ср., шуточные афоризмы, в которых одновременно реализуются два значения слова — это явление в традиционной риторике называется *эквивокацией*, а в концепции функциональной семантики — *парасемией* (Kikiewicz 2007; см. также настоящее издание):

*Не пора ли на атеизме поставить крест?* (С. Попов).

*Больше жизни в сцене смерти!* (режиссер на съемочной площадке).

*В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.*

*Любовнику от тебя нужно только одно, а мужу подавай и первое, и второе, и компот.*

*Хочешь завести друзей — заведи их подальше.* Иван Сусанин.

*Иду, вижу: кто-то пить бросил.*

*Хорошо бы подполковником. И под лейтенантом тоже неплохо.*

*Любовь как костер: палку не кинешь — потухнет.*

*Самый простой способ заставить женщину раздвинуть ноги — это посадить ее себе на шею.*

Юмористический эффект возникает именно благодаря сопряжению первичной и вторичной семантики лексем. На этом механизме основаны также многие шутки, например:

*В лавку вошла женщина и попросила показать ей пару перчаток. Продавец положил перед ней несколько пар, но женщине не нравился их цвет. В конце концов он спросил ее:*

*— А какой вам нужен?*

*— Цвет молока и горячего кофе, — ответила женщина.*

*Продавец спокойно и серьезно спросил:*

*— А вам с сахаром или без сахара?*

Еще более важна эта исходная фоновая семантика в сравнительных конструкциях — именно столкновение актуального значения и семантических признаков, которые существуют в структуре содержания слова по праву семантической наследственности, создает эффект аттракции. Например:

*Любка, приглядываясь, сдвинула пъявки черных бровей* (И. Бунин).

*Иногда в тюрьму заходил комендант города и с ним — поджарые, похожие на гончих сук три немки* (К. Воробьев).

*Сексуал-революционерка Сударкина в сердце, как в трусики-безразмерки, уместающая пол-Краснодара, подрывает основы семьи, частной собственности и государства (А. Вознесенский).*

*На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси (А. Вознесенский).*

*Но, как уланы под Бородином,  
Стоят подметки на моих штиблетах (А. Межиров).*

*Берешь почитать редкую книгу на ночь. Как проститутку (Ю. Казарин).*

*Сына укусил кот. Мишка плачет и лезет ко мне за утешением с мокрым лицом, как малосольный огурец (Ю. Казарин).*

*Разрушить нашего единства*

*Не в силах море неудач:*

*Вы сексуальны, как меньшинства,*

*Ая, как линия, горяч (А. Исупов).*

*Рядом с мэтром, у ноги, как собаку, поместили бутылку водки (Э. Лимонов).*

*Из него лезет наружу мистическая субстанция души, как носовой платок из кармана (В. Ерофеев).*

*Сердце у тебя мягкое, как валенок (разговорная речь).*

Сравнительные конструкции этого типа являются характерной чертой идиостиля замечательного русского писателя, эссеиста и литературного критика А. Гениса:

*Вайль любил вспоминать Павла Петровича Петуха, который приговаривает, потчуж Чичикова жареным теленком: «Два года воспитывал на молоке, ухаживал, как за сыном».*

*Выбросив эффектную концовку, Сергей притушил рассказ, как плевком окурок.*

*Довлатов был очень крепким мужчиной. И роста он все-таки был огромного.*

*«Высокий, как удои», — описывал его Бахчанян.*

В отдельных случаях фоновые, наследуемые признаки подавляют, вытесняют переносное, т.е. актуальное значение слова, ср.:

*— Помилуйте, Сергей Потапыч, учитель без кокарды — все равно что Британский лев без хвоста, — уверял Мачигин, — одна карикатура.*

*— При чем тут хвост, а? Какой тут хвост, а? — с волнением заговорил Богданов. — Куда вы в политику заехали, а? Разве это ваше дело о политике рассуждать? (Ф. Сологуб).*

*— Ладно, уговорил! — сказал председатель, когда я намекнул ему на Нобелевскую премию. — Будет премия, построим коровник.*

*— На эту премию и слоновник можно построить, — сказал я.*

*— Зачем нам слоны? — не понял председатель (А. Житинский).*

*[...] Если американцы не уберут свои руки от Никарагуа, она лично сделает фермеру козью морду. Фермер не понял, зачем ему лицо козла, но почувствовал что Никарагуа надо оставить в покое (Л. Измайлов).*

\* \* \*

Все сказанное подтверждает, что научное наследие М. М. Бахтина живо, а его идеи тесно вплетаются в систему современных антропологических теорий языка и текста. Многие же из того, что замыслил выдающийся русский филолог, нам предстоит еще осмыслить по-новому.

### Литература

- Абу Хайян-ат-Таухиди (1988), *Диалоги. Из «Книги улады и развлечения»*. В: Алаев, Л. Б./Гаспаров, М. Л./Куделин, А. Б. и др. (ред.), *Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации*. Москва, 40–85.
- Аветян, Э. Г. (1989), *Семиотика и лингвистика*. Ереван.
- Барт, Р. (1983), *Нулевая степень письма*. В: Степанов, Ю. С. (ред.), *Семиотика*. Москва, 306–349.
- Барт, Р. (1989), *Избранные работы. Семиотика. Поэтика*. Москва.
- Бахтин, М. М. (1979а), *Проблемы поэтики Достоевского*. Москва.
- Бахтин, М. М. (1979б), *Эстетика словесного творчества*. Москва.
- Библер, В. С. (1991), *От наукоучения — к логике культуры. Два философских введения в двадцатый век*. Москва.
- Волошинов, В. Н. (1929), *Марксизм и философия языка*. Ленинград.
- Лосев, А. Ф. (1976), *Проблема символа и реалистическое искусство*. Москва.
- Лосев, А. Ф. (1982), *Знак. Символ. Миф*. Москва.
- Мулуд, Н. (1973), *Современный структурализм. Размышления о методе и философии точных наук*. Москва.
- Поливанов, Е. Д. (1968), *Статьи по общему языкознанию*. Москва.
- Поливанов, Е. Д. (1991), *Труды по восточному и общему языкознанию*. Москва.
- Брушлинский, А. В./Поликарпов, В. А. (1990), *Мышление и общение*. Минск.
- Потебня, А. А. (1976), *Эстетика и поэтика*. Москва.
- Потебня, А. А. (1977), *Из записок по русской грамматике*. Т. 4. Вып. 2. Москва.
- Соссюр, Ф. де (1977), *Труды по языкознанию*. Москва.
- Соссюр, Ф. де (1990), *Заметки по общей лингвистике*. Москва.
- Срезневский, И. И. (1887), *Мысли об истории русского языка и других славянских наречий*. Санкт-Петербург.
- Ухванова, И. Ф. (ред.) (2002), *Методология исследований политического дискурса. Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов*. III. Минск.
- Фосслер, К. (1960), *Позитивизм и идеализм в языкознании*. В: Звегинцев В.А. *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях*. Ч. 1. Москва, 286–297.
- Kikiewicz, A. (2004), *Znaczenie i konceptualizacja w semantyce kognitywnej*. В: *Prace Językoznawcze*. VI, 41–58.
- Kikiewicz, A. (2007), *Humor i karnawalizacja jako efekt atrakcji metaforycznej* (в печати).
- Skubalanka, T. (2001), *Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie*. Lublin.

## О ПРЕДПОСЫЛКАХ И СЛЕДСТВИЯХ РЕЧЕВЫХ ПЕРЕКОДИРОВОК\*

Преподаватель статистики влюбился в нее со слезами на глазах и целовал несколько раз в коридоре совпартшколы, хотя Лида не знала даже слова «статистика».

Андрей Платонов

### 1. Социальное варьирование языка

Возникновение языка и его дальнейшую динамику обуславливают два наиболее общих фактора: 1) неоднородность и изменчивость мира — онтологической среды; 2) неоднородность и изменчивость общества — социальной среды. Социальная и онтологическая среда intersubъективных взаимодействий с помощью языка составляют ядро понятия *дискурса*. Это понятие возникло в рамках французского структурализма, где оно трактовалось как комбинация, «посредством реализации которых говорящий использует код языка» (Ильин 1975, 453). При анализе художественных текстов под дискурсом понимались все типы дополнительной информации, которая накладывается на основное повествование, например — фасцинативная, эмотивная, дидактическая и др.

В связи с разработкой прагматической доктрины, которая охватила гуманитарные науки в 70-90-е гг. XX в. и в начале XXI в., понятие дискурса начинает переосмысливаться — оно становится более широким, выходит за пределы имманентной структуры языка и имманентной структуры текста. Дискурс понимается уже как текст с учетом совокупности естественных факторов, которые сопровождают актуали-

---

\* Первая публикация: *Дискурсные перекодировки: предпосылки и следствия*. В: Ухванова-Шмыгова, И. Ф. (ред.), *Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов*. Вып. 2. Минск 2000, 64–78. Здесь публикуется в переработанном варианте.

зацию той или иной знаковой системы. Известный польский специалист С. Грабяс определяет дискурс как

цепочку языковых действий, характер которых зависит от того, кто говорит, кому, в какой ситуации и с какой целью. Так понимаемый дискурс представляет собой вид социального взаимодействия, которое осуществляется с помощью языка (Grabias 1997, 264-265).

Общее направление эволюции языковой среды (онтологической и социальной) — усложнение и дифференциация. Во-первых, это связано со специализацией деятельности и все усиливающимся делением функций и компетенций ее участников. Во-вторых, происходит процесс активного воздействия человека на среду, создание артефактов, в результате чего мир уже не тождественен экологической нише — он окультурируется, «раздваивается», теперь уже включает и составляющую, которая порождена человеческим духом и человеческой деятельностью.

Известно утверждение А. Вежбицкой, что язык — это окно в мир. Но язык — это и часть мира. Как указывает Т. М. Дридзе,

из самого социального характера «среды обитания» человека вытекает тот [...] факт, что продукты знаковой деятельности человека в процессе общения в виде изолированных знаков (символов) и текстов различного характера становятся полноправной частью указанной среды» (1980, 119).

Поэтому классические постулаты этнолингвистики в духе Э. Сепира и Б. Уорфа требуют сегодня существенных уточнений.

В эволюции языка прослеживаются две полярные тенденции (на что указывал еще А. М. Пешковский): 1) тенденция к дифференциации (варьированию) и 2) тенденция к кодификации (креолизации). Первая тенденция противодействует второй — препятствует разрушению целостности языкового сообщества в условиях все возрастающей энтропии среды. Впрочем, мое внимание будет, скорее, сконцентрировано на том, как проявляется первая тенденция, т.е. как под влиянием дискурсных факторов варьируется актуализация одного и того же этнического языка или осуществляется переход от одного языка к другому.

## **2. Кодовые переключения, или перекодирование**

Области языка и речи не конгруэнтны: не все, что есть в языке, отражается в речи, и не все, что есть в речи, запрограммировано в языковой системе. Одной из причин этого несовпадения является в а р ь и р о в а н и е самого языка: он принадлежит не только народу как универсаль-

ное средство интересубъектного информационного обмена, а также фактор национального сознания, но и относится к разным по объему коалициям субъектов и даже (в меньшей степени) к отдельным индивидам. Речь конкретного говорящего обусловлена параметрами дискурса, поэтому она всегда соотносится не только с так называемым общенародным языком, но и с теми социальными и индивидуальными вариантами, которыми владеют представители отдельных социальных групп.

Несмотря на то, что факт варьирования языка очевиден, нельзя не согласиться с Р. Бартом, что

социальное расслоение языка хотя и признается, но на практике преуменьшается, сводится к различию «манер» выражения (арго, жаргон, смешанные языки) [...] Всякие разновидности языка воспринимаются как его промежуточные, неустойчивые, «забавные» состояния, как какие-то экзотические причуды его социального бытования» (1989, 520).

Одним из первых, кто не только признал естественный характер варьирования языка, но и рассматривал его как проявление билингвизма, был Р. Якобсон (1985, 313). Кодовое переключение, т.е. переход от одного варианта этнического языка к другому в сознании и речевом поведении монолингва или же переход от одного этнического языка к другому в сознании и речевом поведении билингва, исследовалось в социалингвистике (см.: Белл 1980, 141).

Особый интерес вызывают такие факты варьирования языка, по отношению к которым может быть определена (более-менее очевидная, хотя и не всегда осознаваемая участниками речевого акта) коммуникативная мотивировка, т.е. когда динамика речевого поведения обусловлена коммуникативными условиями и тем видом взаимодействия, в которое, по терминологии Р. Барта, ангажирован речевой акт. Покажем это на примере рассказа А. Аверченко «Русское искусство». Русская актриса, оказавшись после революции 1917 г. в эмиграции, работает служанкой в доме барона. Встретив на улице Константинополя старого знакомого (от лица которого и ведется повествование), она предается сентиментальным воспоминаниям:

— *Слушайте, простодушный! Очень хочется вас видеть. Ведь вы — мой старый милый Петербург! Приходите чайку попить.*

И вот герой появляется в доме барона:

— *Что угодно?*

— *Анна Николаевна здесь живет?*

— *Какая?*

— Русская. Беженка.

— Ах, это вы к Аннушке! Аннушка! Тебя кто-то спрашивает.

Раздался стук каблучков и в переднюю впрхнула моя приятельница, в фартуке и с какой-то тряпкой в руке. Первые ее слова были такие:

— Чего тебя, ирода, черти по парадным носят? Не мог через черный ход прит-тить?!

— Виноват, — растерялся я. — Вы сказали...

— Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его допрежь в Петербурге знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотена!

Связь языка с деятельностью состоит не только в том, что он используется в качестве средства передачи информации для регулирования действий участников, но и, по Барту, включается, ангажируется в деятельность. В отличие от искусственных знаковых систем, естественный язык имеет не только конвенциональный, но также и диосинкратический характер: он органически входит в сознание и деятельность (практическую или психическую) конкретного субъекта (а также групп субъектов). По словам Барта, «тот или иной словарь и есть не что иное, как расчленение семантической массы под действием некоторого вида труда» (1989, 523сл.). Ангажированность языка проявляется в виде «двойной кодировки текста», как ее понимал Ю. М. Лотман (1981, 4).

Понятия конвенционального и идиосинкратического языка соотносимы с понятиями лингвистики и металингвистики в их понимании М. М. Бахтиным: лингвистика занимается языком как системой безотносительно к ее социальной актуализации, а металингвистика должна описывать функциональные свойства языка «в его конкретности и живой целокупности», т.е. такие, которые определяются специфическими «диалогическими отношениями» (1979б, 210сл.).

### 3. Факторы кодовых переключений

Важнейшим фактором, который обуславливает кодовые переключения, является прагматическая функция языка, т.е. его роль как средства регуляции поведения, прежде всего — средства воздействия на коммуникативного партнера и средства оптимизации собственных психических состояний. С прагматической функцией языка связано такое широко известное явление, как экономия речевых усилий говорящего. Например, прагматика речи лежит в основе роста лексических номинаций, который характеризует развитие каждого социума и каждой культуры. Типографский термин

*шриф*

можно было бы, в принципе, заменить выражением

*комплект литер, необходимых для набора какого-нибудь текста*

С семантической точки зрения существительное и соответствующая ему развернутая дескрипция идентичны, но с прагматической точки зрения они существенно различаются: во-первых, своей оптимальностью — лексическая номинация более экономна, удобна по сравнению с синтаксической (именно поэтому частые, регулярные номинации подвергаются лексикализации). Говорящий заинтересован не только в понятности и эффективности сообщения, но и в минимальных затратах на его производство.

Во-вторых, лексическая номинация слабее испытывает влияние внутренней формы и, таким образом, более свободна в реализации своей семантики, что и обуславливает явление многозначности. Так, существительное *шрифт* дополнительно (а, например, при компьютерном наборе исключительно) употребляется как эквивалент дескрипции

*графическая форма букв при письме, характер рисунка написанных букв*

В динамичном, постоянно изменяющемся мире слово выступает не столько как знак с жестко детерминированным отношением к обозначаемому, сколько как знак, которому соответствует лишь некоторое общее (с точки зрения культурной среды, в которой культивируется слово) содержание, а также некоторый прагматический алгоритм, программирующий его актуализацию в дискурсе. Разного рода прагматические ссылки, имеющиеся в содержании лексических номинаций, облегчают речевую деятельность, участники которой — в условиях коммуникации *face to face* — присутствуют в дискурсе.

В свое время Е. Д. Поливанов выдвинул идею, согласно которой в основе диахронических процессов в языке лежит принцип экономии («лень человеческая»). Этот же принцип может быть положен в основу варьирования и специализации языка. Появление дискурсных форм этнического языка объясняется стремлением к упрощению текста, т.е. к экономии речевых усилий на уровне синтагматики. Такая экономия (синтагматическая компрессия текста) оборачивается появлением новых субкодов — социальных или индивидуальных вариантов языка. Основной принцип кодового переключения (перекодировки) заключается в том, что выбирается такой вариант кода, который в условиях конкретного дискурса (т.е. определенного речевого взаимодействия) является максимально экономным, или оптимальным.



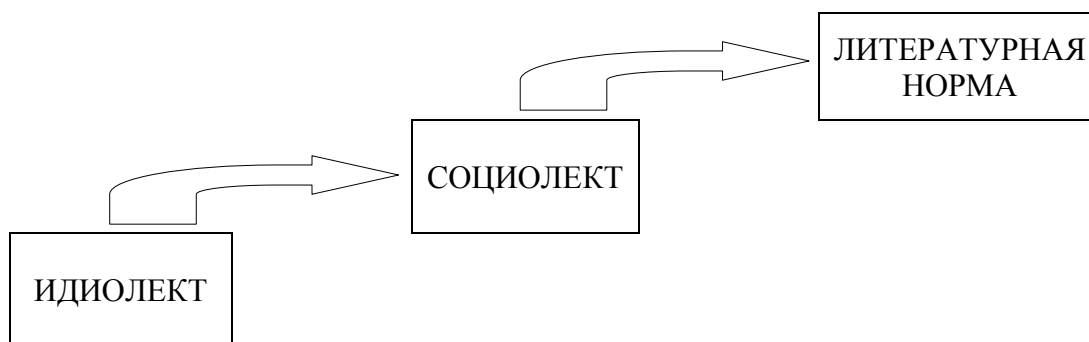
Сказанное не всегда относится к перекодировкам в речевой деятельности билингва. Здесь переход от одного языка к другому может регулироваться иными, нежели принцип оптимальности, соображениями. Так, роман В. Набокова «Лолита» первоначально был написан по-английски. Автор признавался, что в работе над русской версией постоянно возникали серьезные языковые трудности, особенно во второй части, где много американских реалий. По мнению писателя, русская версия романа получилась более громоздкой, менее соответствующей замыслу.

В художественной трансляторике перекодировка нередко, а может быть, и всегда связана с отступлением от принципа оптимальности — переход от одного плана выражения к другому неминуемо связан с модификацией, а именно — потерей какой-то части смысла (хотя не исключено появление новых смысловых оттенков). Переводчик стихов обречен на конфликт с исходным содержанием. Как не вспомнить в связи с этим рефрен из стихотворения А. Тарковского «Переводчик»:

*Ах, восточные переводы,  
Как болит от вас голова...*

Оптимизационные ресурсы языка возрастают вместе с увеличением степени его ангажированности, по мере того, как круг коммуникантов, использующих тот или иной социолект, сужается. Если передача информации в рамках целого этноса (например, официальные правительственные сообщения в прессе) строго регулируется структурой языка, то при общении в небольших группах, а также при монологическом общении (ср. «разговор» с самим собой) значительную роль при организации сообщения играют внешние по отношению к языку коммуникативные факторы.

Градация степени ангажированности языка в цепочке:



связана не только с количественными, но и с качественными изменениями: если переход от нормы к социолекту осуществляется в рамках социальной коммуникации, то переход к идиолекту означает выход за рамки социальной коммуникации. Именно такую точку зрения и поддерживает Е. С. Кубрякова: «Поскольку содержание в таком случае неконвенционально, о языковом знаке как таковом здесь говорить не приходится» (1991, 29).

С нашей точки зрения, на всех трех уровнях специализации языка наблюдается баланс двух факторов речевого поведения:

1. заложенной в языке инвариантной структуры сообщения и
2. среды

Социальная среда (а вместе с ней и знаковость сообщения) не исчезает на уровне идиолекта, потому что коммуникация — это лишь частный случай диалогичности, которая может быть реализована не только во внешней, но и во внутренней речи. Л. С. Выготский и представители его школы показали, что мышление имеет диалогический характер — протекает в форме внутренней речи и имеет социальный генезис:

Эгоцентрическая речь [...] возникает на основе социальной путем перенесения ребенком социальных форм поведения, форм коллективного сотрудничества в сферу личных психических отношений» (Выготский 1982, 56; см. также: Библер 19875, 372).

Кстати, Выготский и понимал внутреннюю речь как один из уровней перекодировки:

Внутреннюю речь следует рассматривать не как речь минус звук, а как совершенно особую и своеобразную по строению и способу функционирования речевую функцию, которая именно благодаря тому, что она организована совершенно иначе, чем внешняя речь, находится с этой последней в неразрывном динамическом единстве переходов из одного плана в другой (1982, 331).

Впрочем, автоматизация слова в некотором интерактивном дискурсе в определенной степени угрожает его знаковости — слово становится как бы частью ситуации, занимает фиксированное место в его ролевой структуре. Таково слово в ритуале. Бахтин по этому поводу писал: «Если мы ничего не ждем от слова, если мы заранее знаем все, что оно может сказать, оно выходит из диалога и овеществляется» (1979а, 301).

#### 4. Стратификационная vs. коммуникативная модель языка

Динамические отношения между разными уровнями специализации языка не получили в литературе однозначной оценки. Согласно Г. Шпету, человек говорит с собой на языке других, а индивидуальная деятельность становится фактом для субъекта только тогда, когда она принимает общезначимые формы: «Человек понимает и себя лишь удостоверившись в том, что его понимают другие» (1927, 16).

Но есть и противоположная точка зрения, высказанная П. Д. Успенским: «Вы можете понять других ровно настолько, насколько понимаете самих себя и только на уровне вашего собственного бытия» (1990, 442).

Возможно, в этих полярных трактовках проявляется различие двух моделей этнического языка, о которых пишет Г. П. Нецименко — стратификационной и коммуникативной (1999, 20ссл.). Русская исследовательница исходит из предпосылки, что развитие лингвистики в первой половине XX в. проходило под знаком системного, лангвового (ср. фр. *langue* — язык в теории Ф. де Соссюра) подхода к языку, что означало преимущественную ориентацию на изучение имманентных закономерностей языковой системы. Этнический язык интерпретировался как единая, монолитная, строго упорядоченная система, включающая в качестве системообразующих компонентов соответствующие «формы существования». Результатом этого подхода явилось создание стратификационной модели языка, где отдельные страты отражали поступательное развитие языковой материи, проходящей через разные эволюционные состояния: от территориального диалекта до вершины языковой иерархии — литературного языка. Стратификационная модель представляла собой диахроническую проекцию развития языка на плоскость его синхронного состояния. Эту модель также можно было бы назвать литературноцентрической, поскольку литературный язык здесь занимает главенствующее положение. Он рассматривается как единственная общезыковая функциональная доминанта, способная обслуживать весь спектр как межличностной, так и общеэтнической коммуникации. Литературный язык как самая престижная форма существования этнического языка представляет собой вершину языковой эволюции.

Предлагаемая Нецименко (1999, 30ссл.) коммуникативная модель этнического языка квалифицируется как паролевая (фр. *parole* — речь в теории де Соссюра), т.е. ориентированная на функционирование языковых средств в коммуникативном пространстве социума. «Это как бы взгляд на язык извне», — пишет Нецименко.

Сущность данного подхода заключается в рассмотрении строения языкового пространства через призму взаимоотношений языковой системы с другой, связанной с ней системой коммуникации. На первом этапе построения модели проводится членение коммуникативного пространства, т.е. выделение ситуаций и сфер вербального общения — таких, как общегосударственное, региональное, местное, производственное, семейно-бытовое, ритуальное общение и др. Нецименко обращает, однако, внимание на то, что строгая закрепленность того или иного социального диалекта, или идиома, за той или иной коммуникативной сферой прослеживается далеко не всегда, «особенно, если принять во внимание специфику языковой компетенции индивидуума, его индивидуальное речевое поведение, а также ряд других моментов, нередко приводящих к возникновению зон функционального пересечения форм существования языка друг с другом» (ibidem, 34).

Вводится понятие коммуникативного ареала, который представляет собой комплексную категорию, для вычленения которой существенны: специфика коммуникативных функций, характер общения, адресат и др. В отличие от коммуникативных сфер, численность коммуникативных ареалов постоянна и равняется двум:

1. ареал высших коммуникативных функций и
2. ареал непринужденного повседневного общения

Нецименко подчеркивает:

Применение понятия «коммуникативный ареал» позволяет интерпретировать коммуникативное пространство как двуединую, т.е. бинарную, структуру, в составе которой вычленяются два глобальных массива, рельефно отличающихся друг от друга в функциональном (разрядка моя. — А. К.) отношении» (ibidem, 35).

Совокупность ареалов и составляет комплексное коммуникативное пространство.

Таким образом, моделирование структуры этнического языка осуществляется не снизу, как при микроситуациях общения, а сверху — через более обобщенную коммуникативную категорию.

Членение языкового пространства предопределяется членением коммуникативного пространства.

В силу этого проекция коммуникативного континуума с его бинарной структурой на плоскость вербальной коммуникации позволяет получить бинарное членение языкового пространства, в соответствии с которым каждый коммуникативный ареал имеет свое языковое обеспечение (ibidem, 37).

Языковое обеспечение высших коммуникативных функций отличает регулируемое речевое поведение, контролируемое не только внешней языковой цензурой (редакторская правка, соблюдение кодификации и пр.), но и речевой самодисциплиной субъекта.

Речевое поведение, характерное для второй подсистемы (языковое обеспечение непринужденного повседневного общения), отличается ослабленным речевым самоконтролем (иногда и полным его отсутствием), повышенной экспрессией, свободным потоком сознания и т.п. (*ibidem*, 39).

Организирующими принципами коммуникативной модели этнического языка являются:

1. несубординативный характер модели — при оценке конкретного текста или же идиома решающее значение имеет соответствие их нормы стандарту коммуникативной ситуации
2. конфигурация модели — коммуникативная модель является плоскостной, горизонтальной, состоящей из двух рядом расположенных подсистем: языкового обеспечения ареала высших коммуникативных функций и ареала непринужденного повседневного общения)
3. равнообязательность и коммуникативная взаимодополняемость подсистем этнического языка — обе подсистемы являются равнообязательными, поскольку взятые в совокупности они обеспечивают весь комплекс коммуникативных потребностей социума
4. изоморфность строения подсистем этнического языка — выделяемые в составе этнического языка подсистемы основываются на тождественном организационном принципе, в соответствии с которым языковые идиомы, входящие в состав каждой подсистемы, дифференцируются на центральные и периферийные. «В центре каждой из подсистем находится ее функциональная доминанта, т.е. идиом, который по своим субстанциональным и социолингвистическим параметрам оптимально соответствует функциональному назначению данной подсистемы — служить языковым обеспечением вполне определенных ситуаций общения» (*ibidem*, 51)
5. континуальность системы этнического языка — подсистемы этнического языка взаимодействуют друг с другом, демаркационная линия между ее центром и периферией отсутствует, что обуславливает возможность внутреннего движения в самой подсистеме

## 5. Предпосылки и следствия речевых перекодировок

### 5.1. Соотношение парадигматики и синтагматики

В детском стихотворении Б. Заходера о мудрой сове читаем, что она

*Чем больше слушала слова,  
Тем меньше говорила...*

Парадокс? Вовсе нет, даже напротив — «железная» семиотическая закономерность: с ростом парадигматики, т.е. общего наличного инвентаря знаков, сокращается синтагматика, т.е. оптимальное количество знаков в сообщении. Не зря ведь говорят, что чем меньше у человека запас слов, тем больше их понадобится для выражения самой незамысловатой мысли. Если, как отмечают исследователи (см.: Белл 1980, 192сс.), креолизация языка связана с редуцией его лексической и грамматической систем, т.е. с сокращением числа элементов, необходимых для выражения некоторого языкового содержания, то для специализация языка, напротив, сопровождается увеличением парадигматики, т.е. добавлением к уже имеющимся элементам общенародного языка новых номинативных единиц, и вытекающим из этого сокращением синтагматики.

Подобное явление мы наблюдали уже на примере лексемы *шрифт*. При языковом освоении специальной предметной области наблюдается расширение словаря, создание терминов, которые, во-первых, фиксируют в сознании носителей языка специфические понятия и явления, а во-вторых, позволяют редуцировать объем сообщения. Так, высказывание А. А. Реформатского

*Фонемы в системе языка образуют различные оппозиции*

за счет употребления терминов *фонема, система, оппозиция* имеет меньший объем, нежели содержащее ту же мысль высказывание, в котором данные термины толкуются через «семантические примитивы»:

*Минимальные единицы языка со смысловозначительной функцией в множестве языковых элементов, находящихся в отношениях к друг другу, которые образуют единство и целостность, обладают лингвистически существенными различиями планов выражения, которые соответствуют различиям в планах содержания.*

М. Мамудян выделяет два типа языковой экономии: экономию памяти и экономию усилий на уровне реализации высказывания (1985, 51). Эти тенденции, в действительности, имеют противоположные направления:

экономя словарный запас, субъект увеличивает объем текста, а экономя усилия на уровне текста, он вынужден увеличивать словарь. В речевой практике, видимо, существует определенный баланс этих тенденций. В частности, одним из важнейших средств экономии памяти при расширении словаря является семантическая деривация — смысловые преобразования уже существующих лексем, ср. *стакан, палец, колено, кулак, головка, ухо, зуб* и т.п. как технические термины. Другим таким средством выступает регулярность словообразовательных процессов.

Редукция синтагматики в специализированном коде объясняется и принципом компенсации, который действует благодаря прагматической актуализации речи: общность коммуникативного контекста, функциональная и психологическая связь коммуникантов позволяют избежать чрезмерной точности выражения, что обуславливает имплицитность содержания текста, в частности, так называемый ситуативный эллипсис. Тенденция к редукции синтагматики, вероятно, наиболее сильно проявляется на уровне идиолекта — в эгоцентрической речи, где, как пишет В. С. Библер,

пропускаются многие логические ходы, актуальные для языка информации, необходимые в процессе общения с «чужим» человеком, но совершенно не существенные, просто не существующие в действительном — для себя — обосновании истины (1991, 187).

## 5.2. Объем экстенционала знака

Специализация языка сопровождается сужением класса возможных денотатов знака или, как принято выражаться в современной семантике после работ Я. Хинтикки, — возможных миров. Во-первых, уменьшается объем понятия, лежащего в основе значения, при конкретизации и расширении содержания понятия, что вполне объяснимо конкретностью, локализованностью и, как правило, наблюдаемостью, доступностью той предметной области, по отношению к которой употребляется специализированный код. Во-вторых, уменьшается многозначность, а в терминологических системах (например, в медицине), как известно, она сводится к минимуму.

В специализированном языке знак с референтной точки зрения становится более определенным, а его отношения с обозначаемым материальным предметом — более фиксированными. Не случайно применительно к художественным текстам выдающийся русский символист А. Белый писал о феномене поэтической магии.

Уменьшение объема экстенционала знака в специализированном коде наиболее ярко проявляется в возникновении индивидуальной семантики, когда, например, слово в идиолекте («мое слово», по Бахтину) приобретает достаточно фиксированное неконвенциональное значение, часто — благодаря актуализации внутренней формы, коннотаций и прочих компонентов фонового значения.

Индивидуальность, семантическая точность слова в идиолекте изменяет природу метафоры: многие семантические окказионализмы в поэтических текстах оказываются не результатом вторичной номинации (так называемого «переноса» значения), а результатом динамики обозначаемого — переходом к одному из возможных интенциональных миров (Киклевич 1992). Таковы, например, сочетания в поэтических текстах Б. Пастернака:

*трюмо бежит*  
*земля ноздреватая* и др.

Напротив, в языке креольского типа знак должен быть максимально объемным, универсальным, его интенционал должен быть таким, чтобы на грани семантического выветривания осуществлялся наибольший охват его возможных референтов.

### 5.3. Степень синтетичности и аналитичности знака

Р. Белл пишет, что креолизация языка сопровождается тенденцией к аналитичности, в частности, к использованию изолирующих структур, служебных слов при частичной или полной редукции морфологии (1980, 213сл.). Таковы, к примеру, метаязыки — символические языки логики и математики, язык «семантических примитивов» в лингвистике и др., где отдельным компонентам смысла строго соответствуют отдельные формы. Напротив, специализация языка сопровождается активизацией морфологических, в частности, словообразовательных процессов, что позволяет приспособлять уже имеющийся знаковый фонд к нуждам динамической по своей природе номинации.

Синтетичность и аналитичность — характеристики не только уровня грамматических (аффиксальных), но и уровня лексических (корневых) морфем. Так, номинация *волосы* синтетична, поскольку в одной лексеме содержится множество семантических множителей, составляющих структуру ее лексического значения, но зато аналитический характер имеет синонимичная ей номинация в форме словосочетания:



*длинные тонкие гибкие предметы, растущие на коже и не являющиеся частью тела* (пример А. Вежбицкой)

Лексикализация как переход от аналитических форм номинации к синтетическим формам всегда предполагает нахождение обозначаемого предмета в фокусе внимания общества, так сказать — в сфере его жизненных интересов. Именно в этом, функциональном аспекте Б. Ю. Норман анализирует происхождение слова *кибернетика* (1987, 80).

С ростом парадигматики увеличивается возможность выражения одной и той же мысли меньшим числом словоформ, а тем самым увеличивается и содержание понятия, лежащего в основе каждой отдельной словоформы, и степень ее лексико-семантической синтетичности (синкретичности).

Варьирование синтетичности может происходить в достаточно широком диапазоне. Уже упоминались метаязыки, где количество смысловых и формальных компонентов или совпадает, или стремится к совпадению. С другой стороны, как писал К. Леви-Строс, можно допустить, что существуют такие языки, где миф может быть целиком выражен одним словом. Максимальная степень синтетичности языка достигается в характерном для эгоцентрической речи семиотическом молчании, когда весь содержательный континуум заключен в одном-единственном формально нерасчленимом суперзнаке.

И тем не менее варьирование данного признака нельзя признать произвольным. Дело в том, что чрезмерно высокая степень синтетичности требует закрепления за одной морфемой слишком большого числа сем, а чрезмерно высокая степень аналитичности обуславливает слишком большой объем и усложняет структуру высказывания. Оба эти явления связаны с нежелательной перегрузкой памяти и внимания носителей языка, поэтому, варьируясь в определенных границах, степень синтетичности/аналитичности языка обычно не достигает экстремальных значений.

#### **5.4. Степень мотивированности знака**

План содержания и план выражения знака могут в разной степени соответствовать друг другу. Полярными вариантами таких соответствий являются знаки-иконы и знаки-символы. Понятие внутренней формы как мотивировки знака как раз и означает, что план выражения зависит от смысла. Насколько очевидна, сильна, стабильна внутренняя форма знака, зависит от баланса двух противоположных тенден-

ций языкового развития — в сторону все возрастающей конвенциональности или в сторону все возрастающей эгоцентричности.

Необходимость внутренней формы знака обнаруживается каждый раз, когда носитель языка сталкивается с новым, неизвестным ему знаком, усвоение которого происходит через толкование его формы. Такова «ложная» этимология — адаптация «чужого» слова к структуре «своего» языка. Напротив, для специализированного кода, где связь между знаком и денотатом очевидна, внутренняя форма избыточна. Тем самым, по мнению А. В. Исаченко, преодолевается противоречие между дискретностью знака и адискретностью денотата (1958, 339сл.).

Предел символичности знака достигается в семиотическом молчании, универсальная форма которого максимально индифферентна к передаваемому содержанию.

### 5.5. Степень когнитивности знака

«Язык так же участвует в мышлении, как и в общении, оформляя мысль или фиксируя ее для индивида», — пишет А. А. Леонтьев (1969, 66). Мыслительная функция языка наиболее очевидна, когда форма его существования становится все более индивидуализированной. На уровне идиолекта язык сливается с психикой, пропитывается ее когнитивностью, эмоциональностью и экспрессивностью. Надязыковые с точки зрения конвенционального кода компоненты семантики, например, прагматические и эпистемические пресуппозиции, становятся полноправными элементами семантики языковых знаков, несущественная для лексического значения общенародного слова энциклопедическая информация в адаптированном языке становится существенной (Киклевич 1992, 12ssl.).

Так, общие сведения о *доме* как типе постройки в языковом сознании профессионального строителя дополняются специальными знаниями, без которых успешное использование этого слова в условиях специализированной деятельности исключено. Таким образом, традиционное противопоставление энциклопедической и языковой информации не является абсолютным. Интервал между этими видами информации сокращается по мере возрастания деятельности и специализации языка.

Синкретизм языка и личности, по Бахтину, воплощается в «голосе» (1979а, 318). Р. Барт связывал то же содержание с понятием стиля:

Под именем «стиль» возникает автономное слово, погруженное исключительно в личную, интимную мифологию автора, где рождается самый

первоначальный союз слов и вещей, где однажды и навсегда складываются основные вербальные темы его существования (1983, 310).

## 5.6. Степень бессознательности знака

Одним из видов бессознательного выступают

неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности (операциональные установки и стереотипы автоматизированного поведения), обеспечивающие направленный и устойчивый характер ее протекания» (Петровский/Ярошевский 1985, 32).

К данному типу бессознательного следует, видимо, отнести и языковую интуицию.

Степень бессознательности знака — диспозициональная величина, зависящая от степени его сложности. В частности, языковая компетенция на долексическом уровне языковой системы, т.е. на уровне фонологии, преимущественно является интуитивной. Напротив, языковая семантика, в особенности лексическая, имеет, в основном, осознанный характер.

Сознательность/бессознательность знака варьируется в зависимости от степени его ангажированности. Включение языка в специализированный контекст увеличивает меру автоматизированности, прогнозируемости речевого поведения, а это и обуславливает рост бессознательности языковых процессов в области номинации или в области сочетаемости знаков.

Максимальное сближение языковой семантики и индивидуальной психики в идиолекте приводит к тождеству языка и личности — язык растворяется в психосемантике, и рефлексия субъекта по поводу своего языка становится возможной лишь в той мере, насколько возможно вообще самоистолкование субъекта, что, к примеру, подтверждает психоаналитический анализ З. Фрейдом феномена забывания снов (1990, 202).

Полемизируя с Ф. Тютчевым, автором поэтического афоризма:

*Мысль изреченная есть ложь*

А. Белый писал:

Живая речь есть всегда музыка невыразимого: «мысль изреченная есть ложь» — говорит Тютчев. И он прав, если под мыслью понимает он мысль, высказываемую в ряде терминологических понятий. Но живое, изреченное слово не есть ложь. Оно выражение сокро-

венной сущности моей природы (1910, 429; разрядка моя. — А. К.).

## 6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что кодовые переходы в речевой деятельности представляют собой типичное, широко распространенное явление в социальной коммуникации, регулируемое целым рядом закономерностей, которые охватывают все наше поведение. Специализация языка на уровне группы или же на уровне индивидуальной личности характеризуется такими особенностями, как рост парадигматики и сокращение синтагматики, редукция объема экстенционала знака, увеличение степени синтетичности знака, увеличение степени мотивированности знака, возрастание когнитивности знака и увеличение степени бессознательности знака.

## Литература

- Барт, Р. (1983), *Нулевая степень письма*. В: Степанов, Ю. С. (ред.), Семиотика. Москва, 306–349.
- Барт, Р. (1989), *Избранные работы. Семиотика*. Москва.
- Бахтин, М. М. (1979а), *Эстетика словесного творчества*. Москва.
- Бахтин, М. М. (1979б), *Проблемы поэтики Достоевского*. Москва.
- Белл, Р. Т. (1980), *Социоллингвистика. Цели, методы, проблемы*. Москва.
- Белый, А. (1910), *Символизм*. Санкт-Петербург.
- Библер, В. С. (1975), *Мышление как творчество*. Москва.
- Библер, В. С. (1991), *От наукоучения — к логике культуры. Два философских введения в двадцатый век*. Москва.
- Выготский, Л. С. (1982), *Избранные сочинения. Т. 2. Проблемы общей психологии*. Москва.
- Дридзе, Т. М. (1980), *Язык и социальная психология*. Москва.
- Ильин, И. П. (1975), *Словарь терминов французского структурализма*. В: Басин, Е. Я./Поляков, М. Я. (ред.), Структурализм: «за» и «против». Москва, 450–461.
- Исаченко, А. В. (1958), *К вопросу о структурной типологии славянских литературных языков*. В: *Slavia*. XXVII/3, 330–345.
- Киклевич А. К. (1992а), *Фреймы в толковом словаре*. В: Современные проблемы лексикографии. Харьков, 12–14.
- Киклевич, А. К. (1991б), *Художественный текст и теория возможных миров*. В: Борухов, Б. Л./Седов, К. Ф. (ред.), *Художественный текст: онтология и интерпретация*. Саратов 1992, 39–47.
- Кубрякова, Е. С. (ред.) (1991), *Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи*. Москва.
- Леонтьев, А. А. (1969), *Язык, речь, речевая деятельность*. Москва.

- Лотман, Ю.М. (1981), *Семиотика культуры и понятие текста*. В: Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 515. Труды по знаковым системам. Вып. 12. Структура и семиотика художественного текста. Тарту, 4–28.
- Мамудян, М. (1985), *Лингвистика*. Москва.
- Нещименко, Г. П. (1999), *Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации. На материале сопоставительного изучения славянских языков*. München.
- Норман, Б. Ю. (1987), *Язык: знакомый незнакомец*. Минск.
- Петровский, А. В./Ярошевский, М. Г. (ред.) (1985), *Краткий психологический словарь*. Москва, 1985.
- Успенский, П. Д. (1990), *Психология возможной эволюции человека*. В: Касавин, И. Т. (ред.), *Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания*. Москва, 383–448.
- Фрейд, З. (1990), *Психология бессознательного*. Москва.
- Шпет, Г. (1927), *Внутренняя форма слова*. Москва.
- Якобсон, Р. (1985), *Избранные работы*. Москва.
- Grabias, S. (1997), *Język w zachowaniach społecznych*. Lublin.

## СУГГЕСТИЯ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ\*

Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова.

Виктор Пелевин

### Введение

В современной лингвистике, при ее концептуальном и дисциплинарном разнообразии, доминирует рациональный подход к описанию языка. Это проявляется в том, что язык рассматривается как отражение интеллектуальной модели мира, а соотношение языка и мышления по традиции занимает центральное место в проблематике психологической природы знаковых систем. Коммуникативная сущность языка понимается, главным образом, как информирование. Считается, что механизмы речевой деятельности имеют рациональный характер. Так, по мнению И. А. Зимней, процесс восприятия речевого сообщения протекает в форме его осмысления, а «положительный результат процесса осмысления в акте речевого восприятия является пониманием» (1976, 5; см. также: Мурзин/Штерн 1991, 27).

Рациональная природа языка составляет ядро современной лингвистической семантики. При семантическом моделировании коммуникативных единиц языка (например, в современной теории референции) исходной выступает категория истины. Истина же, в свою очередь, как пишет Д. Болинджер, представляет собой «такое свойство языка, которое дает нам возможность информировать друг друга» (1987, 29).

Вместе с тем совершенно очевидно, что речевая коммуникация не тождественна информированию. Во-первых, различается содержательное и фатическое общение — в последнем случае язык используется как средство создания, поддержания и завершения диалога, поэтому критерий истинности в ситуациях фатического общения имеет второстепенное значение.

---

\* Первая публикация: *Лекции по функциональной лингвистике*. Минск: Издательство БГУ, 1999; 55–67. Здесь публикуется в переработанном варианте.

Во-вторых, в рамках содержательной коммуникации различаются констативы и перформативы — в последнем случае категория истинности также не релевантна, потому что перформативы представляют собой не описания положений дел, а вербальные (иногда — единственно возможные) формы осуществления действий.

Современная психология общения выделяет несколько видов вербального воздействия на адресата, в частности — убеждение и внушение. Убеждение основано на информировании и логической аргументации (обосновании). Психологи указывают, что восприятие сообщения при убеждении характеризуется осознанностью и критичностью. Благодаря этим свойствам адресат «способен видеть объект в связи с другими объектами, включать его в более сложные психологические структуры» (Куликов 1978, 18).

Напротив, внушение (суггестия) основывается на иррациональном, неаргументированном воздействии одного субъекта — суггестора, на другого — суггеренда, или группу субъектов, а также на некритическом восприятии сообщения, отсутствии его адекватного понимания, логического анализа его содержательной структуры, соотнесения сообщения с опытом и состоянием реципиента.

Для понимания сущности суггестии как разновидности речевого воздействия необходимо учитывать как вербальные, так и невербальные факторы. К последним, прежде всего, относятся социо-психологические характеристики коммуникантов. С одной стороны, это касается личности суггестора, который должен обладать относительно высоким авторитетом (имиджем) и иметь психологическое превосходство над суггерендом, ср. авторитет жреца при магическом или авторитет старшего при педагогическом внушении. Имидж, как указывают психологи, создает стимул воздействия — доверие к источнику информации. Этот фактор выполняет функцию «косвенной аргументации», компенсирует отсутствие в акте внушения прямой аргументации.

С другой стороны, суггестор обычно предполагает, что объект воздействия способен подвергаться внушению — существуют индивиды, предрасположенные к определенному типу воздействия (Ковалев 1972, 64; Сеницын 1994, 7). Так, повышенная предрасположенность к внушаемости наблюдается:

1. у детей
2. у лиц в состоянии сна
3. у лиц в наркотическом состоянии и в состоянии гипноза
4. у лиц в аффективном состоянии (например, при возбуждении или религиозной экзальтации)
5. у лиц с низким уровнем интеллекта
6. у лиц, составляющих группу

Сюда же следует отнести и эффект, который А. Богуславский называет *idź piernik do wiatraka* — речь идет о использовании человеческой подверженности ошибкам, логической непоследовательности и наивности адресата (Bogusławski 1994, 223).

При осознанном понимании текста реципиент соотносит получаемую актуальную информацию со своим поведением, что составляет рефлексивный аспект понимания. Однако при суггестии рефлексивность реципиента ослабевает либо вовсе исчезает, что, например, характерно для такого социального феномена, как толпа. В толпе, как указывал З. Фрейд (основываясь на исследованиях Ле Бона), исчезает осознанность и контролируемость поведения, чувство личной выгоды и безопасности. Массе свойственна радикальность и максимализм, здесь безотлагательность в осуществлении внушаемых идей сопровождается элиминированием понятия невозможного. Состояние индивида в толпе Фрейд считал аффективным и даже гипнотическим (1990, 14сл.).

При внушении целенаправленно используются определенные вербальные средства (Андреева 1980, 104), которые могут быть рассмотрены в трех аспектах: коммуникативно-прагматическом, структурно-языковом и функционально-семантическом.

### **1. Коммуникативно-прагматический аспект суггестии**

Суггестивная функция текста состоит в воздействии на психологическое либо физиологическое состояние адресата, а также (косвенно) в принуждении его к определенным действиям или, наоборот, предостережении от них. Наиболее распространены суггестивные акты в таких сферах общения, как политическая пропаганда, реклама (экономическая пропаганда), религиозная проповедь, гипнотическая терапия, художественная коммуникация, различные формы общения с детьми (например, убаюкивание). Социальный диапазон внушения, как видим, весьма широк.

Иррациональный характер речевого воздействия в различных видах пропаганды обусловлен несколькими факторами, например, ее ориентацией на массовое сознание, невысоким уровнем интеллекта реципиентов, что было характерной чертой советского политического новояза. Так, В. И. Ленин писал:

В политической деятельности социал-демократической партии всегда есть и будет известный элемент педагогики: надо воспитывать весь класс наемных рабочих [...] надо постоянно обучать новые и новые слои этого класса, надо уметь подойти к самым серым, неразвитым,



наименее затронутым и нашей наукой и наукой жизни представителям этого класса, чтобы суметь заговорить с ними (1979, 357).

Но именно «серая, неразвитая и наименее затронутая наукой» масса максимально предрасположена к суггестивному воздействию, что и было предпосылкой манипуляции массовым сознанием в советской политической пропаганде. Стоит напомнить, что важнейшим видом искусства Ленин считал кино — функцию внушения, заражения выполняло не столько содержание конкретного фильма, сколько его массовый просмотр в кинозале.

Важным коммуникативным свойством суггестии является ее монологичность. Впрочем, отсутствие реплицирования характерно также для убеждения — в риторике считается, что убеждение становится возможным благодаря монологичности (Безменова 1991, 62). Ведущая роль в монологе принадлежит говорящему. При суггестии она дополнительно усиливается тем, что говорящий обладает психологическим приоритетом по отношению к адресату сообщения.

Внушению свойственно единство текста и действия: некоторые тексты ритуальной суггестии сопровождаются направленными на тот же эффект практическими действиями, например, колыбельная песня может сопровождаться качанием ребенка. Вместе с тем ни внушение, ни убеждение не представляют собой специфических иллокутивных актов, поскольку в этом случае исключена экспликация соответствующего перформативного глагола — данный критерий разграничения иллокутивных и перлокутивных речевых актов сформулировал Дж. Остин (1986, 106). Ср.:

Предупреждение: *В лесу есть волки — Предупреждаю вас, что в лесу есть волки.*

Совет: *В лес лучше не ходить — там есть волки — Я советую вам не ходить в лес — там есть волки.*

Убеждение: *Столь длительное путешествие с неопытным проводником опасно — ? Я убеждаю вас в том, что столь длительное путешествие с неопытным проводником опасно.*

Внушение: *Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, с полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям» — \*Я внушаю вам, что коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства и т.д.*

Внушение представляет собой разновидность иррационального, косвенного воздействия, поэтому употребление перформативного глагола в форме 1-го лица единственного числа *внушаю* было бы равнозначным тому, что З. Вендлер назвал «иллокутивным самоубийством».

В системе текстовых функций суггестия относится к сфере функции управления, которая представлена несколькими субфункциями, например, иллокутивной или перлокутивной в концепции Остина. Одной из них является медиативная субфункция, определяющая способ, которым в сообщении осуществляется воздействие на адресата. Она имеет два значения:

1. рациональное воздействие на адресата
2. нерациональное воздействие на адресата

Первое значение соответствует убеждению, а второе — внушению.

## 2. Структурно-языковой аспект суггестии

Структурная организация текста — важный элемент внушения, именно поэтому, как отмечают психологи, внушению не поддаются лица, лишенные способности содержательного анализа текста.

С. И. Бернштейн (1977, 26ссл.) описал важнейшие факторы языка радио, способствующие активизации внимания слушателей — например, такие, как наглядность изложения материала, конкретность содержания текста, смена коммуникативных форм высказываний и др. Эффективность внушения также основана на внимании реципиента, которое должно быть сосредоточено на отдельных объектах или идеях. Однако, если при понимании подобная концентрация внимания осуществляется самим субъектом и, как указывал У. Джемс, зависит от уровня его интеллекта (1976, 57), то при внушении объект внимания навязывается субъекту суггестором. Это явление, которое в социальной психологии называется «синдромом Пигмалиона», заключается в манипуляции, которая позволяет всецело направить внимание слушателя на конкретный объект и, напротив, устранить из поля активного восприятия другие объекты.

Данная психологическая особенность суггестии обуславливает выбор и аранжировку языковых средств. Если активизация внимания слушающего, которая осуществляется в процессе убеждения, основывается на принципе разнообразия структурных компонентов сообщения, то манипуляция вниманием слушающего при внушении, наоборот, использует принцип дублирования компонентов сообщения.

В типичном случае речевое сообщение характеризуется единством тождества и различия своих компонентов. Нарушение этой нормы со-

проводится появлением дополнительной семантики. Так, в условиях, когда степень повторяемости в содержании единиц одного и того же синтагматического ряда превышает норму (например, когда последующий элемент не несет никакого нового содержания), коммуникативно значимым становится сам факт дублирования компонентов сообщения (Киклевич 1989, 68). Парадигматическое тождество элементов одного синтагматического ряда выступает, таким образом, одним из средств семантической деривации — средств создания нового смысла. Так, в конструкциях с синонимами, как пишет Д. С. Лихачев, наблюдается абстрагирование и идеализация: «Появляется некоторый сверхсмысл, который не может быть извлечен из каждого слова в отдельности, но который появляется только в контексте» (1980, 12).

Принцип семантического дублирования единиц текста с очевидностью противоречит принципу кооперации в известной концепции речевого общения Г. П. Грайса, в частности — постулатам категории «способа»: «Будь краток (избегай ненужного многословия)» и «Будь организован» (1985, 223). Это противоречие объясняется тем, что принцип кооперации сформулирован Грайсом применительно к рациональному общению — диалогическим коммуникативным актам, тогда как суггестия по своей природе монологична. При иррациональном воздействии с помощью речи многословие и монотонность (неорганизованность) как раз и обеспечивают достижение запланированного эффекта. Эта идея выражена в «Житии Сергия Радонежского» (1418 г.): «Сытость бо и длъгота слова ратникъ есть слуху, яко и преумноженная пища телесем».

Одним из широко распространенных способов реализации суггестивной функции является употребление конструкций с семантически повторяющимися компонентами, в частности, с синонимами. Так, например, использовались синонимы в древнерусской литературе IX-XV веков. В синонимических сочетаниях

автор как бы колеблется выбрать одно, окончательное слово для определения того или иного явления и ставит рядом два или несколько синонимов, равноценных друг другу. В результате внимание читателя привлекают не оттенки и различия в значениях, а то самое общее, что есть между ними (Лихачев 1979, 107).

Ср. примеры из «Жития Стефана Пермского»:

*огню горящу и пламени распялящуся  
на благый онь путь и на нравоумышленное шествие*

Лихачев отмечает, что синонимические конструкции в орнаментальной религиозной прозе характеризовались повышенной эмоциональностью,

иррациональностью, неопределенностью, фасцинативностью. Целью их нагромождения в тексте было создание у слушателей определенного психического состояния, определенного настроения.

Повторение слов, при этом не всяких, а «святых» и значительных, вторгалось в сознание слушателей, даже самых ленивых, переставших следить за конструкцией предложений, но улавливавших лишь ключевые слова, создававшие у слушателей общее представление о том, что говорится (Лихачев 1979, 126).

Лексические и грамматические повторы, синтаксический параллелизм, многократные повторные обращения характерны также для поэтики романтизма (Махов 1991, 4) и вообще для любовной лирики. Ср. фрагмент написанного в 1839 году стихотворения классика польского романтизма З. Красиньского “Wzywam cię...” (“Зову тебя...”):

*Wzywam cię w boskiej wspomnienia godzinie,  
Stań tu przede mną — nim ta chwila minie —  
Stań tu przede mną — lecz, jak wtedy, cała  
Lekkiemi szaty błękitna i biała,  
Z dumy ponurem na ustach znamieniem,  
Z smutku na czole niewymownym cieniem,  
Piękna w tym smutku i dumie zarazem —  
Napół stworzona potęgi obrazem,  
Napół nieszczęścia! O stań tu przede mną  
W tej samej chwili, raz jeszcze bądź ze mną! [...]*

(подстрочник)

*Зову тебя в божественную минуту воспоминания,  
Стань здесь предо мной — прежде чем пролетит этот миг,  
Стань здесь предо мной — но, как тогда, вся  
голубая и белая под легкими одеждами,  
с печальным знаком гордости на устах,  
с безмолвной тенью грусти на челе —  
прекрасная в этой грусти и гордости —  
наполовину созданная образом силы,  
наполовину — несчастья! О, стань здесь предо мной  
В эту минуту, еще один раз побудь со мной!*

Дублирование в данном тексте охватывает отдельные слова (*stań* – *stań*, *duma* – *duma*, *smutek* – *smutek* и др.), грамматические значения (например, значение повелительности глаголов *stań*, *przyjdź*, *bądź*), грамматические формы (например: *przede mną*, *mną*, *ze mną*), синтаксические конструкции (например: *Stań tu przede mną... Stań tu przede mną; Z dumy ponurem na ustach znamieniem, Z smutku na czole niewymownym cieniem* и др.).

Р. Якобсон в свое время обратил внимание на лексико-грамматические повторы в стихотворении А. Пушкина «Я вас любил...». Среди 47 имеющихся в тексте слов 14 местоимений, из них *я* встречается четыре раза, однако только в именительном падеже и только в сочетании с формой винительного падежа *вас*. Местоимение *вы* встречается шесть раз, но исключительно в косвенных падежах, а именно — в винительном и дательном, которые Якобсон называет «направленными» (1983, 470). Дублирование синтагматической группы *я вас* выполняет функцию суггестивного воздействия — внушения адресату идеи глубокой эротической связи.

Интимные коннотации личных местоимений вообще характерны для эротических посланий, ср. (пример А. Е. Махова):

*Я не расстанусь с тобой, ты мое все на земле... я твоя, я люблю тебя, я преклоняюсь перед тобой, не было часа, чтобы я не думала о тебе.*

Важно учесть и тот факт, что стихотворение А. Пушкина «Я вас любил...» считается ярким примером поэзии без метафор. Именно это свойство присуще ритуальным суггестивным текстам — тропы, по наблюдению М. Н. Мельникова, в текстах колыбельных песен малочисленны (1987, 19сл.).

В качестве другого примера суггестии в художественном тексте рассмотрим стихотворение О. Мандельштама «Соломинка»:

*Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне  
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,  
Спокойной тяжестью, — что может быть печальней, —  
На веки чуткие спустился потолок,*

*Соломка звонкая, соломинка сухая,  
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,  
Сломалась милая соломка неживая,  
Не Соломея, нет, соломинка скорей!*

*В часы бессонницы предметы тяжелее,  
Как будто меньше их — такая тишина!  
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,  
И в круглом омуте кровать отражена.*

*Нет, не соломинка в торжественном атласе,  
В огромной комнате над черною Невой,  
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,  
Струится в воздухе лед бледно-голубой.*

*Декабрь торжественный струит свое дыханье,*

*Как будто в комнате тяжелая Нева.  
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье, —  
Я научился вам, блаженные слова.*

Это стихотворение, написанное в 1917 г. и посвященное петербургской красавице Саломее Андронниковой, в которую Мандельштам был безумно и без шансов на взаимность влюблен, литературоведы комментировали как «бормотание» (Г. Адамович), «высокое косноязычие» (Н. Гумилев), «прекрасный вдохновенный бред» (Н. Лурье). В стихотворении Мандельштама можно лишь в самом общем виде представить некоторую «цепь событий»: красивая, хрупкая женщина лежит в огромной спальне, декабрь, за окнами Нева... Но отсутствует важнейшее свойство текста, лежащее в основе его понимания, — *когеренция*, т.е. смысловая связность простых и сложных пропозиций, выступающих как формы репрезентации положений дел. Понимание «Соломинки» затруднено, если вообще возможно как раз из-за того, что читатель не в состоянии связать содержащиеся в нем пропозиции в одно целое. Стихотворение начинается придаточным предложением

*Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне*

которое по смыслу никак не связано с главным предложением

*Всю смерть ты выпила и сделалась нежней.*

Не ясно (из-за отсутствия глагольного сказуемого) значение предиката в четвертой строфе:

*Нет, не соломинка... [лежит]? [поет]?*

Организацию текста в подобных случаях берет на себя принцип дублирования компонентов, в соответствии с которым все они становятся носителями общей семантики (общего образа или гештальта) и выстраиваются в один парадигматический (виртуальный) ряд:

*соломинка  
спать  
спальня  
бессонный  
сухой  
неживой  
мерцать  
тишина  
умиранье  
черный*

*смертный*  
*лед* и т.д.

Обратим внимание, что все эти лексемы, включенные в одну семантическую рамку, создают образ (или представление) о холодном, безжизненном, неподвижном состоянии, в которое погружена красивая женщина, образ контраста между хрупкостью соломинки и безграничностью, неустранимостью, непреодолимостью ледяного пространства. Это представление становится семантической доминантой текста и подчиняет себе все остальные его компоненты. Так в поэтическом тексте происходит символизация слова (и символизация словосочетания), смысл же символа, как указывал С. С. Аверинцев, нельзя расшифровать простым усилием рассудка — он не отделим от структуры образа.

При понимании текста действует принцип отражения: каждый новый компонент текстовой структуры указывает на соответствующий фрагмент описываемого события. При восприятии суггестивного текста действует принцип ассоциации: в содержании каждого нового элемента текста учитываются только те признаки, которые соответствуют семантической доминанте, остальные же нейтрализуются, остаются на втором плане. Так, в «Соломинке» *потолок* ассоциируется с крышкой гроба и смертью, *Нева* подо льдом — с гробом и — смертью, *бледно-голубой лед* в воздухе — с невозможностью дышать и — смертью... Каждый новый компонент представляет собой лишь вариацию на уже заданную тему, слово обладает значимостью только как одна из таких вариаций.

Суггестия является одной из наиболее ярких характеристик речевой деятельности в детском возрасте. Типичным суггестивным жанром в системе социальной коммуникации с ребенком является колыбельная песня. Прагматическая функция колыбельной состоит в концентрации внимания ребенка на идее сна, ее цель — «безболезненный перевод ребенка из состояния бодрствования в сон» (Мельников 1987, 19сл.). Структурная организация колыбельной полностью подчинена этой прагматической функции. Важнейшей структурной характеристикой текстов данного типа является монотонность, достигаемая дублированием их компонентов различного формата. Среди разновидностей подобного дублирования можно назвать:

1. повтор синонимов, прежде всего — таких, в лексическом содержании которых имеется семантика сна (например: *спи, усни*)
2. рефрен (например: *Баю, баю, бай!; Усни, усни...*)
3. грамматические повторы и синтаксический параллелизм (например: *Я качаю, зыбаю, Пошел отец за рыбою, Мать пошла мешки*

*таскать, Бабушка уху варить, Бабушка уху варить, А дедушка свиной манить...)*

4. аллитерации и ассонансы (например: *Люли, люли, люленьки...*)

Ср. типичную с точки зрения актуализации этих приемов колыбельную песню Д. Минаева «Спи, дитя» (1885 г.):

*Поздно. Свечка догорела...  
Сладко до утра  
Спи, дитя, закрывши глазки...  
Спать давно пора.  
В небе звезды льют сиянье  
Чище серебра...  
Спи, дитя, закрывши глазки...  
Спать давно пора.*

Монотонность текста формируется также благодаря использованию паравербальных средств — таких, как ритмическая организация, пение, качание (которое сопровождается иногда поскрипыванием колыбельки), приглушенная сила голоса и монотонная интонация, темнота и др.

Принцип дублирования используется и в лечебном внушении и в . Ср. приводимый В. Синицыным терапевтический текст, употребляемый суггестором в сеансе лечебного гипноза:

*Итак, Вы начинаете уже ощущать в голове легкий туман... Раз... Ваши веки начинают наливать свинцовой тяжестью... Два... С каждым моим словом все тяжелей и тяжелей становятся Ваши веки... Вы забываетесь... Три... Невозможно уже держать глаза открытыми, они сами закрываются... Четыре... Вы засыпаете приятным лечебным сном... Спать... Пять... И когда я назову цифру “шесть”, Вы уснете крепким лечебным сном... Спать... Еще крепче смыкаются веки... Спать... Шесть... Спать!*

Важно отметить, что, помимо последовательного нагнетания одной и той же идеи (сна), в этом тексте используются количественные числительные. Число, как известно, возникает в результате качественной идентификации объектов. Счет же в суггестивном тексте выступает одним из средств создания однообразия, каждое новое упоминание количественного числительного воспринимается реципиентом как знак отсутствия новой информации, как бы обрекая его на неминуемое подчинение внушаемой установке.

Принцип дублирования в пропаганде проявляется в тиражировании идеологических клише (в терминологии В. М. Мокиенко — «патетизмов»), таких, например, как

*единство славянских народов*



Одним из условий эффективности рекламы является не только дублирование элементов в рамках одного и того же рекламного текста, но и многократное тиражирование самого рекламного текста. Таким образом, принцип дублирования осуществляется, преимущественно, в пределах единиц большого формата и при условии, что коммуникативное воздействие с использованием естественного языка является относительно длительным. Это функционально-структурное соответствие указывает на то, что суггестивная функция представляет собой именно специфическую функцию текста (как единицы сверхфразового формата). Ее реализация на уровне отдельного высказывания затруднительна, потому что объема высказывания недостаточно, чтобы дублирование языковых компонентов достигло определенной «силы» и вызвало у слушающего требуемый психологический эффект.

### 3. Эпистемический аспект суггестии

Суггестивные речевые акты характеризуются семантическими особенностями, среди которых одной из наиболее важных является манипуляция с категорией истинности. В соответствии с нормами речевого общения говорящий не должен нарушать постулатов категории качества, т.е. не должен говорить того, что он не считает истинным и для чего у него нет достаточных оснований (Грайс 1985, 223). В процессе внушения часто осуществляется манипуляция *возможное как реальное*: состояние, в которое должен быть переведен реципиент в результате речевого воздействия, описывается в суггестивном тексте как действительное. Ср. приведенный выше пример текста из сеанса лечебного гипноза:

*Вы начинаете уже (вместо — начнете) ощущать в голове легкий туман... Ваши веки начинают (вместо — начнут) наливать свинцовой тяжестью...*

Не случайно З. Фрейд писал о том, что в толпе (которая максимально подвержена суггестивному воздействию, см. выше) нет невозможного, зато все внушаемые действия воспринимаются как безотлагательные, требующие немедленного выполнения.

Манипуляция «возможное как реальное» вообще характерна как для массовой коммуникации, так и для повседневного общения. Эта же тенденция проявляется в умозаключениях типа *ab posse ad esse*, которые, по наблюдениям Т. В. Булыгиной/А. Д. Шмелева, характерны для стиля тоталитарного общества (1990, 142), ср.:

*«Могла ли произойти эта встреча? Такая возможность не исключена». — Не исключена? — значит, была! (А. Солженицын).*

В целом же подобные речевые процессы отражают более общую логико-коммуникативную тенденцию — предпочтение логически сильных выражений логически слабым, что обуславливает категоричность, радикальность сообщения. Конкретными проявлениями этой тенденции является употребление гиперонима вместо гипонима, форм абсолютной квантификации вместо форм относительной квантификации, количественных числительных вместо фреквентивных наречий (Киклевич 1991, 18сл.; 1998, 217сл.; Кіклевіч 1994, 50сл.; Kiklewicz 1996, 115сл.; 1997, 89; 1998, 87сл.).

В рекламе данная тенденция отражается в создании имиджа, т.е. в идеализации предмета. Д. Болинджер пишет, что «самым коварным из всех представлений об истине является то, которое сводит истину к буквальности» (1987, 29). Когда калифорнийские поставщики чернослива, рекламируя свой товар, утверждают, что в одном фунте чернослива больше витаминов и минеральных солей, чем в одном фунте свежих фруктов (пример Болинджера), то они, с одной стороны, отражают действительное положение дел. Однако, с другой стороны, рекламодатели умалчивают о других свойствах чернослива, прежде всего — о тех, по которым свежие фрукты превосходят сушеный чернослив. Здесь наблюдается уже упомянутый ранее «синдром Пигмалиона»: объект вырывается из системы объективных связей и рассматривается лишь в выгодном для суггестора аспекте.

В некоторых случаях подобные манипуляции с числительными используются как средство внушения. Так, советские газеты, критикуя летнюю олимпиаду 1984 г. в Лос-Анджелесе (где не участвовали спортсмены социалистического лагеря), писали о невыносимой жаре, в которой проходят соревнования:

*Температура воздуха в Лос-Анджелесе достигает 75 градусов по Фаренгейту.*

Обратим внимание, что температура воздуха в Лос-Анджелесе указывалась не по шкале Цельсия, что было бы естественно для Европы, а по шкале Фаренгейта. С какой стати? Манипуляция с категорией истинности состоит здесь в том, что, по сравнению со шкалой Цельсия номинальная величина температуры на шкале Фаренгейта значительно выше — 20 градусам по Цельсию соответствует около 68 градусов по Фаренгейту. Поскольку же типичному советскому читателю шкала Фаренгейта не знакома, то высокая номинальная величина температуры безотносительно к конкретной шкале должна была внушать мысль о невыносимой жаркой погоде в Лос-Анджелесе.

Таким образом, одним из функционально-семантических свойств суггестии является селекция возможных миров, а именно — актуализация того возможного мира, на фоне которого прагматическая установка говорящего достигает максимального эффекта.

Для суггестивного эффекта может использоваться и обратный прием — «реальное как возможное». В научных текстах он служит для имитации содержательной глубины текста. Ср. пример из кандидатской диссертации Т. В. Верниковской (1998, 40):

*Один из основных референциальных признаков субъекта и адресата — это одушевленность. Отсутствие его у адресата приводит к созданию метафорических предложений [...] Таким образом, неодушевленность для адресата является, скорее, исключением, чем правилом.*

Вводное слово *скорее* вряд ли здесь уместно, ведь, как следует из авторского текста, неодушевленность адресата исключена безусловно, а не *скорее*. Зато нагромождение в тексте подобных модальных операторов выполняет прагматическую, отчасти — куртуазную функцию: внушить адресату мысль о рефлексивности, серьезности автора, придать тексту антураж научности. На подобное явление в польском молодежном жаргоне 70-х годов XX в. обратил внимание известный польский публицист К. Т. Тёплиц — он определил его как «антиязык». Характерной чертой антиязыка была «*nieustająca wątpliwość*» — безграничная сомнительность:

*A jak ty się nazywasz, na przykład? — А как тебя, к примеру, зовут?  
A ile ty masz lat, mniej więcej? — А сколько тебе лет, более-менее?..  
— Czy książka jest twoja? — Чyba moja... — Это твоя книга? — Пожалуй, моя...*

Характерным семантическим признаком суггестивных текстов является их императивность: суггестор навязывает адресату свою волю, принуждает его к выполнению определенных действий или к погружению в определенное состояние. В качестве средства достижения этой установки используется ссылка на действительность, которая представляется суггестором как пример для подражания адресата. В данном случае наблюдается сходство между суггестией и магией. Еще Дж. Фрэзер писал о том, что в магии причинно-следственные отношения трансформируются:

*маг делает вывод, что он может произвести любое желаемое действие путем простого подражания ему [...] он делает вывод, что все, что он проделывает с предметом, окажет воздействие и на личность, которая однажды была с этим предметом в соприкосновении (1986, 19).*

В. Н. Топоров указывает, что при заговорах имеется исходная предпосылка о всеобщей причинности и включение слова в систе-

му причинно-следственных отношений между предметами (1991, 450). Мифологическая функция абсолютизирует связь человека и космоса — связь таких элементов, как плоть — земля, кровь — вода, зрение — солнце и др.

Внушение, и прежде всего — ритуальное внушение, также характеризуется гиперкативностью. Я уже обращал внимание на суггестивные элементы в литературе романтизма. А. Е. Махов указывает, что романтизму свойственна прямая экстраполяция на сферу индивидуальных эротических влечений известного мифа об андрогинах:

Романтики используют миф [...] вполне прагматически, для «обоснования» собственных эротических намерений, для убеждения партнера в необходимости следовать определенному сценарию, который в определенной мере отражает сюжет мифа, понятого метафорически (1991, 12).

Мифологичность колыбельных исследователи усматривают в антропоморфных образах Сна, Дремы, Угомона, Упокоя и др., а также в ограниченности круга опозитизированных лиц, предметов и явлений.

Семантическая структура большинства колыбельных построена по принципу имплицитности. Одна ее часть имеет повествовательное содержание и повествует о природном (чаще всего — животном) мире, который охвачен сном. Ср. фрагмент «Колыбельной» В. Брюсова:

*Спи, мой мальчик! Птицы спят;  
Накормили львицы львят;  
Прислонясь к дубам, заснули  
В роще робкие косули;  
Дремлют рыбы под водой;  
Почивает сом седой.*

Другая часть колыбельной содержит императивную семантику, ср.:

*Спи, мой мальчик!..  
Спи, усни!..  
Баю-баю-бай!..*

Между этими частями устанавливается причинно-следственное отношение: описание мира, по замыслу говорящего, должно направить внимание ребенка на идею сна, создать эффект неизбежности перехода от состояния бодрствования в состояние покоя, т.е. подчинения воли ребенка окружающему миру.

## Заключение

Итак, суггестивная функция текста состоит в иррациональном воздействии на адресата с помощью речи. Структурно-языковая особенность суггестии основана на принципе дублирования компонентов текста или же тиражировании одного и того же текста. Другие языковые средства реализации суггестивной функции исследуются в работах: Мурзин 1998; Fries 1992; Helle 1990, 33ссл.; Ulonska 1990, 90ссл. и др. В эпистемологическом аспекте суггестия представляет собой намеренную селекцию возможных онтологических (референциальных) миров, изоляцию объекта («синдром Пигмалиона»), а также нейтрализацию значения потенциальности и эксплуатацию значения ассерторичности.

## Литература

- Андреева, Г. М. (1980), *Социальная психология*. Москва.
- Безменова, Н. А. (1991), *Очерки по теории и истории риторики*. Москва.
- Бернштейн, С. И. (1977), *Язык радио*. Москва.
- Болинджер, Д. (1987), *Истина — проблема лингвистическая*. В: Сергеев, В. Б./ Паршин, П. Б. (ред.), *Язык и моделирование социального взаимодействия*. Москва, 23–43.
- Булыгина, Т. В./Шмелев, А. Д. (1990), «*Возможности*» *естественного языка и модальная логика*. В: *Язык логики и логика языка*. Москва, 135–167.
- Верниковская, Т. В. (1998), *Адресатная ситуация в польском языке*. Минск.
- Грайс, Г. П. (1985), *Логика и речевое общение*. В: Падучева, Е. В. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. Москва, 217–237.
- Джемс, У. (1976), *Внимание*. В: Леонтьев, А. Н./Пузырей, А. А./Романов, В. Я. (ред.), *Хрестоматия по вниманию*. Москва, 50–65.
- Зимняя, И. А. (1976), *Смысловое восприятие речевого сообщения*. В: Дридзе, Т. М./Леонтьев, А. А. (ред.), *Смысловое восприятие речевого сообщения*. Москва, 5–33.
- Киклевич, А. К. (1989), *Типология сочинительных конструкций с лексическим повтором*. В: *Русский язык*. IX, 67–76.
- Киклевич, А. К. (1991), *Семантическая деривация как следствие динамического взаимодействия гипонимии и антонимии*. В: Мурзин, Л. Н. (ред.), *Проблемы деривации: семантика и поэтика*. Пермь, 13–23.
- Киклевич, А. К. (1998), *Язык и логика. Лингвистические проблемы квантификации*. München.
- Кіклевіч, А. К. (1994), *Функцыянальнае поле (структура плана выражэння) катэгорыі квантыфікацыі*. В: *Веснік Беларускага ўніверсітэта*. IV/3, 50–56.
- Ковалев, А. Г. (1972), *Курс лекций по социальной психологии*. Москва.
- Куликов, В. (1978), *Психология внушения*. Иваново.
- Ленин, В. И. (1979), *Полное собрание сочинений*. Т. 10. Москва.

- Лихачев, Д. С. (1979), *Поэтика древнерусской литературы*. Москва.
- Лихачев, Д. С. (1980), «Преодоление слова» в стиле «плетения словес» и историко-литературное значение этого явления. В: Търновска книжовна школа. 2. София, 9–25.
- Махов, А. Е. (1991), *Любовная риторика романтиков*. Москва.
- Мельников, М. Н. (1987), *Русский детский фольклор*. Москва.
- Мурзин, Л. Н. (1998), *О суггестивно-магической функции языка*. В: Мишланов, В. А. (ред.), *Фатическое поле языка*. Пермь, 108–113.
- Мурзин, Л. Н./Штерн, А. С. (1991), *Текст и его восприятие*. Свердловск.
- Остин, Дж. (1986), *Слово как действие*. В: Городецкий, В. Ю. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике. XVII. Теория речевых актов*. Москва, 22–130.
- Синицын, В. (1994), *Школа внушения и гипноза*. Гродно.
- Топоров, В. Н. (1991), *Заговоры и мифы*. В: Токарев, С. А. (ред.), *Мифы народов мира*. Т. 1. Москва, 450–452.
- Фрейд, З. (1990), *Психология масс и анализ человеческого «я»*. В: *Искусство кино*. XI/11–24.
- Фрэзер, Дж. (1986), *Золотая ветвь*. Москва.
- Якобсон, Р. (1983), *Поэзия грамматики и грамматика поэзии*. В: Степанов, Ю. С. (ред.), *Семиотика*. Москва, 462–482.
- Bogusławski, A. (1994), *Sprawy słowa. Word Matters*. Warszawa.
- Fries, M. (1992), *Ein Verfahren zur Steigerung der Konzentrationsleistung von Grundschulern*. Pfaffenweiler.
- Helle, T. (1990), *Hypnose für Gesprächsführung. Suggestive Methoden in Theorie und Praxis*. Tübingen.
- Kiklewicz, A. (1996), *O niektórych zasadach komunikacji powszedniej (na materiale polskich i rosyjskich wyrażen ilościowych)*. В: Norman, B. (ред.), *Функционирование языка в разных условиях социокультурных и текстовых*. Siedlce, 105–118.
- Kiklewicz, A. (1997), *Czy w języku polskim istnieją zaimki dzierzawcze?* В: *Prace Filologiczne*. XLII, 121–134.
- Kiklewicz, A. (1998), *Die normative Modalität im Inhalt von Nullzeichen*. В: *Zeitschrift für Slavistik*. 43/1, 81–93.
- Ulonska, U. (1990), *Suggestion der Glaubwürdigkeit*. Ammersbek bei Hamburg.

## КАТЕГОРИЯ ИСТИНЫ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ВЫРАЖЕНИЙ)\*

Это — неправда, но в сказках бывает.

Катя Киклевич

### 1. Объективная vs. субъективная истина

Естественный язык амбивалентен по отношению к бесконечному множеству возможных миров. Он позволяет вербализировать информацию, которая с точки зрения «здорового смысла» кажется аномальной, ср.:

*Нам купили синий-синий  
Презеленый красный шар* (С. Михалков).

Амбивалентность — первый фактор, который обуславливает необходимость для естественного языка категории объективной истины. Другой фактор — тесная связь языка с обществом и культурой, обуславливающая его конвенциональность — свойство, которое ограничивает возможности естественного языка в процессах познания и представления научной информации (Гейзенберг 1963, 153; Ingarden 1992, 147).

Более значимой для реализации языка является категория субъективной истины. Выражения, содержащие одно из значений этой категории, включают пропозициональную установку *считаю, что...* и модальный предикат *истинно/верно, что...*, ср.:

*А ветер все-таки усиливается* = ‘Я считаю, что — вопреки предположению — истинно/верно/соответствует действительности то, что ветер усиливается’.

Д. Болинджер (1987, 29) рассматривает субъективную истину как норму речевого общения, а именно — как «такое свойство языка, которое дает нам возможность информировать друг друга». Се-

---

\* Первая публикация: *Категория истины в повседневном общении (на материале русских количественных выражений)*. В: *Русский язык и литература*. 1999/4, 110–124. Здесь публикуется в переработанном варианте.

мантика субъективной истины лежит в основе сформулированных Г. П. Грайсом правил речевого общения, в частности — постулатов категории качества (1985, 222):

1. Не говори того, что ты считаешь ложным.
2. Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований.

Данные постулаты, базирующиеся на субъективной истине, требуют, однако, дополнительных комментариев. Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что степень их обязательности относительна и варьируется, например, в зависимости от стиля и речевого жанра. Требование истинности является обязательным для текстов науки (хотя и в разной степени — в естественных и гуманитарных науках), однако его роль в повседневном общении намного слабее. В обыденной речевой практике (которая чаще всего имеет форму диалога) значительное место занимают перформативные высказывания, для которых критерий истинности не существенен, ср.:

*Здравствуйте!*

*Прощай!*

*Простите!*

*Винovat!*

*Больше не буду!*

*Поздравляю!*

*Сочувствую.*

Истинностное значение высказывания зависит и от типа социального взаимодействия, от психологического отношения коммуникативных партнеров и др. Ср. диалог из пьесы М. Фриша «Санта Крус»:

*Эльвира. Пьян?*

*Слуга. Не сильно, ваша милость, не до беспамятства. Но все-таки.*

*Эльвира. Все-таки? Сколько это — все-таки?*

Если Эльвира как хозяйка дома (в силу своего более высокого социального положения) стремится узнать действительное положение дел, то слуга, напротив, предпочитает высказываться неопределенно: во-первых, ему не хочется огорчать хозяйку, во-вторых — разоблачать пьяного гостя, ведь при этом он рискует вступить с ним в конфликт. Можно, видимо, утверждать, что в массовом сознании истина — это привилегия старших по положению, т.е. правила речевого общения, как и сам язык, отражают дифференциацию общества.

В данной статье будут приведены и рассмотрены факты нарушения постулата качества при употреблении высказываний-констативов — в повседневном общении в содержании выражений этого типа зачастую отсутствует семантика субъективной истины.



## 2. Категория истины в выражениях с кванторами

Грайс признает, что говорящий не всегда строго следует нормам речевой коммуникации. Но отступление от тех или иных правил вербализации смысла в рамках социального взаимодействия обычно приводит к появлению дополнительной информации, т.е. нарушение одной закономерности подтверждает другую закономерность: если правило нарушается, значит, за этим нарушением стоит какой-либо преднамеренный мотив. Так, нарушение первого постулата категории качества лежит в основе иронии. По мнению немецкого исследователя Э. Лаппа, который детально описал языковые средства выражения иронии — инверсию, редупликацию, интонацию и др. (Lapp 1992), субъективная истина в иронических высказываниях носит симулятивный характер.

Нарушение второго постулата категории качества, согласно Грайсу, приводит к эффекту гиперболлизации. Примеры этого типа широко представлены в области количественной семантики. Так, при употреблении выражений, включающих кванторную информацию, требуется, чтобы значение абсолютной или относительной квантификации в высказывании соответствовало реальному объему множества участников описываемой ситуации, поэтому, например, первое из приводимых ниже высказываний истинно, а второе ложно:

*Все металлы электропроводны.*

*Все металлы драгоценны.*

Истина как адекватное отражение ситуации в содержании языкового высказывания составляет элемент его внутренней формы: так, употребление общего квантора в первом из приведенных выше высказываний мотивировано тем, что объем множества металлов, обладающих свойством электропроводности, полон.

Однако данная норма в речевой практике регулярно нарушается. С одной стороны, некоторым оправданием подобных нарушений является недостаточная безупречность самой нормы, строгое следование которой может привести к семантическим парадоксам, ср.:

*Человек все может отдать за свободу. Даже свободу («Литературная газета». 20.I.1989).*

С другой стороны, отступая от требования репрезентативности высказывания, говорящий преследует специальные цели, видоизменяет ряд речевых (семантических и прагматических) функций языковых знаков. Приведем несколько примеров:

*Все пятки, даже четверок мало! — радостно говорил Саша (Ф. Сологуб).*

*У франта умерла тетка, имевшая очень много денег, еще больше веснушек и не имевшая ни одного родственника* (Ю. Олеша).

— *Дедушка Тит, а ты все знаешь?*

— *Все, Афоня, я все знаю.*

— *А что это, дедушка?*

— *А чего тебе, Афонюшка?*

— *А что это все?*

— *А я уже позабыл, Афоня* (А. Платонов).

*Все мужчины пахнут табаком* (Ю. Мориц).

— *Все болит.*

— *Что именно?*

— *Голова* (разговорная речь).

*Он объездил всю Россию* (разговорная речь).

В выражениях подобного типа общекванторная словоформа (маркер абсолютной квантификации) либо соотносится с единичным объектом (*все — голова*), либо вступает в противоречие с информацией, уже содержащейся в высказывании (*все пятерки, но — мало четверок; тетка франта, не имевшая родственников*), либо противоречит нормальному положению вещей (*Все мужчины пахнут табаком, но — Существуют некурящие мужчины*).

Высказывания подобного типа являются результатом деривационного процесса, который заключается в неконвенциональном употреблении лексем со значением абсолютной квантификации. При этом высказыванию с общим квантором ставится в соответствие ситуация, в которой исходное предметное множество актуализируется не в полном (как это требуется в нормальном случае), а в частичном объеме. В некоторых случаях общий квантор употребляется даже тогда, когда имеется в виду не множество, а единичный индивид.

В основе рассматриваемого деривационного процесса лежит психологический механизм обесценивания информации и способов выполнения действий, который И. М. Розет называет *а н а к с и о м а т и з а ц и е й* (1977, 124). Этот механизм в сфере квантификации проявляется в том, что стирается граница между абсолютной и относительной квантификацией, ведь при семантической контрадикции общий квантор употребляется без достаточных оснований, когда уместным было бы употребление частного квантора. Говорящий пренебрегает объективной истиной и точностью сообщения, преднамеренно, а иногда и бессознательно «завышая» количественную оценку ситуации.

М. И. Откупщикова обратила внимание на то, что маркеры абсолютной квантификации достаточно часто употребляются вместо фреквентивных форм относительной квантификации. Так, в высказывании

*Повсюду цветы, флаги, транспаранты*

обобщающее местоимение *повсюду* употреблено на месте фреквентивного квантора *во многих местах* (1984, 8). Ср. также:

*Вот так, не ходит, не ходит, а потом все го закупит* (Л. Петрушевская), ср.: *многого (много чего) закупит*.

*За это время у нас было все. Да, да, все! У буфетчика две тысячи рублей требовали. Посудомойку шантажировали. Стреляли...* («Комсомольская правда». 18.X.1989), ср.: *многое было*.

*Что это? — поинтересовался Герман, интересовавшийся в сем понемногу* («Литературная газета». 13.IV.1989), ср.: *интересовавшийся многим*.

Семантическая контрадикция кванторных слов имеет прагматическое обоснование. Характерным признаком развития современной культуры является возрастание рефлексивности речи и роли метаязыковых реминисценций, активизация разного рода семантических операторов. Злоупотребление подобными языковыми элементами, в особенности, свойственно интеллигентскому жаргону, который польский публицист К. Т. Тёплиц назвал «анти-языком».

Однако в современной культуре речи действует и совершенно противоположная (и не менее слабая) тенденция, которая направлена на упрощение, огрубление информации, устранение из содержания сообщения деталей, которые непосредственно не связаны с коммуникативной задачей субъекта и при некотором стечении обстоятельств могут усложнить осуществление этой задачи. Конкретным проявлением этой тенденции является «уклонение от референции», т.е. использование обобщающего или отрицательного местоимения при дефиците информации о предметах, например:

Ведущий. *Володя, а что ты думаешь?*

Володя. *Мне все понемногу не нравится.*

Ведущий. *Ну что именно?..*

Володя. *Да не знаю я!* («Литературная газета». 1.I.1986).

*Другой кричит: «Я — Иисусик,*

*Молитесь мне, я на кресте,*

*В ладонях гвозди и везде»* (Н. Заболоцкий).

Семиотическая стратегия говорящего при этом заключается в том, чтобы, используя общий квантор, избежать повода для конкретизации множества, которая не входит в коммуникативную задачу корреспондента.

Криптореферентная функция общих кванторов основывается на том, что при абсолютной квантификации референтное множество предметов, участвующих в описываемой ситуации, совпадает с ис-

ходным множеством, а поскольку исходное множество известно говорящему, то ему известно и референтное множество. Относительная квантификация, в отличие от абсолютной, характеризуется некоторой степенью неопределенности референтного множества: используя частный квантор, говорящий сообщает лишь о том, что часть исходного множества актуализирована в рассматриваемой ситуации, но какие именно элементы входят в эту часть, говорящий не уточняет. Именно данная неопределенность в содержании частных кванторов *некоторые, иногда, кто-то, где-то, часто, редко, многие* и др., а также в содержании фреквентивных слов *много, мало, несколько, тьма* и т.п., с точки зрения говорящего, нежелательна в передаваемом сообщении. Таким образом, в семантической контрадикции кванторных слов реализуется тенденция к редукции энтропии в содержании высказывания, стремление речевого субъекта к тому, чтобы ограничиться минимумом объективной информации. Общий квантор — своего рода штора, используя которую речевой субъект прикрывает окно в мир.

Использование кванторных слов для «затушевывания» мира характерно также для некоторых типов поэтики. И. П. Смирнов пишет:

Основополагающей идеей символизма была мысль о связи всего со всем. Для символизма релевантна не какая-то особая связь, но связь как таковая. Мир панкогерентен (1994, 405).

Комментируя стихи В. Брюсова

*Я все мечты люблю, мне дороги все речи,  
И всем богам я посвящаю стих*

Смирнов отмечает: «[...] Я, связанное со всеми, не в состоянии определить, с чем (или с кем) оно конкретно соотносено».

Повышенная частота употребления кванторных слов типа *все, каждый, любой, никогда* и т.п., как указывает Б. Ю. Норман, характерна для текстов тоталитарного общества (1995, 42). Однако было бы неправомерным квалифицировать общие кванторы как «тоталитарные универсалии» — ведь гиперболизация количественной информации широко распространена не только в идеологической пропаганде, но и, прежде всего, в повседневной речевой практике, субъектом которой является, по определению Нормана, «простой, обыкновенный человек», другими словами — «дядя Вася, слесарь-сантехник из соседней квартиры».

Гиперболизация количественной информации с использованием общекуванторных местоимений — важнейшая черта массового сознания, которое и является источником для идеологической пропа-

ганды, потому что именно в массовом сознании происходит деформация категории истины.

Криптореферентная функция кванторных лексем проявляется также в том, что они иногда выступают в качестве эвфемизмов, например:

*А теперь, друзья, какое  
всюду оупенье нрава —  
нету женщине покоя,  
повсюду распущенная орава —  
деву за руки хватают,  
всюду трогают ее* (Н. Заболоцкий).

Мать. *Опомнись, что между вами могло быть!*

Альдонса. *Всё* (А. Володин).

*Швейк подошел к постели. Как-то особенно улыбаясь, она смерила взглядом его коренастую фигуру и мясистые ляжки. Затем погладила нежную материю, которая прикрывала и скрывала все, приказала строго: «Снимите башмаки и брюки»* (Я. Гашек, пер. П. Богатырева).

— *Ты считаешь, что это я во всем виноват?*

— *В чем это «во всем»?*

— *Ты же понимаешь* (Кинофильм «А если это любовь?»).

Девушка юноше: — *Только ничего не делай...* (разговорная речь).

Несовпадение количественного содержания высказывания с содержанием ситуации вызывает семиотическое недоверие субъекта к общекванторным лексемам — они воспринимаются как средства фальсификации и действительного положения дел, ср.:

— *Да, я, конечно, выставил в типе Погожева все недостатки славянофилов...*

— *Уж будто и все, — прошептал тихонько Ляшин* (Ф. Достоевский).

— *Там же все пьют!*

— *Это слухи, — сказал я. — Все не могут пить. Дети не пьют, старухи тоже не пьют* (А. Житинский).

*Твердишь, что хочешь обнять весь мир, А хочешь тебе — обнять подружку* (Ю. Ким).

*Кто везде — тот нигде* («Литературная газета». 3.П.1988).

Иногда различают сильные и слабые логические знаки. Так, квантор всеобщности квалифицируется как сильный, а квантор существования — как слабый логический оператор (Коссек/Костюк1982, 60). Таким образом, в явлении семантической контрадикции кванторных слов воплощена тенденция к увеличению логической силы высказывания.

Эта же тенденция проявляется в умозаключениях типа *ab posse ad esse*, которые, по наблюдениям Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева (1990, 142), характерны для стиля тоталитарного общества (в частности, распространены в некоторых юридических текстах). В таких случаях сла-

бое значение алетической модальности возможности заменяется сильным значением модальности ассерторичности.

### 3. Категория истины в выражениях с числительными

Регулярное нарушение постулатов категории качества наблюдается также в выражениях с числительными. Например:

— *Я тебя на пятнадцать лет моложе, а ты меня пережить задумала?..*

— *Не на пятнадцать, а на десять, — обиделась старуха.*

— *На одиннадцать с половиной, можно сказать, на двенадцать* (А. Битов).

В данном случае одна и та же величина варьируется несколько раз — различие в возрасте определяется то в десять, то в одиннадцать с половиной, то в двенадцать, то в пятнадцать лет. Подобные выражения характеризуются экспансией целых и круглых чисел — *десять, сто, тысяча, сто тысяч, миллион* и т.п., например:

*Как будто тронулся обоз, В котором тысяча несмазанных колес* (И. Крылов).

*Стоит жонглер, как древний Шива, Мелькают сразу десять рук* (А. Кушнер).

*И шатались они по комнатам, Перетрогали сто вещей* (Д. Самойлов).

Числительные *тысяча, десять, сто* в приведенных высказываниях употребляются в значении ‘превышающее норму количество’, т.е. как аналог лексем *множество, много* и т.п. Любопытен с семантической точки зрения следующий пример:

*Я валяюсь на траве —*

*Сто фантазий в голове!*

*Помечтай со мною вместе,*

*Будет их не сто, а двести* (Ю. Мориц).

Здесь числительное *сто* обозначает большое количество, а числительное *двести* имеет значение ‘вдвое больше’. Круглые величины обычно используются при характеристике человека по возрасту, ср.: *сорокалетний мужчина, ей нет и тридцати* и т.п. Напротив, излишняя конкретизация в подобной характеристике может восприниматься как нарушение речевой нормы или вызывать юмористический эффект, как, например, в высказывании:

*Мужчина в возрасте где-то между двадцатью двумя и сорока шестью пробирается сквозь дикие заросли подсолнуха* («Знамя юности». 10.IV.1981).

Предрасположенность числительных к вторичному употреблению отражается на их частоте. Таблица 1 включает двадцать наиболее частых

русских количественных числительных (статистические данные заимствованы из «Частотного словаря русского языка» под ред. Л. Н. Засориной).

Таблица 1

| №  | ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ      | ОБЩАЯ ЧАСТОТА |
|----|-------------------|---------------|
| 1  | <i>один</i>       | 3225          |
| 2  | <i>два</i>        | 1331          |
| 3  | <i>тысяча</i>     | 746           |
| 4  | <i>три</i>        | 660           |
| 5  | <i>миллион</i>    | 334           |
| 6  | <i>пять</i>       | 324           |
| 7  | <i>четыре</i>     | 262           |
| 8  | <i>десять</i>     | 259           |
| 9  | <i>двадцать</i>   | 254           |
| 10 | <i>сто</i>        | 207           |
| 11 | <i>семь</i>       | 167           |
| 12 | <i>шесть</i>      | 149           |
| 13 | <i>тридцать</i>   | 146           |
| 14 | <i>сорок</i>      | 135           |
| 15 | <i>восемь</i>     | 118           |
| 16 | <i>миллиард</i>   | 83            |
| 17 | <i>двенадцать</i> | 77            |
| 18 | <i>двести</i>     | 67            |
| 19 | <i>пятнадцать</i> | 66            |
| 20 | <i>пятьсот</i>    | 62            |

В первую десятку, кроме числительных, обозначающих единицы, входят также числительные *тысяча*, *миллион*, *десять* и *сто*. Общая частота числительных, которые обозначают величины до пяти (единиц, десятков или сотен), выше, чем частота числительных, обозначающих оставшуюся часть десятичного интервала, ср. таблицу 2.

Таблица 2

| ЛЕКСЕМЫ  | ОБЩАЯ ЧАСТОТА |
|--|---------------|
| <i>один, два, три, четыре</i>                              | 5508          |
| <i>шесть, семь, восемь, девять</i>                         | 443           |
| <i>одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать</i>   | 151           |
| <i>шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать</i> | 83            |
| <i>десять, двадцать, тридцать, сорок</i>                   | 794           |
| <i>шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто</i>       | 126           |
| <i>сто, двести, триста, четыреста</i>                      | 330           |
| <i>шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот</i>             | 54            |

Обозначения некруглых чисел подвергаются семантической модификации достаточно редко, хотя и такие примеры есть:

*Много шире Невского проспекта*

*Улица заглавная у нас,*

*Городских прекрасней песни наши,*

*Голоса девические звоньше,*

*Ярче звезды в сорок восемь раз* (П. Васильев), ср.: *ярче во много раз.*

*И в комнату ворвалось сорок тысяч*

*Танцующих в прохладе мотыльков* (Л. Мартынов), ср.: *множество мотыльков.*

Неканоническое употребление числительного *сорок*, вероятно, обусловлено его относительно высокой частотностью (см. таблицу 1); что касается выражения *сорок восемь*, то здесь, с одной стороны, надо учесть достаточно высокую частоту составляющих его простых числительных (которые к тому же соседствуют в таблице 1, см. ранги 14 и 15), а с другой стороны, следует принять во внимание его кратность.

Стихотворение В. Луговского «На переговорной» представляет собой телефонный разговор, собственно, — произнесенный в телефонную трубку монолог героя, при этом заключительная фраза звучит так:

*За три тысячи верст*

*три минуты с любимой.*

Выражение *три минуты с любимой* более-менее точно отражает длительность разговора — чтение всего стихотворения в среднем темпе длится около трех минут. Выражение же *за три тысячи верст*, видимо, мотивировано первым употреблением числительного *три*, содержит



приблизительную количественную информацию и может быть интерпретировано как ‘далеко от любимой’.

Подобные высказывания с семантической деривацией числительного неоднородны: одни из них согласуются с энциклопедическими пресуппозициями субъекта (например, *много вещей в комнате*), другие же противоречат им (например, *много рук у жонглера*). Это различие обусловлено соотношением высказывания с внеязыковой ситуацией (или с референциальным возможным миром): в одном случае имеется в виду так называемая действительность, в другом случае — субъективная картина мира. Так, высказывание

*Мелькает сразу десять рук (жонглера)*

может быть истолковано как: ‘Мне кажется, что мелькает сразу десять рук жонглера (у жонглера десять рук и все они одновременно мелькают)’. В другом высказывании эта установка выражена сочетанием *как будто*:

*Как будто тронулся обоз, в котором тысяча несмазанных колес* = ‘Могло показаться, что тронулся обоз, в котором тысяча несмазанных колес’.

Рассмотрим следующий пример:

— *Вольнов, ты встречал людей которые подписываются на все полные собрания сочинений, какие только выходят?* — спросил Левин. — *Боборыкин — и он ставит за стекло сто пятьдесят томов Боборыкина... Есть такой писатель — Боборыкин?..*

— *Кажется, есть,* — сказал Вольнов без большой уверенности.

— *Ну вот, и он пихает за стекло двести томов Боборыкина и по вечерам смотрит на корешки и лыбится во всю пасть [...] Раньше он юристом на заводе работал, институт окончил, а стал, понимаешь, лазать на столбы и разные другие конструкции, и зашибает на этом деле кучу денег, и покупает с полочки триста томов Боборыкина... (В. Конецкий, «Завтрашние заботы»).*

Выражение *сто пятьдесят томов Боборыкина* нерепрезентативно — оно нарушает один из постулатов категории качества — ведь в действительности самое большое издание произведений П. Д. Боборыкина включает двенадцать томов. Но говорящий при этом, однако, не нарушает принципа кооперации, потому что выражение соотносится не с действительностью, а со специфическим вымышленным миром. Высказывание

*Он ставит за стекло сто пятьдесят томов Боборыкина*

можно истолковать так: ‘Если представить, что существует сто пятьдесят томов Боборыкина, то он поставит за стекло все сто пятьдесят то-

мов'. Специальным средством указания на то, что в виду имеется не реальный, а фиктивный мир, является сознательная непоследовательность в подаче количественной информации:

*сто пятьдесят томов Боборыкина*  
*двести томов Боборыкина*  
*триста томов Боборыкина*

#### 4. Мнимая конкретность

Использование числительных для выражения семантики 'количество, превышающее ситуативную норму' обусловлено теми же принципами, которые уже рассматривались в сфере вторичной реализации кванторных слов. Важнейшими из этих принципов являются устранение неопределенности и замена логически более слабого выражения более сильным.

Фреквентивные слова (*много, мало, часто, несколько* и др.), в отличие от числительных, лишены фиксированной соотнесенности с каким-либо числом, множество их потенциальных референтов является нечетким, а иногда — бесконечным. Используя вместо фреквентивных слов *много, множество* и т.п. количественные числительные, говорящий стремится избежать указанной неопределенности, как бы ссылаясь на то, что характеристика того или иного предмета в той или иной ситуации основывается на точных количественных данных. В таких случаях реализуется мнимая конкретность сообщения, потому что план содержания знака соотносится с абстрактным значением 'больше ситуативной нормы', а его план выражения составляет конкретное количественное числительное. Замысел говорящего основывается на предположении, что уже само упоминание точного числа будет способствовать адекватному восприятию количественной информации слушающим, тогда как употребление неопределенных по своему языковому содержанию наречий могло бы вызвать у слушающего ненужные сомнения, подозрения и вопросы.

В явлении мнимой конкретности, вероятно, учитывается известный постулат психологии воздействия (особенно актуальный в дидактике), согласно которому абстрактная информация усваивается с большим эффектом, если она сопровождается конкретными наглядными иллюстрациями.

Мнимая конкретность наблюдается также в сфере качественной семантики, а именно — в речевой динамике родовых и видовых терминов, например:

*Однажды я сказал ей: — Что же мне за эту тальму шкуру снять для вас?  
— Батюшки, да он поджечь может! — испуганно вскрикнула хозяйка.  
Я был крайне удивлен: почему поджечь? (М. Горький).*

Конкретное лексическое значение глагола *поджечь* в данном случае, скорее всего, случайно, но важен факт, что вместо гиперонима *опасный* (или подобного ему по значению) употребляется гипоним с конкретной семантикой. Предпочтение знаков с конкретной семантикой наблюдается также в номинациях *аппозитивного типа*, которые, по словам Е. А. Земской,

призваны играть роль обобщающего названия [...] которого нет в разговорной речи или которое по каким-либо причинам говорящему не хочется употреблять (1979, 61).

Ср.:

*вилки-ложки  
чайники-кофейники  
блюдца-тарелки  
морковки-петрушки  
травки-муравки  
кенгуру-зайчики  
пить-есть  
кормить-поить и др.*

В высказываниях с семантической модификацией количественных выражений отсутствует не только значение объективной истины, но, по видимому, и значение субъективной истины: исключено, чтобы в нормальном случае говорящий трактовал как соответствующие действительному положению дел выражения типа *триста томов Боборыкина* или *объездил всю Россию*. С другой стороны, говорящий, видимо, не осознает и того, что он произносит явно ложные сообщения, т.е. высказывания

*Я объездил всю Россию*

нельзя толковать как 'Я считаю неверным, что я объездил всю Россию'. В подобных случаях критерий истинности, скорее всего, вообще игнорируется, а коммуникативный субъект концентрирует внимание на более важных для него аспектах речевого воздействия, прежде всего — на убеждении коммуникативного партнера или же на другом виде коммуникативного влияния.

## Заключение

Проведенные наблюдения дают основание ввести новый, третий постулат категории качества:

3. «Не говори того, что адресат мог бы посчитать ложным».

Может казаться удивительным и странным, что важнейшим критерием истинности/ложности высказывания в повседневном общении является реакция коммуникативного партнера. Ради достижения соответствующего эффекта в воздействии на адресата речевой субъект может пойти на самые разнообразные ухищрения в интерпретации ситуации или в организации текста, но все эти способы воздействия были бы бессмысленными, если бы адресат воспринимал сообщение как ложное.

Для повседневной коммуникации характерны также некоторые специфические постулаты категории способа:

1. «Избегай излишней детализации».

2. «Избегай неопределенности».

3. «Предпочитай сильные выражения слабым».

Постулаты категории способа направлены не только на оптимизацию речевого воздействия — они отчасти затрагивают и общую организацию семиозиса (т.е. знаковой системы культуры или субкультуры). Мнимая конкретность, уклонение от референции, гиперболизация и другие рассмотренные в данной работе коммуникативные явления трансформируют интеллектуальную (или культурную) картину мира, а именно — упрощают ее, устраняют необязательные с точки зрения того или иного сообщества детали и излишества, делают онтологический контекст жизнедеятельности более дискретным.

С учетом того, что степень сложности, «мозаичности» современной культуры стремительно растет, рассмотренные процессы выглядят как вполне естественная тенденция к достижению некоторого функционального компромисса.

## Литература

- Болинджер, Д. (1987), *Истина — проблема лингвистическая*. В: Сергеев, В. Б./ Паршин, П. Б. (ред.), *Язык и моделирование социального взаимодействия*. Москва, 23–43.
- Булыгина, Т. В./Шмелев, А. Д. (1990), «*Возможности*» *естественного языка и модальная логика*. В: *Язык логики и логика языка*. Москва, 135–167.
- Гейзенберг, В. (1963), *Физика и философия*. Москва.
- Грайс, Г. П. *Логика и речевое общение*. В: Падучева, Е. В. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XVI. *Лингвистическая прагматика*. Москва, 217–237.

- Земская, Е. А. (1979), *Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения*. Москва.
- Коссек, Н. В./Костюк, В. Н. (1982), *Сильное и слабое отрицание в русском языке*. В: Григорьев, В. П. (ред.), *Проблемы структурной лингвистики 1980*. Москва, 50–62.
- Норман, Б. Ю. (1995), *К семантической эволюции некоторых русских слов (об идеологическом компоненте значения)*. В: Яворская, Г. М. (ред.), *Мова тоталітарного суспільства*. Київ, 37–52.
- Откупщикова, М. И. (1984), *Местоимения современного русского языка в структурно-семантическом аспекте*. Ленинград.
- Розет, И. М. (1977), *Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности*. Минск.
- Смирнов, И. П. (1994), *Символизм, или истерия*. В: *Russian Literature*. XXXVI/IV, 403–426.
- Ingarden, R. (1992), *Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki*. Warszawa.
- Lapp, E. (1992), *Linguistik der Ironie*. Tübingen.

## ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

### А

- Авторитет □ 372
- Авторская дефиниция □ 129
- Абдуктивное мышление □ 31
- Абдуктивный силлогизм □ 32, 187
- Абдукция □ 31
- Автореференция (автосемантическая) □ 294сл.
- Актуальное членение предложения □ 103
- Амбивалентность языковой семантики □ 25, 151, 389
- Амбисемия □ 150сл.
- Анаксиоматизация □ 54, 392
- Аналитичность □ 365
- Аномалия □ 275сл.
  - онтологическая □ 276
  - деонтическая □ 277
- Антисциентизм □ 26
- Антропоцентрическая концепция языка □ 12
- Апперцептивная база □ 205
- Аппозитивная синтаксическая связь □ 401
- Асимметрический дуализм знака □ 58
- Ассерция □ 177сл.
- Ассоциативное количество □ 312
- Афонаризм □ 127

### Б

- Бесконечная семантическая валентность □ 86, 113
- Бессознательное □ 49, 368
- Билингвизм □ 355

### В

- Варьирование языка □ 355сл.
- Внешняя лингвистика □ 336сл.
- Внутренняя лингвистика □ 336
- Внутренняя форма □ 54, 56, 391
- Возможное как реальное □ 381
- Возможный мир □ 205, 258, 272сл.; 279, 297, 364, 383

### Г

- Генеративная (порождающая) семантика □ 19сл.
- Герменевтический круг □ 245
- Герменевтический подход □ 238
- Гиперболизация □ 391сл.
- Гиперкаузативность □ 385
- Гиперрелевантность □ 288
- Гипноз □ 381
- Глубина понимания □ 239
- Гносеологическая семантика □ 151

## Д

Двуплановость знака □ 152  
 Декомпозиция □ 37, 42, 44  
 Дескриптивная семантика □ 151  
 Диасемия □ 97сл.  
 Диахрония □ 184сл.  
 Динамический подход к языку □ 135  
 Дискурс □ 354сл.  
 Диссипативность □ 60  
 Дистрибутивные (селективные) признаки □ 19сл.  
 Дистрибутивный анализ □ 183  
 Дифференциация языка □ 354сл.

## З

Заимствование □ 345сл.  
     интерлингвистическое □ 349  
     интралингвистическое □ 349  
     речевое □ 345сл.  
     языковое □ 345сл.  
 Закавычивание □ 15, 345  
 Значение слова □ 150

## И

Идиосинкратичность значения □ 129сл.; 178, 180, 356  
 Идиосинкратичность метафоры □ 35сл.  
 Идиостиль □ 17  
 Идиоэтническая концепция языка □ 335  
 Избыточность □ 284  
 Иконичность □ 79  
 Иллокутивное самоубийство □ 374  
 Иллокутивный акт □ 374  
 Имидж □ 383  
 Импликация □ 385  
 Индексальные выражения □ 295сл.

Институциональная номинация □ 348  
 Интенциональная семантика □ 14сл.; 27, 174, 272, 278, 299  
 Интенциональность □ 208сл.; 240  
 Интерактивная теория метафоры □ 13сл.; 30  
 Интерпретативный подход □ 173сл.  
 Инференция □ 90, 158, 237, 246  
 Ирония □ 391  
 Истина □ 382, 389сл.

## К

Канонизация субкода □ 284  
 Катахреза □ 21  
 Категория вида □ 143сл.; 160  
 Каузативная функция □ 213  
 Кванторные местоимения □ 102сл.; 308сл.; 392сл.  
 Когеренция □ 249, 379  
 Когнитивная модель 191  
 Когнитивная метафора □ 11сл.; 29сл.; 187  
     ориентационная □ 67  
     структурная □ 68  
 Когнитивная семантика □ 23сл.; 29сл.; 151, 180сл.; 256сл.; 367  
 Когнитивный императив □ 23  
 Кодификация □ 293, 354сл.  
 Количественная норма □ 304сл.  
 Количество □ 303сл.  
 Коллокация □ 183  
 Колыбельная песня □ 380сл.  
 Коммуникативная оккупация □ 221  
 Коммуникативная сфера □ 188  
 Коммуникативный реликт □ 185  
 Компенсаторная функция □ 51  
 Компрессия □ 104сл.; 109сл.; 309  
 Конвенциональность значения □ 180

- Конверсия □ 60  
Конденсация □ 37  
Коннотация □ 33, 120, 146, 183  
Контагиозная магия □ 216  
Контаминация □ 148  
Контекстное значение □ 113  
Концептуализация □ 28сл.;  
174сл.; 179, 186  
Концепции полисемии □ 136  
    плюралистическая □ 136  
    унитарная □ 136  
    функциональная □ 136  
Креативная функция метафоры □  
32  
Креолизация □ 354сл.; 363, 365  
Криптитивная функция □ 228сл.;  
393  
Критерии разграничения полисе-  
мии и моносемии 115  
    дистрибутивный □ 115сл.  
    когнитивный □ 119  
    конфронтативный □ 122  
    проверка на неидиоматичность  
    □ 119  
    субститутивный □ 118  
Круговорот идей □ 269  
Культурная совместимость □ 43  
Культурный субстрат □ 42
- Л**
- Лексическая сочетаемость □ 182  
Лексический инвариант □ 84сл.  
Лексический прототип □ 85  
Лингвоэпистема □ 151  
Логическая сила □ 382  
Любовная лирика □ 378
- М**
- Магия □ 364  
Массовое сознание □ 395
- Масштаб □ 204  
Медиативная функция □ 375  
Ментальная репрезентация □ 29,  
236  
    дискурсивно-логическая □ 45  
    метафорическая □ 45  
Металингвистика □ 335  
Метафора □ 11сл.; 112сл.; 274сл.;  
349  
Метафорическая интеракция □  
13сл.  
Метафорическая проекция (map-  
ping) □ 31сл.; 45  
    внутрифреймовая □ 55  
    межфреймовая □ 55  
Метафорическое предложение □  
107  
Метаязык □ 365  
Миропорождающие операторы □  
16  
Многозначность многозначности  
□ 66  
Множество □ 323сл.  
Модальная семантика □ 14сл.; 27,  
174, 396  
Модель обработки информации □  
45  
Модель этнического языка □  
360сл.  
    коммуникативная □ 360сл.  
    стратификационная □ 360сл.  
Монолог □ 374  
Мотивация □ 29, 41, 173, 205,  
355, 366  
Мыслительная функция □ 367
- Н**
- Наррация □ 299  
Неодистрибуционизм □ 164  
Неоднородное множество □  
323сл.



Неопределеннозначность □ 37,  
51, 79сл.; 95, 152, 157  
Номинация □ 47, 356

## О

Образ □ 380  
Образная схема □ 32  
Объективистская семантика □ 22  
Окказионализм (семантический)  
□ 81, 86, 109  
Омонимия □ 307

## П

Панвербализм □ 341  
Парадигма □ 11  
    антропологическая □ 20  
    романтическая □ 11сл.; 27  
    структурная □ 12сл.  
    феноменологическая □ 26  
Параметр по умолчанию □ 42  
Парасемия □ 124сл.; 349  
    симультанная □ 126сл.  
    сукцессивная □ 126сл.  
Паронимия □ 127  
Перекодировка □ 253, 343сл.;  
363сл.  
Персонификация □ 215  
Письмо (по Р. Барту) □ 286  
    классическое □ 286  
    современное □ 287сл.  
Поликодировка □ 343сл.  
Полисемия □ 58, 90, 97сл.  
Понимание □ 235сл.  
    активное □ 239  
    коммуникативное □ 236  
    некоммуникативное □ 236  
    пассивное □ 239  
Порождающая модель □ 31  
Порождающая (генеративная) се-  
мантика □ 19сл.; 24

Посессивность □ 101  
Постмодернизм □ 26  
Постулаты когнитивной теории  
метафоры □ 33сл.; 181  
Постулаты (максимы) принципа  
кооперации □ 288  
    качества □ 389сл.  
    количества □ 389  
    релевантности □ 288  
Поэзия без метафор □ 378  
Прагматизм □ 272, 353, 357  
Прагматическая теория метафоры  
□ 17сл.  
Прагматический контекст □ 18  
Предикат высшего порядка □ 61,  
178  
Пресуппозиция □ 183, 258,  
270сл.; 291сл.  
Прецедентный знак □ 119, 188  
Прецедентный текст □ 43, 346  
Принцип ассоциации □ 93, 380  
Принцип заражения □ 193  
Принцип «и так далее» (enough is  
enough) □ 100  
Принцип компенсации □ 92, 364  
Принцип конфигурации □ 178  
Принцип кооперации □ 157, 288,  
389сл.  
Принцип оптимальности □ 71  
Принцип отражения □ 380  
Принцип ответственности □ 122  
Принцип повтора (дублирования)  
□ 286сл.; 375сл.  
Принцип семантического един-  
ства текста □ 287  
Принцип трансцендентности ав-  
тора □ 297  
Принцип экономии □ 357  
Пропозициональная семантика □  
61  
Пропозициональная установка □  
14сл.; 278  
Прототип □ 112, 118, 189, 194

Профилирование □ 193, 205  
Профиль □ 205  
Псевдообобщение □ 220  
Психолингвистическая реальность  
□ 183

## Р

Реализм (в философии языка) □  
26  
Реклама □ 188  
Реконструкция □ 55  
Реминисценция □ 346  
Репрезентация □ 22, 29, 32, 45, 55  
    дедуктивная □ 131  
    индуктивная □ 131  
    интенциональная □ 130  
    образная □ 45  
    предписывающая □ 45  
    экстенциональная □ 131  
    языковая □ 46  
Референция □ 83, 254сл.; 393  
Речевое воздействие □ 375сл.  
Романтизм □ 377

## С

Селективные ограничения □ 19  
Селективные (дистрибутивные)  
признаки □ 19сл.; 107  
Семантическая аккомодация □ 22  
Семантическая ассимиляция □ 22  
Семантическая база □ 205  
Семантическая деривация □ 24,  
130  
    модификация □ 97  
    мутация □ 97  
Семантическая доминанта □ 380  
Семантическая категория □ 135  
Семантическая оппозиция □ 43сл.  
Семантическая транскрипция □  
105

Семантический гештальт □ 22,  
24, 25, 134, 287, 291, 379  
Семантический инвариант □ 82,  
130сл.; 141сл.  
Семантический парадокс □ 322  
Семантический релятивизм □ 153  
Семантический стандарт □ 177  
Семантическое варьирование □  
111сл.  
Семиотическая типология языков  
□ 272  
Символизация □ 380  
Символичность □ 79  
Синдром Митрофана □ 311сл.  
Синдром Пигмалиона □ 375  
Синонимия □ 58, 310  
Синтагматическая семантика □ 101  
Синтагматический структурализм  
□ 90  
Синтаксис □ 46  
Синтаксическая аналогия □ 89  
Синтаксическая интерпретация  
многозначности □ 104  
Синтетичность □ 365  
Скрипт □ 16  
Смысл слова □ 150  
Совместимость □ 115сл.  
Сопоставительная семантика □ 82  
Социальность языка □ 338сл.  
Социолект □ 340, 359  
Социолингвистика □ 174  
Социология языка □ 339сл.  
Специализация языка □ 363  
Среда □ 173  
Стереотип □ 180, 189  
Стилизация □ 345  
Структурализм □ 336сл.  
Структурная поэтика □ 282сл.  
Стяжение (компрессия) □ 90  
Субкод □ 358  
Субординативная функция мета-  
форы □ 29  
Суггестия (внушение) □ 371сл.

## Т

- Табу □ 218
- Текстовая картина мира □ 183
- Тенденциозность □ 292
- Теория деформации □ 293
- Теория профилирования □ 176
- Типы знаков по функциям □ 137
  - конвентивные □ 137
  - организативные □ 137
  - репрезентативные □ 137
- Тиражирование □ 381
- Толпа □ 373

## У

- Убеждение □ 372сл.
- Уклонение от референции □ 393
- Универсальность метафоры □ 35сл.
- Уровни концептуализации □ 69
  - базовый □ 69
  - надбазовый □ 69
- Уровни понимания □ 241сл.
  - исторический □ 242
  - контекстуальный □ 241
  - логический □ 241
  - психологический □ 242
  - семантический □ 241сл.
  - синтаксический □ 241
  - стилистический □ 241
  - фонетический □ 241

## Ф

- Фазы понимания текста □ 244
- Факторы декомпозиции метафорических номинаций □ 38
  - когнитивно-культурный □ 40
  - коммуникативно-тематический □ 39сл.
  - лингвистический □ 44
  - прагматический □ 40
  - ситуативный □ 44

- стилистический □ 38сл.
- Факторы понимания □ 246
  - интерактивный □ 247сл.
  - интертекстуальный (ассоциативный) □ 247сл.
  - когнитивный □ 247сл.
  - композиционный □ 247сл.
  - системно-языковой □ 247сл.
  - ситуативный □ 247сл.
  - социо-регулятивный □ 247сл.
  - структурно-речевой □ 247сл.
- Фатическое общение □ 220, 224, 371
- Феноменологический подход □ 294
- Фокус интереса □ 111
- Фонетическая аттракция □ 287
- Фоновые знания □ 291
- Формы реализации языковых функций □ 236
  - имплицативные □ 236
  - эксплицативные □ 236
- Фрейм □ 202сл.
- Фреквентивная норма □ 188
- Фреквентивные местоимения □ 393
- Функции высказывания □ 236сл.
  - коннотативная (стилистическая) □ 236сл.
  - интерактивная (иллокутивная) □ 236сл.
  - имплицативная □ 236сл.
  - юнктивная □ 236сл.
  - интерпретативная □ 236сл.
  - номинативная □ 236сл.
- Функции метафоры □ 48
  - аттрактивная □ 64
  - дидактическая □ 52
  - комическая □ 53
  - моделирующая □ 52
  - эвристическая □ 48, 52
  - эстетическая □ 53
- Функциональный подход □ 150

**Х**

Художественная коммуникация □  
292

**Ц**

Цепочечный принцип □ 145  
Цитирование □ 346сл.

**Ч**

Частица □ 141сл.  
Числительное □ 396сл.  
Чужая речь □ 343

**Ш**

Шум □ 286

**Э**

Эзопов язык □ 228  
Эквивокация □ 124, 349  
Экзосемантика □ 151сл.  
Экспансия целых и круглых чисел  
□ 396сл.

Экстраполяция □ 53

Эмотивная семантика □ 219

Эмотивная ситуация □ 62

Эмпатия □ 236сл.; 255, 347

Эндосемантика □ 151сл.

Энтропия □ 394

Эпистемическая семантика □ 174,  
259

Эргономический аспект речевой  
деятельности □ 111

Эстетическая функция текста □  
281сл.

Этимология □ 54

Эффект аттракции □ 125

Эффект нарушения ожидания □  
307

Эффект присутствия/отсутствия  
□ 298

Эхолалия □ 347

**Ю**

Юмор □ 304сл.

**Я**

Языковая картина мира □ 177сл.